

Татьяна Андреевна Кузминская

Моя жизнь дома и в Ясной Поляне



Татьяна Андреевна Кузминская

Моя жизнь дома и в Ясной Поляне

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22131306

Аннотация

«Отец мой был лютеранин. Дед его был выходец из Германии. В царствование Елизаветы Петровны формировались полки, и для обучения новому строю потребовались инструкторы. По желанию императрицы австрийский император командировал в Петербург четырех офицеров кирасирского полка, в числе которых был ротмистр Иван Берс. Он прослужил в России несколько лет, женился на русской и был убит в битве при Цорендорфе. Про жену его в семье нашей мало говорили, и мне ничего не известно о ней. После смерти Ивана Берса остался его единственный сын, Евстафий, наследовавший от своей матери порядочное состояние...»

Содержание

Часть I	7
I. Предки со стороны отца	7
II. Прадед мой по матери гр.	13
П. В. Завадовский	
III. Дед и бабка по матери	25
IV. Жизнь матери до замужества	33
V. Замужество матери	39
VI. Родители	44
VII. Наше детство	55
VIII. Подарок крёстной	57
IX. Разлука с братом	63
X. Николай Николаевич Толстой и приезд Льва Николаевича	67
XI. Наша юность	73
XI. Наши юные увлечения	79
XIII. Лев Николаевич в нашем доме	97
XIV. Великий пост	105
XV. Жизнь на даче	112
XVI. Повесть Сони	134
XVII. Приезд Льва Николаевича	137
XVIII. Спектакль у Оболенских	146
XIX. В деревне у деда и в Ясной Поляне	150
XX. В Покровском	175

XXI. Письмо Льва Николаевича к Соне	179
XXII. Свадьба Льва Николаевича	186
XXIII. После свадьбы	196
XXIV. Рождественские праздники	209
Часть II	223
I. Дома	223
II. Письма отца	226
III. В Петербурге	236
IV. Последние дни в Петербурге	261
V. Наш отъезд	266
VI. Ясная Поляна	272
VII. Хозяйство	283
VIII. Разговор с сестрой	288
IX. Пикник	293
X. Дедушка и отъезд Анатоля	301
XI. Рождение первенца	306
XII. Сергей Николаевич	314
XIII. Поездка в Пирогово	322
XIV. Кто бывал в Ясной Поляне	332
XV. Осень	348
XVI. Охота	357
XVII. Бал	374
XVIII. Лев Николаевич и Софья Андреевна	379
XIX. Болезнь	390
XX. Праздник Рождества 1863 г.	397
XXI. Письма толстых	411

XXII. Весна	419
XXIII. Комедия Льва Николаевича	431
XXIV. Петровский пост	440
Часть III	449
I. Операция отца	449
II. Дома	455
III. Операция Льва Николаевича	461
IV. Чтение «Войны и Мира». Отъезд Льва Николаевича	468
V. Безумный поступок	478
VI. Первые отзывы о «Войне и Мире»	489
VII. Возрождение	500
VIII. Приезд Сергея Николаевича	513
IX. Никольское	521
X. Жизнь в Покровском	544
XI. Семейство Дьяковых	556
XII. Новая жизнь	560
XIII. Жизнь наша в Черемошне	567
XIV. В Москве	578
XV. Снова в Черемошне	587
XVI. «Эдемский вечер»	593
XVII. Ясная Поляна и Покровское	601
XVIII. Именины Маши Дьяковой и 17 сентября	607
XII. Зима в Москве и поездка за границу	618
XX. Мое замужество	637

XXI. Медовый месяц	657
XXII. Мои гости	666
XXIII. Свадьба Лизы	677
XXIV. Наша жизнь в Туле	685
Мой последний приезд в Ясную Поляну	693

Татьяна Кузминская

Моя жизнь дома и в Ясной Поляне

Часть I
1846–1862

*И где вы, мирные картины,
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношуь на крыльях я мечты.*

Пушкин

I. Предки со стороны отца

Отец мой был лютеранин. Дед его был выходец из Германии. В царствование Елизаветы Петровны формировались полки, и для обучения новому строю потребовались инструкторы. По желанию императрицы австрийский император командировал в Петербург четырех офицеров кирасирского полка, в числе которых был ротмистр Иван Берс. Он

прослужил в России несколько лет, женился на русской и был убит в битве при Цорендорфе. Про жену его в семье нашей мало говорили, и мне ничего не известно о ней.

После смерти Ивана Берса остался его единственный сын, Евстафий, наследовавший от своей матери порядочное состояние.

Евстафий Иванович, отец моего отца, жил в Москве и женился на Елизавете Ивановне Вульфферт, которая была младшей дочерью в многочисленной семье. Она была родом из древних вестфальских дворян, генеалогическое дерево которых лежит предо мною, когда я пишу эти строки. Я знавала двух бабушкиных сестер: Екатерину, вышедшую замуж за помещика Войта, и Марию, оставшуюся в девушках. Затем помню одного Вульфферта, который был несколько трехлетья Лубенским уездным предводителем дворянства Полтавской губернии. Другой родственник бабушки, полковник гвардии, был личным адъютантом великого князя Михаила Николаевича.

В 1808 году у Евстафия Ивановича было два сына: старший Александр и младший Андрей (впоследствии мой отец). Как многие зажиточные семьи того времени, семья моего деда беспечно жила в Москве, несмотря на угрожавшие ей бедствия, начавшиеся с 1805 года. Многие не замечали и не хотели замечать тучи, медленно надвигавшейся на Россию.

В 1812 году прошел слух, что французы приближаются к Москве. Как известно, жители Москвы, не выехавшие рань-

ше из города, в паническом страхе оставляли свои дома и имущество и с большими затруднениями, не находя лошадей и обозов, покидали Москву. Так было и с семьей моего деда. Увлеченная общей паникой, бабушка Елизавета Ивановна решила оставить Москву и в карете на долгих выехала в Владимирскую губернию, в имение князя Шаховского. Какое имела она отношение к Шаховским – не знаю.

Евстафий Иванович остался один с своим старым слугою, надеясь спасти хотя бы часть своего имущества. Но и ему вскоре пришлось обратиться в бегство. Французы уже входили в Москву, и во всех углах города вспыхивали пожары. Оба его дома на Покровке сгорели на его глазах. Остаться долее было невозможно, и он решил бежать.

Ночью, переодетый в простое платье, с двумя пистолетами известной старинной фабрики Lazaro-Sazarini, единственно уцелевшими из всего его имущества, он вышел из дому. Старый его слуга остался в городе.

На улицах было темно и пусто. В воздухе стоял смрад и пахло гарью. Евстафий Иванович благополучно выбрался из города и скорым шагом шел по Владимирскому тракту. По дороге попадались подводы с ранеными; в деревнях, где он останавливался, передавали ему рассказы о французах, о бегстве помещиков, о том, как они зарывали золото, серебро и прочие драгоценности. Крестьяне жаловались на опустошение полей, на разорение и обиды.

Вдали виднелось красное зарево, разлитое по всему небу,

и смрад в воздухе красноречиво говорил ему, что вся Москва была охвачена полымем.

Не чувствуя усталости, он шел во Владимирскую губернию, куда уехала его семья. Мысль, что он остался нищим, угнетала его; тревога о том, доехала ли его семья благополучно, не давала ему покоя. Так шел он несколько дней. Много пережил он за это время, как говорил мне мой отец.

Не суждено было ему благополучно окончить свое путешествие. По дороге он встретил кордон французских солдат и был ими арестован. Расспросив, кто он, и узнав от него, что он знает французский и немецкий языки, они повели его за собой, как переводчика, отняв последнее его имущество – два пистолета.

Сколько времени он находился в плену – мне неизвестно; бежал ли он из плена, или его добровольно отпустили, мне тоже неизвестно, но знаю, что в конце концов он добрал до имения Шаховских, где и нашел свою семью.

По окончании кампании семья деда вернулась в Москву и поселилась на окраине города в маленьком низеньком домике, похожем скорее на избу. Окна зимой леденели, щели их затыкали тряпками. Домик тонул в сугробах снега. Бедность была полная. Мне говорили, что бабушка шила ридикюли и продавала их.

Наконец правительство уплатило Евстафию Ивановичу всего три тысячи ассигнациями за убытки, нанесенные войной. Никакие хлопоты не помогли ему получить большую

сумму, и он должен был помириться с этим вознаграждением: правительство наше не имело средств уплачивать убытки не только полным рублем, но даже и десятою его частью, так как император Александр I, будучи в Париже, подарил французам военную контрибуцию.

Продав место из-под сгоревших домов и присоединив к этим деньгам полученные им от правительства три тысячи рублей, дед снова поступил на какую-то службу и занялся делами. Дела его понемногу поправились, но прежнего состояния он уже никогда не мог вернуть.

Когда подросли мальчики, они были отданы в лучший в то время пансион Шлёцера; затем в возрасте 15–16 лет они поступили в Московский университет, на медицинский факультет. Оба рослые, красивые и способные, они к 19–20 годам окончили университет. По окончании курса отец мой в качестве врача поехал в Париж с семьей Тургеневых. Иван Сергеевич был тогда еще мальчиком. Железной дороги еще не было, и ехали в экипажах. Отец мой всегда вспоминал об этом путешествии, как о самом приятном, поэтическом времени.

Два года прожил отец в Париже. Он с особенным интересом рассказывал про это время. Он посещал лекции и совершенствовался в своей специальности. По вечерам он слушал итальянскую оперу, в которой участвовала известная певица того времени Малибран. Отец был очень музыкален; больше всего он любил итальянскую музыку и нередко сам прини-

мал участие в известных любительских итальянских операх, устраиваемых в те времена в Москве княгиней Волконской.

Семья наша сохранила навсегда отношения с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Еще в детстве помню я, как всякий раз, когда приезжал в Москву Тургенев, он бывал у нас. Также помню и бесконечные разговоры за обедом об охоте в Тульской и Орловской губерниях, и как я внимательно слушала рассказы Тургенева о красивых местностях, о закате солнца, об умной охотничьей собаке... И меня влекло в этот неведомый мир, в этот молодой березник, где он стоял на весенней тяге вальдшнепов, которую он так красноречиво и любовно описывал отцу.

Вернувшись из Парижа, отец поступил на государственную службу в сенат. В здании Кремлевского дворца ему отвели казенную квартиру. В царствование императора Николая Павловича отец мой получил придворное звание гофмедика. Затем он хлопотал о восстановлении дворянского достоинства и герба своего, так как все сгорело в 12-м году, что и было возвращено обоим братьям.

Отец перевез своих родителей к себе. Евстафий Иванович вскоре умер, а мать его, Елизавета Ивановна, жила у моего отца и после его женитьбы.

II. Прадед мой по матери гр. П. В. Завадовский

Мать моя принадлежала к древнему дворянскому роду. Она была дочь Александра Михайловича Исленьева и княгини Козловской, рожденной графини Завадовской.

Прадед мой по крови, граф Петр Васильевич Завадовский, был известный государственный деятель и временщик Екатерины II. Я много читала о нем и слышала от деда Исленьева и многое в дальнейшем изложении заимствую из записок Листовского, женатого на внучке гр. П. В. Завадовского.

Завадовский принадлежал к числу тех талантливых людей, которых умела отличать своим орлиным взглядом Екатерина. Еще бывши молодым, он служил при графе Румянцеве, который правил тогда Малороссией.

Ничтожный случай выдвинул Завадовского по службе. Однажды, по поручению графа Румянцева, Завадовский написал докладную записку по одному секретному делу; она должна была быть подана императрице. Прочитав записку, Румянцев одобрил ее.

– Перебели ее, – приказал он.

Когда Завадовский переписал ее, она была послана Екатерине.

– Кто составил эту записку? – спросила императрица. – Первую деловую записку читала с удовольствием.

Ей доложили, что это был Завадовский.

После этого Завадовский был назначен правителем секретной канцелярии графа Румянцева.

Позднее уже Завадовский принимал участие в Турецкой войне в 1769 г. Он участвовал в битве при Ларге и Кагуле, где наш восемнадцатитысячный корпус разбил полтораста тысяч турок.

Кучук-Кайнарджийский договор был написан Завадовский совместно с графом Воронцовым.

В Московском, вероятно, Румянцевском музее стояла «статуя мира», где изображен граф Румянцев и его помощники: Воронцов, Безбородко и Завадовский.

Сохранилось следующее предание.

После окончания войны Румянцев отказался от парадного въезда. Он ехал в Москве к императрице в придворной карете. Против него сидел Завадовский уже в чине полковника. Императрица жила тогда у Пречистенских ворот в доме князя Голицына.

Екатерина встретила победителя на крыльце и поцеловала его. Затем она обратила внимание на Завадовского, который стоял в стороне, пораженный ее величественной простотой. Румянцев представил Завадовского, как человека, который десять лет разделял с ним труды. Императрица обратила внимание не только на красивого молодого полковника, но и на георгиевский крест, висевший на груди его, и тут же подарила ему бриллиантовый перстень со своим именем.

Вскоре Завадовский был произведен в генерал-майоры и затем пожалован в генерал-адъютанты. Он жил во дворце. Сближение это произошло в 1775 году.

Так прошло два года. У Завадовского было много завистников и недоброжелателей, и двор с его интригами начинал тяготить его. Он писал своему другу Семену Романовичу Воронцову, который жил тогда в Италии:

«Познал я двор и людей с худой стороны, но не изменюсь нравом ни для чего, ибо ничем не прельщаюсь. В моем состоянии надобно ослиное терпение». В другом письме он писал своему другу. «Кротость и умеренность не годятся при дворе; почитая всякого, сам от всех будешь презрен».

В 1777 году Завадовский, по совету Воронцова, уехал в деревню, где, отдыхая, наслаждался чтением, охотой и хозяйством. Но недолго пришлось ему пожить в деревне; вскоре он был возвращен Екатериною в столицу, где и был завален делами.

Деятельность Завадовского была очень обширна. Он участвовал во всех реформах второй половины царствования Екатерины. По словам историка Богдановича, Завадовский в течение восьми лет сделал для государства более, чем было сделано во все предшествующее столетие.

Завадовскому было поручено заведование Пажеским корпусом, который не был тогда военным, и другими школами придворного ведомства. Он участвовал в преобразовании делопроизводства Сената. Например, в прежнее время

чтение какого-либо дела длилось 5–6 недель, и само собою разумеется, что содержание его не могло ясно удержаться в памяти сенаторов, чем ловко пользовалась канцелярия.

В 1784 году он был председателем комиссии по сооружению Исаакиевского собора. Затем основание Медико-Хирургической Академии принадлежит ему. Он посылал молодых медиков в Лондон и Париж.

Его любимое занятие было народное образование. В 25 губерниях Завадовский основал народные училища, что главным образом и ценила императрица.

Завадовскому за его деятельность были пожалованы Екатериною графский титул и имение в Малороссии в шесть тысяч душ, смежное с его родовым. Он назвал его «Екатеринодар», но Павел, вступив на престол, переименовал в «Ляличи», что по-малороссийски значит «игрушка».

Однажды Завадовский при Екатерине похвалил постройку известного архитектора Гваренги. Тогда императрица поручила Гваренги начертить план дворца и других построек и начать работу в Ляличах, на что Завадовский заметил:

– В сих хоромах, матушка, вороны будут летать, – давая понять этим, что он одинок, и жить там будет некому.

– Ну, а я так хочу, – сказала императрица.

И дворец и служебные постройки были воздвигнуты. Эта великолепная усадьба славилась во всем округе.

Завадовский задумал жениться очень поздно, 48 лет, на красавице, молодой графине Апраксиной. Он писал о своем

намерении императрице. Екатерина не любила Апраксиных и писала:

«Жаль мне честного, доброго Петра Васильевича, берет овечку из паршивого стада».

На что Завадовский отвечал: «Беру овечку из паршивого стада, но на свой дух надеюсь твердо, что проказа ко мне никак не пристанет, наподобие, как вынудое из грязи и очищенное от оной золото ничьих рук не марает... Благословите, всеподданнейше прошу, мой новый жребий матерним благословением. От вас имею вся благая жизни. Вы – мой покров и упование».

Императрица прислала Завадовскому образ Спасителя, а невеста его была пожалована фрейлиной.

Сама Екатерина путешествовала в это время по югу России. Свадьба Завадовского была 30-го апреля 1787 года.

Существует портрет графини Завадовской, изображенной с ее маленькой дочерью Татьяной. Его писал известный художник Лампи. Эта красивая картина, как мне говорили, находилась во дворце в. к. Константина Николаевича, но, где она находится в настоящее время, мне неизвестно.

Семейная жизнь Завадовского сложилась несчастливо. Старшие дети умирали; в особенности горевал он о смерти своей старшей дочери, Татьяны, умершей 4-х лет.

Он писал Воронцову: «Сколько я несчастливый отец, на что мне говорить! Шестерых детей слышал только первый голос и, подержав на руках, в гроб положил». «Все мое бла-

гополучие и счастье отца бесподобная дочь унесла с собою в гроб. Хотя живу, но, как громом пораженный, сам не чувствую моей жизни».

Усиленный труд и постоянные занятия спасли его от полнейшего отчаяния.

Завадовский устал, его тянуло в деревню, он любил свои милые Ляличи, но жена его не разделяла его вкусов: она не любила деревни, вела светскую придворную жизнь, и никакая роскошь в Ляличах не примиряла ее с деревней.

Ее муж был страстный охотник. Суражский уезд, где находилось его имение, был очень глухой и славился всяким зверем и дичью. Завадовский всей душой стремился к уединению, тем более, что весть о смерти обожаемой императрицы застала его больным.

В начале своего царствования Павел очень милостиво отнесся к Завадовскому; он прислал своего пажа справиться о его здоровье и в день коронавания пожаловал ему орден Андрея Первозванного. В 1799 г., в феврале, вся императорская фамилия посетила его бал, причем Павел, привыкший ложиться спать в 10 часов, уехал с бала, но семья осталась ужинать.

Мария Федоровна имела большое доверие к графине Завадовской и часто, запершись с ней, плакала о чем-либо огорчившем ее.

Деятельность Завадовского уменьшилась, хотя он и оставался в Сенате, в банке и в разных комиссиях, но любимое

его дело, народное просвещение, было не в его руках. Он скучал, хандрил и писал Воронцову:

«Я не имею никакого дела и места. Титул больше пустой, чем деятельный, и человек, как всякий металл, ржавеет без употребления».

Притом Завадовского угнетал вспыльчивый, подозрительный нрав Павла, и он мечтал об отставке, которой добивался всячески, но императрица Мария Федоровна была против его отставки, и Павел долго на нее не соглашался.

Завадовский знал, что вся его переписка с Воронцовым читается, и что недоброжелатели всячески следят за ним.

Он писал Воронцову:

«Подавляюсь грустию и унынием и сильно желаю унести мои кости, чтоб не были зарыты в ограде Невской».

Наконец ему удалось получить увольнение. Завадовский был в опале. Екатерининские люди все более и более редели вокруг престола императора.

Граф был счастлив снова вернуться в свои Ляличи. Он с наслаждением принялся за хозяйство. Он любил садоводство и сам занимался им, заканчивал свои постройки и много читал. Но жена его очень скучала в дереве и оплакивала свою прежнюю петербургскую придворную жизнь, как говорил мне мой дед.

Любопытный случай дает понятие о тогдашних порядках.

Недоброжелатели Завадовского донесли Павлу, что граф живет выше его. Это означало, что Михайловский дворец

стоит ниже дома графа. К счастью, Завадовский был предупрежден вовремя и успел велеть засыпать подвальный этаж и террасу возле дома, от чего дом вышел аршином ниже. Насыпь эта осталась и по сию пору.

Прошло два года с тех пор, как Завадовский покинул столицу. Смерть Павла внесла большую перемену в жизнь графа. В 1801 году, в марте месяце, Завадовский получил с фельдъегерем из Петербурга от Александра I рескрипт, написанный его рукой:

«Граф Петр Васильевич. При самом начале вступления на престол я вспомнил и верную вашу службу и дарования ваши, кои на пользу ее вы всегда обращали. В сем убеждении желаю, чтобы вы поспешили приехать сюда принять уверение изустное, что я пребываю вам доброжелательный Александр».

Взволнованный и растроганный до слез Завадовский, поведав жене свою радость, тотчас послал гонца в Сураж за исправником, чтобы распорядиться насчет лошадей по почтовому тракту и ехать в столицу.

Охотник, скакавший верхом за исправником, нашел его играющим в карты. Надо сказать, что исправник лучше всех знал, что граф Завадовский в опале; он пользовался его опальным положением, притесняя его, где только было возможно, желая нажиться насчет бывшего вельможи.

Исправник велел сказать, что он занят и не может прие-

хать.

– Переменить коня, – приказал Завадовский, – и сказать ему, чтобы немедленно ехал.

И снова гонец поскакал в Сураж. Исправник явился с недовольным видом, причем объяснил, что он человек занятой, и нельзя посылать за ним до ночам.

– Мне нужно заготовить лошадей по тракту на Смоленск, – сказал Завадовский, показывая рескрипт воцарившегося государя.

– Простите, виноват, – пав на колени, произнес испуганный исправник.

Взяточник-исправник был выслан в Вятку, но вскоре, по настоянию Завадовского же, был прощен.

По прибытии в Петербург, Завадовский был милостиво принят государем и назначен присутствующим в Сенате председателем комиссии составления законов. Он снова с горячностью принялся за труд. Передовые взгляды его видны из письма его к графу Воронцову; он пишет своему другу:

«Тучи книг теоретического законовествования, которое не клеится с русским бытом... Непомерно хочется истребить кнут, которого я не видал ни в натуре, ни в действии, но одно наименование поднимало и поднимает во мне всю ненависть».

Мечте его суждено было осуществиться лишь через 50 лет после его смерти.

Завадовский снова вернулся к своей любимой деятель-

ное! и. Он был первым в России министром народного просвещения. По его запискам и письмам за это время видно, как он устал от службы и как плохо себя чувствовал. Ему было уже 72 года, и здоровье его сильно пошатнулось. Он снова мечтал вернуться в деревню, но это было невозможно.

Дети его подрастали. У него было тогда три дочери и два сына. Император Александр I выразил ему свое благоволение: сыновья, отроки, были пожалованы в камер-юнкеры; старшая дочь София – в фрейлины. Жена его была пожалована кавалерственной дамой ордена святой Екатерины; сам он в 1805 году получил алмазные знаки Андрея Первозванного.

Завадовский умер в 1812 году и похоронен в Александро-Невской Лавре.

Род Завадовских прекратился. Старший сын умер холостым. Второй был женат и имел сына, который умер 16-ти лет. Ляличи были проданы сначала Энгельгардту, потом перешли к барону Черкасову, затем проданы купцу Самыкову.

Один поэт-путешественник, посетив в шестидесятых годах Ляличи, написал следующие стихи, включив в них и местные легенды:

Вот здесь великая царица
Приют любимцу создала,
Сюда искусство созвала,
И все, чем блещет лишь столица,
В немую глушь перенесла.

План начертал Гваренги смелый,
Возник дворец, воздвигнут храм,
Красивых зданий город целый
Везде виднеет здесь и там.
Великолепные чертоги,
Ротонда, зал роскошных ряд...
Со стен на путника глядят
С ковров красавицы и боги,
И, полный вод, лугов и теней,
Обширный парк облег кругом;
Киоски и беседки в нем.
И бегают стада оленей
В зверинце темном и густом.
Под куполом, на возвышеньи
Руки художника творенье –
Стоял Румянцева колосс.
Но все ток времени унес:
Еврей Румянцева увез,
Широкий двор травой порос,
И воцарилось запустенье
В дворце и парке. Только там
Порою бродит по ночам
Жена под черным покрывалом,
В одежде черной. Кто она?
Идет по опустевшим залам.
Ее походка чуть слышна,
Да платья шум, да в мгле зеркал
Порою лик ее мелькал.
Еще видение другое:

По парку ездит в час ночной
Карета. Стук ее глухой
Далеко слышен. Что такое –
Карета та? Кто в ней сидит?
Молва в народе говорит,
Что будто в ней сама царица
С своим любимцем в парке мчится.

III. Дед и бабушка по матери

Старшая дочь Завадовского, Софья Петровна, 17 лет вышла замуж за князя Козловского и прижила с ним сына, который умер в молодых годах. Она была очень несчастлива с своим мужем, который страдал пороком алкоголизма.

Через несколько лет после своего замужества она встретила в петербургском свете с Александром Михайловичем Исленьевым. Они полюбили друг друга и тайно обвенчались в его имении Красном, Тульской губернии. Вся эта история наделала много шума, как в свете, так и при дворе, так как Софья Петровна была в девушках фрейлиной.

По жалобе князя Козловского, брак этот был признан незаконным, а о разводе в те времена и помина не было.

Софья Петровна была очень религиозна, и обряд венчания поставлен был ею необходимым условием. «Перед Богом я жена его», – говорила она. И, действительно, своей чистой, уединенной семейной жизнью до самой своей смерти она доказала это.

Обвенчавшись, они уехали в Ляличи... Графа, отца, уже не было в живых, а мать простила и приняла их.

Дед мой, Александр Михайлович Исленьев, до своей женитьбы служил в военной службе и участвовал в кампании 1812 года. Он поступил в 1810 году юнкером в лейб-гвардии Преображенский полк; потом в 1811 г. во вновь образовав-

шийся лейб-гвардии Московский полк.

Он участвовал в сражениях при Смоленске, Вязьме и Бородине. После сражения при Бородине был произведен в офицеры.

В 1813 г. он принимал участие в осаде крепости Модлин (Иван-город) и после войны был в Киеве адъютантом генерала Михаила Федоровича Орлова.

Его троюродный брат Николай Александрович Исленьев, о котором я слыхала от своего деда, был командиром Преображенского полка во времена Николая Павловича. Он был известен тем, что был в числе усмирявших бунт декабристов на Сенатской площади. Он был генерал-адъютантом и женат на красавице графине Миних.

Дед мой, Александр Михайлович, когда увез княгиню Козловскую, вышел в 1820 г. в отставку в чине капитана гвардии и поселился в Ляличах.

Сколько времени они жили в Ляличах, я не знаю. Деду было необходимо заняться делами своих родовых имений, которые находились в Тульской губернии, и он решил переселиться в имение Красное.

С большим сожалением покинула Софья Петровна свое родное гнездо, где все напоминало ей отца, память которого она чтит выше всего.

Дедушка был человек старого закала: хороший хозяин, крепостник, и иногда даже жестокий, как я слыхала про него. Отличительная черта его характера была жизненная энер-

гия, которую он сохранил до глубокой старости. Он был страстный игрок, охотник, любитель цыган и цыганского пенья. В околотке славилась его псовая охота.

Дед описан в «Детстве» и «Отрочестве» в лице отца Николеньки Иртеньева. Глава, озаглавленная «Что за человек был мой отец», вполне характеризует А. М. Исленьева. Приведу несколько строк из этой главы:

«Он... имел... неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула».

«Две главные страсти его в жизни были карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий... Он умел... нравиться всем... в особенности же тем, которым хотел нравиться».

Дед имел хорошее состояние так же, как и бабушка, но, к сожалению, одно именье за другим уходило в уплату карточного долга. Одно Красное, казалось, было неприкосновенно.

Страсть к игре была так сильна, что даже жена его, имевшая на него большое влияние, как мне рассказывала тетушка Льва Николаевича Т. А. Ергольская, не могла удержать его от игры. Всякий раз, как он уезжал в город, Софья Петровна знала, что он будет играть, и проигрыши, которые постепенно вели их к разорению, вносили в их семейную жизнь тревогу и горечь.

Однажды, поджидая своего мужа, уехавшего с утра в город, Софья Петровна услышала в окно конский топот. Это

был верховой из города с письмом от бабушки. Он писал, что Красное проиграно, и что он пишет ей об этом, не решаясь объявлять ей лично эту ужасную новость.

Многое пережила в эту ночь несчастная жена его. Но судьба, видно, сжалилась над ней, и к утру был другой гонец с известием, что Красное отыграно. Близкий друг деда, Софья Ивановна Писарева, дала ему 4 тысячи, и деду удалось отыграть Красное.

И, действительно, нередко случалось так, что бабушка проигрывал в один вечер по целому состоянию и нередко отыгрывал его. Он ставил на карту брильянты бабушки, крепостных, красивых девок, борзых собак и кровных лошадей.

Сосед его и друг, Павел Александрович Офросимов, тульский крупный помещик, рассказывал, что счастье в игре бабушки иногда бывало сказочно.

«На простынях золото и серебро выносили», – говорил он.

Александр Михайлович Исленьев, вследствие знакомства с многими декабристами, был арестован и сослан в Холмогоры. Но за отсутствием всяких улик в вредных с ними сношениях, он был вскоре освобожден.хлопотать об этом ездила в Петербург Софья Петровна...

С тех пор она безвыездно жила в деревне и единственно с кем сохранила прежние дружеские сношения, это с семьей Толстых, так как бабушка мой был на «ты» с Николаем Ильичей, отцом Льва Николаевича.

Бабушка посвятила свою жизнь всецело детям, которых

было уже пять.

Татьяна Александровна Ергольская рассказывала мне про нее. Она знавала ее в молодости, она говорила, что Софья Петровна была очень женственна, нежна и хороша собою, но что красоту ее портил большой рот. Она имела очень хорошее влияние на своего мужа и не раз удерживала его от привычной суровости с крепостными. Она, как и отец ее, возмущалась всяким насилием. Мне рассказывали про такой случай.

Однажды доезжачий Степка спяна в чем-то провинился на охоте, но в чем именно, не помню, знаю только, что это было при травле волка. Охота была для дедушки одним из занятий, имевших для него большое значение. Дед сильно вспылил на Степку; его бешеный крик разносился по лесу. Он велел привязать доезжачего к дереву и наказать его арапником.

Софья Петровна, принимавшая участие в охоте, узнала об этом. Спрыгнув с седла, она побежала к деду; он стоял на опушке леса. Она увидела его разгоряченное, разгневанное лицо, а поодаль Степку без шапки, с растрепанными волосами и с пьяным, жалким выражением лица. Софья Петровна с такой энергией просила за Степку, что деду пришлось уступить и простить его.

Тот же Степка, как мне рассказывали, не раз ворчал на дедушку во время охоты, когда дед, бывало, промахнется в чем-нибудь.

– Ну вот! – кричал Степка, – дождалось! Чего уж хуже осрамились! Таперича пойдут говорить, что Ахросимовские собаки резвее наших! – чуть не плача, ворчал Степка.

И дедушка слушал его молча и понимал, за что негодовал на него доезжачий.

Жизнь в деревне сложилась у них, как у всех зажиточных помещиков тех времен. Жизнь широкая, но без роскоши. Всего было вдоволь: лошадей, людей целая дворня, девичья, полная пялишниц, старший дворецкий, русские няньки; при старших детях француженка Мими, описанная в «Детстве» и «Отрочестве».

Дом был большой, но старый, с большим липовым садом. В гостиных – жесткая, высокая мебель из красного дерева, в детских – люльки домашних столяров. Все носило на себе отпечаток старинной строгой простоты.

Так прожили они 15 лет, когда внезапно деда постигло несчастье. Софья Петровна заболела и умерла, оставив мужу трех дочерей и трех сыновей.

Дед был в отчаянии, ему казалось, что с нею он потерял все. По часам он просиживал перед ее портретом, написанным масляными красками.

Дед остался жить в деревне и усиленно занимался воспитанием сыновей. Усыновить детей ему не удалось, несмотря на всевозможные хлопоты. Дети носили фамилию Иславиных, что ставило их впоследствии в неловкое положение. Слышала я от матери, что князь Козловский предлагал усы-

новить детей с тем, чтобы ему за каждого ребенка платили по сто тысяч. Но этого не сделали.

Старший сын, Владимир, был известный деятель и очень образованный человек. Он был женат на Юлии Михайловне Кириаковой, очень милой и красивой девушке. Он и второй брат, Михаил Александрович, дослужились до высоких чинов и сами создали себе положение.

Жизнь третьего сына, Константина, сложилась неудачно: он нигде не служил, не имел состояния, не был женат и не имел чинов, которые помогали бы ему в его фальшивом положении незаконнорожденного. Впоследствии уже дядя работал, по рекомендации Льва Николаевича, у Каткова, в редакции «Московских ведомостей» и «Русского вестника». В семье Катковых он был «свой человек» и очень любим так же, как и в доме графа С. Д. Шереметева, у которого он за несколько лет до своей смерти служил в его Странноприимном доме. Дядя знал всю Москву известного круга и имел много друзей.

После смерти дяди граф Шереметев написал о нем брошюру. Он вложил в нее столько души и симпатии, что я без слез не могла читать ее.

Граф пишет, между прочим, характеризуя дядю: «Он был осколком минувшего хорошего времени... и до конца дней своих остался верным старым традициям и привычкам...» «Так он жил и таковым ушел в могилу, оставаясь верным вере отцов своих и соединяя сочувствие к прошлому с стрем-

лениями к просветительному движению, сохраняя свою особую необычную независимость, которая без всякой гордыни являла одну из самых привлекательных сторон этого светлого и чистого сердцем старца, вечно юного и всему сочувствующего». «Удивительная порядочность, чуткость, благовоспитанность, музыкальный дар – вот отличительные свойства Иславина».

IV. Жизнь матери до замужества

Горе деда понемногу забывалось, и через несколько лет он женился на дочери тульского помещика Софии Александровне Ждановой.

Три дочери дедушки от первого брака были девочки от 12 до 17 лет, и появление в доме молодой мачехи было встречено недружелюбно. В семье возникали часто раздоры. У Софии Александровны, которая описана в «Детстве» и «Отрочестве» Льва Николаевича под названием *La belle Flamande*¹, пошли свои дети, и невольно интересы ее сосредоточились на ее собственных детях, хотя она и была хорошая женщина и сохранила лучшие отношения к моей матери до конца своей жизни. Старая Мими оставалась в доме и при Софии Александровне.

Дочери воспитывались дома по-старинному. Главное внимание было обращено на французский язык, музыку и танцы. Всему этому обучала Мими. В деревне жили безвыездно, довольствуясь обществом местных помещиков.

Именье дедушки, Красное, находилось в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны Толстых, и мать рассказывала мне, как они езжали друг к другу по праздникам и оставались гостить по неделям. Возили с собой поваров, лакеев, горничных и весь этот люд ютился в коридорах и каморках; спали на

¹ Прекрасная фламандка (фр.)

полу, подстелив войлок или рогожку, привычные к неряшливой простоте.

Прошло два года, и деду пришлось изменить свой образ жизни и переехать на зиму в Тулу. Дочери были на возрасте невест, и оставаться в деревне было трудно; к тому же зимою предстояли дворянские выборы.

Выборы в губернском городе в те времена имели значение не только служебное, но и как использование выездов для замужества дочерей. Немногие помещики уезжали на зиму в Москву, «ярмарку невест», большинство оставались в своих имениях или переезжали в губернский город. Железных дорог тогда и помина не было, шоссейных весьма мало, и грязные проселочные дороги ставили большую преграду в способе передвижения.

Осенью в Туле, на Киевской улице, был нанят большой одноэтажный дом-особняк, и в ноябре вся семья Исленьевых переехала в Тулу. На 20-ти, 30-ти подводах везли мебель, домашнюю утварь, провизию и многочисленную дворню. В эту зиму был большой съезд помещиков, готовились балы и другие увеселения.

Старшая дочь, Вера, была очень красива, что я всегда слышала от Льва Николаевича. Высокая, стройная, с темными глазами, она очень напоминала свою бабушку Апраксину. Вторая, Надежда, не была красива, но привлекала своей простотой и веселостью. Моя мать была тогда еще девочка-подросток.

Дедушка был большой хлебосол, любил хорошо принять у себя и, кроме определенных вечеров и балов, принимал и за-просто, как принято было говорить «на огонек». Этот весьма оригинальный способ приглашения вполне заслуживал на-звание «на огонек». На окна, выходящие на улицу, ставили высокие подсвечники с зажженными восковыми свечами, и это считалось условным знаком между знакомыми, что они дома и ожидают к себе тех, кто пожелает их видеть.

И этот способ приглашения был так принят, что обыкно-венно, когда в городе не предвиделся бал или концерт, что, конечно, было известно заранее, то, как говорила мне мать, посылали казачка Петьку посмотреть, у кого из знакомых за-жжены свечи, и Петька, надев общий тулуп и валенки, бежал к дому Казариновых, Мининых и прочих и докладывал, в каком доме выставлены свечи. В душе своей Петька прини-мал большое участие в том, где именно стоят подсвечники, и куда именно барышни поедут, потому что он знал, куда им больше хотелось ехать.

Когда это был желанный дом, Петька торжественно вы-кликал господ, конечно, не по фамилии их, он и не знал ее, а по имени их имения.

– У Малаховских огонь в окнах горит! – докладывал он, зорко наблюдая за тем, как барышни примут это.

Он не раз слышал разговоры их, они не стеснялись его при-сутствия и, почти не замечая его, при нем выражали или ра-дость, или сожаление кого-либо видеть в этот вечер. За на-

стоящего человека Петька в доме не считался, а был так себе Петька, да и только.

Его должности в доме были самые разнообразные. Он был «затычка» всех дел старшей прислуги. Послать ли куда, достать ли что, набить ли трубку табаком, или словить петуха или молодую белку детям, – говорилось обыкновенно: «Да позовите Петьку».

Петька знал отлично все, что делается в доме. Он был добродушно глуповат, с торчащими вихрами на голове, бил часто посуду по своей неловкости, за что и получал подзатыльники от старших. За обедом, в куртке с светлыми пуговицами и с павлиньим хвостом в руках, он отмахивал мух за барским столом. Старшему лакею Никите было поручено обучать Петьку лакейской должности. Выправка его давалась с трудом с обеих сторон. Петька 13-ти лет был взят прямо из избы. Грязный, неряшливый мальчишка, он не умел ни войти в комнату, как следует, ни ответить на вопросы и, как дикий зверек, в первое время долго не понимал, что от него требовалось. Бывало, пошлет его Никита узнать, встают ли господа, Петька придет и скажет: «сплят».

Никита строго посмотрит на него и, взяв его за ухо, приговаривает:

– Почивают, почивают, а не спят.

В другой раз Петька скажет про господ: «поели», и снова начинается муштровка:

– Покушали, покушали. Господа не едят, а кушают. Ду-

рень ты этакий, – учил его Никита.

Много таких типов встречалось в те времена в старинных барских домах, и из них нередко выходили люди умелые и преданные господам.

Эта зима 1837 года для деда была особенно удачная. Он много выиграл в карты, и две его дочери были помолвлены. В Красном были уже посажены пядишницы и швеи шить барышням приданое. Обыкновенно в старину начинали шить приданое дочерям, когда невеста была еще в возрасте ребенка. Так было и теперь, многое уже было заготовлено.

Дворня была взволнована известием о помолвке барышень. В девичьей шло оживление. Старшая горничная Глафира раздавала пядишницам нарезанные куски тонкого батиста для вышивания.

Каждой девке был задан урок, который она должна была выполнить в течение дня. Разговор за работой не полагался, это отвлекало бы их внимание, но нередко, когда уходила Глафира, слышалась заунывная песня со словами:

Матушка родимая
На горе родила.
Худым меня счастьем,
Счастьем наградила.

Они тянули вполголоса песню со второй, иногда очень недурными голосами, и в этой песне чувствовалась жизнь, и проглядывали радость, печаль и любовь, часто затаенная

и подавленная. Не слыша приближающихся шагов Глафиры, какая-нибудь девка вдруг затягивала веселую хоровую:

Во лужочках, во лугах,
Стоят девки во кружках,
По другую по сторонку
Стоят удалы молодцы...

И ее песнь подхватывали веселые, молодые голоса, и на всех лицах появлялась задорная улыбка.

V. Замужество матери

Старшая дочь дедушки, Вера, вышла за Волынского помещика, Михаила Петровича Кузминского, приехавшего из Петербурга, где он служил.

Вторая, Надежда, вышла за тульского уездного предводителя дворянства, помещика Карновича.

У Веры Александровны было трое детей: две дочери и один сын, Александр. После нескольких лет счастливого супружества она овдовела. Ее муж умер от холеры, свирепствовавшей в 1847 году в Воронеже, где они жили.

Во втором браке она была замужем за крупным воронежским помещиком, Вячеславом Ивановичем Шидловским, и имела много детей.

В доме Исленьевых оставалась младшая дочь, Любовь, и дети от второго брака.

Сыновья деда поступили в Дерптский университет, и следующую зиму семья провела в деревне. Но Софья Александровна, как и покойная бабушка, тревожно относилась к частым поездкам своего мужа в город и следующую зиму решила провести в Туле, что и было исполнено.

Меньшей дочери, Любочке, было тогда 15 лет. Она, так же как и старшая сестра ее, была высокого роста и обещала быть красивой девушкой, с большими черными глазами, толстой косой и необыкновенно нежным цветом лица.

Оставшись дома без сестер, она чувствовала себя очень одинокой и все вечера просиживала с преданной Мими. Выезжать ей было рано, а о ее замужестве еще никто и не помышлял. Она продолжала свои уроки с Мими, а русские уроки преподавал уже не полуграмотный семинарист, бывший в деревне, а настоящий учитель.

Эта зима была особенно памятна Любочке.

В начале зимы она сильно заболела. По тогдашнему определению, у нее была горячка и настолько серьезная, что жизнь ее была в опасности. Все местные доктора были призваны к постели больной, но болезнь не улучшалась, когда отец Любы случайно узнал, что в Туле, проездом в Орловскую губернию, остановился московский врач. Исленьев пригласил его к дочери. Этот врач был Андрей Евстафьевич Берс. Он ехал к Тургеневу в его орловское имение.

Болезнь Любочки приковала Андрея Евстафьевича к постели больной. При виде умирающей, молодой, цветущей девушки, он приложил все свое знание и силы, чтобы спасти ее.

Болезнь затянулась, и Андрей Евстафьевич уже не думал о своей поездке. Он оставался в Туле, пока Любочка не стала снова возвращаться к жизни и могла подняться на ноги. Он уже освоился с домом Исленьевых и был у них принят, как свой. Когда, наконец, он снова собрался в путь в Орловскую губернию, с него взяли слово, что он непременно побывает у них на обратном пути. Но Андрей Евстафьевич и без этого

намеревался посетить их, так как уже не шутя был увлечен своей пациенткой.

Любочка после его отъезда почувствовала в душе своей как бы пустоту. Не отдавая себе отчета в своих чувствах, она во время своей болезни привыкла к его заботливому, ласковому отношению к себе, чем она далеко не была избалована дома, и, лишившись этой ласковой заботы, она скучала первое время после его отъезда.

Наступили праздники рождества. Любочка была еще слаба после перенесенной ею болезни и мало выходила. По вечерам в виде развлечения ей позволено было гадать с молодыми горничными, что очень забавляло ее.

Приносили петуха, лили воск, пели свадебные песни, причем, пропев хором песню, вытаскивали из прикрытой чашки чье-либо кольцо. Песня же предвещала либо свадьбу, либо горе, либо дальний путь, смотря по словам ее.

Одно из гаданий, как это ни странно сказать, сыграло значительную роль в судьбе моей будущей матери.

Опишу его с ее слов.

Накануне Нового года девушки тихонько от барышни поставили ей под кровать глиняную чашку с водой, положив поверх ее дощечки, что изображало мостик. Это гаданье означало, что если видеть во сне своего суженого, то он должен провести ее по мостику.

Любочке это гаданье было неизвестно.

На другое утро, войдя в комнату Любовь Александровны,

девушки спросили, что она видела во сне.

– Я видела сон, – говорила Любочка, – что строят дом, и мы с Андреем Евстафьевичем осматриваем его. Идем дальше, а тут уже не дом, а какие-то развалины, и через груды камней лежит узкая доска. Я должна перейти ее, а Андрей Евстафьевич почему-то уже стоит по другой стороне доски. Я боюсь идти, а он уговаривает меня, подает мне руку, и я перехожу.

Горничные дружно засмеялись.

– Поздравляем вас, барышня, в этом году быть вам за Андреем Евстафьевичем, вот тогда увидите, – говорили они.

С тех пор, как ни странно, рассказывала мне впоследствии мать, она стала иначе думать об Андрее Евстафьевиче. Ее юными мечтами, как бы нечаянно, но властно овладел тот, кто провел ее во сне через мостик в ночь на Новый год.

Ее еще почти детские грезы всецело принадлежали ему, хотя ей и самой подчас не верилось, что она, учащаяся девочка, может выйти замуж, как ее старшие сестры.

Да и трудно было бы предполагать, чтобы любовь так рано могла проснуться в девушке, одиноко воспитанной в деревне. Конечно, мечты эти были ей навеяны толкованием сна.

Вернувшись от Тургенева, Андрей Евстафьевич стал часто посещать дом Исленьевых. Любочка относилась к нему немного иначе, с большим вниманием, причем застенчиво краснела при его появлении.

В семье с неодобрением замечали эту перемену, но Ан-

дрей Евстафьевич, торопившийся ехать в Москву и уже сильно увлеченный Любочкой, решил сделать ей предложение.

Вся семья была против этого брака, даже сестры и братья отговаривали Любу давать согласие на предложение. В те времена брак этот считался неравным, как по положению, так и по годам. Андрею Евстафьевичу было тогда 34 года.

В особенности возмущалась согласием на этот брак, вымоленный Любочкой у отца, мать его, бабушка Дарья Михайловна Исленьева, происхождением из древнего дворянского рода Камыниных, родственного Шереметевым.

– Ты, Александр, будешь скоро своих дочерей за музыкантов отдавать, – строго говорила мать сыну, выговаривая по старинному слово «музыкантов».

Но Люба настояла на своем. В феврале ей минуло 16 лет, а 23 августа, в 1842 году она венчалась со своим женихом. После свадьбы молодые уехали в Москву.

VI. Родители

Семейная жизнь моей матери сложилась в первые годы ее замужества не совсем счастливо.

Шестнадцатилетняя красивая девушка, не знавшая ни света, ни людей, попала в непривычную, чуждую ей обстановку. Городская жизнь, городская квартира казались ей клеткой после привольной деревенской жизни, большого, просторного дома, ее милого родного сада, с широкими липовыми аллеями, где протекло ее детство и где все ей было привычное и родное.

Окружена она была двумя старухами и уже пожившим, не особенно молодым мужем.

В доме, как я уже писала, жила мать мужа Любочки, и часто гостила Марья Ивановна Вульферт, сестра бабушки Елизаветы Ивановны.

Елизавета Ивановна была живая, ласковая, очень добрая старуха. Она была среднего роста, немного полная, быстрая, с легкой походкой. Она вела все хозяйство, и Любовь Александровна ни во что не входила.

Скажу несколько слов о сестре бабушки. Она тоже жила первое время в доме отца моего. Мария Ивановна была старая дева, старше бабушки. Это была сухая, чопорная старуха, иначе не говорившая, как по-французски, требовавшая от Любочки беспрекословного повиновения и изящных,

сдержанных манер. Я очень хорошо помню Марию Ивановну. Она носила турецкую шаль, заколотую на груди брошкой из старинного камэ, и тюлевый с рюшем чепец.

Мария Ивановна почти всегда сопровождала мать мою в прогулках, так как первый год ее замужества Любовь Александровна никогда не выходила одна. Во время прогулки Мария Ивановна давала ей наставления, как держать себя в обществе, рассказывая ей и про старину. Эти наставления впоследствии слушали и мы, девочки. Я помню Марию Ивановну очень хорошо. Сестру Соню она любила больше всех и говорила: – «*Sophie a la tete abonnee*»², что значило, что она непременно и скоро выйдет замуж.

И эти две старушки, столь различные по характеру, составляли главное общество Любви Александровны. Вечера мать моя часто проводила с бабушками, вышивая на пяльцах и развлекая их своей молодой болтовней.

Андрей Евстафьевич, чтобы занять свою жену, посоветовал ей продолжать свое образование, на что она охотно согласилась.

Фрейлина Марья Аполлоновна Волкова предложила Любочке заниматься с нею русской литературой, Марья Ивановна – французской.

Марья Аполлоновна Волкова была большим другом Андрея Евстафьевича. Энергичная, живая, с большими серыми глазами и седеющими буклями, пришпиленными у самого

² Игра слов: у Сони – голова в чепце, или: у Сони – голова абонируется.

лба по тогдашней моде, она была уже не первой молодости. Я помню Марию Аполлонов-ну. Хороша собой она никогда не была, но славилась своим прямым, здравым умом и острым языком, которого многие побаивались. Все московское общество хорошо знало ее и относилось к ней с большим уважением.

Когда Лев Николаевич писал «Войну и мир», отец мой по просьбе Льва Николаевича достал у Марии Аполлоновны переписку ее с графиней Ланской, послужившую материалом к переписке княжны Марьи с Жюли Карагиной.

Марья Аполлоновна была не только умна, но считалась и очень образованной.

Уроки с Любочкой начались, и они занимали как ученицу, так и учительницу в равной степени. Сколько времени продолжались эти уроки, не знаю, но были прекращены поневоле, когда пошли ежегодно дети. Жизнь Любови Александровны совершенно изменилась.

Мать отца, бабушка Елизавета Ивановна, умерла в Петербурге от эпидемии холеры, когда я еще была ребенком, и после ее смерти и Мария Ивановна уехала от нас. Впоследствии она часто гостила у нас по неделям.

Хозяйственные заботы и частые дети поглощали всю жизнь Любови Александровны. Всех детей нас было 13 человек, из которых пять умерло в детстве. Старшими были мы, три сестры, и брат Александр. Затем, после нескольких лет промежутка, шли меньшие. Из нас четверых я была мень-

шая. Не буду касаться нашего детства, коснусь лишь жизни родителей.

Жили мы в Кремле, в «ордонансгаузе», в здании, примыкающем к дворцу, так как отец был гофмедик.

Помню отца седым, красивым стариком, с большими синими глазами, длинной седой бородой, высокого и прямого. Воспоминания мои о нем отрывочны. Первые годы его женитьбы мне совсем почти неизвестны. Бывши ребенком, я мало помню его: он был очень занятой человек, и в детстве с нами всегда была мать.

Мать была серьезного, сдержанного и даже скрытного характера. Многие считали ее гордой. Она была очень самолюбива, но не горда.

Вся ее молодая жизнь протекла в заботах о нас. Я не ценила этого; думаю, что и другие дети тоже. Мы считали это как бы должным.

Несмотря на ее заботы, наружно мать казалась с нами строга и холодна. В детстве она никогда не ласкала нас, как отец; она не допускала с нами никаких нежностей, отчего я в душе своей часто страдала, но к 14–15 годам мне удалось побороть эту мнимую холодность и вызвать в ней сочувствие и ответ на мою любовь и ласку, и я почувствовала, что для нас, детей, в семье мать была все.

Она не любила свет, никуда почти не ездила, очень трудно сходилась с людьми; а вместе с тем дом наш всегда был полон народу, благодаря отцу и нам, детям, уже подрастающим и

сильно заявляющим свои права к жизни.

Родственники, знакомые, друзья, молодежь не выходили из нашего дома. Иные гостили по месяцам. Дом наш считался патриархальным и был «полной чашей». Одной прислуги насчитывалось до десяти-двенадцати человек.

Старинные люди жили у нас подолгу. Кучер Федор Афанасьевич служил у нас со дня женитьбы отца до самой своей смерти. Степанида Трифоновна, занимавшаяся хозяйством, прожила у нас 20 лет и после смерти отца в годы моего замужества перешла жить ко мне. Лев Николаевич, бывая у нас, нередко беседовал с ней; упоминает он ее в своих письмах. Она скончалась у меня в доме, прожив еще 20 лет.

Помню еще Веру Ивановну, вынянчившую у нас почти всех детей. Она была из духовного звания и имела дочь Клавдию наших лет. Это была женщина, одаренная большим тактом. Няня знала всегда, что делалось дома и в особенности у господ. Это был духовный барометр дома. В доме она пользовалась общим уважением.

Роскоши в доме никакой не было. В те времена и сама Москва была патриархальна. Воду возили в бочках, улицы были грязны и плохо освещены. Домашние животные бродили по дворам, а нередко и по улицам. В домах горели олеин и сальные свечи. Этим же салом лечился насморк и кашель. Я помню мучительное чувство в детстве, когда бабушка приказывала своей горничной Параше накапать сала на синюю сахарную бумагу и привязать мне ее на грудь от кашля, а в

сахарную воду накапать 10 капель сала и дать мне выпить.

Жители Москвы большей частью жили в особняках своим хозяйством, держали лошадей, коров, кур и пр. Отец мой был хороший хозяин. Он был человек очень цельный, прямодушный, энергичный, горячий сердцем и очень вспыльчивый. Он имел неровный характер, от которого нередко терпели домашние. Иногда его несдержанный крик в порыве гнева пугал нас, детей, тогда как мы никогда не слышали возвышенного голоса матери, но, несмотря на эти вспышки, он был очень любим в доме за свою доброту и щедрость.

Благодаря его общительности нас очень многие знали во всех слоях общества Москвы. Отец умел подходить к людям просто и ласково, легко сходилась и даже дружил со многими, над чем мать не раз подтрунивала, говоря:

– А папа опять привел к себе с улицы нового друга.

И, действительно, я хорошо помню один из таких случаев.

Однажды отец пошел гулять в Кремлевский сад и, отдыхая на скамейке, разговорился с тут же сидящим приезжим американцем. Мистер Мортимер был человек лет 50-ти. Он произвел на отца хорошее впечатление своей общительностью иностранца и был тут же приглашен отцом к нам на обед. Это было как раз в воскресенье, когда по обыкновению к нам на обед собирались наши близкие. Приход незнакомца никого не удивил. Все уже привыкли к неожиданным гостям. С тех пор для Мортимера каждое воскресенье стоял прибор. Все привыкли к нему и даже полюбили его.

Он был человек начитанный, говорил по-французски с английским акцентом, с отцом беседовал о политике, со мной играл в шахматы. Нам, сестрам, помогал в английских уроках и обыкновенно, сидя в углу диванчика, спокойно покурил свою маленькую трубочку, рассказывая нам что-либо про американцев или слушая нашу болтовню, из которой, впрочем, многое и не понимал, снисходительно улыбаясь. Так прошло около года. В одно из воскресений Мортимер не пришел к нам. В следующее воскресенье прибор снова стоял пустым. Отцу удалось, наконец, узнать печальную весть: Мортимера арестовали, как замешанного в политических делах и подозреваемого в шпионстве. С тех пор о Мортимере мы никогда ничего не слышали.

Хотя отцу все это было крайне неприятно (он все-таки привык и полюбил Мортимера), но все же случай этот не поколебал его доверчивости к людям. Эта черта характера была его особенностью. Различия сословий и наций для отца не существовало: он ко всем относился одинаково дружелюбно.

Бывало, придешь к нему в кабинет, а там сидит мужик Василий и пьет с ним чай, тут же сидит и князь Сергей Михайлович Голицын и друг детства отца, декан Московского университета профессор Анке, А. М. Купфершмидт, первая скрипка Большого театра, актер Степанов и другие. Последние два гостя и Василий были товарищи отца по охоте.

Отец был страстный ружейный охотник и большой любитель природы. Это видно из его письма к Льву Николаевичу,

написанного, когда сестра моя была уже замужем.

Желание отца поохотиться с Львом Николаевичем сбылось. В 1864 г., в апреле месяце, отец приезжал в Ясную Поляну и ходил с Львом Николаевичем ежедневно на тягу вальдшнепов.

Отец имел привычку вставать рано. Бывало, с утра перебивает у него множество разнообразного люда. Кто с просьбой избавить от солдатчины, кто поместить старуху в богадельню или сироту в приют, кого помирить в семейной ссоре и пр. Отказа никому не было. Отец с своей неисчерпаемой энергией объездит всю Москву, но добьется своего. Однажды совершенно неожиданно пришлось ему заступиться за студентов и этим оказать им большую услугу. Не раз слышала я про эту историю от моего отца.

Дело было так.

У одного студента вечером собрались его товарищи: после ужина они вздумали варить жженку. Шампанского дома не оказалось. Один из студентов взялся достать вино и отправился за ним. На обратном пути он был замечен квартальным, подстергавшим какого-то жулика.

Ошибочно приняв студента за жулика, он стал следить за ним.

Вскоре после того, как студент, ничего не подозревавший, вернулся с вином к товарищам, полиция стала стучаться в дверь. Студенты, не понимая, что нужно от них полиции, двери не отворили, требуя, чтобы привели по тогдаш-

ним правилам кого-нибудь из представителей университета. Квартальный ушел и доложил об этом приставу. Пристав, не вникая в дело и бывши в нетрезвом виде, прокричал: «Бей их». И, прибавив к этому ругательство, не обратил никакого внимания на суть дела.

Квартальный, набрав несколько человек из пожарных и полиции, снова пришел к студентам, которые были уже выпивши.

Полиция стучит в дверь. Студенты не открывают. Полиция выломала дверь и ворвалась к ним на квартиру.

Студенты потушили огонь, и тут началась страшная драка. Били бутылками, тесаками и чем попало. Студент-хозяин был сильно избит и отправлен в больницу.

Дело дошло до обер-полицеймейстера. Обер-полицеймейстер хотел миролюбиво покончить с этой историей и просил суб-инспектора университета передать пострадавшему студенту деньги. Но студент денег не взял и, вынув из-под своей подушки последние пять рублей, швырнул их суб-инспектору.

Эта история наделала много шума в Москве. И я слышала от отца рассказ про это событие и его восторженный отзыв об отношении государя к этому эпизоду.

Университетское начальство было глубоко возмущено действиями полиции. Попечитель Ковалевский и профессора составили протокол против полиции.

Генерал-губернатор Закревский, видя, что дело плохо,

послал телеграмму государю, которого ожидали тогда в Москву:

«Студенты бунтуют. Попечитель и профессора держат их сторону».

Государь Александр II находился тогда в Варшаве и ответил телеграммой:

«Не верю, буду сам».

Через несколько дней государь прибыл в Москву и остановился в Большом Кремлевском дворце. Он был нездоров, не выходил и никого не принял – ни попечителя, ни губернатора. Мой отец был приглашен к царю в качестве врача.

Государь всегда особенно милостиво относился к отцу. Однажды он подарил отцу охотничьего сеттера, а отец через год послал государю прелестных двух щенят. Помню у отца и табакерку с бриллиантами, подаренную царем. И всякий приезд царя в Москву был для отца праздником. Но этот приезд государя был ему всего памятнее и приятнее.

После своего обычного визита, как врача, отец, откланявшись, стал уходить. Государь окликнул его:

– Берс, не можешь ли ты рассказать мне что-либо о столкновении студентов с полицией.

– Точно так, могу, ваше императорское величество, мне известны все подробности этой истории от декана Анке, – отвечал отец.

– Так садись и рассказывай, – сказал государь. Отец правдиво и подробно рассказал царю все, что было ему извест-

но из достоверных источников об этой истории. Результатом этого разговора было разжалование в солдаты квартального и пристава. Обер-полицеймейстеру был сделан строжайший выговор.

Попечителя Ковалевского царь потребовал к себе, сказав ему, что студенты вели себя молодцами, что он благодарит попечителя и профессоров за то, что вступились за студентов.

Так и окончилась эта печальная история.

Она была описана в одном из журналов Андреем Андреевичем Ауэрбахом, который хорошо знал моего отца и всю нашу семью.

Перейду теперь к нашему детству.

VII. Наше детство

Свое раннее детство я помню лишь туманно; события сливаются, и отделить их по годам я не могу. Помню лишь общий характер нашей семейной жизни, когда я стала подрастать.

Мы, три сестры и брат Александр, росли вместе и, как я уже писала, были погодки. Четыре малыша – мальчики были отделены от нас и комнатами, и няньками.

Старшая сестра Лиза была серьезного, необщительного характера. Я, как сейчас, вижу ее сидящей на диване, поджавши ноги, с книгой в руках, с сосредоточенным выражением лица.

– Лиза, иди играть с нами, – бывало приставала я, желая почему-то отвлечь ее от чтения.

– Погоди, мне хочется дочитать ее до конца, – скажет она. Но конец этот длился долго, и мы начинали игру без нее. Она не интересовалась нашей детской жизнью, у нее был свой мир, свое созерцание всего, не похожее на наше детское. Книги были ее друзья, она, казалось, перечитала все, что только было доступно ее возрасту.

– Ну, что же ты сидишь, уткнувшись в свой «Космос», – с досадой кричала я.

– Оставь ее, мы и без нее обойдемся, – скажет Соня. Различие ли характеров, или просто другие какие-либо

причины породили между старшими сестрами рознь, которая чувствовалась в их постоянных отношениях; и эта рознь продолжалась всю их жизнь.

Особенно дружны были мы трое: я, Соня и брат Саша. Но я очень любила и Лизу: она всегда так бережно и нежно относилась ко мне; я умела развеселить ее, рассмешить разными глупостями, и она от души, бывало, смеялась со мной.

Соня была здоровая, румяная девочка с темно-кариими большими глазами и темной косой. Она имела очень живой характер с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть.

Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастьем, чем баловала ее юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное.

Эта черта ее характера осталась у нее на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем:

«И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех; не то, что я, которая, напротив, в веселье и счастье умеет найти грустное».

Отец знал в ней эту черту характера и говорил: «Бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива».

VIII. Подарок крёстной

Расскажу один случай из моей детской жизни – он покажется диким в наше время.

29 октября было мое рождение, мне минуло десять лет. Накануне я все выпрашивала у Сони, что мне подарят, но Соня не говорила. Главное, меня занимал подарок моей крестной матери, Татьяны Ивановны Захарьиной, зажиточной ярославской помещицы: – она всегда дарила мне что-нибудь интересное. Ложась спать, я перебирала в уме своем, что я желала бы получить.

«Черного пуделька, только живого, или большую куклу», – решила я, и Соня мне сочувствовала.

На другое утро, надев светлое, праздничное платье, помолвившись Богу и чувствуя какое-то торжественное умиление, я вошла в столовую. Меня целовали, поздравляли и дарили. Между подарками стояла большая кукла с картонной головой и раскрашенным лицом; она была почти моего роста. Это был подарок бабушки Исленьева. Я была очень счастлива: одно из моих желаний было исполнено. Я назвала ее Мими. Она впоследствии была описана в романе «Война и мир».

Теперь мне оставалось ожидать лишь приезда моей крестной. Скажу несколько слов о Т. И. Захарьиной.

Это была женщина лет 50-ти, сухая, прямая, добродуш-

ная. Ее муж, Василий Борисович, был хозяин и хлебосол. У них была воспитанница Дуняша, дочь их кучера. Ей было 16 лет, она выросла в их доме на положении не то горничной, не то барышни. Обыкновенно, когда не было гостей, Дуняша сидела в гостиной, но на скамеечке у ног своей «благодетельницы», как принято было звать Татьяну Ивановну. Дуняша была на побегушках у барыни, спала с ней в одной комнате, и на ее обязанности лежало расчесывать двух беленьких болонок Розку и Мельчика, любимцев Татьяны Ивановны. Это был дом, от которого так и несло стариной.

Крестила меня Татьяна Ивановна, вот почему.

За некоторое время до моего рождения Татьяна Ивановна сильно захворала; отец пользовал ее, сильно тревожился за нее и ездил к ней и ночью, и днем. Чувствуя опасность своего положения, Татьяна Ивановна призвала его и сказала:

– Андрей Евстафьевич, я загадала – если у вашей жены родится дочь, я выздоровлю; назовите ее Татьяной. Я буду ее крестить и буду всю жизнь заботиться о ней; если же родится сын, то мне конец. Спасите меня.

Захарьина выздоровела, крестила меня и действительно заботилась обо мне и любила меня, как дочь.

Пробило два часа; подали шоколад с домашним печеньем, все собрались у стола, а крестной все не было. Я прислушивалась к звонку с томительным ожиданием.

Но вот в столовую неожиданно вошла няня и сказала мне:

– Приехала Дуняша и дожидается в детской, а Татьяна

Ивановна нездорова и быть не могут.

Я живо вскочила и побежала за няней.

Передо мной стояла Дуняша. Поздоровавшись с ней, я глядела на ее руки, надеясь увидеть свертки, но руки были пусты.

– Татьяна Ивановна, – начала Дуняша, – больны, они вели вас поздравить и поцеловать и прислали вам «живой подарок», – улыбаясь продолжала Дуняша, – я сейчас приведу его.

И Дуняша быстро ушла.

«Приведу его, – думала я, – неужели черненького щеночка? Вот будет хорошо».

Дверь отворилась, и Дуняша вошла в сопровождении девочки, одетой очень бедно, с косичками, перевязанными тряпочками вверху головы.

– Иди же, – говорила Дуняша, толкая девочку. Девочка, потупя глаза, не двигалась с места.

– Вот, – начала Дуняша, – крестная прислала вам в подарок эту девочку Федору, ей 14 лет, она пойдет вам в приданое, а пока будет служить вам.

Я молчала, пораженная неожиданностью, устремив глаза на Федору. Няня с одобрением смотрела на девочку.

– Ну, что ж, дело хорошее, мы ее всему обучим, – сказала няня, чувствуя все неприличие моего молчания.

– А вот еще деревенский гостинец от меня, – сказала Дуняша, подавая мне туго набитый холщовый мешочек, – тут

двояшки орехи, нарочно отобранные для вас в Бакшееве (название имени Захарьиной), а от крестной домашняя пастила, – и она подала мне лубочный маленький коробочек.

Я поблагодарила Дуняшу за подарки, но все же неподвижно стояла на месте.

Разочарование было полное. Эта круглолицая, рябая, с косичками девочка, с потупленными глазами и плаксивым лицом не радовала меня. Я готова была заплакать вместе с ней.

– Ведите Дуняшу в столовую пить шоколад, а я напою девочку чаем, вишь, как она озябла, – сказала няня.

Я увела Дуняшу в столовую, где радушно приветствовали ее.

День рождения прошел. Я лежу в постели и не могу заснуть. Няня зажигает лампаду. Мне грустно. Плаксивая девочка не выходит у меня из головы.

– Няня, – говорю я.

– Чего не спите, уж пора, – отвечает няня, обернувшись ко мне.

– Федора моя? Моя собственная?

– Ваша, вам подарена, – отвечает просто няня.

– И я, что захочу, то и буду делать с ней. Да?

– Известно, что захотите. Да что там делать-то? Будет вам служить, комнату вашу убирать, одевать вас.

Ответ няни не удовлетворил меня. Мне хотелось, чтобы она была только моей. Чувство власти и тщеславия закра-

лось ко мне в душу.

«Лиза и Соня не будут иметь собственной девочки. Мне ее подарили», – думала я, и это немного мирило меня с ней.

После дня моего рождения жизнь снова пошла своим обычным чередом. Уроки, распределенные по часам, прогулки в Кремлевский сад и дежурство по неделям. Дежурство состояло в том, что мы, три девочки, поочередно должны были выдавать провизию, делать чай, отцу варить кофе и проч. Сестры исполняли это добросовестно, за меня часто делали другие.

Время шло, и Федора понемногу стала привыкать и перестала плакать. Обучение ее было поручено старшей горничной Прасковье. Первое время Федора часто не понимала, что ей говорили. Например, скажут: «вымой вазу» или «убери туалет». Она, не двигаясь с места, вопросительно смотрит на приказывающего, не смея спросить, что это значит. А когда ей растолкуют, что это значит, она радостно ответит: «Ну что ж», и примется за непривычное дело.

Не раз ей приходилось бить посуду, за что доставалось от Прасковьи.

– Эк, деревенщина, толку от нее не жди, – говорила Прасковья, и однажды, входя в девичью, я увидела, как Прасковья драла ее за косу.

– Оставь ее, не смей ее трогать! Она моя! – закричала я, и Прасковья с воркотней вышла из комнаты.

Няня иногда заступалась за нее и говорила:

– И что взять-то с нее, известно, «в лясу родилась, пням молилась».

Прасковья не была зла, но была уверена, что девчонка без муштровки не вырастет. Прасковья шила на нее, так как девочку заново одели, учила ее шить, мыть и гладить. Лизе было поручено учить Федору грамоте, Соне – смотреть часы, а мне – считать.

IX. Разлука с братом

Первое наше горе было разлука с братом Сашей. Мы, все дети, его сильно любили за его мягкий характер и доброе сердце.

В течение лета мы не раз слышали спор между родителями. Речь шла о том, отдать ли Сашу в корпус или оставить еще дома. Мама настаивала, чтобы отдать. Папа был против, говоря, что он еще слишком мал. Мы, дети, слышали про корпусную жизнь, что там суровое обращение с детьми, что встают и ложатся спать под звуки барабана, что секут провинившихся и разные другие ужасы.

Обыкновенно, ложась спать после этих разговоров, я не могла заснуть и с горестью думала: «Зачем его отдают? Неужели им не жаль его? Его учит хороший учитель, он живет так мирно с нами, сестрами». И мой рассудок отказывался понять, зачем это делается. Поступок этот казался мне жестоким.

«И все это мама, – думала я, – она его не любит».

И мораль, строго внушенная нам, что «дети не смеют осуждать родителей», отлетала далеко, и злобное возмущение поднималось в моем детском сердце.

11-го августа настал этот грустный день. Сашу с утра напмадили, одели в новую куртку с белым воротником и на каждом шагу повторяли:

– Не лазай, не валяйся на земле, запачкаешь платье.

А тут, как нарочно, томительное утро длилось без конца.

Но вот пришел покровский священник с дьяконом, и все домашние собрались к молебну. Я прислушивалась к молитвам, сама молилась, как умела, и мне было приятно, что мы все собрались на что-то торжественное, и все это для милого, хорошего Саши.

После молебна мы с Соней и Сашей бегали прощаться с дворовыми людьми, которых мы все знали; прощались и с любимыми местами, и мне казалось, что для меня все конечно. Наконец, коляска была подана. Все мы вышли на крыльцо провожать Сашу.

Саша как будто храбрился и был ненатурально весел. Он подошел к мама и поцеловал ей руку. Мама обняла и перекрестила его. Потом он подошел к нам, сестрам. Мы поцеловались с ним. Здраваться и прощаться между собой не входило в наши привычки: всякая чувствительность или нежность у нас в семье, кроме отца, осмеивалась, и я простилась и поцеловалась с Сашей почти что в первый раз, так как мы никогда не расставались.

Любимый наш дядя Костя, брат матери, вез Сашу в корпус. Отец ожидал его в Москве. Дядя сидел уже в коляске.

– Ну иди же, Саша, пора ехать, ведь скоро опять вернешься, – сказал дядя Костя.

Саша прыгнул в коляску и сел возле дяди. Коляска отъехала и увезла с собой невинного, хорошего мальчика, об-

реченного на казенную, грубую, солдатскую жизнь, как мне казалось тогда. Мне вдруг стало жаль, что никто не высказал ему сожаления при прощании, и я громко, по-детски разревелась.

– Что за нежности! Саша опять вернется, – сказала мама, – иди займись чем-нибудь.

Обычной строгости в голосе мама не слышалось. Я взглянула на мать и по выражению ее лица поняла, что холодные слова ее были притворны. Ей самой было бы легче по-детски заплакать со мной, но теперь, как и всегда, чувство нежности и любви было где-то глубоко зарыто в ее сердце.

Дни тянулись длинные и скучные.

Мы начали учиться. Погода была холодная, и какое-то пустое, ничем не заменимое место чувствовалось в нашем детском мире.

С переездом в Москву жизнь стала приятнее.

Субботы вносили большое оживление. Приезжали кадеты – Саша и его новый знакомый, которого товарищем его нельзя было назвать: он был тремя годами старше брата.

Митрофан Андреевич Поливанов был товарищ покойного сына деда Исленьева, и дедушка нам его привез в первый раз, а потом уже Поливанов всегда приезжал к нам в отпуск, проводил у нас и праздники, и лето. Это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный. Он был сын костромских помещиков. Мы навсегда сохранили с ним хорошие отношения.

По субботам освещали залу, в столовой весело шипел самовар, на столе стояли котлеты и сладкий пирог, вечное угощение к приезду кадетов. В восемь часов раздавался звонок, и мы стремительно бросались встречать их, несмотря на крики гувернантки: «Холодные, не подходите!» За чайным столом начинались оживленные рассказы.

Саша казался мне старше в своем мундирчике, а что меня радовало больше всего, это то, что он не имел печального вида, был весел и, как мне казалось, даже приобрел известную важность и с гордостью прибавлял: «у нас в корпусе» или же рассказывал:

– Иванов второй попробовал помериться со мной силой, так я его так отдул...

Слушая Сашу, я думала: «Так, стало быть, в корпусе это так и нужно, а дома ведь драться запрещают», и я не знала, что хорошо и что дурно.

Х. Николай Николаевич Толстой и приезд Льва Николаевича

Позднее по субботам у нас бывали танцклассы. Сестры учились у барона Боде, жившего напротив нас, а для меня и брата Пети класс был устроен дома. К нам приезжали учиться танцевать трое детей Марии Николаевны Толстой, сестры Льва Николаевича. Это были мои первые друзья детства – Варя, Лиза и брат их Николай.

В нашей семье и у Марии Николаевны были гувернантки две сестры: Мария Ивановна и Сарра Ивановна – очень добрые, полные и дружные немки. Дружба их была мне в пользу. Меня часто отпускали к Толстым, я очень любила бывать у них.

Мария Николаевна проводила зиму в 1857–1858 г. в Москве, и у нее я впервые встретила брата ее Николая Николаевича. Он был небольшого роста, плечистый, с выразительными глубокими глазами. В эту зиму он только что приехал с Кавказа и носил военную форму.

Этот замечательный по своему уму и скромности человек оставил во мне лучшие впечатления моего детства. Сколько поэзии вынесла я из его импровизированных сказочек. Бывало, усядется он с ногами в угол дивана, а мы, дети, вокруг него, и начнет длинную сказку или же сочинит что-либо для представления, раздаст нам роли и сам играет с нами.

Не раз во время представления или рассказа появлялся и Лев Николаевич, расчесанный и парадный, как мне казалось тогда. Мы все бывали очень рады его приезду. Он вносил еще большее оживление, учил нас какой-либо ролей, задавал задачки, делал с нами гимнастику или заставлял петь, но обыкновенно, поглядев на часы, торопливо прощался и уезжал.

Николай Николаевич с добродушной иронией относился к великосветским выездам брата. Войдет Мария Николаевна, и он ей, улыбаясь, скажет:

– А Левочка опять надел фрак и белый галстук и пустился в свет. И как это не надоест ему?

Сам Николай Николаевич нигде не бывал; он жил на окраине Москвы, где, впрочем, всегда его отыскивали его почитатели и друзья. Между ними были Тургенев и Фет.

Здоровье Николая Николаевича, видимо, становилось плохо. Он кашлял, хирел и слабел.

До Ивана Сергеевича Тургенева, находившегося тогда в Соdene, дошли слухи о тяжелом состоянии здоровья графа. Он пишет из-за границы Фету 1 июня 1860 г.: «То, что вы мне сообщили о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть!.. Неужели он не решится победить свою лень и поехать за границу полечиться! Ездил же он на Кавказ в тарантасах и черт знает в чем!» Кончает Тургенев письмо словами: «Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в

ноги – а потом гоните в шею – за границу».

Николай Николаевич уехал весной за границу, но это не помогло ему. В сентябре 1860 г. он скончался в Гиере.

Льва Николаевича мы знали раньше. Он бывал у нас, как товарищ детства матери. Я помню его в военном мундире во время Севастопольской войны, когда он приезжал к нам в Покровское.

Это было в начале лета 1856 г. Как-то вечером подъехала к нашему крыльцу коляска. Приехали Лев Николаевич, барон В. М. Менгден и дядя Костя.

Они приехали к обеду, но с большим опозданием. Люди говели и были отпущены в церковь. Поднялась хозяйственная суета, и мать разрешила нам, девочкам, накрыть стол и подать, что осталось.

Сестры бегали с веселыми лицами, исполняя непривычное дело. Меня постоянно отстраняли, говоря: «Оставь, ты разобьешь», или «это тяжело, ты не подынешь».

Ими любовались и хвалили их.

Мне стало завидно, зачем меня не замечают и не хвалят, я стала поодаль и смотрела на гостей.

Лев Николаевич много рассказывал о войне, отец все спрашивал его. К сожалению, я не помню содержание рассказов его. Но помню одна, как зашла речь о песне «Как 8-го сентября», и как мы все просили напеть нам её, когда встали из-за стола. Лев Николаевич отказывался.

Конечно, ему казалось дико сесть за рояль и запеть. Мы

все чувствовали, что это надо было обставить как-нибудь иначе. Дядя Костя сел за рояль и наиграл ритурнель этой песни. Мотив был всем нам известен. Дядя Костя так играл, что трудно было молчать.

– Спойте с Таней, – сказал папа, – она поет и вам подтянет.

Таня, подойди, пой вместе со Львом Николаевичем.

– Мотив я знаю, а слов не знаю, – сказала я.

– Ничего, мы тебя научим, – говорил дядя Костя, – станись. – Он сказал мне два первых куплета. – Я буду тебе подсказывать дальше.

– Ну, давайте петь вместе, – смеясь обратился ко мне Лев Николаевич.

Он сел возле дяди Кости и начал почти говорком. Пропев с ним два куплета, я отстала и с интересом слушала его, а Лев Николаевич с одушевлением продолжал уже один; дядя Костя своим аккомпанементом прямо подносил ему песню. Я взглянула на отца. Веселая, довольная улыбка не сходила с лица его. Да и всех нас развеселила эта песня.

– Как остроумно, лихо, ладно сложена эта песня, – говорил отец. – Я знавал этого Остен-Сакена. Так это он «акафисты читал», как этот куплет-то? – говорил отец, смеясь.

«Остен-Сакен, генерал, все акафисты читал Богородице!» – продекламировал дядя Костя. И тут стали перебирать все слова песни.

– Многое из этой песни сложено и пето солдатами, – сказал Лев Николаевич, – не я один автор ее.

Потом Лев Николаевич просил дядю Костю сыграть Шопена, что дядя и исполнил. Окончив вальс, он заиграл какой-то наивный менуэт, напомнивший Льву Николаевичу детство.

– Любовь Александровна, помните, как мы танцевали под него, а ваша Мими нас учила, – сказал Лев Николаевич, подходя к матери. – Мне кажется еще, все это так недавно было.

Тут речь зашла о «Детстве» и «Отрочестве».

– Вы, вероятно, многое узнали близкого и родного в этих произведениях? – говорил Лев Николаевич.

– Еще бы, – сказала мать. – А Машенька, сестра ваша, как живая, с черными большими глазами, наивная и плаксивая, какая она была в детстве.

– А отца нашего с его характерным подергиванием плеча как ты описал, он сам себя узнал и так смеялся, – сказал дядя Костя.

Соня внимательно слушала весь разговор. На нее «Детство» и «Отрочество» произвели большое впечатление, и она вписала в свой дневник следующие слова.

«Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни?»

Лиза на обороте написала «дура». Она преследовала в Соне «сентиментальность», как она называла какое-либо выс-

шее проявление чувства, и трунила над Соней, говоря:

– Наша фуфель (прозвище) пустилась в поэзию и нежность.

Темнело, было уже поздно. Наши гости простились и уехали в Москву, оставив нас нагруженными разными впечатлениями.

XI. Наша юность

Прошло три года. Сестры стали молодыми девушками шестнадцати и семнадцати лет. Они готовились к университетскому экзамену. Для русского языка был взят студент Василий Иванович Богданов. Он провел с нами лето в Покровском, занимался с братьями и нами, сестрами. Он, как говорится, «пришелся ко двору» и стал в доме нашем своим человеком. Он задался мыслью «развивать» нас, в особенности сестер, носил им читать Бюхнера и Фохта, восхищался романом Тургенева «Отцы и дети», читал его нам вслух и влюбился в Соню, которая хорошела с каждым днем. Сам Василий Иванович был живой и быстрый, носил очки и лохматые, густые волосы, зачесанные назад. Однажды, помогая Соне переносить что-то, он схватил ее руку и поцеловал. Соня отдернула ее, взяла носовой платок и отерла ее.

– Как вы смеете! – закричала она. Он схватился за голову и проговорил:

– Извините меня.

Соня говорила про это мама, но мать обвинила ее и сказала:

– Бери пример, как держит себя Лиза, с ней этого не случится.

– Лиза каменная, она никого не жалеет, а я его на днях пожалела, когда он рассказывал, как делали операцию его ма-

ленькому брату, – говорила Соня, – вот он и осмелился. Теперь я больше не буду жалеть его.

Для французского языка был приглашен профессор университета, старик Пако.

Сестры усердно занимались всю зиму, несмотря на коклюш, поразивший всех нас. Весной сестры держали экзамен. Соня выдержала его очень хорошо. С Лизой вышло осложнение, хотя она и была прекрасно приготовлена.

Священник Сергиевский просил ее рассказать про тайную вечерю. Казалось бы, что билет попался легкий. Лиза начала рассказывать и сбилась, когда дело дошло до «солилы» и обмакивания хлеба. Что именно она перепутала, не помню, но, главное, стала задорно спорить с священником. Он поставил ей дурной, непереходный балл. Вся в слезах она приехала домой и просила отца ехать к Сергиевскому и уладить дело. Переэкзаменовка была ей дана. Экзамены были сданы.

Им подарили часы, сшили длинные платья и позволили переменить прическу. В то время все это было строго определено. Я почувствовала, что отделилась от них, что осталась одна учащимся подростком, в коротком платье, играющая с куклой Мими. Учебные листки были сняты со стены, и лишь один мой, осиротелый, висел в классной.

Гувернантку отпустили и взяли приходящую для меня немку. Это была премилая немка фрейлен Бёзэ. Высокая, сухая, рябая, с маленькими черными таракаными глазками,

веселая и добрая. Она давала уроки мне и брату Пете и часто проводила у нас целый день. На ежедневную прогулку ходили мы, три барышни, одни, а за нами следовал ливрейный лакей. Теперь и смешно и странно вспомнить об этом, а тогда это казалось вполне естественным.

Сестры стали понемногу выезжать на танцевальные вечера. У них были свои подруги, с которыми они шептались, отгоняя меня прочь. Им шили наряды, а мне перешивали из двух платьев одно. Все это казалось мне несправедливым и обидным, и не раз, чуть не плача, я говорила себе: «Чем я виновата, что я меньшая?» Но в особенности я была огорчена следующим случаем.

Однажды мать, желая доставить удовольствие сестрам, сказала, что есть ложа в Малом театре, и что они поедут на спектакль.

– А я поеду? – спросила я.

– Нет, пьеса эта совсем не для тебя, да у тебя и уроки есть, – сказала мама.

И как я ни просила, мама стояла на своем.

Вечером, когда они уехали и дети легли спать, окончив уроки, я бродила по темной зале. В доме все было тихо, и эта тишина угнетала меня.

Мне стало и одиноко, и скучно. Я села в угол залы, и чувство жалости к самой себе умилило меня и я заплакала.

Из кабинета отца послышался звонок. Прошел камердинер папа Прокофий, много лет уже живший у нас в качестве

денщика. Он, вероятно, заметил, что я плачу, так как потихоньку, на цыпочках, прошел мимо меня, как бы имея уважение к моим детским слезам.

Я слышала, как отец спросил:

– Уехали в театр?

– Уехали, но меньшая барышня сидят в зале и плачут, – сказал Прокофии.

И вдруг я услышала шаги отца. Я испугалась. Я почти никогда не плакала при нем. Он всегда был со мной ласков, никогда не бранил и не наказывал меня, но впечатление его нервного характера вообще внушало мне страх. Что может вызвать в нем гнев, а что не может, для меня всегда было неожиданностью.

Не успела я осушить слез своих, как отец в накинутом на плечи халате стоял передо мной.

– О чем ты плачешь? – спросил он меня.

– Меня не взяли в театр, и я одна, – отвечала я, всхлипывая снова.

Папа молча погладил меня по голове. Он о чем-то раздумывал. Потом прошел в кабинет и приказал Прокофию подать еще не отложенную карету, горничной Прасковье и лакею проводить меня в театр, а меня послал одеваться.

Я побежала к себе и торопила Прасковью. Федора помогала мне одеваться и радовалась за меня.

Дверь моей комнаты тихонько отворилась, и неслышными шагами вошла няня Вера Ивановна.

– Аль в театр едете? – спросила она меня.

– Да, еду, а что? – Я знала, что Прасковья уже доложила ей об этом.

– Нехорошо, что маменька-то скажут?

– Папа пустил, – коротко ответила я, не глядя ей в лицо.

Няня неодобрительно покачала головой.

– И глаза-то, и лицо у вас красные от слез, еще простудитесь. Федора, подай платок барышне на голову надеть, – говорила она. – Баловник ваш папаша, – ворчала няня.

– Оставь меня, чего ты ворчишь, – говорила я с досадой. Я старалась не думать о том, что мать, может быть, рассердится на меня.

Через полчаса капельдинер отворил дверь ложи, и мама увидела меня перед собой. Занавес был поднят и шла пьеса Островского. Мама с удивлением посмотрела на меня.

– Это что такое? – строго спросила она.

– Папа меня прислал, – спокойно ответила я. В голосе моем слышалось, что если папа прислал, то значит это ничего.

Я видела недовольство матери. Она ни слова не сказала мне, но строгими глазами глядела на меня. Не пустив меня сесть вперед ложи, как обыкновенно, она посадила меня сзади, возле себя.

Освещенный театр и интересная пьеса Островского привели меня в хорошее расположение духа.

На обратном пути в карете сестры расспрашивали, каким образом я приехала, и что произошло дома. Я все рассказала.

Сестры добродушно смеялись, слушая меня.

– А все Прокофий виноват, это он насплетничал папа, – говорила Лиза. Мама все время молчала, она, очевидно, не хотела говорить против отца.

Дома после чая, когда все разошлись, я прислушалась к громким голосам родителей, доносившимся до буфета, где я стояла, нарочно не идя к сестрам ложиться спать. Между родителями шел горячий спор, и я знала, что это из-за меня. В детстве моем ссора отца с матерью была для меня ужаснее всего.

Внутренний голос говорил мне, что мать была права, а сердцем я была благодарна отцу.

Я легла спать, но не могла заснуть. Мне хотелось идти просить прощения у матери, но я не решалась. Хотелось с кем-нибудь поделиться своим горем, но с кем? Сестры уже спали. С няней? Но ночью к няне идти нельзя. Я прочла молитву, прибавив от себя: «Прости, Господи, мое прегрешение», перекрестилась и заснула.

XI. Наши юные увлечения

Прошел еще год. В доме не произошло никакой перемены, зато в себе я чувствовала совершающийся душевный переворот. Я росла и быстро развивалась, как бы догоняя сестер.

Как растение тянется к солнцу, так и я тянулась к их молодой жизни. Крылья молодости вырастали, и сложить их было трудно. Какой-то непреодолимой силой завоевала я себе права жизни. Учение продолжалось, но шло вяло. Экзамена при университете от меня не требовали. «К чему ей диплом? У нее большой голос, ей нужна консерватория», – говорили родители.

Строгость мама поколебалась, она как будто устала от воспитания двух старших и совершенно изменилась ко мне: стала нежна, снисходительна. Я чувствовала, что она любовалась нами, и, когда по старой памяти она делала за что-нибудь «строгие глаза» (как мы называли это), я бросалась к ней на шею и кричала: «Мама делает строгие глаза и не может». Я целовала ее, чего прежде не смела делать, и мне казалось в такие минуты, что я не могу ни огорчить ее чем-либо, ни послушаться ее, так сильна была моя любовь к ней.

К нам много ездило молодежи – товарищи брата: Оболенский, В. К. Истомин, Колокольцов, Головин и др. На праздники и летом приезжал гостить правовед кузен А. М. Куз-

минский; всегда с конфетами, элегантный, он поражал нас, москвичей, своей треуголкой.

– У тебя шляпа, как у факельщиков, – смеясь, чтобы подразнить его, говорила я ему.

Мы все, начиная с мама, очень любили его и всегда приглашали на праздники.

Гостили у нас и подружки наших лет: Ольга Исленьева, очень красивая девушка, дочь дедушки от второго брака, двоюродные сестры наши и друзья.

На Рождестве, когда мы бывали все в сборе, мы затевали обыкновенно разные игры, шарады и представления.

Помню, как Соня, побывав в опере «Марта», затеяла разыграть ее драмой, выбрав некоторые арии для пения.

Поливанов был у нас обыкновенно за «jeune premier», и теперь ему досталась роль лорда, влюбленного в Марту. Соня была леди Марта, переодетая в крестьянку. Она учила петь Поливанова куплет, причем на репетициях распускала волосы, становилась на колени и пела:

Леди, вы со мной шутили,
Пусть вам будет Бог судья.
Но вы жизнь мне отравили,
Сердце вырвали шутя.

И на предпоследней репетиции Поливанов уже пел и играл лорда сам. А Соня нарядилась в крестьянку, не дождав-шись генеральной репетиции. Я любовалась Соней – ей так

шел этот костюм. Она была так мила, так натурально играла, что я думала: «На ее месте я непременно бы пошла в актрисы. А я пойду в танцовщицы. Мария Николаевна говорила мама, что Тане непременно надо учиться характерным танцам, и я умею стоять на носках».

Пока я мечтала о нашей будущности, Поливанов стоял уже на коленях перед Соней и целовал ее руку.

Вдруг дверь отворилась и вошла Лиза. Она быстро взглянула на Соню и Поливанова и, остановившись перед ними, сказала:

– Мама не позволила целовать руки на репетициях, а ты ему протянула руку; я это скажу мама.

– Это я виноват, а не Софья Андреевна, – быстро вскочив на ноги, сказал Поливанов. – Я не знал запрета Любовь Александровны и нарушил его, но я готов повторить его на следующей репетиции при вашей матушке, – и он с гордой усмешкой отвернулся от Лизы.

«Как хорошо все это, – с восхищением думала я, – вот он „настоящий“, как в романе написано». А кто этот «настоящий», я не умела подобрать слова.

Соня молчала. Обыкновенно, когда кто-либо вступался за нее, она уже не вмешивалась. Она делала кроткое лицо, опускала глаза и была еще милее; мы называли ее в эти минуты «угнетенною невинностью».

«Как это Лиза могла мешать им?» – думала я, чуть не плача.

– Лиза, уйди! Уйди! – кричала я ей, и слезы стояли в глазах моих.

– Уйду, уйду, только не реви, пожалуйста, я пришла взять свою работу и не нахожу ее.

Лиза ушла.

– Давайте продолжать репетицию, – спокойно сказал Поливанов.

Я села на свое прежнее место, и репетиция продолжалась.

В другой раз я затеяла играть свадьбу своей куклы Мими. Я говорила, что она пробыла в пансионе три года, и теперь ей пора выйти замуж.

Пансионом был гардеробный шкаф мама, где Мими сидела всю иеделю, и только накануне праздников мне позволено было ее брать. За вечерним чаем я объявила всем, что завтра будет свадьба Мими. Все засмеялись и сказали, что придут на свадьбу.

– А кто же жених будет? – спросил Поливанов.

– Саша Кузминский, – спокойно ответила я.

– Я – я? – протянул он, – вот не ожидал.

– А вы лучше заставьте Митеньку Головачева жениться на Мими, он завтра собирается к вам.

Я чувствовала, что Поливанов ради смеха сказал это, зная, что я не выберу его.

– Нет, – сказала я, – Митенька в женихи не годится.

– Отчего? – с усмешечкой спросил Поливанов.

– Он такой неуклюжий, квадратный. Да вы сами это хо-

рошо знаете.

– Квадратный? – повторил Поливанов, – а разве по-вашему не бывают такие женихи?

– Конечно, нет, – горячо отвечала я.

– А какие же они бывают по-вашему?

– По-моему. Да, они должны быть – знаете... такие узкие, длинные... с легкой походкой... говорят по-французски... Ну, а Митенька тюлень, он будет священник.

Кузминский слушал наш разговор, самодовольно улыбаясь.

– Вот завтра приедет Головачев, – сказал брат Саша, – и я ему скажу, как ты его называешь.

– Нет, Саша, ты ему не скажешь.

– А я чем буду? – спросил Саша.

– Дьяконом, а я посажёной матерью, – за меня ответила Соня.

– А Поливанов посажёным отцом, – добавила я. «Все это хорошо, – думала я, – а жениха еще нет», и меня это мучило.

– Саша, – спросила я решительно, – ты сделаешь сегодня предложение Мими?

– Я еще об этом подумаю, – отвечал он. Ответ его не понравился мне.

– Чего ты важничаешь? – спросила я.

– Не огорчай Таню и согласись, – как всегда вступилась за меня Соня.

– Вот еще, уговаривать его, – закричала я сердито. – Он

должен венчаться, когда его просят. Это не вежливо! – и, обратясь к Поливанову, я прибавила:

– Нарядитесь генералом, вы ведь военный, раз вы будете посаженным отцом.

Кузминский сидел молча за чайным столом. Его лицо было серьезно. Я чувствовала, что он был недоволен мной и моей резкостью. Он не глядел на меня и говорил о чем-то с Лизой, сидевшей около него.

«Что я сделала? – думала я, – он обиделся на меня, он такой самолюбивый, а я при Поливанове и при всех закричала на него. Я должна помириться с ним, но как? Когда мы будем вдвоем... Да... наедине, он возьмет меня за руку и так хорошо мне что-нибудь скажет... А теперь?» – я чуть не плакала... «Я же кричала на него при всех, – думала я, – и при всех должна мириться». Я вскочила с своего места и подошла к нему. Став за его стулом, я тихо положила свою руку на его плечо.

– Саша, – сказала я, – ты же не захочешь расстроить нам все, ты ведь понимаешь, ты ведь знаешь, что я хочу сказать... – путалась я в словах, – я же прошу тебя. Ты согласен, да, – ласково прибавила я, нагибаясь к нему и заглядывая к нему в глаза.

Кузминский повернул ко мне голову, с улыбкой глядя на меня и молча кивнув мне головой. Его, видимо, смущали все сидевшие за столом, но я как-то не обращала внимания ни на кого. Я только помнила, что я помирилась с ним.

Немного погодя, Кузминский спросил меня:

– А можно сделать предложение через сваху?

– Можно. Лиза, голубчик, будь свахой, – сказала я.

– Хорошо, – добродушно ответила Лиза. – Я надену шаль, повойник и явлюсь в гостиную.

Все удивились на согласие Лизы, но я не удивилась; она всегда была добра ко мне.

На другой день я очень волновалась и все готовила к свадьбе. Соня помогала мне. Лиза накладывала вуаль на Мими, причем безжалостно прокалывала булавками голову Мими.

Припоминая впоследствии свое чувство к этой кукле, я могла только сравнить его с чувством матери к ребенку. Этот зародыш нежности, любви и заботливости уже сидит во многих девочках с детства; мое же воображение было так сильно, что я чувствовала за нее, как за живое существо.

Днем приехал Головачев. Он был старше брата года на два. Это был кадет в полном смысле слова: широкоплечий, с широким лицом, широким носом, в широких панталонах. Он весь дышал здоровьем и силой и прекрасно плясал русскую. Он всегда был согласен на все, о чем просили его. Так было и теперь. Ему принесли какой-то коричневый бурнус няни, который он мгновенно подколол под рясу, устроил рясу и брату Саше, приготовил венцы и уже бормотал что-то вроде священника.

Все было готово к венчанию.

Поливанов и Кузминский были военными. Кузминский

элегантным офицером, Поливанов был великолепным старым генералом, в эполетах, в бумажных орденах, с зачесанными вперед хохлом волосами и висками а la Николай Павлович.

Мими во время венчания держала Лиза.

На свадьбе были Мария Ивановна с детьми М. Н. Толстой, Василий Иванович, Клавдия, няня с маленькими братьями и мама.

Головачев был до того смешон в своей рясе, придумывая разные слова и подражая интонациям священника, что я с трудом удерживалась от смеха.

По лицу Поливанова я видела, что он что-то замышляет; он все время поглядывал в мою сторону, и его сжатые тонкие губы хитро улыбались.

Когда венчание кончилось и надо было поцеловаться, предвидя препятствия, я живо подскочила к Лизе, и, выхватив из рук ее Мими, высоко подняла ее к губам Саши Кузминского и молча, торжественно держала ее перед ним.

Кузминский засмеялся, но не двигался с места.

– Поцелуйте, – пробасил Митенька, подражая священнику.

Кузминский продолжал молчать, ничего не предпринимая и, видимо, ожидая, что я буду делать.

– Поцелуй же ее, – не выдержав, сказала я.

– Нет, я такого уроды не поцелую! – сказал он громко.

Все засмеялись.

– Нет, ты должен, – сказала я, держа перед ним куклу.

– Не могу, – повторил он.

– Мама! – закричала я.

– Таня ночь не будет спать, что ты делаешь, Саша, – сказала смеясь мама.

Варенька с осуждением глядела на него. Все выжидали, что будет. Саша Кузминский сделал гримасу и, приблизившись лицом к кукле, громко чмокнул губами в воздух.

Я была довольна, что все обошлось благополучно. Я не знала, что меня ожидала еще одна неприятность.

После обеда я посадила Мими на диван в кабинете папа. Отец куда-то уезжал на несколько дней, и комната его должна была быть домом молодых.

После обеда пришел дядя Костя. Узнав про свадьбу, он сказал, что теперь надо устроить танцы. Мы все были очень довольны. У всякой из нас, сестер, был любимый танец. Лиза любила *lander*, Соня – вальс я – мазурку.

Дядя Костя играл нам кадрили и в пятой фигуре сказал:

– Головачев, ну-ка махните ваш трепак.

И дядя Костя так заиграл «барыню», что на всех лицах появилось оживление.

Головачев не заставил себя просить; подбоченясь и топнув ногой, он сразу пустился в пляс. Надо было удивляться, откуда бралась удаль и легкость у этого широкого и неуклюжего малого. Когда он окончил, ему все аплодировали.

Во время вечера мы с Варей заметили, что Поливанов и

Кузминский о чем-то шепчутся и пересмеиваются. Немного погодя мы с Варенькой пошли в кабинет. Мими там не было.

– Ты видишь, Варя, – сказала я, – это они вдвоем утащили ее, это затеи Поливанова. – Мне не хотелось обвинять Сашу.

Варенька сочувствовала мне. Мы пошли в залу. Поливанов сидел около Сони.

– Куда вы дели Мими? Она исчезла из кабинета, – спросила я.

– Я-то при чем, я не видал ее, – сказал Поливанов.

– Неправда, вы ее унесли! – закричала я.

– Какая вы странная, – сказал Поливанов, – ведь вот у Руслана похитили же Людмилу после венца, вот и вашу Мими тоже кто-нибудь похитил.

Варенька засмеялась.

– Вы глупости говорите, куда вы ее дели?

– Вы глупости говорите, – передразнил он мой выговор.

– Таня, поищи ее, обойди комнаты, ты найдешь ее, – сказала Соня.

Я послушала Соню и ушла. Варенька осталась с Соней.

Я обошла все жилые комнаты и не нашла ее, но, наконец, увидела ее на высокой двери, ведущей из коридора. Мими висела на двери с безжизненно опущенными ногами в клетчатых башмачках и опущенными длинными руками. Ее накрашенные глаза, как мне казалось, укоризненно глядели на меня из-под круглых бровей. Я пробовала снять ее, но не могла.

Я побежала к мама и пожаловалась ей.

Мама засмеялась, слушая мой рассказ.

– Мама, как можно смеяться этому, – обиженно сказала я.

– Позови его ко мне, – сказала мама.

Я побежала в залу и сказала Поливанову:

– Мама вас зовет, – и в голосе моем слышалось: «Вот вам будет от мама!»

Через пять минут Мими была снята и отдана мне на руки. Я побежала с ней в залу; играли польку. Чтобы поднять достоинство Мими, я просила Митеньку протанцевать с ней. Митенька тотчас же обвил руками ее талию и с ужимками понесся с ней по зале.

– Смотрите, смотрите, – кричала я смеясь, глядя на эту пару.

Проходя мимо двери залы, у которой стоял Кузминский, я сказала ему:

– Вот Митенька гораздо добрее тебя, и я люблю его, а ты злой и капризный.

– Ну, не сердись, не сердись, – догоняя меня, говорил он, – я больше не буду; хочешь, пойдём танцевать мазурку, – и он взял меня за руку.

Я согласилась, и мир был заключен. Когда впоследствии Лев Николаевич узнал про свадьбу Мими, он сказал мне:

– Отчего вы меня не позвали. Это нехорошо. Мне все Варенька рассказала про эту свадьбу.

Молодая жизнь наша, полная любви, поэзии и какого-то беззаботного веселья, царила в нашем доме.

Мы все были понемногу влюблены. И эта любовь, такая детская и, может быть, даже смешная в глазах взрослых людей, понимающих жизнь, будила в наших сердцах так много хорошего. Она вызывала сострадание, нежность, желание видеть всех добрыми и счастливыми.

Одна Лиза оставалась верна своей прежней серьезной жизни. Она с таким же увлечением продолжала учиться по-английски, много читала и немного выезжала. Правильные черты ее лица, серьезные выразительные глаза и высокий рост делали ее красивой девушкой, но она как-то не умела пользоваться жизнью, не умела быть юной, в ней не было той «изюминки», по определению Льва Николаевича, той жизненной энергии, что он находил в нас с Соней.

Поливанов чаще стал бывать у нас, он проводил в корпусе последний год. Я замечала, что уже давно он был неравнодушен к Соне. Любовь эта была вызвана ее участливостью к нему. Он был одинок, наш дом был для него как бы родным. Соня участливо относилась к нему, когда его постигло горе. Одна сестра его умерла. Другая 18-ти лет пошла в монастырь. Соня утешала его, как умела, беседовала с ним, играла ему его любимые арии из опер и сочувствовала ему, когда у него бывали неприятности по корпусу.

Поливанов сильно привязался к ней.

Я стала замечать, что как будто и Соня стала к нему неравнодушна. Она часто заговаривала о нем со мной. Бывало, посидит молча, призадумается и с улыбкой скажет мне:

– Ты знаешь, Таня, что он мне сказал: «У вас удивительное сердце. Когда я с вами, я делаюсь совершенно другой. Вы всегда имеете на меня хорошее влияние»... И еще многое он говорил мне... – вспоминала Соня.

Ее выражение лица делалось то задумчиво-серьезно, то заодно-весело.

– Соня, – говорила я, – ты ведь сама влюблена в него. Я это давно заметила, да молчала.

Соня не отвечала мне.

Мы, сестры, жили внизу в большой комнате. Кровати наши с Соней стояли вдоль стены рядом, а Лиза спала в другом конце комнаты за ширмами. У меня под подушкой всегда лежала книга «Евгений Онегин». Я перечитывала ее несколько раз и многое знала наизусть.

В ногах нередко лежал серый котенок, принадлежавший Трифионовне. Я любила этого котенка, наряжала его и возилась с ним так же, как с куклой Мими, игравшей большую роль в нашей семье.

Василий Иванович, в память этих двух любимцев, написал мне в альбом стихи:

Я помню, когда-то беспечный ребенок
С замасленной куклой Мимишкой играл.
Года миновались, и серый котенок
С Евгеньем Онегиным в честь вдруг попал.

И бросить игрушки придется нескоро,

Онегина, котика вам заменят
Другие, – они будут лучше, без спора,
Но долго придется еще вам ими играть.

1860 г. 26 июля. Летучая пышь.

Подпись эта произошла оттого, что однажды Василий Иванович неожиданно влетел к нам в столовую с какой-то новостью. Его волосы, как щетина от ветра, развевались во все стороны, его глаза без очков смотрели непривычно, дико, и я сравнивала его с летучей мышью. Это прозвище осталось за ним.

В большой семье всегда существуют прозвища. Няня наша тоже окрестила нас, трех сестер, именами: Лизу – «профессоршей», Соню – «графиней Армонд» (вероятно, она вычитала это имя в одном из переводных старинных романов), меня – «саратовской помещицей», из-за девочки Федоры.

Наша Федора стала теперь уже молоденькой девушкой, когда в 1861 году вышла вольная, Федора осталась у нас на жалованьи 3 рубля. Она больше всех любила Соню, меня и няню. Мы узнали от нее, что у нее не было отца, а был вотчим, что у матери еще двое детей, и что они очень бедны. По вечерам, когда мы ложились спать, она нередко рассказывала нам про свою деревню.

Мы должны были ложиться в десять с половиной часов и тушить свечку в одиннадцать, но оживленные разговоры с Соней обыкновенно начинались позднее.

– Тушите свечку, – говорила Лиза. Но мы не тушили.

– Я завтра мама скажу, что вы болтаете вздор и не слушаетесь ее.

– Говори, мы не боимся, – отвечала Соня, – тебе не о чем говорить, ты и спи.

Лиза, поворчав немного, оставляла нас в покое.

Соня теперь уже поверяла мне свое увлечение Поливановым. Она говорила, что субботы стали для нее полны значения и содержания и что он намекнул ей на днях, что он давно уже любит ее.

Все это чрезвычайно нравилось мне, я тоже не хотела отставать от нее и говорила ей о своем увлечении к cousin Кузминскому.

– Ты знаешь, Соня, мы ведь объяснились с ним.

– Когда? – спросила Соня.

– А помнишь, на Рождестве после танцев, когда еще ты мазурку с Поливановым не танцевала, обещала другому, а он обиделся.

– Да, да, помню, – сказала Соня. – А как же вы объяснились?

– Мама послала меня принести накидку, и мы побежали с Сашей Кузминским в спальню за перегородку; было темно, и только свету, что лампада горела.

Я отворила шкаф, а там в углу сидит моя Мими. Мама припрятала ее. Я взяла ее и поцеловала, а он засмеялся.

– Бедная Мими, – сказала я, – я теперь мало играю с ней, а ей головку переменили, старая разбилась. Я с ней прощаюсь,

а ты вот венчался с ней и не прощаешься. Простись сейчас же.

И я подставила ему куклу.

– Поцелуй ее.

А он отстранил ее. Я взяла ее руки, обвила ими его шею и молчу, и он молчит и смотрит на меня.

– Ну целуй ее, – говорила я.

А он через голову Мими нагнулся ко мне близко, близко и поцеловал меня, а не Мими. И нам обоим стало очень неловко. Он помолчал и говорит:

– Через четыре года я кончаю училище, и тогда...

– Мы женимся? – перебила я его.

– Да, но теперь «этого» делать не надо.

– Мне будет тогда 17 лет, – сказала я, – а тебе 20. Хорошо.

Так наверное?

– Да, наверное, – ответил он.

– Соня, только смотри, не говори никому, что он поцеловал меня, а про то, что мы женимся, я сказала мама.

– Ну, а мама что?

– Она сказала: «Вздор не говори, тебе рано об этом думать».

– А что ж такое, что вы поцеловались? Вы же двоюродные, и когда он уезжает в Петербург, вы же всегда целуетесь на прощание, и мама позволяет, – сказала Соня.

– Ну, это совсем другое. Там можно, а тут нельзя, и он сказал, что это в последний раз.

Эта сцена была описана сестрою в ее повести, о которой буду говорить позднее.

Когда Кузминский уезжал в Петербург, мама разрешила нам переписываться, но только по-французски, вероятно, для практики французского языка.

Я старательно писала брூльоны и давала их читать Лизе, чтобы она поправляла орфографические ошибки. Лиза добросовестно и терпеливо исполняла мою просьбу.

Когда же я случайно видела в окно почтальона, звонившего у нашего крыльца, я летела в переднюю смотреть, нет ли мне письма из Петербурга, и когда получала его, с нетерпением распечатывала его. Письмо всегда почти начиналось так:

Votre amabilite, tres chere cousine, m'a vraiment touchee, je me suis empressé de vous repondre...³

Я перелистывала письмо дальше, желая найти в письме что-либо, чего бы я не могла показать мама или Лизе, но затем шло описание препровождения времени, иногда была пущена философия насчет прочитанной книги, как, например: «Quand la vie exterieure est bien reglee – la vie interieure se rectifie et s'epure»⁴.

Затем следовала подпись: Je vous embrasse bien

³ Ваша любезность, милая кузина, меня очень тронула, спешу ответить вам... (фр.)

⁴ Когда внешняя жизнь идет правильно, внутренняя восстанавливается и очищается (фр.)

tendrement. Votre cousin devoue...⁵ и т. д.

Недаром мать разрешила мне эту переписку. Все письма его дышали приличием и элегантным французским языком.

Но и эти письма доставляли мне удовольствие, потому что я чувствовала себя как бы взрослой.

⁵ Нежно целую вас. Ваш преданный вам брат (фр.)

XIII. Лев Николаевич в нашем доме

Наш дом стал посещать Лев Николаевич всякий раз, как он приезжал в Москву. Никто не придавал значения его посещениям. Он приходил, когда ему вздумается, и днем, и вечером, и к обеду, как многие другие. Лев Николаевич ни на кого из нас не обращал исключительного внимания и ко всем относился равно.

С Лизой он говорил о литературе, даже привлек ее к своему журналу «Ясная Поляна». Он задал ей написать для своих учеников два рассказа: «О Лютере» и «О Магомете». Она прекрасно написала их, и они полностью были напечатаны в двух отдельных книжках, в числе других приложений.

С Соней он играл в четыре руки, в шахматы, часто рассказывал ей о своей школе и даже обещал привести своих двух любимых учеников.

Со мной он школьничал, как с подростком. Сажал к себе на спину и катал по всем комнатам. Заставлял говорить стихи и задавал задачи.

Он часто собирал нас к роялю и учил петь:

С тобой вдвоем коль счастлив я,
Поешь ты лучше соловья.
И ключ по камешкам течет,
К уединенью нас влечет.

«Херувимскую» Бортнянского и многое другое.

Все это пели хором; но, выделив мой голос, он привозил мне ноты, часто сам аккомпанировал, иногда подпевал и называл меня «мадам Виардо» (известная певица того времени) или «Праздничной».

Помню, как он однажды перед обедом сочинил нам оперу, как он выразился. Это была просто маленькая сцена с пением. Сюжет был следующий. Муж ревнует свою безвинную жену к молодому рыцарю. Рыцарь объясняется в любви Клотильде, она отвергает его любовь. У мужа с рыцарем происходит дуэль, и муж убивает рыцаря.

Аккомпанировать нам должен был Лев Николаевич. Мотивы, известные нам, мы выбрали заранее.

– А слова, – сказал нам Лев Николаевич, – придумывайте сами, чтобы носили итальянский характер, а главное, чтобы никто не понимал их.

Когда роли были распределены, устроена сцена и публика сидела на местах, Лев Николаевич сел за рояль и блестяще сыграл что-то вроде увертюры.

Представление началось.

Первый вышел на сцену брат Саша в роли рыцаря в наскоро придуманном костюме.

Он пропел о своей любви к Клотильде на голос арии из оперы «Марта».

У брата был прекрасный слух и небольшой голос. Он прикладывал то одну, то другую руку к сердцу, подражая арти-

стам.

Затем вышел хор: Соня, Клавдия, дочь няни, Поливанов и меньшие братья.

Клавдия была воспитана в приюте, куда поместил ее мой отец. Ей было тогда 16 лет, у нее был хороший контральто, и она часто пела с нами.

Хор вели старшие; малыши скорее мешали, но наполняли собой сцену.

Лев Николаевич старательно придумывал подходящую под известные роли музыку и подлаживал нам очень удачно.

Выход был за мной в роли Клотильды, в средневековом, наскоро импровизированном костюме. Я немного приговорила себе слова из романсов, мне знакомых.

Я робела. Мы вышли вдвоем с Клавдией – она в качестве моей подруги. Пропели дуэт, известный нам на голос романса:

Люди добрые, внимлите Печали сердца моего...

Я должна была жаловаться на свою судьбу. Подруга ушла, и я, по импровизации Льва Николаевича, одна уже перешла в allegro, причем старалась жестами подражать моей учительнице пения, Лаборд, московской кантатриссе.

Вошел рыцарь. Он объяснился Клотильде в любви. Она отвергла его любовь речитативом. Он встал перед ней на колени. Все шло своим чередом. Но вдруг Лев Николаевич шумно и громко заиграл в басу.

Дверь отворилась, и появился грозный муж в лице фрей-

лен Бёзэ. Одета она была в охотничьи шаровары, с красной мантией через плечо, с приклеенными волосяными подкладками в виде бак.

Она грозно пела басом, подбирая немецкие слова: Trommel, Kummer, Küche, Liebe⁶, причем грозно наступала на рыцаря. Ее маленькие черные глаза сверкали гневом. На голове была надета большая круглая шляпа с длинным пером, брови были подрисованы, и ее невозможно было узнать.

Все это было так неожиданно и комично, что послышался неудержимый хохот Льва Николаевича. Я взглянула на него. Он весь трясся от смеха, перегибаясь в бок к роялю, выделявая при этом в басу громкие рулады.

Его смех заразил всех. Я закрылась платком, как бы плача, и под музыку звала подругу свою: Клара! Клара!

Публика громко дружно смеялась. Но рыцарь и грозный муж не изменили своей роли. Вызвав на дуэль рыцаря, фрейлейн Бёзэ замахала саблей и сразила соперника.

Тем представление и окончилось.

– Ох, Боже мой, давно так не смеялся, – говорил Лев Николаевич, доигрывая свой финал.

В другой раз принес он нам книгу «Первая любовь» Тургенева, чтобы прочесть нам ее вслух. Мама сказала, что мне эту повесть слушать нельзя, но я так умоляла, чтобы мне позволили слушать, просили и сестры, и Лев Николаевич, и мама согласилась, сказав: «Хорошо, но с тем условием, что

⁶ Барабан, горе, кухня, любовь (нем.)

когда будет „это“ место, где нельзя ей слушать, чтобы она ушла», и мама что-то тихо сказала Льву Николаевичу, но что, я не слышала.

Чтение началось. Лев Николаевич, как и всегда, читал превосходно. Мы все слушали и восхищались и чтением, и повестью.

Не зная, где встретится это запрещенное место, я заблаговременно притворилась спящей, и меня оставили в покое, так что я прослушала всю повесть и не могла понять, где же это место, которое нельзя слушать. Когда окончили чтение и пошли пересуды, Лев Николаевич сказал:

– Любовь 16-летнего сына, юноши, и была настоящей сильной любовью, которую переживает человек лишь раз в жизни, а любовь отца – это мерзость и разврат.

Эти слова запали мне в душу, и я вспомнила о любви нашей с Кузминским и Сони с Поливановым. «Стало быть, наша любовь настоящая», – думала я с некоторой гордостью.

В другой раз приходил к нам Лев Николаевич и затевал какую-нибудь большую прогулку: осматривать Кремль, стены его вокруг, соборы и пр. И так бывало заморит нас, что ног под собой не чувствуешь.

Посещения его стали вызывать в нас, молодых, особый интерес. Он не был, как другие, и не походил на обыкновенного гостя. Его не надо было занимать в гостиной. Он был как бы всюду. И этот интерес, и участливость проявлял он и старому, и малому, и даже нашим домашним людям.

Не раз беседовал он с нашей няней Верой Ивановной и старой Трифоновой, и все уходили от него довольные и умиленные. Где находился он, там бывало оживленно и содержательно. Все в нашем доме любили его. Даже апатичный денщик наш хохол Прокофий говорил про него:

– Как граф приедут, всех оживлят.

Те строки, которые вписал Лев Николаевич в молодости своей в своем дневнике, вполне определяют его. Вот они: «Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни – это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».

И он ловил их и заражал своим внутренним священным огнем. Он понял, что в жизни есть один рычаг – любовь.

Частые посещения Льва Николаевича вызывали в Москве толки, что он женится на старшей сестре Лизе. Пошли намеки, сплетни, которые доходили и до нее.

Мать была очень недовольна; отец оставался к этому вполне равнодушен. Эти сплетни разносили две гувернантки: бывшая наша, Сарра Ивановна, и сестра ее Мария Ивановна. Они по очереди напевали старшей сестре, что граф увлечен ею.

Произошло это вследствие слов, сказанных Львом Николаевичем сестре его: «Машенька, семья Берс мне особенно симпатична, и, если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье».

Мария Николаевна отнеслась к его словам очень одобрительно, указывая на Лизу.

«Прекрасная жена будет, такая солидная, серьезная, и как хорошо воспитана», – говорила она.

Пишу эти строки со слов самой Марии Николаевны: она впоследствии многое рассказывала нам.

Обе наши немки подхватили слова Льва Николаевича и Марии Николаевны и стали напевать Лизе о том, как она нравится Льву Николаевичу.

Лиза сначала равнодушно относилась к сплетням, но понемногу и в ней заговорило не то женское самолюбие, не то как будто и сердце, в ней пробудилось что-то новое, неизведанное. Она стала оживленнее, добрее, обращала на свой туалет больше внимания, чем прежде. Она подолгу просиживала у зеркала, как бы спрашивала его: «Какая я? Какое произвожу впечатление?» Она меняла прическу, ее серьезные глаза иногда мечтательно глядели вдаль.

Казалось, что ее разбудили от продолжительного сна, что ей внушили, навеяли эту любовь и что она любила не самого Льва Николаевича, а любила свою 18-летнюю любовь к нему.

Соня заметила в ней эту перемену и подсмеивалась. Писала на нее шуточные стихи и говорила:

– А Лиза наша пустилась в нежности. А уж как ей не к лицу.

И я приставала к Лизе:

– Лиза, скажи, и ты влюблена? Зачем ты вперед косу по-

ложила, прическу переменяла? А я знаю, для кого, только не скажу.

Лиза добродушно смеялась, обращая в шутку мои слова.

– Таня, а идет мне эта прическа с косой? – спросит она меня.

– Да, ничего, – скажу я, принимая почему-то снисходительный тон.

XIV. Великий пост

Шел великий пост 1862 года. Лев Николаевич захандрил. Он чувствовал себя плохо, кашлял и хирел, воображая себе, что у него чахотка, как у его двух покойных братьев. Мы настолько сблизились с ним, что его дурное расположение духа повлияло и на нас. Нам стало грустно за него. Он ехал в Ясную Поляну, еще ничего не предпринимая для своего здоровья, хотя доктора и посылали его на кумыс.

– Поеду я к тетеньке и посоветуюсь с ней, – говорил Лев Николаевич. Отец успокаивал его, утверждая, что у него нет чахотки, нет ничего серьезного, но что кумыс будет ему вообще полезен.

Лев Николаевич уехал.

И для нас наступило грустное время. Поливанов кончил корпус и уехал в Петербург для поступления в академию. После своего отъезда он оставил в семье нашей пустое место, и, когда приезжал из корпуса один брат, у меня щемило сердце. Соня втихомолку плакала о нем, скрывая свое чувство к нему, хотя, конечно, все в доме знали об их обоюдном увлечении и смотрели на это, как на самое обыкновенное дело. Няня Вера Ивановна говорила:

– Известно, дело молодое, матушка, время пройдет, и как вода стечет.

Няня как будто предрекла эту воду своим старым чутьем.

Я сочувствовала Сониным слезам, мне было жаль ее, и я сказала ей, что буду переписываться с Поливановым, и она будет все знать о нем. Старшим же сестрам переписка с «молодым человеком» была запрещена. Поливанов превратился вдруг в «молодого человека», чего я никак не могла понять.

Мама даже запретила его называть по фамилии, как мы это делали до сих пор, и велела звать по имени и отчеству.

– Мама, я не могу его так называть, – говорила я, – какой же он Митрофан Андреевич. Он и не похож на Митрофана. Если бы еще его звали Сергей, Алексей, Владимир, а то Митрофан.

– Как же ты будешь его называть, если он Митрофан? – улыбаясь спросила мать.

– Я подумаю...

– Вот глупая, – смеясь сказала Лиза, – она теперь уж что-нибудь да придумает свое.

– Да вот я и вспомнила, как он мирился со мной и пел:

Предмет любви моей несчастной,
Сжальтесь вы хоть надо мной.
Всюду образ ваш прекрасный
Тревожит сон мой и покой.

– Вот я и буду звать его «предметом моей дружбы». Буду писать ему письма. Ведь можно, мама?

– Ты еще ребенок, тебе-то можно, а вот вам, – обращаясь к сестрам, добавила мать, – вам уже неловко переписывать-

ся с ним и называть по фамилии. Теперь ведь пошла такая мода. Ее усвоили нигилисты, которых, к сожалению, развелось очень много после романа Тургенева «Отцы и дети». Вот Василий Иванович наш уговаривал же Соню обстричь себе косы, да Сонечка благоразумна, она только посмеялась над ним.

– Ну, мама, – сказала Соня, – разве я его буду слушать!

– Стали проповедовать теперь о свободе женщины, – продолжала мать.

– Какая свобода? В чем она состоит? – спросила я.

– В неповиновении родителям. Замуж выходят за кого хотят, не спросясь родителей.

– Что ж, это хорошо! – сказала я. – Кого я люблю, за того и выйду!

Сестры засмеялись.

– Хорошего тут мало, – сказала мать. – Родители всегда лучше детей знают, что им лучше. По улицам молодые девушки одни ходят, – продолжала мать, – жмут им руки мужчины, так что пальцам больно.

– Видите, мама, а вы нам запрещаете руку мужчинам подавать, а велите реверанс делать. А наемдни Лиза и Соня Головину на прощание руку подали, – говорила я.

– Да, я знаю, – сказала со вздохом мать, – теперь, к сожалению, эти интимности уже приняты и в нашем обществе.

– Мама, да что же тут такого? И Ольга и все наши подруги подают теперь руку, – сказала Соня.

Мама не отвечала, она продолжала свое. – Да еще хотят теперь девушек в университет пустить, какие-то курсы устроить.

– А я с удовольствием поступила бы в университет, – сказала Лиза. – Разве один Василий Иванович может дать образование?

– А на что оно? Оно и не нужно, – сказала мать, – назначение женщины – семья.

Лиза чувствовала, что воззрение матери в первый раз в ее жизни расходится с ее воззрением, что оно раздвоилось и пошло куда-то вперед. Лиза жаждала образования, но, конечно, не той мнимой свободы, о которой говорила мать, в этом она была согласна с ней, но расходилась с ней в том, что мать отвергала пользу образования для женщины и признавала только семью.

Лиза всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам. Маленькие дети, их кормление, пеленки, все это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку.

Соня, напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах.

Поразительно, как во всем эти две сестры были различны. Соня была женственна как внешностью, так и в душе своей, и это была ее самая привлекательная сторона. Эту весну

она как-то расцвела, похорошела, ей шел 18-й год; молодость брала свое, к ней вернулась ее обычная веселость, несмотря на отъезд Поливанова. Она как будто говорила себе:

– Если судьба разлучила нас, то горевать не надо; на то воля Божья, что будет – то будет.

Последние слова она вообще любила часто повторять, полагаясь на судьбу.

С наступлением весны я чувствовала в себе какой-то душевный подъем. Что-то новое, молодое просыпалось во мне. Мне пошел 16-й год. Несбыточные мечты волновали меня и уносили в далекое будущее. То безотчетная тоска овладевала мной и жажда чего-то неудовлетворенного томила меня.

Меня влекло вон из города. Переехать в Покровское мы еще не могли и иногда по моей же просьбе ехали куда-либо за город.

На вольном воздухе весна живила меня. Я вдыхала в себя свежий пахучий воздух и с меньшим братом Петей бегала «по мягкому», как я выражалась, после каменистой мостовой, но, вернувшись домой и войдя снова в душные, неосвященные комнаты, я нигде не находила себе места. Сестры уходили к себе. Мама была у отца в кабинете, а я оставалась одна.

Знакомая, сладостно-мучительная тоска овладевала мной. Мне хотелось, чтобы меня кто-нибудь пожалел, хотелось высказать все то, что безотчетно мучило меня, а что – я сама не отдавала себе отчета.

«Вот если бы Кузминский был здесь», думала я, он понял бы меня. Как хорошо мы говорили с ним на Святой, вернувшись из Нескучного, о том, как мы будем жить вместе, когда мы женимся, и это наверное будет, потому он пишет мне: «L'idée settle, que tu deviendra un jour promise d'un autre, me fait frissonner»⁷.

Переписка наша за этот год изменилась. Мы писали и по-русски, и, по привычке, иногда по-французски. Лиза уже не помогала мне, я писала одна, и я могла найти в его письмах, чего не хотела бы показать кому бы то ни было. Бывало, когда взгрустнется, пойдешь к няне, – она всегда успокоительно действовала на меня. Она имела на меня хорошее влияние и первая заставила меня верить в силу молитвы.

Уложив детей, Вера Ивановна сидит, бывало, в углу комнаты и читает вполголоса святцы. Перед ней на столе горит сальная свеча. Строгое лицо ее с длинным, прямым носом, освещенное сверху светом лампы, кажется неподвижным.

Сядешь против нее и начнешь говорить о том, что мучит и тревожит.

– Няня, папа нездоров, мама не в духе, в доме скучно, тоскливо, и письма давно нет...

– Это от губернатора-то? – спросит няня.

Я засмеюсь, что она так называет Кузминского. Няня рада, что насмешила меня.

⁷ Одна мысль, что ты можешь сделаться невестой другого, приводит меня в содрогание (фр.)

– Напишет, чего тут горевать. Вам стыдно на жизнь жаловаться. Вам ли плохо живется. Все вас любят, балуют.

– Да, я знаю, – перебиваю я ее, – но...

– А вот вы наемни, – перебивает меня няня строгим голосом, – обедня еще не отошла, а вы на весь дом песни поете. Нешто это можно, это грех! Мало молитесь.

– Да, да, няня, это правда.

– Вот теперь великий пост, пойдемте завтра к ранней обедне.

– А дети как же? – спрошу я.

– Федору посадим. Мамаша меня пустили.

И я вставала в 5 часов и шла с няней в собор. Молитвенное настроение в соборе охватывало меня сразу. Несомненная горячая вера в Бога загоралась в душе, как неугасимый огонек. Становилось и легко, и радостно.

Придя домой, я тихонько сзади подкрадывалась к матери, обвивала ее шею руками и говорила: – Мама, я ходила с няней к ранней обедне, я вам не говорила, вы уже спали... Ничего?

И я здоровалась с ней, целовала ее, заглядывая ей в глаза.

– Только бы ты не простудилась, – говорила мать, с улыбкой глядя на меня.

И я чувствовала, как мы любили друг друга, и моему размягченному сердцу все казались добрыми и дружными: и папа, и Лиза, и Трифонова, несшая в столовую на решете сухари к утреннему чаю.

XV. Жизнь на даче

Уже середина мая 1862 г. В доме у нас суета. Во всех комнатах идет укладка. Мама целый день отдает приказания.

На дворе валяется солома и сено, и буфетчик Григорий укладывает в ящик посуду.

Я радуюсь отъезду в Покровское. Мы должны ехать завтрашний день. Но нам не суждено было выехать: приехал Лев Николаевич из Ясной Поляны на три дня. Он выразил такое сожаление, что мы уезжаем, что мама откладывает наш отъезд.

Я не очень огорчена: мы все так рады его видеть. Он едет в Самарскую губернию к башкирцам на кумыс. С ним едут его два любимых ученика и лакей Алексей.

– А где же ваши ребята? – спрашивает отец.

– Я оставил их в гостинице.

– Да привезите их к нам, мы приютим их, а сейчас останетесь у нас обедать.

Лев Николаевич, видимо, был доволен за ребят и остался у нас обедать.

За обедом я смотрела на Лизу и наблюдала за ней; она сидела возле Льва Николаевича. С ее лица не сходила улыбка. Она говорила тихим, ненатуральным голосом, что всегда бывало, когда она хотела нравиться или бывала чем-нибудь довольна. У нас это называлось «миндальничать».

– Посмотри, Соня, как Лиза миндальничает с Львом Николаевичем, – шепнула я Соне.

Отец расспрашивал Льва Николаевича о здоровье, потом разговор перешел к его деятельности. В те времена Лев Николаевич занимался школой и был мировым посредником.

– Я думаю, трудно теперь ладить вам с дворянством, – говорил отец.

– Я так устал от этой должности, мне до того надоела борьба с дворянством, что я уже просил об увольнении, – отвечал Лев Николаевич.

– Я слышал, что ваш предводитель Минин интриговал против вас, – говорил отец, – а губернатор Дараган и министр внутренних дел Валуев отстаивали вас. Мне рассказывал про это А. М. Исленьев.

– Да не один Минин интриговал против меня, и помещики-дворяне постоянно жаловались на решения мои их спорных дел с крестьянами и дворовыми людьми. А уже особенно было трудно с помещицами. Вот, например, одна из мелкопоместных помещиц жаловалась, что ее дворовый человек по болезни ушел от нее, а она потребовала, чтоб его вернули так же, как и его жену. И, когда я решил дело в пользу жены и мужа, она жаловалась. Мое решение отменили в мировом съезде. Но потом дело перешло в губернское присутствие и там решено было в мою пользу.

– Экие порядки у нас на Руси, – говорил отец. – Не скоро еще привыкнут к новым законам.

– А в особенности женщины, они прямо не могут, не хотят понять и признать, что должны отказаться от прошлого, – говорил Лев Николаевич.

Отец засмеялся.

– Да, – сказал он, – с этим народом не скоро справишься. Тупое упрямство.

Я внимательно слушала весь рассказ Льва Николаевича, и последние слова отца покорибили меня.

«Зачем он так говорит? Он этого не думает, я знаю», – говорила я себе. Я хотела вступить в разговор, но не решалась. По годам моим это было не принято. Я волновалась и чувствовала, как краснею.

– Папа, – вдруг сказала я, – зачем ты так говоришь. Ты так не думаешь, я знаю наверное, наверное, что... – путаясь говорила я.

Все с удивлением посмотрели на меня, мама сделала строгие глаза. – Ого. Какая заступница женщин у нас! Ах ты, моя милая, и так раскраснелась, – вдруг весело сказал отец, взглянув на меня.

– Простите, M-me Viardo, никогда не буду, – засмеявшись, сказал Лев Николаевич.

Мне стало совестно и неловко и от волнения хотелось плакать. «Лучше бы меня из-за стола выгнали», думала я. «Что я сделала? Что я сказала папа? и мама недовольна...»

Лиза мягким голосом обратилась к Льву Николаевичу, как бы извиняясь за меня:

– У нас Таня часто говорит, чего нельзя говорить, она еще этого не понимает.

Ответа Льва Николаевича я не слышала.

После обеда Лев Николаевич привел своих двух учеников: Егора Чернова и Васю Морозова.

Отец приласкал мальчиков и ушел к себе, а мы, сестры, и брат Петя, обступили их и закидали вопросами.

Лев Николаевич стоял тут же; он, видимо, был доволен ребятами, как они по-детски скромно и непринужденно держали себя.

Я заметила, что Соне хотелось что-нибудь изобразить с ними: заставить их говорить, приласкать, но она как будто сдерживала себя. Она боялась известной фальши в непривычных отношениях с крестьянскими ребятами. Соня знала, что эта фальшь не ускользнула бы от внимания и чутья Льва Николаевича.

– Вы хотите есть? Вы обедали? – спросила я.

– Спасибо, мы уже пообедали, – отвечали мальчики.

– Соня, распорядись, чтобы их отвели к Трифоновне и напоили чаем, – сказала мама, – а нам пора собираться в театр.

Петя принес им мятных пряников и ушел с ними.

Лев Николаевич уехал, сказав, что приедет в театр.

Я плохо помню этот вечер. Пьесу давали незначительную. Лев Николаевич пришел к нам в ложу. Он сильно кашлял, похудел с тех пор, как мы не видели его, и, как нам казалось, был раздражителен и чем-то озабочен.

Пужинав и раскритиковав пьесу, он уехал. Вечером, когда мы легли спать, я заметила, что Соня была особенно грустна. Ложась спать, она дольше обыкновенного стояла на молитве.

Я молчала, наблюдая за ней, но не вытерпев, тихо окликнула ее:

– Соня, *tu aimes le comte?*⁸ – спросила я.

– *Je ne sais pas*⁹, – тихо ответила она; по-видимому, ее не удивил мой вопрос.

– Ах, Таня, – немного погодя заговорила она, – у него два брата умерли чахоткой.

– Так что же, он совсем другого сложения, чем они. Поверь, что папа лучше нас знает.

Соня долго не засыпала. Я слышала ее невнятный шепот и видела, как она утирала слезы.

Мы больше не говорили с ней. Ответ ее «*Je ne sais pas*» – разъяснил мне многое.

«Стало быть это бывает, двойственность чувств? – думала я, – или же это переход к другому чувству?», и мысли мои путались.

Майская ночь чуть пробивала свет через завешенные окна. Во дворе прокричал наш петух, а я все не спала. «А Поливанов? – думала я, – ведь он ей сделал предложение, она согласилась, но он сказал, что она свободна и не связана сло-

⁸ Ты любишь графа? (фр.)

⁹ Я не знаю (фр.)

вом. Да, любовь ее раздвоилась... „Вода утекает“, – как предсказала няня. Когда она видит Льва Николаевича, она всей душой льнет к нему; когда я получаю письмо от Поливанова, она с нетерпением перечитывает его! А Лиза?» – И усталые мысли мои сменялись одна за другой и перелетали в Петербург и унесли меня еще дальше, дальше в неведомый, сладостный мир...

На другой день после отъезда Льва Николаевича подводы стояли уже у крыльца.

Как я любила эту беспорядочную суету! Она сулила мне любимое мною Покровское, сулила свободу от уроков и чудную природу.

В пять часов вечера и для нас экипажи были поданы. Меня посадили с малышами и няней в карету, чем я была очень недовольна.

Я не в духе, ворчу, толкаю мальчиков, они топчут мне ноги.

Но вот миновали Петровский парк, Всесвятское, и мы дома. Я забываю дорожные неприятности, мне легко и весело. Соню мама позвала помогать в раскладке.

Лиза пошла наверх устраивать нашу комнату.

Дача наша была двухэтажная. Внизу жили родители, гувернер с старшими мальчиками, потом была комната для приезжих, большая гостиная, столовая и терраса. Наверху помещались дети с няней, прислуга, и была наша большая, светлая комната с итальянским окном; из окна был веселый,

живописный вид на пруд о островком, церковь с зелеными куполами. Живописная дорога, извиваясь, вела из города к нашей даче Мама называла нашу комнату «комнатой трех дев».

Мне было поручено заботиться о чае, но я упросила Трифоновну приготовить все за меня и побежала с братом Петей в сад. Мы обежали все знакомые места. Весна в полном разгаре, пахучая от распустившихся нарциссов и фиалок. Меня сразу охватил этот беспредельный весенний деревенский воздух после городской духоты. Нас позвали пить чай. На террасе уже накрыт стол, и кипит самовар. Свежий белый хлеб, холодное мясо и молоко ожидают нас. Все это на воздухе кажется мне совсем особенным.

На другой день я раскладывалась и устраивала нашу комнату.

Многие еще не переехали на дачу. На лето был приглашен отцом молодой сын профессора Пако для практики французского языка с мальчиками. Отец был очень любим в семье профессора.

Должна была приехать и Клавдия, чему я очень радовалась.

«Она милая, веселая и влюблена в брата Сашу», – решила я.

Год от году жизнь наша становилась многолюднее и шумнее. Три меньших брата, Петя, Володя и Степа, подрастали и наполняли дом шумом молодости.

Все три мальчика были различны. Черноглазый Петя был мой любимец. Всегда спокойный, прекрасного характера, он умел всех расположить к себе.

Степа был взбалмошный, суетливый и очень способный мальчик. Володя – кроткий идеалист, с музыкальными способностями, любимец матери из-за слабого здоровья.

Понемногу все стали съезжаться. Приехал и брат Саша, веселый, довольный, сдавший экзамен. Он привез с собой гитару и выучился аккомпанировать пению.

Через неделю отец привез Клавдию, и появился ожидаемый нами Жорж Пако.

Это был юноша 20–21 года, среднего роста, с впалой, चाहоточной грудью. Застенчивый, безответный, сентиментальный, но охотно принимавший участие в нашем общем веселом настроении.

Да в нашем доме было бы и мудрено жить иначе. Дом был полон беспечной, оживленной молодежи. Летняя жизнь понемногу разворачивалась, распускалась, как пышный цветок, но для меня она была еще нерасцветшей: я ждала приезда Кузминского, но ни его, ни писем не было.

Я не могла понять, что бы это значило, и очень тревожилась.

Лиза в Покровском как бы переродилась. Она всегда почти была в хорошем, спокойном настроении.

Лев Николаевич писал нам, что он живет у башкирцев в кибитке, что пьет кумыс и что Алексей и он быстро поправ-

ляются, что вернется в июле и привезет нам траву ковыль.

Это было в начале июня. Был жаркий летний день. Я стояла наверху, в нашей комнате, у окна. Уже был первый звонок к обеду, когда я увидела издали, как на нашу дорожку повернула коляска.

Кто в ней сидел, я разобрать не могла, но ясно видела правоведскую треуголку.

«Да ведь это же Кузминский! – чуть не вскрикнула я, – а кто с ним?»

Как стрела, полетела я к Соне. Она сидела наверху у няни. – Соня! – закричала я, – Саша Кузминский едет к нам. – Ну-у! Где ты видишь его? – спросила Соня. – Да вот, вот, они поворачивают у Мартыновской дачи, – кричала я.

Соня побежала вниз встречать их, а я в нашу комнату, прямо к зеркалу. Я поспешно оправила прическу, обмахиваясь, чтобы не быть красной.

– Федорушка! – кричала я, – давай розовый пояс, Кузминский приехал! – и, обняв ее за плечи, я легко покружилась с ней.

– Неужто приехали? Вот вам радость-то, – сказала Федора.

Она, конечно, знала про нашу любовь.

Но вот мы вместе. Встреча наша радостная. После обычного поцелуя мы внимательно оглядывали друг друга, и мне кажется по выражению его лица, что он мысленно говорит

мне то же, что думаю и я:

«Ты все та же, и я люблю тебя».

Он дает мне большую коробку конфет.

– Это вам, кузинам, – говорит он, чтобы не выделить меня при всех.

С ним приехал его вотчим Шидловский, воронежский помещик. Мама очень любит его, она рада его видеть – он женат на ее родной сестре.

Обед был с опозданием, так как мама велела что-то подкинуть для гостей.

После обеда мы все, кроме родителей и Шидловского, пошли на длинную прогулку.

– Ты надолго приехал к нам? – спросила я Кузминского.

– Нет, к сожалению, я должен скоро уехать в Волынскую губернию, в свое имение, которое я получил в наследство от отца.

– Что же ты там будешь делать? – спросила я.

– Меня посылает туда Вячеслав Иванович, мой вотчим. Я должен буду осмотреть и познакомиться с своими владениями, – не без гордости, как я заметила, отвечал Кузминский.

– А большое имение? – спросила я.

– Две тысячи десятин, – отвечал он.

– Какая скука будет тебе одному сидеть там и заниматься хозяйством, – сказала я, – не веселее ли жить с нами?

– С вами прекрасно жить, но мне и там надо быть и интересно все-таки будет посмотреть и ознакомиться с своим

наследством. До сих пор мать за глаза управляла имением, как моя опекунша.

Мне не понравился ответ его, мне стало завидно, что у него есть другие интересы, а у меня их нет.

– Да к тому же я не мог бы долго оставаться у вас это лето, – продолжал он, – твои родители, пожалуй, будут этому противиться.

– Кто тебе сказал? – спросила я.

– Меня предупредил об этом вотчим.

– Какие глупости! – воскликнула я. – Почему?

– Потому что тебе уже скоро 16 лет.

– А чему мешают мои 16 лет? Это папа все чего-то боится, – сказала я с досадой. – Он одно время придирался к Соне и к Поливанову, но мама все уладила, так и теперь будет.

Я не хотела портить нашего первого свидания какой-либо неприятностью и переменяла разговор.

– Но, ведь, ты погостишь у нас теперь? – спросила я, улыбаясь.

– Конечно. Вячеслав Иванович остается в Москве недели две, и я с ним; я так рад, что сдал трудный экзамен и опять попал к вам.

– А я как ждала тебя, – сказала я, – ты сильно опоздал с приходом.

– У вотчима были дела в Петербурге, и я дожидался его, и не писал тебе, потому что почти ежедневно собирались в дорогу.

– Кузминский. иди скорее, – послышался голос Саши, – будем в чехарду играть, посмотри, какая прямая, торная дорожка!

Мы порядочно отстали от всех и побежали догонять их. Я присоединилась к сестрам. Клавдия шла стороною, и я заметила, что у нее были заплаканные глаза.

– Клавочка, что с тобой? – спросила я. – Чего ты плакала?

– Так, ничего, – отвечала она, потупя глаза.

Мне стало жаль ее, я понимала, что это брат чем-то огорчил ее. Я молча обняла ее и так шла с ней.

– Я, может быть, могу помочь тебе? – сказала я тихо.

– Вы знаете, Танечка, – начала она, – ведь Александр провел вчера целый вечер у Мартыновых и сегодня только и говорит о Юленьке. Его опять звали туда, и он хочет идти.

– Я не пущу его! Он не пойдет, – сказала я решительно. – Приехал Кузминский, мы будем петь, разговаривать, сидеть все вместе. Не горюй, – утешала я ее. – Он намедни, когда ты ушла, так хвалил тебя.

– Неужели? – улыбаясь сквозь слезы, говорила Клавочка.

– Да, да, но будь веселой, не кисни, пойдем бегать в горелки, я сейчас устрою на этой лужайке.

И мы побежали созывать всех на игру. Я успела шепнуть брату на ухо, чтобы он стал в паре с Клавдией. Он только кивнул мне головой.

Кузминский остался у нас в Покровском, а вотчим его уехал в Москву.

Погода все дни стояла сухая и ясная. Не думая о предстоящей разлуке, мы всецело пользовались нашей молодой жизнью, как будто все сговорились быть дружными и веселыми.

По воскресеньям к нам обыкновенно приезжала на весь день семья Перфильевых, наших хороших знакомых. За столом нас сидело около 20 человек. Генерал сидел около папа, и у них шел серьезный разговор, а мы все приумолкли, когда вдруг тишина и чинность стола была нарушена: меньшой сын Перфильевых, 14-летний Саша, был недоразвитой, наивный мальчик. Он сидел около Сони, все время умильно глядя на нее. Вдруг взяв рукав ее платья, он стал усиленно перебирать его пальцами. Соня конфузливо улыбалась, не зная что бы это значило.

– Pourquoi touchez vous la robe de m-lle Sophie?¹⁰ – послышался вдруг резкий голос Анастасии Сергеевны, матери Саши.

Саша, нисколько не смутясь, прибавил:

– Влюбле-ен.

Все дружно засмеялись, и все взоры обратились на Соню, более смущенную, чем ее обожатель.

Сейчас после обеда неожиданно приехал к нам из Москвы и наш недавний знакомый профессор, Нил Александрович Попов.

Это был человек лет 35, степенный, с медлительными движениями и выразительными серыми глазами.

¹⁰ Зачем ты трогаешь платье Софи? (фр.)

Мысленно я определяла его так:

«Это гость папа, с умными разговорами, он не наш. Ведь профессора не влюбляются».

Но однажды мама очень удивила меня, сказав:

– Соня очень нравится Попову.

– Вот на какое веселье попал я к вам, – говорил Нил Александрович, – никак не ожидал застать в Покровском такое большое общество.

Общество наше еще увеличилось. К нам пришли соседи: Юлия Мартынова, хорошенькая кузина ее Ольга со своим братом и родственник их, студент Михаил Андреевич Мартынов, умный бойкий малый, до университета живший всегда за границей и говоривший всегда по-французски.

Варенька, дочь Перфильевой, фрейлина 22 лет, по нашей просьбе затеяла разыграть пословицу: «Не все то золото, что блестит», и поставить живую картину.

Поднялась суета, разрыли все вещи матери, доставая шарфы и платки. Сюжет этой пословицы был известен Вареньке: ее играли в Москве, и она должна была раздавать нам роли.

В пословице я не участвовала. Лиза отлично исполнила роль старой нянюшки, Варенька – матери, а Соня – дочери драматического характера.

«Как Соня умеет представлять драматические роли», думала я, глядя на нее. «Мне даже плакать хочется».

Но не я одна глядела на ее тонкую грациозную фигуру, на ее оживленные, большие глаза. Нил Александрович не спус-

кал с нее глаз.

Сюжета пословицы я хорошо не помню.

Живая картина должна была изображать фантастическое похищение нимфы, ехавшей на колеснице, запряженной тремя бабочками.

Я всегда радовалась всяким затеям, но никак не ожидала, что эта затея доставит мне огорчение, в чем я, впрочем, частью сама была виновата.

– Три бабочки будете ты, Соня, Ольга и Юленька, – сказала Варенька. – А ты, Таня, надень белое платье, – ты будешь нимфа. На голову венок и крылья, оставшиеся от костюмированного вечера.

– А кто же будет похититель? – спросила я.

– Твой кузен Александр Михайлович.

– Нет, пускай будет лучше Михаил Андреевич, – сказала я.

В эту минуту я взглянула на Кузминского и поняла, что произошло что-то неловкое.

«Что я сделала, зачем я это сказала?» – промелькнуло у меня в голове. По выражению лица Кузминского я поняла, что я задела его самолюбие. Но было уже поздно, и я стала глупо объяснять причину своего желания.

– Вы такой черный, – обратилась я к Михаилу Андреевичу, – и будете настоящий выходец из ада, а Кузминский будет около колесницы с жезлом.

– Может быть, Александр Михайлович не захочет усту-

пить своей роли, – сказал Михаил Андреевич.

– Нет, пожалуйста, – отвечал за меня Кузминский, – я не буду участвовать, потому что не успею гримироваться. Саша, – обратился он к брату, – возьми мою роль.

Саша согласился.

Когда я, одетая, сошла вниз, все уже было готово. Михаил Андреевич, весь в красном, действительно напоминал жителей ада.

Кузминский, разговаривая с Варенькой, не обратил на мой костюм никакого внимания, что мне было неприятно, и во мне шевельнулось чувство досады.

– Вы знаете, как надо позировать? – спросила я Михаила Андреевича, стараясь так говорить, чтобы меня слышал Кузминский.

– Знаю, – отвечал он. – В первой картине с бабочками я не участвую. Во второй – я похищаю вас, но, к сожалению, это представить трудно, я буду лишь красться к колеснице с протянутыми руками. А в третьей – ваши крылья отпадают, вы умираете, и я стою над вами. Так ведь?

– Да, так, – ответила я.

Когда отдернули занавес второй картины, я упорно глядела на Кузминского. Он сидел в задних рядах.

Наши глаза встретились, я прочла в них скорбь и злобу. Я все забыла в эту минуту, и, должно быть, мое волнение было настолько сильно, что я почувствовала, что не могу устоять на высокой колеснице. Я сильно пошатнулась назад и упала

бы, если бы Михаил Андреевич не поддержал меня сзади рукой между крыльями.

Представление кончилось. Мы сидим за чаем. Пако садится около меня. Он участливо смотрит на меня.

– Отчего вы такая грустная? – говорит он. – Ваша картина была очень красива.

Меня тронуло его участие. «Милый, добрый, – думаю я, – а как часто все подтрунивают над ним, а в особенности Кузминский, а он никогда не обижается. А Саша?» и я мысленно опять возвращаюсь к своему горю.

Но вот все разъехались. Сестры ушли наверх, мама ложится спать. Отец уехал с Поповым в Москву. Я иду к матери, хотя уже поздно.

– Ты что же не ложишься? – спрашивает она меня.

– Мама, мы поссорились с Сашей, – говорю я. – Что мне делать? Скажите мне.

– За что поссорились? – спрашивает мама. Я рассказала ей все, что было.

– Он, пожалуй, уедет от нас, – говорю я со слезами на глазах.

– Нет, не уедет, мы его не пустим, – говорит мама, чтобы утешить меня. – Но зачем же ты так неловко поступаешь с ним, зная его самолюбие? Ну, успокойся, перемелется, мука будет, а теперь уже поздно, иди спать и не плачь.

– Я не могу спать, – целуя руку мама, говорю я. – Но я вас оставлю, вы так устали за весь день.

Я ухожу, но не знаю куда. В коридоре я услышала голос брата и Кузминского. Я прошла в залу. Они, действительно, разговаривали еще при слабом освещении одной свечи.

– Ты что же это бродишь, как привидение в своем костюме? – спрашивает меня с удивлением брат.

– Я потеряла медальон и хочу поискать его, – придумала я.

Брат ушел, и мы остались вдвоем.

Неловкое молчание длилось несколько секунд. Кузминский подошел к столу и что-то притворно стал шарить в нем. Я не двигалась с места.

– Прощай, пора спать, – холодно сказал он.

– Подожди, не уходи, я не могу спать.

– Отчего? Может быть, от потерянного медальона? Так его завтра можно поискать, – сказал он насмешливо.

– Я не теряла его, я сказала нарочно, я не уйду спать, я расстроена и хочу объясниться.

– О чем? – притворно сказал он.

– Ты знаешь о чем; я так мучусь этим, а тебе все равно, ты холодный и обидчивый!

– Обидчивый? Чем? Право, такими пустяками не стоит обижаться. Да, кстати, мне некогда и думать об этом, я хочу ехать завтра в Москву, а потом к себе в деревню.

– Как? Ты хочешь совсем уехать в деревню? – сказала я в ужасе.

– Да, мне пора уже, наемни и вотчим торопил меня отъездом.

– Да ведь прошла только одна неделя, а ты хотел остаться две.

– Может быть, но я все-таки думаю ехать.

Весь тон его разговора был притворно-холодный. Я чувствовала это и не могла и не умела вызвать в нем искренность, хотя бы злобную, обидную для меня, но искренность, а не этот насмешливо-притворный разговор, который я не выносила.

Он отошел к окну, сел в кресло и стал смотреть на звездное небо. Его бледное, худое лицо при слабом освещении луны казалось еще бледнее. Выражение его лица было очень грустно, у меня заныло сердце, и мне вдруг стало невыносимо жаль его.

«Господи! Что я сделала, помоги мне, сжался над нами и пошли нам примирение!» – молилась я мысленно.

– Саша, – окликнула я его после нескольких минут молчания, – ты сердись на меня, за что? Ты не понимаешь, что он для меня ровно ничего не значит, ну прямо ничего! Я просто звала его участвовать в картине, потому что он черный, как негр... Ах, зачем только поставили эту глупую картину! – говорила я.

– Таня, тут картина ни при чем, она дала всему лишь маленький толчок, – заговорил он, наконец, серьезно, – но я вообще заметил и хотел даже поговорить с тобой, что ты относишься к нему не так, как к другим. Намедни, когда мы гуляли, ты отстала с ним, и он всегда выбирал тебя в парах, и

ты потворствуешь этому, а сегодня, отстранив меня, ты подчеркнула ему это. Я, положим, был очень рад не участвовать в картине. Ты знаешь, ведь я не люблю костюмироваться, позировать, это не в моем духе. Если бы не ты, то я сначала бы отказался от участия.

– Ты говоришь, что я отношусь к нему иначе, чем к другим, – перебила я его, – но ведь я и говорю, смеясь, сестрам, что здесь, на даче, он для меня «на безрыбье и рак рыба».

– Хорошего тут мало, – сказал он. – Ты хочешь всем нравиться, и еще сама намедни говорила: «А я хочу, чтобы меня все любили, я хочу всем нравиться!»

– Ну так что же? Мне это весело, вот и все, – улыбнувшись, сказала я, – и я это в шутку говорю, чтобы Лизу насмешить.

– Странные шутки! – пожав плечами, сказал он. – Я прямо не выношу твоего кокетства. Впрочем, что я говорю? Ты свободна и, пожалуйста, делай, что хочешь, – с негодованием продолжал он.

– Ты говоришь, что я хочу всем нравиться. Это неправда, у меня это так, невольно выходит. Одна мама меня понимает, она знает меня, а вы никто меня не знаете! – сказала я.

– Я действительно не понимаю тебя, как же это может так выходить! – все еще сердясь, говорил он мне.

– Да просто так, я и сама не знаю, – отвечала я. Он, не слушая меня, продолжал:

– Скажи, пожалуйста, зачем мы переписываемся? Зачем

я живу здесь? Было бы честнее нам разойтись.

– Я не хочу расходиться, – сказала я решительно.

– Но ты же все делаешь, чтобы это было. Ну опять же сегодня, – продолжал он, – во второй картине ты так пригнулась к нему, что руки его касались тебя, и это было всем заметно.

– Неправда! Неправда! – с негодованием закричала я, – я смотрела на тебя. Глаза наши встретились, ты так злобно смотрел на меня, я волновалась, мучилась и, не устояв на высокой колеснице, нечаянно пошатнулась и сама испугалась, когда почувствовала его руку.

– Ну, да Бог с тобой, – сказал он, видимо успокоенный моим искренним негодованием. – Это дело твое – ты свободна. Я не буду ссориться с тобой, я обещаю тебе. Но уже если я раз поссорюсь, то это будет навсегда. Но теперь я чувствую, что должен уехать.

Его последние слова повергли меня в полное отчаяние. Говорить я больше не могла, я не находила больше ни слов, ни оправдания, да и не чувствовала за собой той вины, которую он приписывал мне. Мне было лишь жаль, что он огорчен и уезжает, и я, чувствуя свое бессилие, залилась горькими слезами, опустившись на диван.

Вероятно, Кузминский был из тех мужчин, которые не могут выносить женских слез.

Он встал с кресла и медленно подошел ко мне. Сидя на диване, облокотившись на стол и закрыв глаза руками, я продолжала плакать.

Он сел близко около меня, я чувствовала его дыхание, но не видела его лица.

Он взял мои руки и отвел их от глаз.

– Таня, не будем больше говорить об этом, – тихо сказал он, не выпуская моих рук.

Я увидела его растроганное выражение лица и поняла, что он не уедет, поняла, что он любит меня, может быть, даже сильнее прежнего, и сердце мое переполнилось радостью.

Он привлек меня к себе, и мы изменили данному нами слову и преступили запрещенное «это», запрещенное нами же самими два года тому назад из-за поцелуя куклы Мими.

Через четверть часа я была наверху. Соня уже спала. Лиза спросила, где я была. Я сказала, что в зале – мирилась с Сашей.

Вспоминая теперь нашу юную любовь, я вижу, как Лев Николаевич был прав, когда после чтения «Первой любви» Тургенева говорил:

«Любовь юноши и есть, и была настоящей, сильной любовью, которую переживает человек лишь раз в жизни, а любовь отца – мерзость и разврат».

Мой жизненный опыт доказал мне всю истину этих слов.

XVI. Повесть Сони

Когда через неделю уехали брат и Кузминский, в доме стало тише. Я занялась музыкой, читала и ходила за грибами. Соня часто уходила наверх и что-то писала. Я узнала, что она пишет повесть.

«Какова? – думала я. – Она ведь всегда хорошо сочинения писала». И я очень заинтересовалась ее повестью.

По вечерам я приходила к ней, и она всегда с удовольствием читала мне вслух написанное.

– А про меня написала? – спрашивала я.

– Написала, – отвечала она.

Подробности повести я хорошо не помню, но сюжет и герои остались у меня в памяти.

В повести два героя: Дублицкий и Смирнов. Дублицкий – средних лет, непривлекательной наружности, энергичен, умен, с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов – молодой, лет 23, с высокими идеалами, положительно-го, спокойного характера, доверчивый и делающий карьеру.

Героиня повести – Елена, молодая девушка, красивая, с большими черными глазами. У нее старшая сестра Зинаида, несимпатичная, холодная блондинка, и меньшая – 15 лет. Наташа, тоненькая и резвая девочка.

Дублицкий ездил в дом без всяких мыслей о любви.

Смирнов влюблен в Елену, и она увлечена им. Он дела-

ет ей предложение; она колеблется дать согласие; родители против этого брака, по молодости его лет. Смирнов уезжает по службе. Описание его сердечных мук. Тут много вводных лиц. Описание увлечения Зинаиды Дублицкии, разные проказы Наташи, любовь ее к кузену и т. д.

Дублицкии продолжает посещать семью Елены. Она в недоумении и не может разобраться в своем чувстве, не хочет признаться себе самой, что начинает любить его. Ее мучает мысль о сестре и о Смирнове. Она борется с своим чувством, но борьба ей не по силам. Дублицкии как бы увлекается ею, а не сестрой, и тем, конечно, привлекает ее еще больше.

Она сознает, что его переменчивые взгляды на жизнь утомляют ее. Его наблюдательный ум стесняет ее. Она мысленно часто сравнивает его с Смирновым и говорит себе: «Смирнов просто, чистосердечно любит меня, ничего не требуя от меня».

Приезжает Смирнов. При виде его душевных страданий и вместе с тем, чувствуя увлечение к Дублицкому, она задумывает идти в монастырь.

Тут подробностей я не помню, но кончается повесть тем, что Елена как будто устраивает брак Зинаиды с Дублицкии и много позднее уже выходит замуж за Смирнова.

Эта повесть интересна тем, что сестра Соня описывала в ней состояние души своей в это время и вообще семью нашу. Жалко, что сестра сожгла свою повесть, потому что в

ней ярко выступал как бы зародыш семьи Ростовых: матери, Веры и Наташи.

XVII. Приезд Льва Николаевича

Наступил июль 1862 г. До нас дошли слухи, что в Ясной Поляне неблагополучно, что туда нагрянули полиция, жандармы, и был произведен обыск. Нас всех это известие очень огорчило. Мы не могли понять, что случилось. Причиной обыска был тайный донос на Льва Николаевича.

Как известно, он в то время издавал журнал «Ясная Поляна», и одновременно с журналом появились в Петербурге противогосударственные прокламации. Разыскивали печатавшую их типографию.

Рассказ об этом был помещен Евгением Марковым в одном из журналов. Не буду повторять его подробности.

В то время жили в Ясной Поляне: старушка, тетушка Льва Николаевича Татьяна Александровна Ергольская, ее приживалка Наталия Петровна Охотницкая, гостила у них графиня Мария Николаевна Толстая и жили студенты при школе.

Об этом обыске дали знать домашние Льву Николаевичу, и, не окончив своего срока лечения, он приехал в Ясную Поляну, а потом скоро в Москву и к нам в Покровское.

Никогда я не видала его таким расстроенным и взволнованным, каким он был, когда подробно рассказывал нам все это дело. Помню и возмущение родителей, и наше огорчение с Соней. Передам его рассказ вкратце, насколько помню.

– Жандармы и полицейские чиновники ввалились в дом

около полуночи, – говорил Лев Николаевич, – тетенька и Машенька ложились спать. Чиновники потребовали ключи от шкапов и комодов, вина и еды. Они перерыли все, что могли, конечно, не находя ничего, к чему бы можно было придраться. Они были уверены, как говорила мне Машенька, что журнал «Ясная Поляна» либерального направления, печатается в подпольной типографии, тогда как на его книжках напечатано ясно: «Типография Каткова». – Отец весело засмеялся при этом явном тупоумии.

– Мало того, – продолжал Лев Николаевич, – один из чиновников открыл мой письменный стол, сломав замок, так как ключ от стола я брал всегда с собой, куда бы ни ехал. Они читали вслух мои самые сокровенные дневники и письма. Машенька присутствовала при этом.

Когда Лев Николаевич говорил про свои дневники, он побледнел и до того волновался, что мне самой хотелось плакать, глядя на него.

– Я приехал в Москву, – продолжал он, – чтобы лично передать государю письмо, где я пишу о происшедшем.

– Государь наверное обратит внимание на это гнусное дело, – сказал отец, возмущенный рассказом.

– Ведь они не хотели понять, что этим обыском они позорят мое имя, подрывают доверие в деревнях... В России жить нельзя! Надо бежать отсюда за границу, – горячился Лев Николаевич.

– Нет, не надо! – перебил его отец, – надо пережить это

здесь, это все образуется, не то будут говорить: «значит виноват, коли скрывается». Всякий рад злословить насчет ближнего. Вы дадите врагам своим пищу для этого.

Долго еще продолжался разговор об этом деле, но отец, желая рассеять Льва Николаевича, предложил ему пройтись. Мы пошли все вместе по так называемой «английской дорожке», где встретили Нила Александровича. Попов нанял дачку в Иванькове, за две версты от Покровского. Вернувшись к чаю, Лев Николаевич был уже спокойнее. Позднее он и Пако пошли в Москву пешком.

Так неожиданно для нас сложился первый приезд Льва Николаевича в Покровское. Несмотря на свое тревожное состояние духа, он все же не забыл привезти нам обещанную траву ковыль, белую, пушистую, как перья.

Соня после его отъезда была очень расстроена. И жалость, и участие, и, может быть, чувства еще более сильные волновали ее.

Лиза говорила, что все обойдется, что она наверное знает, что все забудется и сгладится.

Позднее уже мы узнали, что государь через своего адъютанта прислал Льву Николаевичу извинение и сожаление о случившемся.

Лев Николаевич часто стал ходить и ездить к нам в Покровское и снова затевать разные прогулки.

Помню, как однажды, после сильного дождя, Лев Николаевич уговорил нас идти пешком в деревню Тушино за 4

версты.

Несмотря на предостережение матери о возможности дождя, мы согласились идти.

Попов, который обедал у нас, Пако с Петей, мы, три сестры, и Лев Николаевич шли, весело болтая.

Нил Александрович был в ударе и своим остроумием смешил нас. Затем разговор перешел на серьезную тему.

Лев Николаевич показывал Попову всю неосновательность дурно поставленных школ и говорил:

– Если я поживу еще на свете, непременно напишу азбуку и задачник новой системы.

Мне остался в памяти этот разговор, и когда в 70-х годах вышла азбука и задачник, я вспомнила нашу прогулку в Тушино.

Мы не заметили, как надвинулась туча, и снова полил сильный дождь. Почти бегом дошли мы до первой избы, где мы и расположились.

Хозяин, старик с бородой, приветливо отнесся к нам. Лев Николаевич всегда находил, что говорить со всеми, и стал беседовать с стариком.

Вошла и молодая баба с ребенком на руках; она подошла к нам и стала жаловаться на болезнь своего мальчика. Лев Николаевич сидел около нас, сестер.

– Как есть весь закорявел, – говорила баба, – чешется, и день и ночь покоя нет, изомлел весь, не знаю, что и делать с ним.

С этими словами баба подняла рубашонку до самой головы и показала нам обнаженное, больное тельце мальчика, кричавшего во весь голос. С сожалением признали мы всю свою беспомощность, так как не знали, чем лечить экзему.

Лев Николаевич молча наблюдал за тем, что происходило. Попов отошел в сторону.

– А давно он болен у тебя? – спросила Лиза.

– Да, уже с неделю-две будет, – отвечала баба.

– Вот что, – вмешалась я, глядя с сожалением на мальчика, – приходи к нам, папа вылечит его.

– Он тебе и лекарство даст, – говорила Соня. – Мы живем в Покровском.

И Соня растолковала ей, как найти дачу. Поблагодарив нас, баба унесла плачущего мальчика.

Переждав дождь, мы отправились в обратный путь по другой дороге. Лев Николаевич никогда не любил возвращаться по той же дороге и часто заводил нас Бог знает куда.

Он шел с Соней, я поодаль с Петей и Пако, а Лиза с Нилом Александровичем. Лесная дорога была очень узка, и мы шли гуськом. Мы подошли не то к ручью, не то к глубокой луже. Все остановились в раздумий, как перейти ее.

– Вот так завели нас, – обратилась я ко Льву Николаевичу.

– Мадам Виардо, хотите я перенесу вас на спине? – сказал Лев Николаевич.

Имя Виардо заменяло то недоумение, которое Лев Николаевич, как я заметила, часто испытывал, как называть меня:

В третьем лице он звал меня Таня, Танечка, а обращаясь ко мне, он, вероятно, находил это слишком интимным.

– Я перенесу вас, хотите? – повторил он.

– Хочу, если вам не тяжело, – сказала я.

Я вскочила на пень и к нему на спину, и он решительно зашагал по воде. Вода покрывала ему всю ступню.

– Ай, ай, ай! Куда вы нас завели! – кричала я.

– Не говорите ничего, не то меня бранить будут, – сказал он, улыбаясь.

Я замолчала, и, когда он ссадил меня, поблагодарила его.

Никто еще не прошел кроме нас, все примерялись, как пройти.

– Ну, Петя, прыгай, прыгай, – сказал Лев Николаевич, протягивая руку.

Петя прыгнул прямо в воду при общем смехе.

– Софья Андреевна, вы не решаетесь и ищете место для перехода, – говорил Попов, подходя к ней. – Я помогу вам, перенесу вас.

– Нет! – закричала Соня, вся покраснев и видимо испугавшись его намерения. Она сразу шагнула всей ногой в воду и быстро, с брызгами во все стороны, перебежала ее.

Петя и я дружно рассмеялись. Я сейчас поняла, в чем дело, поняла ее испуг при Лье Николаевиче. «Попов без чутья, – подумала я, – нельзя нести Соню – она большая, а он хотел, как Лев Николаевич. Меня можно», – решила я.

Лиза степенно переходила ручей с помощью сучьев, при-

несенных Пако. Теперь я смотрела на нее и думала:

«Ведь вот, никто не предложит перенести ее. Отчего? Она совсем другая, чем мы с Соней».

Дорогой Соня спохватилась, что потеряла калошу.

– Вероятно, я выронила ее в ручейке, – говорила она. – Теперь мама будет бранить меня.

– Неужели? – спросил Лев Николаевич. – А давно ли бранили Любочку в коротеньком платьице! И как это все недавно было.

Дома Лев Николаевич, увидев мама на террасе, сидевшую, как всегда, за работой, подошел к ней.

– Любовь Александровна, – совершенно неожиданно начал он, – я пришел сказать вам, что ваши дочери очень хорошо воспитаны.

Мама удивленно подняла голову.

– А что такое? – спросила она; она не знала, серьезно ли говорит он или в шутку.

Лев Николаевич рассказал наш приход в избу из-за сильного дождя.

– Баба принесла ребенка лет двух, – говорил он, – и просила полечить его от экземы. И вдруг совершенно неожиданно обнажила больного мальчика. Я наблюдал за вашими дочерьми. Ни одна из них не сконфузилась, не отошла в сторону, не выразила никакого жеманства, несмотря на присутствие нас, трех посторонних мужчин. Они серьезно и внимательно отнеслись к болезни ребенка, – говорил Лев Нико-

лаевич.

Я одна присутствовала при этом разговоре, сестры ушли наверх. Я видела, как довольно улыбалась мама. Она любила, когда нас хвалили, а сама хвалила нас очень редко, что меня часто огорчало.

Вскоре мы все сидели за чайным столом. После дождя был солнечный закат и чудный летний вечер. На столе кипел самовар, «член семьи», как я называла его. Стояла простокваша, домашний хлеб и прочее. Нил Александрович тоже остался у нас пить чай.

– Как хорошо, уютно у вас в Покровском, – сказал Лев Николаевич, подходя к столу.

Он был в духе и про свое неприятное дело больше не говорил.

Вечером, когда все разошлись и мы ложились спать, я спросила Соню, о чем они говорили дорогой.

– Он очень одобрил меня, что я не позволила Попову перенести себя, – говорила Соня. – Я это самое и ожидал от вас, сказал он мне. Потом расспрашивал, что я делала за все это время и чем увлекалась.

– Ну, а ты что же говорила? – спросила я.

– Рассказывала, что было, что гостил Кузминский, и приезжал брат Саша, что было очень оживленно и весело, а он спросил меня: а что, любовь Танечки и Кузминского прошла?

– А ты что сказала? – с волнением спросила я.

– Сказала, что не прошла, только, что вы поссорились. Он спросил, за что. Я ему рассказала.

– Ну зачем ты рассказала, – закричала я. – Он будет меня осуждать.

– Нет, – спокойно заметила Соня. – Ему все можно сказать, он все поймет. Он сказал, что Кузминский славный и серьезный малый. А потом я сказала ему, что писала это время повесть, но еще не окончила ее. Он очень удивился и заинтересовался ею. И все говорил: «Повесть? Как же это вам в голову пришло, и какой сюжет вы избрали?» Описываю приблизительно нашу жизнь, сказала я.

– Кому же вы даете читать ее?

– Я читаю ее вслух Тане.

– А мне дадите?

– Нет, не могу, отвечала я. Он спрашивал, «отчего?». Но я не сказала ему, что описываю и его, и оттого не даю. Он очень просил меня, но я стояла на своем.

Тут подошла к нам Лиза, и мы прервали разговор.

XVIII. Спектакль у Оболенских

На другой день приехала к нам семья Оболенских; они проводили лето в Всесвятском. Князь был губернатором в Москве. Его жена, урожденная Сумарокова, была очень милая женщина, лет тридцати двух. У них были дети. Я помню двух старших, Катю и Сережу. Я постоянно играла с ними и любила бывать у них. У них был ослик и маленький экипаж, в котором мы катались.

Княгиня устраивала домашний спектакль и приглашала Лизу и Соню участвовать в нем. Выбрали «Женчтьбу» Гоголя. Соне дали роль свахи Феклы, а Лизе – невесты Агафьи Тихоновны. Я не должна была участвовать: женских ролей молодых и подходящих не было. Сначала я завидовала им, и опять чувство оскорбления, что я меньшая, шевельнулось во мне, но в этот раз ненадолго. Я ездила с сестрами на репетиции и очень весело проводила время.

День спектакля был назначен. Лиза и Соня были очень заняты учением ролей и озабочены костюмами. Лев Николаевич, узнав о спектакле, прочел нам вслух всю пьесу. Соня со вниманием слушала свою роль, она старалась подражать интонации Льва Николаевича. На другой день она повторяла свою роль перед зеркалом, надев на голову платок, чтобы как-нибудь быть похожей на Феклу.

В день спектакля Лев Николаевич пришел к нам к ранне-

му обеду, и все мы в двух экипажах поехали к Оболенским. Погода была хорошая, был конец июля, в полях шла работа – страдная пора. Лев Николаевич сидел со мной в линейке на заднем высоком месте. Он был в духе, и мне было весело. Папа ехал с мама в коляске.

– Как красиво теперь поле с пестрыми бабами, – сказала я.

– Да, красиво, – протянул Лев Николаевич. – Вот они заняты настоящим делом, а мы, господа, ничего не делаем.

Я с удивлением посмотрела на него; я первый раз слышала такие суждения, и они казались мне дикими.

– Как ничего не делаем? Папа с мама очень много делают, – сказала я обиженно. – А у нас, детей, теперь вакация.

– Да, конечно, – сказал поспешно Лев Николаевич, – вы на меня обиделись, ну, я больше не буду.

У Оболенских было много гостей, приехавших из Москвы, да, кроме того, и живущих домашних было порядочное количество. Сцена была устроена с подмостками и занавесом. Из Москвы был выписан гример.

Нас, детей, посадили вперед. Я ужасно волновалась за сестер, в особенности за Сою. За Лизу я не так боялась, я знала ее спокойствие и самоуверенность.

«А Соня? Ведь она с конфуза и роль забудет, и тогда все пропало», – думала я.

Поднялся занавес. На сцене шел разговор Подколесина с лакеем Степаном, и когда Степан сказал: «старуха пришла», я знала, что выйдет Соня.

Дверь отворилась, и вышла сваха. Соня была неузнаваема, только глаза остались прежние. Это была намазанная старуха с намазанными морщинами, не своими бровями, в черной купеческой повязочке и с заметной толщиной. В таком искаженном виде нельзя было конфузиться. Но, несмотря на это, когда она, выйдя на сцену, сказала:

– Уж вот нет, так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить... – я слышала в ее голосе фальшь и замешательство. Но следующий монолог ее, заставивший публику смеяться, сразу ободрил Соню.

Подколесин говорил ей:

– Да ты врешь, Фекла Ивановна.

– Устарела я, отец мой, чтобы врать, пес врет.

Соня уже оправилась, у нее выходило недурно.

Хотя эта роль и была совсем не по ней, но сама сваха стояла за себя и смешила, и интересовала зрителей.

В антракте, когда мы пошли в столовую пить чай, я спросила Льва Николаевича: – Нравится вам, как они все играют?

– Гоголя не провалишь, – отвечал он.

Лиза играла лучше Сони, роль была больше по ней, и в общем спектакль сошел весело и интересно.

Мы довольно поздно вернулись домой. Лев Николаевич ночевал у нас.

Через несколько дней, простившись с нами, он уехал в Ясную Поляну. А мы собирались ехать в деревню, к деду Исленьеву, в Тульскую губернию. Лев Николаевич взял с нас

слово, что мы заедем в Ясную Поляну.

XIX. В деревне у деда и в Ясной Поляне

В начале августа пошли сборы к нашему отъезду. Я заметила, что Пако был очень огорчен отъездом и говорил мне:

– Que ferai-je sans vous, mademoiselle Tate, la maison sera comme morte!¹¹

Он, по моей просьбе, ходил в Москву покупать ленточки, романсы и многое другое, что нужно было для отъезда. Все это исполнялось без ропота, с полной готовностью. С нами ехал маленький брат Володя. Мама боялась его оставить без себя. Клавдии было поручено хозяйство и уход за папа.

Настал день отъезда. Мы поехали в Москву. Там ожидала нас шестиместная, почтовая, так называемая, «анненская» карета. Она должна была довезти нас до Тулы. Пако провожал нас. Папа, не привыкший к разлуке с мамой, очень тревожно отпускал нас.

Дорога была очень приятна. В Серпухове мы останавливались на ночлег. Непривычные постоялые дворы и почтовые станции забавляли меня. Пение петухов, запах свежего сена и конюшни, ночная суэта на постоялом дворе и, наконец, восход солнца, все, все казалось мне новым, привлекательным и поэтичным.

¹¹ Что я буду делать без вас, мадемуазель Тата, дом будет, как мертвый! (фр.)

Провизия была взята с собой, и мы раскладывали ее на остановках и пили чай.

На другой день мы были в Туле и остановились у тетушки Карнович, сестры матери. У нее были дочери наших лет. С ними на другой день мы ходили осматривать Тулу.

К вечеру мы отправились в Ясную Поляну, где нас радостно встретили.

В Ясной Поляне гостила тогда Мария Николаевна Толстая, приехавшая из-за границы без детей. Свидание ее с мамой было трогательно. С детства они не были вместе в Ясной Поляне. С места пошли воспоминания.

– А помнишь наш старый дом, Любочка? – говорила Мария Николаевна.

– Как же не помнить, – отвечала мама. – Подъезжая к вам, я смотрела на то место, где он стоял. У меня защемило в сердце, когда я увидела пустое заросшее место. А сколько пережито в нем!

– Мне до сих пор помнятся ваши приезды из Красного, – говорила Мария Николаевна. – И как там танцевали под музыку Мими, и как Сережа, танцуя гавот с твоей сестрой, Верочкой, написал на это стихи:

Pour danser – viens!
Toi en perquin,
Moi en nankin,

Et nous nous amuserons bien.¹²

И мы удивлялись его способностями, а Мими разочаровала нас, раскритиковав его стихи.

– Как же, помню, – говорила мама. – А Левочка-то, помнишь, как меня с террасы спихнул и повредил мне ногу.

Многое еще вспоминали они, перебивая друг друга словами: «А помнишь?» Эти два слова я оценила лишь с годами. Дороги и близки сердцу те люди, которым можно сказать: «А помнишь?»

Вошла Татьяна Александровна. Она ласково по-французски приветствовала нас и мама. Пошли разговоры о сходстве.

– *Sophie vous ressemble*, Любовь Александровна, *et Таня rapelle beaucoup sa grand'mere Завадовски, que je connaissais bien*¹³, – говорила Татьяна Александровна.

Было уже поздно. Я устала, мне хотелось спать, но нас оставляли ужинать. Соня пошла на балкон, Лиза осталась с Марией Николаевной. Мама укладывала спать Володю. Я легла на диванчик в гостиной. Лев Николаевич прошел на балкон.

– Что это вы тут делаете одна? – спросил он Соню.

– Я люблюсь видом, – сказала Соня. – Так удивительно красиво здесь.

¹² Приходи танцевать! Ты в ситцевом, а я в нанковом, и мы будем очень веселиться (фр.)

¹³ Соня похожа на вас, а Таня очень напоминает свою бабушку Завадовскую, которую я хорошо знала (фр.)

– А как Любовь Александровна искренно пожалела о старом доме, – сказал Лев Николаевич. – Я даже почувствовал укор, что продал его. Пойдемте вниз, – продолжал он, – мне надо взглянуть, готово ли вам все, мы ведь не знали, что вы приедете, и ничего не приготовили.

Я пошла с ним вместе. Мне так смешно было слышать и видеть Льва Николаевича «хозяином», заботившимся о ночлегах, ужине и прочем.

Мы пришли вниз, в комнату со сводами, где впоследствии был кабинет Льва Николаевича. Репин обессмертил ее, написав в ней Льва Николаевича за письменным столом.

Горничная Дуняша, дочь дядьки Николая, описанного в «Детстве», стелила постели на длинных диванах, стоявших вдоль стены. Не хватало еще одной кровати, и Лев Николаевич выдвинул и разложил огромное кресло, служившее и кроватью.

– А тут я буду спать, – сказала Соня.

– Я вам сейчас все приготовлю, – говорил Лев Николаевич.

Он непривычными, неопытными руками стал развертывать простыни, класть подушки, и так трогательно выходила у него материальная, домашняя забота.

К вечернему чаю пришли три учителя Яснополянской школы. Один из них был немец Келлер, привезенный Львом Николаевичем из Германии. Я как сейчас помню его: круглолицый, румяный, с круглыми глазами в золотых очках и

огромной шапкой волос.

На другое утро мы пошли осматривать флигель, где помещалась школа. Наверху были светлые, большие, высокие комнаты с балконом и прекрасным, открытым видом.

Могла ли я думать тогда, что буду приезжать на лето, почти ежегодно, с своей семьей, в течение 25 лет, в этот самый флигель!

Вечером был устроен пикник в огромном казенном лесу – Засеке. Мы поехали в катках (узкая длинная линейка), а Соня со Львом Николаевичем – верхом. Мария Николаевна и мама, после долгих уговоров Льва Николаевича, тоже сели в катки. Мария Николаевна вообще очень боялась езды и вскрикивала на каждом ухабе. Из соседей на пикник приехали семья Ауэрбах, Марков и молоденькая племянница их, хорошенькая милая девушка. Впоследствии она вышла замуж за Александра Андреевича Ауэрбаха.

Мы остановились на большой лужайке, окруженной лесом. На ней стоял высокий стог свежего сена.

Дорогой Софья Павловна рассказывала мне, как они однажды ехали со Львом Николаевичем в катках, а Густав Келлер верхом; подъехав к канаве, он не сумел перепрыгнуть ее и свалился с лошади. Все ахнули. У молодежи вырвался невольный смех, когда увидели, что все обошлось благополучно. А Лев Николаевич пресерьезно, сидя на катках, в одно мгновение сочинил:

Для Келлера Густава
Не писано устава,
Лишь вырыта канава.

Приехав на место пикника и перезнакомив нас со всеми, Лев Николаевич предложил пройтись. Места были дивные. Вековые дубы, скошенные лужайки, кое-где холмистые места были удивительно красивы. Придя назад к стогу, мы уже все нашли готовым к чаю. Мама и Мария Николаевна хлопотали около самовара. Лев Николаевич был особенно оживлен и весел. Ему было приятно, что он собрал всех, устроил нам такое удовольствие; он не мог не видеть, как все были оживлены, а в особенности, когда Лев Николаевич заставил всех взобраться на высокий стог, втащил имама и Марию Николаевну и устроил наверху хоровое пение. Начали пение с трио: «И ключ по камешкам те чёт». Мне казалось тогда, что вся эта природа, закат, лужайка, все это только для нас, что раньше тутничего и не существовало. Сам Лев Николаевич с своим запасом жизненности был запевалой всего оживления.

Мы пробыли в Ясной Поляне 2–3 дня и поехали в деревню Ивицы к деду. Снова с нас взяли слово, что мы заедем в Ясную Поляну на обратном пути.

Дорогой мы заехали в Красное, где мой дед Исленьев поселился, сойдясь с княгиней Софьей Петровной Козловской. (Красное было проиграно дедом уже после смерти бабушки).

Там была могила бабушки, и мать хотела поклониться праху ее и, кроме того, взглянуть на дом и сад, где она провела все детство.

В Красном встретил нас дядя Миша, брат матери; он приехал из Ивиц, где гостил у отца. Хотя мы и мало знали его – он жил и служил постоянно в Петербурге – но нельзя было не любить его: он так был мил и ласков с нами.

Мы осмотрели дом, старый, окруженный большим садом. Мать удивлялась, как все постарело и заросло. Хозяева имения – Лонгиновы жили за границей. В церкви мы отслужили панихиду и были на могиле бабушки. Нас пригласил к чаю старый священник. Там же был и дьячок Фетисов.

Священник помнил Софью Петровну: он тайно венчал ее с дедом, бывши тогда еще дьячком.

Когда старик Фетисов вышел из комнаты, дядя Миша спросил священника:

– Это – тот Фетисов, который был в летаргии?

– Он самый, – ответил священник. Я просила рассказать, как это было.

– Да вот, – сказал священник, – захворал он, уж чем и не знали, да где тут и узнать, докторов поблизости не было. Хворал он так недели с две, должно горячкой, да и помер. И все удивлялись, как тихо помер. – Заснул да и только, говорила жена, и не ахнул и не страдал. Бог послал ему легкую смерть.

И, значит, лежит покойник. Служим у гроба панихиды, на

третий день собрался народ, и понесли гроб на кладбище. Только несут это его, и вдруг чувствуют мужики, те-то, что несли его, что покойник зашевелился, смотрят... и глаза открыл. Они так испугались, бросили гроб и разбежались все, и народ-то, что шел за ним, все попрятались с испугу.

Уже потом, кто посмелее, пошли к месту, где его бросили, значит, привезли его домой, сам иттить-то не мог, ослабел.

Дали знать начальству, доктор приезжал и вот толковал народу, что это самое бывает от болезни, значит, сон такой, и успокоили народ.

Побыв несколько часов в Красном, мы с дядей Мишей поехали в Ивицы.

В Ивицах были дедушка и бабушка Софья Александровна, мачеха мама. Это была женщина лет 60, живая, ласковая особенно с нами, сестрами. У нее были три дочери. Старшая Ольга, которая часто гостила у нас, была очень красива, умна и привлекательна. Впоследствии она была замужем за конногвардейцем Кирьяковым. Вторая дочь, Адель, была болезненная, а третья, Наля, славная, живая девочка моих лет.

Дом был большой, старинный двухэтажный. Пропать людей мелькало по дому. Немолодая горничная с высоким гребнем, старая экономка, девчонки на побегушках с косичками, и я узнала лакея Сашку, как его тогда звали все, приехавшего с дедушкой к нам в Москву, теперь уже с пробиравшейся сединой. Все в ломе дышало стариной и напоминало крепостное право.

Встреча с дедушкой и со всей семьей была самая радужная. Нам, трем сестрам, отвели большую комнату наверху. Кровати были старинные деревянные, с белыми занавесками, окна выходили в яблочный сад. Дедушка любил меня и баловал больше сестер. Не раз говорил он мне:

– Ну, как ты напоминаешь покойную жену мою, твою бабушку, прямо как живая стоит передо мной!

Он нежно целовал меня и подводил к большому портрету бабушки, писанному масляными красками, висевшему у него в кабинете. На старинном портрете лицо со старинной прической, косой спереди и буклями по бокам, с темно-кариими глазами, глядело на меня.

«Неужели я такая? – думала я. – Но на портрете бабушка старше меня, я еще буду такая», – утешалась я, находя действительно большое сходство.

Дедушка и Софья Александровна старались развлекать нас, и ежедневно что-нибудь устраивалось для развлечения. То мы ехали к соседям, где было много барышень наших лет, то соседи приезжали к нам. Прошло два дня после нашего приезда. Помню, как я после обеда сидела с дедушкой на крыльце. Мы весело болтали с ним, когда я увидела издали белую лошадь Льва Николаевича.

– Дедушка, посмотри, ведь это Лев Николаевич едет!

И, вскочив с места, я побежала наверх к Соне и Лизе.

– Le comte¹⁴ едет к нам! – кричала я.

¹⁴ граф (фр.)

Так мы называли Льва Николаевича за глаза, по привычке говорить между собой по-французски.

– Как, неужели? – спросила, покраснев, Лиза.

– Один или с Марией Николаевной? – спросила Соня.

– Один, верхом, пойдемте вниз, – говорила я.

– Я рада видеть графа у нас, – сказала Ольга, – он так давно не был у нас, и папа будет доволен.

Мы сошли вниз. Лев Николаевич уже вошел в дом с де-душкой, Софьей Александровной и мама.

– Давно я не был в Ивицах, – говорил Лев Николаевич. – В последний раз, как был у вас, мы травили волка, помните? – обратился он к дедушке.

– И протравили, – смеясь, отвечал дедушка. – Сколько же ты времени ехал к нам?

– Да часа три с лишним. Я ехал шагом – жарко было, – сказал Лев Николаевич, поздоровавшись с нами.

Мы все прошли в сад. Лев Николаевич хотел осмотреть, насколько изменилась усадьба. Он был бодр, оживлен и сразу как-то подошел духом к нам молодым.

В Ивицах я стала замечать, что Лев Николаевич больше бывал с Соней, оставался с ней наедине, словом, отличал ее от других. Соня краснела и оживлялась в его присутствии.

«Она ведь умеет нравиться, если хочет», – думала я, и по выражению ее лица, столь знакомому мне, я читала, как в книге. «Я хочу любить вас, но боюсь» – говорили ее глаза.

Мне понятно было, почему она боялась: Поливанов и Ли-

за, как призраки, стояли перед ней.

«Вода стекает!» – снова думала я, вспомнив слова няни.

Ольга в недоумении говорила мне:

– Таня, как же Лиза сказала мне, что Лев Николаевич намеревается жениться на ней, а я вижу совсем другое. Ничего не понимаю.

– И я тоже, – коротко ответила я.

На другой день собрались вечером приглашенные соседи. Тут были пожилые помещики, игравшие с дедушкой в вист, их жены, беседовавшие о хозяйстве с бабушкой и мама, и молоденькие, хорошенькие их дочери, деревенские барышни, точь-в-точь такие, каких описывают в повестях. Приехала и молодежь, большинство военные из полка, стоявшего недалеко от усадьбы.

Затеяли игры и танцы, и было очень весело. Лев Николаевич участвовал в играх и в беготне по саду, в танцах же, когда вошли в дом, он не принимал участия. А мне было как-то жаль смотреть, что он сидел со старушками, как мне тогда казалось, и говорил об урожае, продаже хлеба и прочем.

В котильоне, когда заиграли вальс, я подбежала к нему и звала танцевать. Он отказался.

– Отчего вы не танцуете? – спросила я.

– Стар стал, – улыбаясь, как бы не веря себе, сказал он.

– Какие глупости! – ответила я, – вы на старого не похожи, – и, пристально поглядев на него, я прибавила:

– И на очень молодого тоже не похожи.

– Вот за это спасибо! – смеясь, сказал Лев Николаевич. – Вы это так хорошо сказали, ну пойдёмте танцевать.

Мы сделали один тур вальса, и он опять сел на свое место.

Соня в этот вечер была очень мила, к ней шло ее платье с разлетающимися лентами на плечах.

Лиза не была весела, хотя и много танцевала. Вечером, после ужина меня просили петь. Мне не хотелось и я убежала в гостиную и искала, где бы спрятаться. Я живо вскочила под рояль. Комната была пустая, в ней стоял открытый ломберный стол после карточной игры.

Через несколько минут в гостиную вошли Соня и Лев Николаевич. Оба, как мне казалось, были взволнованы. Они сели за ломберный стол.

– Так вы завтра уезжаете, – оказала Соня, – почему так скоро? Как жалко!

– Машенька одна, она скоро уезжает за границу.

– И вы с ней? – спросила Соня.

– Нет, я хотел ехать, но теперь не могу.

Соня не спрашивала, почему. Она догадывалась. Я видела по ее выражению лица, что что-то должно важное произойти сейчас. Я хотела выйти из-за своей засады, но мне было стыдно, и я притаилась.

– Пойдёмте в залу, – сказала Соня. – Нас будут искать.

– Нет, подождите, здесь так хорошо. И он что-то чертил мелком по столу.

– Софья Андреевна, вы можете прочесть, что я напишу

вам, но только начальными буквами? – сказал он, волнуясь.

– Могу, – решительно ответила Соня, глядя ему прямо в глаза.

Тут произошла уже столь известная переписка, описанная в романе «Анна Каренина».

Лев Николаевич писал: «в. м. и п. с. с.» и т. д.

Сестра по какому-то вдохновению читала: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья». Некоторые слова Лев Николаевич подсказал ей. – Ну еще, – говорил Лев Николаевич. «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня, вы с Танечкой».

Когда Соня рассказала мне на другое утро об этой переписке, я не удивилась и рассказала ей о моей засаде. Меня взволновало, что Лев Николаевич заметил этот ложный взгляд.

«Надо мама правду сказать, – думала я, – пускай хоть она правду знает, я ее тут совсем не вижу и давно с ней не говорила».

На другой день был пикник. Все познакомившиеся с нами соседи приехали в лес с провизией. Мы поехали туда в нескольких экипажах и верхом. Лев Николаевич простился с нами перед нашим отъездом и уехал в Ясную, взяв с нас слово, что мы опять заедем в Ясную Поляну.

Пикник был оживленный, как и все, что происходило тогда. Остался у меня в памяти один незначительный эпизод.

Дедушка, большой любитель цыганских песен, велел принести своему казачку гитару, снятую, в честь нашего приезда, с чердака. Все мы уселись на разостланные ковры. Дедушка сильно ударил по струнам и затянул было со мною «Ивушку». Вдруг из отверстия гитары во все стороны посыпались красные тараканы. В одно мгновение мое белое платье было усыпано ими. Это было ужасно!

Дедушка, выбрав казачка Ваську, велел вычистить гитару и, снова настроив ее, затянул «Ивушку». Хор подхватил.

Софья Александровна и мама, тоже принимавшие участие в пикнике, хлопотали у чая и вполголоса говорили о Льве Николаевиче.

Я наблюдала за бабушкой. От ее прежней красоты, про которую я слышала, казалось, не осталось ничего. Отвисшая нижняя губа, проваленные щеки, беззубый рот были очень некрасивы. Одни только глаза, большие и выразительные, были красивы до сих пор.

Слышавши от матери, что Лев Николаевич описал бабушку в «Детстве» и «Отрочестве» в лице *La belle Flamande*, я, несмотря на все желание, не могла перенестись в ее прошлое и представить себе красивую цветущую женщину.

К вечеру мы были дома. Я позвала дедушку в сад, где я набирала груши, и слушала его рассказы о том, кого Лев Николаевич описал в своем «Детстве».

– А ты меня не узнала? – спросил меня дедушка.

– Узнала по тому, как ты плечом дергаешь. Мама мне вслух читала и что-то пропускала, – наивно сказала я.

– Хорошо делала, – сказал дедушка. – А Володя это его брат Сергей, Любочка – Мария Николаевна.

– А кто же это Сонечка Валахина? – спросила я.

– Это Сонечка Колошина, его первая любовь. Она так замуж и не вышла. Он и гувернера своего описал St. Thomas. Дмитрий Нехлюдов в «Юности» это его брат Митенька. Большой оригинал был. Вера его доходила до ханжества. Жил он на окраине города и знался только с очень нуждающимися студентами, посещал тюрьмы и избегал равных себе. В церковь ходил каждый праздник, не в модную, а в тюремную, и имел очень вспыльчивый характер. Все Толстые – оригиналы.

В сад к бабушке пришел Сашка и прекратил наш разговор. Он принес почту. Дедушка подал мне два письма. Одно матери от отца, а другое мне от Пако.

Я побежала к матери. Прочитав письмо, она сказала: – Ну, слава Богу, дома все благополучно.

Я ушла в нашу комнату, где нашла Лизу. Она сидела одна у овна. Глаза ее были заплаканы. Я не спросила ее, о чем она плакала: я знала причину ее слез. Мне стало от души жаль ее, но я не знала, как утешить ее. Я сказала:

– Лиза, не горюй, перемелется – мука будет. – Я вспомнила, как говорила мне это мать, утешая меня после ссоры с Кузминским.

– Таня, – серьезным голосом начала Лиза. – Соня перебивает у меня Льва Николаевича. Разве ты этого не видишь?

Я не знала, что ответить. Сказать, что он сам последние дни льнет к ней, я не решалась – это еще более огорчило бы Лизу.

– Эти наряды, эти взгляды, это старание удалиться вдвоем бросается в глаза, – продолжала Лиза.

Я понимала, что Лизе хотелось высказаться, излить свое горе кому-нибудь, и я молча слушала ее.

– Ведь, если ты не будешь стараться завлечь кого-либо, не будешь желать ему нравиться, то он и не обратит на тебя большого внимания, – говорила Лиза.

– Нет, – перебила я ее, – обратит внимание! Вот смотри, что пишет мне Жорж Пако, какие чудесные стихи!

Лиза, прочтя письмо, засмеялась. Этот смех мне был очень приятен – мне удалось развлечь ее. Я вскочила с места и нежно поцеловала ее.

– Пойдем в сад, там много груш, – сказала я.

Она была тронута моей лаской, что очень редко случалось с ней. Ее никогда никто не ласкал. Взяв корзинку, мы пошли в сад.

Вечером, когда все разошлись и уже ложились спать, надев ночную кофточку, я тихонько пробралась в комнату матери. Она была уже в постели, и маленький Володя в детской кроватке спал крепким сном.

– Ты что? – увидя меня, спросила мать.

– Я хочу поговорить с вами, мама, – сказала я.

– Ну садись. О чем же? – спросила мама.

Прежде чем идти к матери и исполнить свою миссию, возложенную на меня Львом Николаевичем, как мне казалось тогда, я повторяла себе, как я должна буду исполнить это, не разочаровывая сразу мать.

Но, увидав маму, я пришла в нетерпение, и вся моя осторожность сразу исчезла.

– Мама, – начала я, – Вы и папа, и все в доме не видите правды.

– Какой правды, о чем ты говоришь?

– Конечно, о Льве Николаевиче. Вы думаете, что он женится на Лизе, а он женится на Соне. И я это знаю наверное, – сразу буркнула я матери.

– Почему ты можешь знать это? – с удивлением спросила мать, – ты глупости болтаешь.

– Нет, не глупости, а правда; вы не видите. Мама, помолчав, спросила меня:

– Что ж, Сонечка говорила тебе что-нибудь?

– Говорила, – поспешно ответила я, – то есть нет, но это секрет, – путалась я. – Она только мне сказала.

Мать больше не расспрашивала меня. Мне казалось, что она своим материнским чутьем подозревала правду, но боялась сознаться в ней, зная, как будет огорчен отец. Он так любил Лизу и знал про ее увлечение.

Володя заворочался в своей кровати, и несколько секунд

у нас длилось молчание.

– Что это за письмо ты держишь в руках? – спросила меня мать.

– Это я вам хотела показать, я получила сегодня от маленького Пако (маленький – прозвище, в отличие от отца). Вот это письмо. Он мне делает предложение, – торжественно объявила я.

– Как? тебе предложение! Тебе еще 16-ти лет нет, – сказала мама строгим голосом.

– Ну вот вы уже сердитесь, мама; вы мне скажите, что мне ответить надо?

– Как, что ответить? Ничего.

– Да вы прочтите, как он мне жалостно пишет; а потом написал чудные стихи, акrostих на мое имя.

Мама взяла письмо и вслух прочла его, так что я слышала его во второй раз: «Je vous l'avoueraï fran-chement, que vous ne pouvez vous faire une idee de ce qui se passe et dans ma tete et dans mon coeur depuis votre depart».¹⁵

«Осиротел я без вас и каждый день считаю, сколько остается дней до вашего приезда».

– А теперь читайте акrostих, – сказала я. Мама начала чтение.

Tu as quelque chose de seduisant,

¹⁵ Откровенно признаюсь вам, не могу выразить, что происходит в моем уме и сердце после вашего отъезда (фр.)

Adorable et belle, espiègle enfant.
Tu chantes mieux q'un rossignol,
Il y a en toi quelque chose d'espagnol!
Ah, si tu pouvais etre toujours gaie,
Nous embrasser par ta gaiete,
Ah, tel est mon souhait.¹⁶.

Несмотря на сон Володи, послышался неудержимый смех мама. Так смеются только любящие матери.

– Мама, что же тут смешного? – обиженно спросила я, не понимая тогда всю прелесть ее смеха. – Вам не стоит показывать письма, вам все смешно. Очень хорошие стихи. Вот и все. А посмотрите, что написано в конце письма. – Я повернула с нетерпением страницу, и мать прочла: – «*Prouvez-vous faire mon bonheur eternel?*»¹⁷. – Вы понимаете, мама, что он мне сделал предложение?

– Как я могу понять такой вздор. Тебе надо об уроках думать, а не о женихах.

– Теперь вакация, да я и не думаю о них, – сказала я. – Ну чем же я виновата? А какой акростих хороший, правда? Ну, мама, будьте веселая, добрая, вы все недовольны, – говорила я, целуя ей руку и подвигаясь к ней.

¹⁶ Ты имеешь много привлекательного, обожаемая и прекрасная, резвое дитя. Ты поешь лучше, чем соловей, и в тебе есть что-то испанское! Ах, если б ты могла быть всегда веселой, нас заражать твоей веселостью, ах, таково мое пожелание (фр.)

¹⁷ Можете ли вы сделать мое вечное счастье? (фр.)

– Таня, – ласково заговорила мама: – Ведь он такую чушь пишет. Ну, что в тебе испанского? Скажи, пожалуйста.

– А я качучу с кастаньетами танцевала, помните, когда дядя Костя играл?

– Не помню, – отвечала мама.

– Что же мне отвечать ему? – спросила я.

– Я сама ему отвечу.

– Вы откажете ему, а он обидится. Мама улыбнулась.

– А Саша как же? – спросила она.

– Да так. Что же Саша. Я его очень люблю. А того как же? Я не могу его обидеть, мне его очень жаль.

– Да нельзя же так, – сказала мама, – ну, да ты не беспокойся, я его не обижу, а теперь поздно, ступай спать. Да смотри, не болтай про Соню.

– Вы не сердитесь, мама, – сказала я, целуя ее, – я так хотела поговорить с вами, а теперь прощайте.

И я убежала к себе в комнату, оставив мама с ее заботами и мыслями о старших сестрах.

Лев Николаевич, узнав о предложении Пако и мой разговор с матерью, постоянно дразнил меня, спрашивая:

– *Pouvez-vous faire mon bonheur eternel?* А я сердилась и не слушала его.

Через три дня мы были в Ясной Поляне, где нас ожидали. В этот раз все было готово: и комната, и чай, и ужин. Я как-то смутно помню наше препровождение времени в этот приезд. Помню лишь, что первый день шел дождь, и мы сидели дома.

Вечером занимались музыкой. После ужина я ушла спать, и девушка Дуняша последовала за мной. Пока она помогала мне завивать волосы, я разговорилась с ней.

– Вот граф ожидали вас, – говорила Дуняша, – и сами все хлопотали и готовили вам. Даже постели помогали стелить. «Ты, Дуняша, говорили они, не успеешь все приготовить, они каждую минуту приехать могут».

– А у вас бывает кто из гостей? – спросила я.

– Редко. Вот тут недалеко соседи живут, имение наняли, Ауэрбах и Марков, так вот они приезжают к нам. А хорошо у нас тут! – помолчав, прибавила Дуняша.

– Очень хорошо, – сказала я. – Дуняша, а что, когда жандармы и чиновники приезжали к вам, вы очень испугались? – спросила я.

– А как же. Татьяна Александровна так перепугались, что из своей комнаты не выходили, все графиня с ними возилась. Она послала в ту пору Николку верхом к Маркову, – говорила Дуняша, – а я, значит, вижу, что дело плохо, что люди-то не свои, схватила со стола портфель графский, да в сад, в канаву и положила, чтоб им-то не досталось...

– Ну что же они, нашли его? – спросила я, с интересом слушая рассказ Дуняши.

– Нет, куда там найти. А старая барыня меня похвалили потом и сказали: «Дуняша хорошо сделала, что спрятала, в портфеле лежали портрет Герцена, письма его и журнал „Благовест“».

– «Колокол», верно? – спросила я.

– Да, да, я спутала, это еще Татьяна Александровна тогда меня поправляли, а я все путаю. И что только тут было: вина спросили, всю ночь шарили, читали и пили. В пруд сеть закинули, какой-то станок искали...

– Дуняша! – позвала ее Наталья Петровна, компаньонка тетеньки, тихими шагами вошедшая ко мне в комнату.

– Покойной ночи, – сказала Дуняша, взяв в руки мое платье и обувь.

Я поблагодарила милую, услужливую Дуняшу и легла, приглашая сесть Наталью Петровну.

Это была добродушная, простоватая старушка лет 50-ти в белом пикейном чепце и пелеринке старого покроя. Она села возле меня и расспрашивала о нашей жизни, а главное, как я заметила, ее разговор клонился к тому, чтобы узнать, кто больше из сестер, Лиза или Соня, нравится Льву Николаевичу. Раз, поняв ее намеки, я уже удержалась от откровенности.

Перед прощанием она пригласила меня завтра идти с ней за яблоками, на дворню и вообще осмотреть усадьбу.

На другое утро погода прояснилась, и я пошла с Натальей Петровной в сад.

В этот приезд меня поразило то, чего я не заметила раньше. Вокруг дома ничего не было расчищено, кроме дороги, ведущей с «прешпекта» к крыльцу дома. Всюду росли сорная трава, лопух, репейник, нигде не было цветника и доро-

жек. Один лишь старинный сад с липовыми аллеями и полурасчищенными дорогами гордо выделялся своей красотой от окружающего.

В доме были высокие комнаты с выбеленными стенами и некрашеными полами. Так осталось и по сих пор, не считая, конечно, пристроенных комнат и большой залы. При въезде был большой пруд, примыкавший к деревне. Все дышало стариной, начиная с комнаты Татьяны Александровны со старинным киотом, с огромным чудотворным образом Спасителя, у которого всегда накануне праздника теплилась лампада. Два узких дивана красного дерева, с резными головами сфинксов служили кроватями тетушки и Натальи Петровны.

Когда мы шли мимо белого большого здания, где помещалась дворня и прачечная, к нам навстречу вышла сухая, прямая, высокая старуха Агафья Михайловна – Гаша, горничная старой графини Толстой, бабушки Льва Николаевича.

Она вежливо поздоровалась со мной, сказав:

– На мамашу похожи, я их еще молоденькой помню.

Гаша эта описана в «Детстве» и «Отрочестве». Я впоследствии изучила эту оригинальную старуху. Ее всегда от других отличал и Лев Николаевич.

Одна из ее хороших сторон была та, что она очень любила животных, и в особенности собак; она жалела даже мышей и насекомых. Так, например, она не позволяла у себя в каморке выводить тараканов и кормила мышей. Всех щенят охот-

ничьих собак Льва Николаевича она брала к себе и растила их с непрерывной заботой. Да многое еще придется говорить о ней.

День прошел быстро и приятно. На другое утро все было готово к отъезду. Мария Николаевна ехала с нами до Москвы, а потом дальше за границу, где оставила детей.

Анненская, шестиместная карета ожидала нас в Туле.

Когда все стали прощаться и экипажи уже стояли у крыльца, вышел Лев Николаевич, одетый по-дорожному; лакей Алексей нес за ним чемодан. Мы ничего не понимали, думая, что он едет проводить нас до Тулы, но он объявил:

– Я еду с вами в Москву.

– Как? – сказала Мария Николаевна. – Вот хорошо придумал.

– Да как же теперь один останусь, я не могу, – сказал он.

– Как же вы поедете? – спросил кто-то из нас.

– С вами в анненской карете.

– Вот прелесть-то, как я рада! – закричала я. Соня и Лиза, по-видимому, были очень довольны его отъездом с нами.

Почтовая карета, в которой мы должны были ехать, ездила три раза в неделю из Москвы в Тулу. Она называлась «анненской», потому что учреждение это было частное, и названа она была по фамилии владельца.

Лошадей наняли почтовых. Карета имела четыре места внутри и два сзади, снаружи. Ехать должны были так: внутри кареты мама, Мария Николаевна, одна из сестер и я, а сна-

ружи Лев Николаевич и другая из сестер. Я была простужена, и меня не пустили сесть снаружи. Володя помещался в карете между нами.

Ехать было весело, по крайней мере мне. Гудел рожок кондуктора, ехали скоро, и в карету взяты были разные сласти и фрукты. Дорогой у Лизы с Соней что-то вышло неприятное, что именно, не знаю. Мама недовольным голосом тихонько говорила с ними на одной из станций.

В Москве мы простились с Марией Николаевной. Особенно трогательно было прощание ее с мамой.

Два старинных друга расставались снова на долгое и неопределенное время. Знаю лишь одно, что Мария Николаевна выразила матери свое желание, чтобы брат ее женился в нашей семье, но не называя ни ту, ни другую сестру. Об этом разговоре я узнала уже гораздо позднее.

К вечеру мы были уже дома. Отец и мальчики нам очень обрадовались. Нас ожидал сюрприз: брат Саша, отбыв лагерь, приехал к нам в отпуск. «Он будет мой самый близкий и милый товарищ», – думала я. «Теперь обе сестры мне не пара, они обе „не в себе“», – говорила я, и лучше оставить их в покое, тем более, что вражда между ними чувствовалась с каждым днем все сильнее и сильнее, что мне было крайне неприятно. Клавдия, к сожалению, уезжала в приют.

XX. В Покровском

Лев Николаевич на третий день по отъезде Марии Николаевны пришел к нам пешком из Москвы.

– Завтра за Петровским парком – маневры, и государь будет, – говорил он нам. – Пойдемте смотреть.

Мы все тотчас же согласились, но мать не пустила нас, барышень, и Лев Николаевич собрался с Пако и мальчиками. Он ночевал у нас, и на другое утро после кофе они отправились пешком. Нам было завидно смотреть на них, но, как мы ни просились, мать была неумолима.

Ей казалось верхом неприличия пустить нас, дев, одних с Львом Николаевичем.

Лев Николаевич с братьями вернулся к пяти часам.

За обедом разговор зашел о маневрах.

– Маневры, – говорил Лев Николаевич, – перенесли меня в эпоху моей военной жизни на Кавказе. Как значительно все это казалось тогда. Но и теперь, должен сознаться, когда народ закричал «ура», военный оркестр заиграл марш, и государь, красиво сидя на лошади, объезжал полки, я почувствовал прилив чего-то торжественного. У меня защекотало в носу, в горле стояли слезы. Общий подъем духа сообщился и мне.

Я, слушая Льва Николаевича, живо представляла себе величественного Александра II на белой лошади и общее уни-

ление.

Обыкновенно, когда Лев Николаевич рассказывал что-либо чувствительное, он резко переходил к чему-либо комическому. Так было и теперь:

– А Пако, – продолжал Лев Николаевич, – когда царь проезжал мимо нас, сложил на груди руки и дрожащим, взволнованным голосом повторял: «Голубчик, родной! Боже мой! продли жизнь его».

Мы все невольно смеялись, как смешно и трогательно представил Лев Николаевич Пако. Мы боялись, что Пако обидится, но нет, он сам, слушая Льва Николаевича, от души смеялся.

Мы доживали в Покровском последние дни. Лев Николаевич три раза в неделю приходил к нам. Соня решилась, наконец, дать прочесть свою повесть.

После прочтения повести Лев Николаевич пишет в своем дневнике (26 августа 1862 г.):

«Пошел к Берсам пешком. Покойно. Уютно... Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но „необычайно непривлекательной наружности“ и „переменчивость суждений“ задело славно Я успокоился. Все это не про меня».

В молодости наружность Льва Николаевича всегда мучила его. Он был уверен, что он отталкивающе дурен собою. Я не раз слышала от него, как он это говорил. Он, конечно, не

знал того, что привлекательную сторону его наружности составляла духовная сила, которая жила в его глубоком взгляде, он сам не мог видеть и поймать в себе этого выражения глаз, а оно-то и составляло всю прелесть его лица.

Помню, как приятно проводили мы последние августовские вечера в Покровском. Недаром Лев Николаевич писал: «покойно, уютно». За большим круглым столом слушали мы его чтение вслух. Я никогда не замечала, чтобы кто-либо из сестер или Лев Николаевич искали оставаться наедине, несмотря на обоюдное их увлечение. Но Лиза, осуждая Соню за ее сближение со Львом Николаевичем, все же не хотела верить в его чувство к ней и, казалось, намеренно обманывала себя: всякий ее разговор с ним она перетолковывала в свою пользу, спрашивая и мое мнение. Признаюсь, я хитрила, я не говорила ей правды, утаивала ее, поддакивая ей; у меня было такое чувство к ней, что я не могла тихо и добровольно ранить ее сердце.

Саша, однажды сидя со мной, перебирая струны гитары, сказал:

– Таня, что же нам с Лизой делать, ведь le comte явно ее избегает.

– И ты заметил? – сказала я. – А какое он неприятное лицо делает, когда остается с ней, и как она, бедная, не видит этого!

– Я хотел поговорить с ней, сказать ей правду, – говорил брат.

– Не надо, оставь, – отвечала я.

– Ну, а как же Соня-то? Ведь на днях приезжает Поливанов, – говорил брат.

Мы оба молчали, не зная, что сказать. – Ох! Как все осложнилось, как я устал. – Не хочу думать о них – пойдем пить! – вдруг закричала я.

XXI. Письмо Льва Николаевича к Соне

Мы переехали в Москву. Первые дни прошли в устройстве и раскладке.

Наступило 16-е сентября, канун именин матери и Сони. 17 сентября обыкновенно бывало днем много народа, а вечером родные и близкие.

Лев Николаевич пришел к нам 16-го, после обеда. Я заметила, что он был не такой, как всегда. Что-то волновало его. То он садился за рояль и, не доиграв начатого, вставал и ходил по комнате, то подходил к Соне и звал ее играть в четыре руки, а когда она садилась за рояль, говорил:

– Лучше так посидим.

И они сидели за роялем, и Соня тихо наигрывала вальс «Più basso», разучивая аккомпанемент для пения.

Я видела и чувствовала, что сегодня должно произойти что-то значительное, но не была уверена, окончится ли это его отъездом или предложением.

Я проходила мимо зала, когда Соня окликнула меня:

– Таня, попробуй спеть вальс, я, кажется, выучила аккомпанемент.

Мне казалось, что к Соне перешло беспокойное состояние духа Льва Николаевича, и оно тяготило ее. Я согласилась петь вальс и стала, по обыкновению, среди залы.

Нетвердой рукой вела Соня аккомпанемент, Лев Николаевич сидел около нее. Мне казалось, что он был недоволен, что сестра заставила меня петь. Я заметила это по неприятному выражению его лица.

Я была в голосе и, не обращая на это внимания, продолжала петь, увлекаясь грацией этого вальса.

Соня сбилась. Лев Николаевич, незаметно, как бы скользая, занял ее место и, продолжая аккомпанемент, сразу придал моему голосу и словам вальса жизнь. Я уже ничего не замечала, ни его выражения лица, ни замешательства сестры, всецело отдалась прелести этих звуков, и, дойдя до финала, где так страстно выражен призыв и прощение, я решительно вскинула высокую ноту, чем и кончился вальс.

– Как вы нынче поете, – сказал взволнованным голосом Лев Николаевич.

Мне была приятна эта похвала, мне удалось рассеять его неудовольствие, хотя я и не старалась это сделать. Музыкальное настроение является не по заказу, а особенно в пении, куда вкладываешь частицу души своей.

Позднее уже я узнала, что, аккомпанируя мне в этот вечер, Лев Николаевич загадал: «Ежели она возьмет хорошо эту финальную высокую ноту, то надо сегодня же передать письмо (он не раз приносил с собой письмо, написанное сестре). Если возьмет плохо – не передавать».

Лев Николаевич вообще имел привычку загадывать на паясах и различных мелочах о том, «как ему поступить?»

или «что будет?». Меня позвали делать чай.

Через несколько времени я видела, как Соня, с письмом в руке, быстро прошла вниз в нашу комнату. Через несколько мгновений за ней тихо, как бы нерешительно, последовала и Лиза.

«Боже мой! – думала я, – она помешает Соне». А в чем? Я еще не отдавала себе отчета. «Она будет плакать, если это предложение».

Я бросила разливать чай и побежала за Лизой.

Я не ошиблась. Лиза только что спустилась вниз и стучалась в дверь нашей комнаты, которую заперла за собой Соня.

– Соня! – почти кричала она. – Отвори дверь, отвори сейчас! Мне нужно видеть тебя...

Дверь приотворилась.

– Соня, что *le comte* пишет тебе? Говори!

Соня молчала, держа в руках недочитанное письмо.

– Говори сейчас, что *le comte* пишет тебе! – повелительным голосом почти кричала Лиза.

По ее голосу я видела, что она была страшно возбуждена и взволнована; такой я никогда еще не видела ее.

– *Il m'a fait la proposition*¹⁸, – отвечала тихо Соня, видимо испугавшись состояния Лизы и переживая, вместе с тем, те счастливые минуты спокойного удовлетворения, которое может дать только взаимная любовь.

– Откажись! – кричала Лиза. – Откажись сейчас! – в ее

¹⁸ Он мне сделал предложение (фр.)

голосе слышалось рыдание.

Соня молчала.

Видя ее безвыходное положение, я побежала за матерью.

Я была бессильна помочь им, но понимала, что тут каждая минута дорога, что Лев Николаевич там, наверху, ждет ответа и что он не должен ничего знать о Лизе и ее состоянии.

Мама пошла вниз, а я осталась наверху. Матери удалось успокоить Лизу.

Я прошла прямо в комнату матери за ключами и там, совсем неожиданно, увидела Льва Николаевича. Он стоял, прислонившись к печке, заложив руки назад. Я, как сейчас, вижу его. Лицо его было серьезно, выражение глаз сосредоточенное. Он казался бледнее обыкновенного. Я немного смутилась, не ожидая найти его в комнате матери, где никого не было. Я прошла мимо него и не решилась позвать его к чаю.

– Где Софья Андреевна? – спросил он меня.

– Она внизу, вероятно, сейчас придет. Он молчал, и я прошла в столовую. Привожу письмо Льва Николаевича: «Софья Андреевна!

Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: „нынче все скажу“, и ухожу с той же тоской, раскаяньем, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недоста-

нет духу сказать вам все.

Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове, оттого что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши отличные поэтические требования любви... что я не завидовал и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей.

В Ивицах я писал: „Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастья и, именно, вы“.

Но и тогда, и после я лгал перед собой. Еще тогда я бы мог оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что я напутал у вас в семействе, что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком, – потеряны. А я не могу уехать и не смею остаться. Вы, честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога не торопясь, скажите, что мне делать. Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, ежели бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться так, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь, это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: „да“, а то лучше скажите „нет“, ежели есть в вас тень сомнения в себе.

Ради Бога, спросите себя хорошо.

Мне страшно будет услышать „нет“, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, – это будет ужасней».

Соня, прочитав письмо, прошла мимо меня наверх в комнату матери, где она, вероятно, знала, что Лев Николаевич будет ожидать ее. Соня пошла к нему, она мне после рассказывала, и сказала:

– Разумеется, «да»!

Через несколько минут начались поздравления.

Лиза отсутствовала. Папа был нездоров, и дверь в кабинет была заперта.

Чувство мое раздвоилось. Мне было больно за Лизу, и я была довольна за Соню. В душе своей я сознавала всю невозможность, чтоб Лиза была женой Льва Николаевича, так неподходящи – разны были они.

На другое утро, несмотря на именины, в доме чувствовалась атмосфера, как перед грозой.

Мать сказала отцу о предложении Льва Николаевича. Отец был крайне недоволен, он не хотел давать согласия; кроме того, что он был огорчен за Лизу, ему было неприятно, что меньшая выходит раньше старшей. По старинному обычаю это считалось стыдом для старшей. Отец говорил, что не допустит этого брака.

Мама, зная характер отца, оставила его в покое и просила Лизу переговорить с ним. Лиза выказала себя в этом от-

ношении замечательно благородной и тактичной. Она успокоила ОТЦА, говорила ему, что против судьбы не пойдешь, что она Соне желает счастья, что раз она Знает, что Лев Николаевич любит Соню, то ей будет легко выработать к нему равнодушие.

Отец смягчился и согласился на брак при виде слез Сони.

XXII. Свадьба Льва Николаевича

17-го сентября 1862 года днем стоял уже накрытый стол с тортами, шоколадом и прочими праздничными принадлежностями.

Обе сестры были, как всегда, одинаково одеты.

Я, как сейчас, помню их в этот день. Лиловые с белым барежевые платья, с полуоткрытыми воротами и лиловыми бантами на корсаже и плечах. Обе они были бледнее обыкновенного, с усталыми глазами, но, несмотря на это, они все же были красивы, в своих праздничных нарядах с высокой прической.

Меня же всегда почти одевали в белое, на что я обижалась.

Эту ночь спала лишь я одна, беззаботная, веселая, свободная. Мать и сестры, как я узнала, провели бессонную ночь.

К двум часам стали съезжаться с поздравлениями. Мама, когда поздравляли именинниц, говорила: «Нас можно поздравить и с помолвкой дочери». Мама не успевала еще назвать дочь, как многие, не дослушав, обращались с поздравлениями к Лизе, – и тут происходила невольная неловкость: Лиза, краснея, указывала на Соню. Удивление выразилось на лицах даже близких людей: так были все уверены, что невеста была Лиза. Мама, заметив это, изменила, к моему удовольствию, редакцию о помолвке.

Ко всему этому вышло еще осложнение. Внезапно приехал Поливанов, веселый, блестящий, в гвардейском мундире. Он вошел в гостиную. У меня забилось от волнения сердце. Соня страшно смутилась, но осталась сидеть в гостиной. Мама не объявила ему о помолвке. Я смотрела на него и думала: «А мама правду сказала, что он „молодой человек“, совсем, совсем большой стал».

Брат Саша отвел его через несколько времени в кабинет и сказал ему о помолвке Сони. По словам Саши, он принял эту новость очень сдержанно.

Соня уловила минуту выйти из гостиной и повидаться с ним. Понятно, что ее мучило и волновало это свидание. Я страдала за них обоих. Я помню лишь слова, сказанные им.

– Я знал, – говорил Поливанов, – что вы измените мне; я это чувствовал.

Соня отвечала ему, что только для одного человека она могла изменить ему: это для Льва Николаевича. Она сказала, что писала ему об этом в Петербург, но он не получал этого письма.

Поливанов не хотел остановиться у нас, как обыкновенно это бывало, несмотря на то, что мы оставляли его.

Я не могла оставаться сидеть спокойно в гостиной: мне было от души жаль Поливанова. Я знала, как он любил наш дом, как он душой отдыхал с нами, как ежедневно мы, во время его пребывания, устраивали разные развлечения, и я живо представила себе, как ему будет одиноко, грустно, и

невольное чувство оскорбления огорчит его.

Я не вытерпела и побежала в кабинет папа, где он сидел с братом. Я не знала, что я скажу ему, но мне нужно было ему что-нибудь сказать.

– Предмет, милый, хороший, – начала я, – зачем вы уезжаете от нас. Мы все, все вас так же любим, мы так вам рады, и мама и все, – болтала я несвязно, но искренно.

Он встал с дивана, так как я стояла перед ним, молча взял мою руку и поднес ее к губам. В глазах его стояли слезы. Этого было достаточно, чтобы и я заплакала.

– Вы мне верный друг, – сказал он, – я это всегда буду помнить.

– Оставайтесь у нас, – повторила я снова.

– Не могу... не надо... – отвечал он. – Я приеду к вам на Рождество.

– На Рождество, – повторила я, – и Саша Кузминский пишет, что приедет, вот хорошо-то будет. Так обещаете?

– Конечно, он приедет, – вмешался брат, – мы с него слово возьмем.

Меня позвали в гостиную. Поливанов пошел вниз поздороваться с Верой Ивановной, которую он очень любил. Няня рассказала ему, как все произошло.

К обеду приехал Лев Николаевич. Папа оставил Поливанова обедать. Я видела, как неприятно поражен был Лев Николаевич приездом Поливанова. Я привыкла разбирать его (выражение лица. Оно снова показалось мне брезгли-

во-неприятным.

В этот день обедали у нас семья Перфильевых, Сергей Николаевич, брат Льва Николаевича, и еще кое-кто из близких, всего около 20-ти человек. Пили за именинниц и помолвленных. Опять я страдала за Поливанова, как за родного брата.

После обеда Поливанов уехал. Я повеселела.

Приехал Тимирязев, будущий шафер Льва Николаевича, молодые Перфильевы, друзья Льва Николаевича, началось пение – и мне стало весело. Было уже поздно, но никто не разъехался, я устала, меня тянуло ко сну, я села в зале на диванчик, облокотилась на мягкий бочок дивана и заснула. Сколько я дремала, не знаю, но, когда я открыла глаза, передо мной стояли, улыбаясь, Соня, Лев Николаевич и его брат.

Проснувшись, я опомнилась и очень сконфузилась. Они, улыбаясь, отошли от меня.

Я мучилась тем, что заснула, и спрашивала потом Соню:

– Соня, что, рот был открыт?

– Открыт! Открыт! – смеясь, сказала Соня.

– Ай, ай, ай! – закричала я. – Ну, как ты не разбудила меня.

Я сокрушалась, думая, что была уродлива спящей, с открытым ртом.

– Я хотела тебя разбудить, но Сергей Николаевич говорил: «Оставьте, как это можно; да ты посмотри, Левочка, ведь она заснула, совсем заснула», – говорил он.

– Ну, вот видишь, – упрекала я, – теперь что он обо мне

подумает! Это ужасно, – отчаивалась я.

– Тебе-то что за дело, – сказала Соня, – что он о тебе подумает.

– Нет, мне есть дело, – он такой хороший.

– Ну, успокойся, – сказала Соня, – он, хотя и шутя, но сказал *le comt'u*: подожди жениться, Левочка, мы женимся с тобой в один и тот же день, на двух родных сестрах.

– Ты глупости говоришь, Соня, – сказала я.

– Нет, правду: *le comte*, смеясь, рассказал мне это. Да, конечно, Сергей Николаевич сказал это в шутку.

Поздно вечером, когда я легла спать, я думала о Сергее Николаевиче: «Ну, как я глупо ответила ему. Он спросил: „вы много читаете?“ А я сказала: „нет – у меня уроки“. Как глупо, точно маленькая. И букли сегодня не подняты „а la greque“¹⁹, а это мама виновата – запретила».

Соня и Лиза молча ложились спать; после последней сцены они как-то избегали друг друга.

На другое утро пришел Лев Николаевич. Он настаивал, чтобы свадьба была через неделю. Мама не соглашалась.

– Почему? – спрашивал он.

– Надо же приданое сделать, – говорила мама.

– Зачем? Она и так нарядна; что же ей еще надо? Лев Николаевич так упорно настаивал, что пришлось согласиться, и свадьбу назначили на 23 сентября.

Время жениховства прошло в большой суете: поздравле-

¹⁹ по-гречески (фр.)

ния, приготовления к свадьбе, портнихи, конфеты, подарки – все шло быстро своим чередом. Лев Николаевич предложил мне выпить с ним на «ты». Я согласилась, хотя Соня оставалась по-старому на «вы». Целый день и вечер кто-нибудь да бывал у нас. Приезжал и Афанасий Афанасьевич Фет и обедал у нас. Он был блестящ своим разговором, остроумен и интересен.

Мне это оживление было по душе. Уроков не было, и брат Саша был со мною почти весь день. Мама, делая покупки, почти всегда брала нас с собой.

Наступило 23 сентября. Утром, совершенно неожиданно, приехал Лев Николаевич. Он прошел прямо в нашу комнату. Лизы не было дома, а я, поздоровавшись, ушла наверх. Через несколько времени, увидев мать, я сказала ей, что Лев Николаевич сидит у нас. Она была очень удивлена и недовольна: в день свадьбы жениху приезжать к невесте не полагалось.

Мама спустилась вниз и застала их вдвоем между вазами, чемоданами и разложенными вещами. Соня вся в слезах. Мама не стала допытываться, о чем плакала Соня; она строго отнеслась ко Льву Николаевичу за то, что он приехал, и настояла, чтоб он немедленно уехал, что он и исполнил.

Соня говорила мне, что он не спал всю ночь, что он мучился сомнениями. Он допытывался у нее, любит ли она его, что, может быть, воспоминания прошлого с Поливановым смущают ее, что честнее и лучше было бы разойтись тогда. И как Соня ни старалась разубедить его в этом, она не мог-

ла; напряжение душевных сил ее истощилось, и она расплакалась, когда вошла мать.

Свадьба была назначена в 8 часов вечера в придворной церкви Рождества Богородицы.

Со стороны Льва Николаевича на свадьбе были: его тетка, сестра отца, Пелагея Ильинична Юшкова, посаженными родителями – молодые Перфильевы, шафером Тимирязев.

Сергей Николаевич уехал в Ясную встречать молодых.

В 7 часов вечера Соню одевали к венцу ее подруги и я. Лиза ушла одеваться в комнату матери. «Зачем она это делает, – думала я, – подруги узнают, что она в ссоре с Соней». Но сказать ей это я не решилась.

Но вот пробило восемь часов, а со стороны жениха шафер еще не приезжал. Соня сидела одетой, молчаливая и взволнованная. Я знала, что ее мучил их недоговоренный днем разговор. Она переживала мучительные сомнения, собственно ни на чем не основанные. В передней раздался звонок. Я побежала узнать, кто звонил. Вошел лакей Льва Николаевича Алексей с озабоченным лицом.

– Ты что это? – спросила я.

– Второпях забыл графу чистую рубашку оставить, – говорил Алексей. – Дормез-то у вас стоит, надо важи разложить, за фонарем пришел.

Я бегу к Соне успокоить ее.

Через полтора часа мы были уже в церкви. Церковь полна. Приглашенных и посторонних набралось много. Лев Нико-

лаевич во фраке; у него парадный, изящный вид. Придворные певчие при входе невесты громко и торжественно запели «Гряди, голубица».

Соня бледна, но все же красива, лицо ее закрыто тончайшей вуалью. Ее платье, длинное сзади, делает ее выше ростом. Родителей в церкви нет.

Лиза серьезна. Ее тонкие губы сжаты, она ни на кого не смотрит. Поливанов, по просьбе мама, согласился быть шафером у Сони; он спокоен и меняется с Сашей при держании венца.

Я наблюдаю за всеми, слушаю стройный хор певчих, молитвы трогают меня, я молюсь за Соню, за Поливанова и Лизу, а на душе у меня тревожно. Безотчетная тревога от всего пережитого сестрами за эту неделю отразилась и на мне, несмотря на старания мама оберегать меня от тяжелых впечатлений.

Служба окончена. Мы дома. После поздравлений, шампанского, парадного чая и прочего Соня идет вниз переодеваться в дорожное, вновь сшитое, темно-синее платье.

Лев Николаевич торопится, он хочет выехать пораньше. С Соней едет наша горничная Варвара, довольно пожилая женщина. Мама уступила ее Соне. Я не могу себе живо представить, что завтра Сони уже с нами не будет, и чувства горечи разлуки я еще не испытываю.

Но вот дормез, запряженный шестериком, с фореитором, уже стоит у крыльца.

Мама хлопочет с Соней. Папа, еще не оправясь от болезни, хотя и несерьезной, сидит в кабинете, куда Лев Николаевич и Соня пошли прощаться.

По желанию матери, обычай сиденья и молитвы перед дорогой был соблюден.

Началось прощание. Мама не плакала. Соня была в слезах, когда мама крестила и целовала ее. Все люди подходили прощаться с Соней.

Вечер был свежий, сентябрьский. Шел дождь. Мы все вышли на крыльцо провожать молодых. Как я того хотела, я последняя простилась с Соней.

– А я с тобой и прощаться не хочу, ты приедешь к нам, – сквозь слезы проговорила Соня.

Они сели в карету. Алексей захлопнул дверцы и забрался на заднее, верхнее сиденье, где уже сидела и Варвара.

Лошади двинули вперед.

В воздухе послышался не то стон, не то громкое восклицание; в нем слышались и ужас и страдание раненого сердца...

«Ведь это же мама, – промелькнуло у меня в голове. – Мама, спокойная, сдержанная. Так что же это?..» Непреодолимая жалость подступила мне к сердцу, но я не подошла к ней. Как я могла заменить ей Соню? Я чувствовала, что не могла этого сделать, побежала к себе в комнату и, одетая, бросилась на постель, заливаясь горькими слезами.

Подвенечный наряд Сони, в беспорядке лежавший на ди-

ване, и опустевшая ее постель так живо говорили мне о нашей разлуке, о моем одиночестве и тем еще больше увеличивали мое горе.

Дверь тихонько отворилась, и при тусклом освещении лампы вошла Лиза.

– Таня, – сказала она, касаясь моего плеча, – хочешь, мы будем с тобой дружны?

XXIII. После свадьбы

После свадьбы Сони жизнь вошла в свою обычную колею. Отец поправился здоровьем и стал выезжать. Мама по-прежнему была деятельна и казалось спокойной. Лишь иногда видела я ее заплаканные глаза и замечала грустное выражение лица. В доме все приводилось в порядок после двухнедельной беспорядочно суетливой жизни.

Брату Саше удалось раньше времени выйти в офицеры, и он уехал артиллеристом в Польшу, в местечко Варки.

Расставание с ним мне было крайне тяжело.

А Лиза? Самолюбие ее было оскорблено. Ей казалось унижительным горевать и этим высказывать свое чувство; она вся ушла в занятия и чтение, и, по настоянию отца, стала выезжать. Она только со мной и то изредка говорила о Льве Николаевиче, и всегда, хотя и невольно, звучала в разговоре ее нота осуждения Сони и недоброжелательство ко Льву Николаевичу.

Через несколько дней родители и я получили письмо из Ясной Поляны. К сожалению, письмо к родителям не уцелело. Приведу письмо ко мне:

«Что ты, милая Татьяна, как-то поживаешь? Грустно очень подчас, что тебя нет. Несмотря на то, что дюже хорошо мне на свете жить, а еще бы лучше, если б слышать твой соловьиный голосок, да посидеть с тобой, поболтать, как бы-

вало.

Наталья Петровна по тебе с ума сходит, беспрестанно о тебе говорит, что мне ужасно весело. Вчера встретила меня с словами: – А мою-то что ж не привезли? – Велела сказать тебе, что целует тебя тысячу раз и ждет, не дождется, когда ты приедешь в Ясную. Пиши мне скорее, голубчик Татьянка, что у вас, как и что? Здравы ли все? Веселы ли? Главное, правду пиши. Прочти письмо к родителям, увидишь, как я тут время провела со вчерашнего дня. Еще не совсем огляделась, все странно еще, что в Ясной – я дома.

Сегодня уже устроили наверху за самоваром чай, как следует в семейном счастье.

Тетенька такая довольная, Сережа такой славный, а про Левочку и говорить не хочу, страшно и совестно, что он меня так любит. Татьяна, ведь не за что?

Как ты думаешь, он может меня разлюбить?

Боюсь я о будущем думать, ведь теперь уже не мечтаешь, как бывало девой, а прямо знаешь судьбу свою, только и страшно, что испортится. Да что, девочка, ты этого не понимаешь; когда выйдешь замуж – поймешь. Мы много о тебе говорим. Ты – общая любимица. Сережа о тебе расспрашивал, а я ему рассказывала, что в тебе, кроме веселой, беззаботной стороны, есть еще, в *сущности*, серьезная, дельная сторона. Левочка же рассказывал о том, какая ты была на нашей свадьбе авантажная и с каким светским тактом. Видишь, сколько о тебе говорят у нас. Татьянка, какая у меня

комната – прелесть. Все уютно, красиво. Я еще все не устроилась совсем, с мелочами. Очень весело разбираться понемногу. Вот что, Татьяна, душечка, пришлите мне непременно коротенькие мои теплые сапоги, мне без них беда. В длинных гулять невозможно, а морозы уже порядочные. Да пудру я свою забыла, тут негде взять, в Туле покупать не стоит. Все с приданым пришлите. Не забудь, девочка, это нужно, пожалуйста.

Ну, прощай, милая, так и быть, бывало редко целовались, а теперь не могу, крепко целую тебя. Левочка хочет тебе писать, оставляю место. В первый раз важно подписываюсь:

Сестра твоя гр. Соня Толстая. 25-го сентября 1862 г. вечером».

Следует приписка Льва Николаевича:

«Ежели ты потеряешь когда-нибудь это письмо, прелесть наша Танюшка, то я тебе век не прощу. А сделай милость, прочти это письмо и пришли мне его назад. Ты вникни, как всё это хорошо и трогательно, и мысли о будущем и пудра. Мне жаль, что это кусочек ее, который от меня ушел. Ну да в ней есть большой кусок, не принадлежащий мне – это любовь ко всем вам, и особенно к тебе. И я не ревную, мне самому удивительно. Должно быть, оттого, что я знаю, как мамашу и тебя необходимо нужно любить. Прощай, голубчик, дай Бог тебе такого же счастья, какое я испытываю, больше не бывает. – Она нынче в чепце с малиновыми – ничего. И как она утром играла в

большую и в барыню, похоже и отлично. Прощай. По этому письму чувствую, как мне весело и легко тебе писать, я тебе буду писать много. Я тебя очень люблю, очень. Я знаю, что ты, как и Соня, любишь, чтоб любили, оттого и пишу.

Л. Толстой»

И он писал мне часто, но, к сожалению, много писем не уцелело. Многие были отосланы брату на прочтение и не возвращены вновь, а многие, по молодости лет, не сберегла и я. Остались более шуточные, а интересные, с описанием жизни молодых Толстых, были у брата.

Это письмо мне доставило большую радость. Я почувствовала, как он любит Соню и как они должны быть счастливы.

Воображение рисовало мне Ясенскую столовую, Соню за самоваром, в чепчике с малиновыми лентами и с выражением лица «угнетенной невинности», как я называла ее застенчиво-покорное лицо. Странно, она никогда не представлялась мне оживленной, с поднятой кверху головой, веселой и быстрой, какой она была иногда.

Я долго не могла привыкнуть к пустоте, которую оставила после себя Соня в доме и в моем сердце. Когда ложилась спать, я, по привычке поверять ей все, мрачно молчала; за столом, где раньше я сидела всегда рядом с ней, теперь я имела соседкою свою немку.

Прогулки, театры, выезды не развлекали меня, – я чувствовала одиночество.

Лиза еще не приучила меня быть с ней откровенной, хотя она бережно-нежно относилась ко мне. Я еще не понимала ее, она всегда держалась в стороне от нас, да притом, сближению моему с ней мешали всегда враждебные отношения двух сестер.

Мне минуло 16 лет. Я стала учиться петь, носить почти длинные платья и понемногу выезжать с Лизой на небольшие вечера и танцклассы.

Брат Петя подрос и стал развитой, спокойный и очень приятный мальчик. Ему уже шел 15-й год.

У нас был общий учитель математики. Он был взят для брата, но я упросила немца Гуммеля заниматься и со мной, на что он охотно согласился. Я очень увлекалась математикой, чему удивлялись родители, говоря, что это не похоже на меня. После класса мы обыкновенно ездили с братом на Пресненские пруды бегать на коньках. Так проходила зима. К Рождеству мы ожидали в Москву Толстых.

Отец, вступив в переписку со Львом Николаевичем, стал относиться к нему совсем иначе. Видя Лизу спокойной, деятельной и даже веселой, насколько это было в ее характере, он помирился с тем, что Соня, а не Лиза, вышла замуж за Льва Николаевича. Все же он нежно любил Соню и теперь, читая ее письма с описанием их счастливой жизни, он сердечно полюбил Льва Николаевича и восхищался его талантом, что будет видно из его писем.

Я радовалась этой перемене. Мать оставалась той же, как и

раньше. Она относилась к нему как-то покровительственно; в ней не чувствовалось ни поклонения, ни восхищения. Она звала его Левочкой, как называла в детстве, но была нежнее с Соней, чем с ним.

От брата Саши я получала письма с описанием его жизни. Он жаловался иногда на среду, окружающую его, на те непривычные интересы жизни, которыми жили его товарищи по полку. Общества никакого не было, он скучал по семье, и единственным развлечением служила ему охота всякого рода. Он писал о своей жизни и сестре Соне и Льву Николаевичу. Лев Николаевич пишет ему 28 октября 1864 г.:

«...>Ты описываешь свою жизнь в жидовском местечке и поверишь ли, мне завидно. Ох, как это хорошо в твоих годах посидеть одному с собой с глазу на глаз и именно в артиллерийском кружку офицеров Не много, как в полку, и дряни нет, и не один, а с людьми, которых уже так насквозь изучишь и с которыми сблизись хорошо. А это-то и приятно, и полезно. Играешь ли ты в шахматы? Я не могу представить себе эту жизнь без шахмат, книг и охоты. Ежели бы еще война при этом, тогда бы совсем хорошо Я очень счастлив, но когда представишь себе твою жизнь, то кажется, что самое-то счастье состоит в том, чтоб было 19 лет, ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать капироску, тыкая в пальник, который подает 4-ый № Захарченко какой-нибудь и думать: коли бы только все знали, какой я молодец! Прощай, милый друг. Пиши, пожалуйста, почаще».

Рождество приближалось, и нетерпение мое видеть Толстых, брата и в особенности Кузминского увеличивалось. Переписка моя с ним продолжалась. Кузминский писал мне из Волынской губернии, где он проводил и часть осени.

Помню, как одно из его писем вызвало во мне неприязненное и неприятное чувство. Он писал о красивом типе южного народа, и в особенности хохлушек. Они являлись по вечерам в контору, где нередко проводил он вечера, вникая в свою новую роль хозяина.

Другое его письмо усилило во мне это неприязненное чувство. Он писал мне, как познакомился с соседями – графом Бержинским и его женой. Он с восхищением писал о благоустройстве их имения, о заводских лошадях, элегантной польской упряжи и о самой графине Бержинской, красивой женщине, лет 32–33, с легкой походкой и большими глазами. Он писал, что она в деревне не выходит иначе, как в длинных перчатках, и, когда у них кто-либо обедает, она надевает платье с открытым воротом.

Все это мне не нравилось, но писать ему что-либо неприятное я не хотела да и не могла придраться к его простому описанию.

Как всегда в затруднительных случаях, я обратилась к матери.

– Мама, ведь Саша может влюбиться в Бержинскую? – с беспокойством спрашивала я. – Ведь он тогда и на Рождество не приедет к нам?

– Наверное придет. Ты напрасно воображаешь себе Бог знает что. Она гораздо старше его и замужняя.

– Да, правда, – сказала я, успокоившись, – она уже довольно пожилая.

Девочке 16-ти лет женщина за 30 всегда кажется пожилой. Ей делают реверанс, она сидит всегда в гостиной со взрослыми, ей уступают место и прочее. Все это старит ее в глазах подростка.

Однажды разговорилась я с Лизой о том, как она смотрит на приезд Толстых. Она сказала мне:

– Я буду избегать Льва Николаевича, они не останятся у нас. Соня ведь писала об этом. Мне неприятно видеть его, так же как и Соню.

«Удивительно, – думала я, – как можно избегать их, не любить их, особенно его, ведь это исключительный человек».

Вероятно, и Льву Николаевичу приходила мысль, как он встретится с Лизой, и это, очевидно, мучило его, так как Лиза совершенно неожиданно получила от него письмо. Он писал ей:

«Как я вам благодарен, милая Лиза, за присылку Лютера. Зачем же я вам пишу вам, а не тебе? Давай, хоть письменно, начнем, чтобы это было совершенно естественно при свидании. Разумеется, ежели ты согласна и позволяешь. – Еще лучше то, что ты обещаешь еще работать для моего журнальчика. Теперь не хочу писать об этом, чтоб не испортить бескорыстия просто дружеского чувства, которое

диктует мне письмо. По правде сказать, журнальчик мой начинает тяготить меня, особенно необходимые условия его: студенты, корректуры et cet²⁰. А так и тянет теперь к свободной работе de longue haleine²¹ – роман или т. п. Живется мне очень, очень хорошо. Лыжу себя надеждой, что так же и Соне. Как складывается ваша жизнь? Вы перед нашим отъездом были en train²² нагружать на себя всевозможные труды и обязанности. Это славно и так идет вам. Дай вам (тебе, ежели ты согласна) успеха. Целую вашу руку. Измените же вашей привычке не писать писем.

Брат ваш Л. Толстой»

Лиза, получив это письмо, с грустной улыбкой, задумавшись, сидела над ним.

«Зачем Л. Н. пишет ей, что ему очень хорошо живется? – думала я, – да еще поминает о Соне, что он надеется, что и ей так же. Это не может быть приятно Лизе. Как это не понять?» Мне вообще не нравилось его письмо: я не находила в нем его обычной простоты. «Все ненатурально, все выдуманно», – говорила я себе. Но, к счастью, о своей критике я ничего не написала ему.

В том же письме Лев Николаевич и Соня пишут мне шуточное, веселое письмо вдвоем:

Лев Никол.: «Татьяна, милый друг! пожалей меня, у ме-

²⁰ и т. д. (лат.)

²¹ продолжительной (фр.)

²² расположены (фр.)

ня жена глупая (*глу* – выговариваю я так, как ты выговариваешь)».

Соня: «Сам он глупый, Таня».

Л. Н.: «Эта новость, что мы оба глупые, очень тебя должна огорчать, но после горя бывает и утешенье, мы оба очень довольны, что мы глупые, и другими быть не хотим».

Соня: «А я хочу, чтобы он был умнее».

Л. Н.: «Вот озадачила-то».

Ты чувствуешь ли, как мы при этом, раскачиваясь, хохочем? Мне жалко, что вырезали из тебя шишку²³, пришли мне кусочек. Или уж ее свезли на Ваганьково и поставили крест с надписью:

Прохожий, расстегни манишку,
Чтобы удобнее вздыхать.
Взгляни на Таничкину шишку
И не садись здесь отдыхать.

Соня говорит, что это оскорбительно писать тебе в таком тоне. Это правда. Так слушай же, я скажу серьезно. Место твоего письма, где ты пишешь о том, что тебе в темноте представляются Васинька, Полинька²⁴, я и Соня без руло²⁵ в дорожном платье – прелестно.

Я так и увидел в этом твою чудную, милую натуру с сме-

²³ Мне вырезали из горла гланды.

²⁴ Перфильевы.

²⁵ Бархатное руло носили на голове; на него начесывали волосы.

хом и с фоном поэтической серьезности. Такой другой Тани, правда, что не скоро потрафишь и такого другого ценителя, как Л. Толстой.

Целую руки мама и обнимаю папа и пандигашек (меньших детей) и Сашу».

Отец очень желал, чтобы Толстые, приехавши в Москву, остановились у нас, но, боясь неловкости при встрече двух сестер и Льва Николаевича с Лизой, он пишет Соне 5 октября 1862 года: «Насчет Лизы будь совершенно покойна: она также очень желает, чтобы вы жили у нас, и ты увидишь, как она радушно обоих вас обнимет. Она совершенно покойна и так обо всем умно рассудила, что я не могу довольно на нее нарадоваться. Будь уверена, что она от души радуется твоему счастью...

Сделай одолженье, мой ангел, напиши ей ласковое письмо; я вижу, что она этого ждет и желает. Забудь все неприятные встречи, которые бывали между вами, ты так добра, что и не должна этого помнить».

Когда папа писал это письмо, я вошла зачем-то в кабинет. – Таня, подойди сюда, я прочту тебе, что я написал Соне о Лизе, и как я уговариваю их остановиться у нас, – сказал отец.

Отец прочел мне все письмо. Когда он дочел до места, где он пишет, что Лиза все забыла и радуется счастьем Сони, я прервала его.

– Папа, Лиза совсем не радуется счастьем Сони и не жела-

ет, чтобы они остановились у нас, – сказала я.

– Что ты говоришь, ты ошибаешься, она очень доброжелательно относится к Толстым, – сказал он.

– Она, может быть, старается доброжелательно относиться к Толстым, но ей это не удается. И это доброжелательство было бы очень странно в ней, – сказала я.

– Ничуть не странно, а вполне натурально. Лиза рассудительна и добра. А ты вот будешь болтать такой вздор и только повредишь их отношениям, – отвечал отец.

Я заметила, что рассердила отца, и замолчала. После этого письма через несколько дней Лиза по лучила от Сони очень ласковое письмо. Лиза приняла это письмо с некоторым недоверием и говорила мне – Она того не чувствует, что пишет, но умеет писать с прикрасами.

Лиза дала прочесть это письмо родителям. Отец был очень доволен.

Не получая долгое время от Лизы ответа на свое письмо, Соня пишет брату Саше о своей жизни в Ясной Поляне и между прочим упоминает о Лизе. Привожу несколько строк из ее письма от 19 октября 1862 г. «Я все мечтаю с Левочкой, не приедешь ли ты к нам летом. Конечно, еще далеко, а помечтать не мешает. Тебя Левочка очень любит, так же как и я...

Сегодня получила целых два пакета писем от своих и до сумасшествия обрадовалась. Все хохотала, прежде чем стала их читать. Все дома отлично, дай Бог, чтоб всегда так было.

Лиза что-то помалкивает, а я ей написала и Левочка тоже. Что-то она поделывает? Я о ней часто думаю. Так она мне и представляется, какая была в последнее время. Ужасно мне ее жаль было. Нынче мы гуляли, и катались в линейке со всеми ребятами. Бегали, песни пели, такое было веселье-потеха. Меня они столько же дичатся, сколько и Левочки. Друзья большие, особенно с девочками. Я в школу хожу, то сочинение поправлю, то укажу деленье – задачку, то прочитаю, слегка присматриваюсь к занятиям, чтоб самой мужу помогать.

Здесь у меня совсем особенный мир, который в своем роде очень хорош, и который вы, городские, не понимаете.

Однако, прощай, Саша, дай Бог всего лучшего».

XXIV. Рождественские праздники

Наступили рождественские праздники 1862 года. Мы все в сборе. Брат Саша, Кузминский, Поливанов и Клавдия у нас. Одно лишь огорчило меня, что Поливанов приехал из Петербурга лишь на три дня.

23-го декабря приехали Толстые и остановились в гостинице Шеврие в Газетном переулке. Соню я нашла похудевшей и побледневшей от ее положения, но все той же привлекательной живой Соней.

Со Львом Николаевичем мы встретились друзьями и уже на «ты». Я наблюдала за Лизой. У Лизы выходили с ним отношения более естественные, чем у него с ней. Ей помогала ее обычная, спокойная самоуверенность. Она сразу перешла с ним на «ты», что, очевидно, было приятно ему.

Мы видимся почти ежедневно. Друзья, знакомые Льва Николаевича постоянно навещают их, и жизнь Толстых сложилась в Москве вполне городской и светской.

Лез Николаевич хотел, чтобы Соня сделала несколько визитов его близким знакомым. При сборах: в чем ехать? и что надеть? произошло комичное недоразумение.

Соне из магазина была принесена новая шляпа, по тогдашней моде, очень высокая спереди, закрывавшая уши, и с подвязушками под подбородком. Когда Соня примеряла ту шляпу, в комнату случайно вошел Лев Николаевич. При ви-

де ее в шляпе, он пришел в неописанный ужас.

– Как? – воскликнул он, – и в этой Вавилонской башне Соня поедет делать визиты?

– Теперь так носят, – спокойно отвечала мама.

– Да ведь это же уродство, – говорил Лев Николаевич, – почему же она не может ехать в своей меховой шапочке?

Мама, в свою очередь, пришла в негодование.

– Да что ты, помилуй, Левочка, кто же в шайках визиты делает, да еще в первый раз в дом едет, – ее всякий осудит.

– А она в карету не влезет, – смеясь, дразнила я, потешаясь их разговором. – Я намеренно зацепилась о потолок кареты, и шляпа съехала с головы.

Соня, стоя перед зеркалом, молча посмеивалась. Ей нравился белый цвет шляпы, белые перья, так красиво оттенявшие ее черные волосы, а к уродливой ее высоте она еще привыкла с прошлого года.

«Ведь все так носят», – утешала она себя.

Соня неохотно согласилась делать визиты. Она чувствовала недомогание от своего положения. Но все же она уступила мужу и поехала.

Она пишет в своих воспоминаниях: «Конфузилась я до болезненности; страх за то, что Левочке будет за меня что-нибудь стыдно, совершенно угнетал меня, и я была очень робка и старательна».

Соня описывает, между прочим, трех сестер Д. А. Дьякова, близкого друга Льва Николаевича (о нем буду говорить

позднее):

«Еще ездили мы к сестрам Дьякова: М. А. Сухотиной... А. А. Оболенской, когда-то составлявшей предмет любви Льва Николаевича, и милой Е. А. Жемчужниковой. Первые две сестры взяли тон презрения к молоденькой и глупенькой жене своего бывшего поклонника и частого посетителя Льва Толстого, которого они теперь лишились».

Впоследствии, когда я познакомилась с ними, я не нашла всего этого: обе сестры произвели на меня хорошее впечатление, и я поняла, что у Сони была ревность. Эта черта ее характера ярко выступала во всю ее жизнь.

Лев Николаевич пишет в дневнике своем, что он рад, что жена его всем нравится.

Они часто ездили в концерты, театры и музеи. Нередко и меня отпускали с ними. Лев Николаевич, кроме выездов, посещал библиотеки, отыскивая разные мемуары и романы, где бы говорилось о декабристах.

Он только что отдал в печать свои две повести: «Казачи» и «Поликушку», как уже в нем зарождалось новое семя творчества. Он задумал писать «Декабристов». Он идеализировал их и вообще любил эту эпоху. Но из маленького семени «Декабристов» вышел вековой величественный дуб – «Война и мир».

Помню, как на Рождестве, у наших знакомых Бибиковых был обычный танцкласс, но усиленный, вроде танцевального вечера. Вся наша молодежь ехала туда. Бибиков был женат

на Муравьевой, дочери известного декабриста Муравьева, и Лев Николаевич решил, что он приедет к ним.

Он приехал позднее. Я видела, как он беседовал с Софьей Никитичной Бибиковой, как она показывала ему портрет своего отца, но о чем они говорили, я не слышала, так как в то время с увлечением танцевала мазурку с Кузминским.

Это Рождество было для меня сплошным праздником. Я сознавала, что переживала самые счастливые годы, беззаботные 16 лет. Я просыпалась утром в радужном настроении, засыпала с молитвою благодарности к Богу за то, что он дает мне. Я чувствовала в душе своей то обилие любви всякого рода, что и дает счастье в жизни.

С Кузминским мы были более чем когда-либо дружмы, и если бы мне сказали тогда, что не дальше чем весной произойдет во мне перемена, я бы не поверила. Сомнения о хохлушках и графине Бержинской отлетели далеко.

На другой день мы были приглашены к Толстым на обед. Я была очень горда, что только меня и Кузминского пригласили, как мне казалось тогда, на важный литературный обед.

Обед был очень веселый и содержательный. Обедали Фет, Григорович, Островский и мы двое. Фет острил, как всегда. Лев Николаевич вторил ему. Всякий пустяк вызывал смех. Например, Лев Николаевич, предлагая компот, говорил: «Фет, faites moi le plaisir»²⁶ или, при пробе белого вина, говорилось: «Винный торговец „Depret n'est bon que de

²⁶ сделайте мне удовольствие (фр.)

loin“»²⁷ и т. д.

Островский, говоря о своей последней пьесе, прибавлял, что он невольно всегда имеет перед глазами Акимову и ей предназначает роль. Он хвалил особенно игру Садовского и Акимову.

Остался в памяти у меня рассказ Григоровича. Он говорил, что, когда он пишет и бывает недоволен собой, на него нападает бессонница.

Афанасий Афанасьевич Фет, медлительно промычав что-то про себя, как он всегда это делал перед тем, как начать какой-либо рассказ или стихи, продекламировал недавно написанное им стихотворение «Бессонница».

Чем тоске, и не знаю, помочь:
Грудь прохлады свежительной ищет.
Окна настезь, уснуть мне невмочь,
А в саду над ручьем во всю ночь
Соловей разливается – свищет.

Фета заставила продекламировать все полностью. Мне же особенно нравилось начало, и я запомнила его.

Вечером за мной и Кузминским приехала наша немка; мы должны были ехать на вечер. Мне было жаль уезжать, так приятно было у Толстых, а вначале я конфузилась незнакомого общества, да еще такого серьезного и ученого, как я

²⁷ Депре хорош только издали (фр.). Фамилия Депре по-русски значит «вблизи».

мысленно называла всех. Меня мучило, что меня никто не заметит, что, по своим годам, я должна буду молчать за столом, и мне казалось это унижительным перед Кузминским. «Ведь он может подумать, что я не могу нравиться, что я еще ребенок и как маленькая держу себя», – говорила я себе.

Но все сошло благополучно. За обедом я сидела между Соней и Фетом. Он был ко мне более чем внимателен, с Григоровичем тоже вышло, как мне казалось, хорошо, но зато Островский с дамами не разговаривал и произвел на меня впечатление медведя.

Соня в роли хозяйки была удивительно мила, и я, привыкши разбирать выражение лица Льва Николаевича, видела, как он любит ее.

Во время их пребывания в Москве я приглядывалась к ним. Мне хотелось понять и решить: какие они стали.

Сначала мне казалось странным, как это совсем чужой человек стал вдруг так близок Соне. Выходя из дома, он искал ее по всему дому, чтобы сказать, куда он идет и когда вернется. Они о чем-то перешептывались, и я спрашивала себя: «Могу ли я, по-прежнему, быть с Соней откровенна? Расскажет ли она все мужу своему?» И я невольно отвечала себе: «Да, расскажет. Да, ведь ему все можно сказать», утешала я себя, «он все поймет».

Они смотрели друг на друга, как мне казалось, совсем иначе, чем прежде. Не было того беспокойно-вопросительного влюбленного взгляда. Была нежная заботливость с его

стороны и какая-то любовная покорность с ее стороны.

Опишу мое первое знакомство с Д. А. Дьяковым, так как он и его семья впоследствии были мне близки.

На другой день после завтрака Лев Николаевич привез к нам с визитом своего друга Дмитрия Алексеевича Дьякова. Еще смолоду, в Казани, они были друзьями и на «ты».

Дмитрий Алексеевич был человек лет сорока, роста выше среднего, белокурый, широкоплечий, с удивительно приятным выражением лица, с оттенком юмора. В молодости он служил в гвардии, как многие дворянские сыновья сороковых годов, но, по смерти отца своего, наследовав большие имения в Тульской и Рязанской губерниях, бросил службу и поселился в деревне. Он имел большое состояние, и его имение «Черемошня» Тульской губернии славилось во всем околоте своим образцовым порядком. Он был женат на Тулубьевой и имел одиннадцатилетнюю дочь Машу.

Мама приняла гостей в маленькой гостиной, как мы называли ее спальню, перегороденную дубовой перегородкой. Я сидела в спальне матери и перебирала ее вещи, когда услышала голос Льва Николаевича и еще кого-то.

По высоко-приличному, церемонному голосу мама, употребляемому обыкновенно с новыми знакомыми, я узнала, что второй гость был Дьяков. Дьяков говорил, что его жена и дочь за границей, что и он туда скоро поедет и что он непременно хотел перед отъездом быть нам представлен.

«Ну, этот – настоящий», – думала я почему-то.

«Настоящим», в моем детском понятии, считался тот, кто был утонченного светского воспитания, с известным лоском, порядочностью, что я называла «слоеным тестом».

«Боже мой, – думала я, – уедет он, и я не увижу друга Левочки, а он так много говорил нам о нем. Влезу на шифоньерку и посмотрю, какой он».

Выйти же к ним я не хотела по многим причинам! мне казалось, что я плохо одета, что если я теперь появлюсь, выйдет, что я подслушивала их разговор. И я тихонько стала влезать с окна на шифоньерку, плотно примыкавшую к перегородке.

Но влезть бесшумно было трудно, и мама, обернувшись в мою сторону, спросила:

– Кто там?

Я не ответила и села на колени на верху шкафа. Но, к ужасу своему, я увидела, как раз против себя, сидящих у стола Льва Николаевича и Дьякова.

Скрываться дольше было невозможно.

– Таня, здравствуй, иди к нам, куда ты залезла, – сказал Лев Николаевич, – посмотри, Дмитрий, я тебя сейчас познакомлю с ней.

И я услышала громкий смех Дмитрия Алексеевича. Но в это время я живо стала слезать и оправляться и вышла в гостиную.

– Посмотри, на что ты похожа, – говорила мама, – вся в пыли.

Мама говорила притворно строгим голосом. Лиза, сидевшая в гостиной, от души смеялась, и я была ей благодарна: ее смех утешал меня.

После представления я старалась быть очень чинной и приличной. Дьяков заговорил со мной о пении, о музыке, расспрашивал про нашу жизнь в Москве, и мне сразу стало с ним и приятно и ловко.

Мама, прощаясь, пригласила Дьякова завтра обедать, чему я была очень рада.

– Скажи Соне, чтоб она завтра непременно приехала к обеду, а вечером поедem в театр, – говорила я Льву Николаевичу.

Мы все так любили Соню, что непременно должны были видеться ежедневно. Отношения меньших братьев к ней были самые нежные, с Лизой лишь иногда чувствовалаcь неуловимая «черная кошка», несмотря на все старания Сони быть в хороших отношениях.

Соня пишет в дневнике своем:

«Что мне делать с Лизой? Чувствую и неловкость, и гнет, а вместе с тем дома все мне мило и дороги. Подъезжая к Кремлю, я задыхалась от волнения и счастья...».

По поводу этого Лев Николаевич, смеясь, говорил:

– Когда Соня увидела свои родные пушки, под которыми она родилась, она чуть не умерла от волнения.

Беседы с нами и матерью у Сони были неистощимы, особенно по вечерам. Она не любила выезжать, и Лев Никола-

евич иногда выезжал один. Прощаясь с ней, он всегда говорил: «Вернусь к 12-ти, подожди меня».

Но один из таких вечеров кончился очень плачевно.

Лев Николаевич ехал к Аксакову. Когда Лев Николаевич посещал дом, где Соня еще не успела познакомиться, она недоброжелательно относилась к нему. Так было и теперь.

– Зачем ты едешь к ним? – спросила она.

– Я могу встретить у них полезных мне людей для задуманного мною дела. Я, вероятно, вернусь к 12-ти, – сказал он.

Оставшись с нами, Соня была спокойна и весела, много рассказывала о своей Ясенской жизни, говорила, как они играют по вечерам в четыре руки, как Лев Николаевич сердится, что она не соблюдает такта, как приезжала к ним Ольга Исленьева и играла целыми часами с ним.

– А мне было и досадно, и обидно, и завидно, – говорила она.

– Соня, да ведь она же настоящая музыкантша, – сказала я, – как же сравнить ее с тобой? Конечно, Левочке было приятно играть с ней. – Ну да, мне это-то и было неприятно, – говорила с досадой Соня. – Но вот кто удивительно приятен в доме, это тетенька Татьяна Александровна, она так добра и мила ко мне. С первых же дней моего приезда в Ясную она сдала мне все хозяйство, и я, с помощью экономки и в то же время горничной, Дуняши, принялась за хозяйство. При тетеньке живет приживалка Наталья Петровна, препотешная:

рассказывает Левочке про всякие явления, слышанные ею от богомолок, а Левочка записывает их. Но всего больше я люблю наши вечерние занятия. Он учит меня по-английски, мы читаем вслух «Les Misérables» Victor Hugo²⁸, а иногда, когда он занят, я переписывала «Поликушку». Но знаешь, Таня, иногда мне наскучит быть «большой», раздражит меня эта тишина в доме, и нападёт на меня неудержимая потребность веселья и движения, я прыгаю, бегаю, вспоминаю тебя, как мы с тобой бывало бесились, и ты называла это: «меня носит». А тетенька Татьяна Александровна добродушно смеется, глядя на меня, и говорит: «Осторожнее, тише, *ma chère Sophie, pensez à votre enfant*»²⁹.

Так болтали мы с Соней, слушая рассказы о ее жизни. Уже подали самовар. За чайным столом собрались все домашние, и Соня продолжала весело болтать с нами.

– А что твое рисование, Соня? – спросила мама.

– Левочка хотел мне взять учителя, да мое нездоровье помеха всему. Я иногда так хочу жить дельно, – говорила Соня, – но не могу. Пробовала заняться молочным хозяйством, ходила на удой коров, но запах коровника вызывал во мне тошноту, и я не могла ходить. Левочка с таким недоумением смотрел на меня, ничего не понимая в этом; он даже выказывал неудовольствие.

Мама, не желая осуждать Льва Николаевича, улыбаясь,

²⁸ «Отверженные» Виктора Гюго (фр.)

²⁹ моя дорогая Софи, думай о ребенке (фр.)

сказала:

– Да где же ему понять! А в школе ты помогала ему?

– Вначале да. У нас был съезд учителей для обсуждения школьных вопросов; иные учителя, как мне казалось, отнеслись ко мне враждебно, чувствуя, что Лев Николаевич уже не принадлежит им всецело, и многие даже совсем уехали. Да правду сказать, Левочка за последнее время совсем охладил к школе. Его тянет к другой работе. Он хотел писать 2-ю часть «Казаков» но, кажется, и это бросит. Задуманный роман о декабристах поглотил его всецело.

Так незаметно прошел вечер. Пробыло 12 часов. Соня прислушивалась к звонку. Все домашние разошлись по своим комнатам, лишь мама и я остались с Соней.

Прошел еще час. Соня теряла терпение. Отец вернулся домой и прошел к себе в спальню. Я сидела в углу дивана и потихоньку дремала. Соня то и дело подбегала к окну и смотрела на часы.

– Да что же это в самом деле, – говорила Соня. – Что с ним? Уж не случилось ли чего?

– Что же может случиться? – утешала мама, – просто засиделся у Аксакова.

– Да, засиделся, – повторила с досадой Соня. – Вероятно, там эта Оболенская, ведь она там по субботам бывает.

– Полно, Сонечка, придумывать себе глупости, приляг и отдохни лучше. Он скоро приедет.

Соня молчала. Я сочувствовала ей, хотя и не говорила с

ней. В комнате царил полная тишина. Пробило половина второго.

Этот бой, при полной ночной тишине, как молот, беспощадно ударил не только в сердце Сони, но и разогнал мгновенно мой сон.

Соня, как ужаленная, вскочила с места.

– Мама, я поеду домой, я не могу больше дожидаться его, – заговорила она, чуть не плача.

– Что ты? Что с тобой, Соня? Мыслимо ли это! Да он вот-вот придет!

И, действительно, не успела мама договорить, как послышался звонок.

Соня живо подбежала к окну. У крыльца стоял пустой извозчик.

– Да, верно это он, – с волнением проговорила она.

В эту минуту скорыми шагами вошел Лев Николаевич.

При виде его напряженные нервы Сони не выдержали, и она, всхлипывая, как ребенок, залилась слезами.

Лев Николаевич растерялся, смутился; он, конечно, сразу понял, о чем она плакала. Чье отчаяние было больше, его или Сонино – не знаю. Он уговаривал ее, просил прощения, целуя руки.

– Душенька, милая, – говорил он, – успокойся. Я был у Аксакова, где встретил декабриста Завалишина; он так заинтересовал меня, что я и не заметил, как прошло время.

Простившись с ними, я ушла спать и уже из своей комна-

ты слышала, как в передней за ними захлопнулась дверь.

Праздники проходили. Отпуск Кузминского и брата кончился, и они уехали 5-го января.

Тоскливо заняло у меня сердце. Дом опустел. Я не принималась ни за какое дело и, как тень, бродила по дому.

Через десять дней уехали и Толстые. Они ехали в больших санях, на почтовых лошадях. Тогда еще не было железной дороги. И опять, как и после их свадьбы, мы все вышли провожать их на крыльцо.

«Зачем существует разлука? Зачем людям надо такое горе?» – с озлоблением и болью в сердце думала я.

– Теперь до весны не увижу вас, – сказала я со слезами на глазах.

Ямщик, подобрав вожжи, тронул лошадей.

– Ты прилетишь к нам с ласточками! – закричал мне Лев Николаевич.

Часть II

1863–1864

I. Дома

Наступила весна 1863 года, со всеми ее прелестями: животворная, теплая, все воскрешающая. Так и повеяло радостью, надеждой на что-то неведомое и жаждой жизни.

Мне памятли та весна и то лето. Надежды на что-то неведомое не обманули меня. Эти весна и лето принесли мне и счастье и горе...

В доме ничего не изменилось. Все шло своим чередом.

Отец и мать, постоянно занятые и озабоченные, производили на меня впечатление какой-то необходимой, вечно движущейся силы, без которой все бы пропало.

Лиза, по-видимому, забыла тяжелое прошлое. Пребывание Толстых в Москве повлияло на нее благотворно. Она стала спокойнее, веселее: недоброжелательное чувство к ним как будто заснуло в ней. Эта зима сблизила меня с ней. Она читала мне вслух, выезжала со мной, и когда в феврале нас, всех детей, поразила корь, она ходила за мной, как сиделка.

После отъезда Толстых из Москвы мы получили от них

молодые, счастливые письма, тогда как в Москве Соня жаловалась мне, что московская жизнь как будто разъединяла их. Интересы раскололись, и она мало видела Льва Николаевича.

Я утешала ее, говоря, что это очень понятно, так как в Москве он принадлежал не ей одной, а и своим друзьям и знакомым, а у него их много.

– Да, я знаю, – говорила Соня, – тут ничего дурного нет, но, знаешь, мы так тесно живем в Ясной, что привыкаешь к постоянному общению, а тут это невольно кажется охлаждением.

Приведу несколько строк из ее письма ко мне от 13 февраля 1863 г.

«...Сегодня только уехали от нас Ольга и Софья Александровна.

Ольга мечтает, как ты приедешь, она, Саша Кузминский и как вы будете верхом ездить, и как нам весело будет. Мы все это соображали вчера, когда катались с ней вдвоем тройкой в страшный ветер и мороз. Мой же писал дома статью в журнал.

Мы очень хорошо живем. Он все уверяет, что никогда в Москве он не мог меня так в четверть любить, как здесь. Отчего это, Татьяна? И вправду, как любит, ужас...»

В конце письма она пишет:

«Мы совсем делаемся помещиками: скотину закупаем, птиц, поросят, телят. Приедешь, все покажу. Пчел покупаем

у Исленьевых. Меду – ешь не хочю. Я ужасно и Левочка мечтаем, как ты приедешь».

В другом письме (от 25 февраля) сестра пишет:

«Лева начал новый роман. Я так рада. Неужели „Казачки“ еще не вышли? От успеха их зависит, будет ли он продолжать вторую часть».

А в письме от 11 ноября 1862 г. сестра, между прочим, сообщает: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить: Левочка может быть нас опишет, когда ему будет 50 лет. Цыц, девы!»

Отец, читая это, смеясь сказал мне:

– Ну, Таня, берегись, тебе достанется от Льва Николаевича. Он таких вертушек, как ты – не любит!

– Я не вертушка, – обиженно сказала я, – я – живая.

Отец, видя, что я огорчилась, подозвал меня к себе.

– Я пошутил, а ты и поверила, – ласково сказал он. – Поди, поцелуй меня.

Ободренная его лаской, я вдруг решила поговорить с ним о своем давнишнем желании.

– Папа, – начала я, – ты говорил, что после праздников собираешься в Петербург. Возьми меня с собой. Я никогда не ездила по железной дороге, никогда не видала Петербурга. Ну, пожалуйста, возьми. Мама, наверное, отпустит меня, – молила я, целуя его.

Папа задумался.

– Увидим, – сказал он. – Я поговорю с мамой.

II. Письма отца

Помню, что отец очень интересовался статьей «Воспитание и образование». Прочитав статью, он был и опечален и оскорблен ею. Несмотря на свою обширную деятельность, он уделял время на чтение, ценил науку и верил в нее.

Помню, как он с профессором Анке осуждал воззрения Льва Николаевича и его оскорбительные слова: «чтение лекций есть только забавный обряд, не имеющий никакого смысла, и в особенности забавный по важности, с которою он совершается».

В другом месте своей статьи Лев Николаевич пишет, что ему возражали на его нападения на профессоров и университеты, говоря: «вы забываете образовательное влияние университетов». На что Лев Николаевич отвечал: влияние, «которое называется образовательным и которое я называю возвращающим влиянием университетов».

Затем он пишет: «так называемые люди *университетского образования*, развитые, то есть раздраженные, больные либералы». «Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу».

Прочитав эту статью и обсуждая ее со своим старым товарищем по университету Николаем Богдановичем Анке, отец не мог найти правды в этих суждениях. Чувства его, помимо его воли, восставали против определения Льва Николае-

вича. Университет дал так много отцу – научное образование, товарищество, светлые воспоминания молодости. Иные профессора были и друзьями и учителями. И вдруг человек, столь любимый и уважаемый им, как Лев Николаевич, написал эту статью и как бы осквернил все его идеалы.

Но не он один был возмущен этой статьей. Мне памятно, как весь ученый мир восстал против Льва Николаевича.

Отец писал Льву Николаевичу 1 декабря 1862 г.:

«Читал я с большим вниманием оригинальную статью твою „Воспитание и образование“... Прочитавши ее, я пришел в страшное раздумье, мне грустно подумать об том, что это истина. Я привык смотреть на университет, как на светило и рассадник просвещения, а ты разочаровал меня. Нет, я не хочу верить тебе. Изустное слово имеет все-таки свою великую силу и служит поощрением к занятиям, подавно, если оно красноречиво и последовательно передается».

Отец долго после чтения этой статьи ходил как бы расстроенный. Он только и говорил о ней.

Мне было досадно на Льва Николаевича. «Зачем он пишет такой вздор», – думала я. «Всех восстанавливает против себя, и папа расстроил, и все чудит, оригинальничает... Намедни над оперой смеялся – кривлянием называл». И я сама собиралась написать письмо Льву Николаевичу насчет отца – так мне было жаль его.

Затем отец дает советы сестре насчет ее здоровья и пишет ответ Льву Николаевичу насчет его сна. Письмо Льва Нико-

лаевича не сохранилось.

«То, что ты слышал наяву или видел во сне, Лев Николаевич, величайшая истина: „аллопатия более вредна, чем полезна, потому что средства ее нарушают физиологические инстинкты“. Но об средствах, употребляемых разумными аллопатами, сказать этого нельзя.

Есть весьма много так называемых лекарств, которые мы находим в числе составных частей нашего организма и которые мы употребляем для водворения утраченного в нем равновесия. Эти средства делают тогда только вред, когда врач дает их без расчета, эмпирически, нерационально. Из этого можно заключить, что и самая пища может быть точно также вредна, как и аллопатические средства, если пища эта нарушает физиологические инстинкты. Как ты горячо обо всем думаешь и заботишься, мой невыразимый человек; не верю я тебе, чтобы в глазах жены твоей ты был безалаберный Л. Н. Не то она чувствует и пишет нам о тебе. Мне кажется, что ты сильно напрягаешь свою нервную систему твоей работой. Я понимаю, что это неизбежно, но мне жаль тебя, и я боюсь, чтобы это не повредило твоему здоровью».

Отец всегда интересовался всей жизнью Толстых, где мог, помогал Льву Николаевичу в его хозяйственных и литературных делах. Лев Николаевич писал ему, что школа его понемногу распадается, а Соня писала, как учителя, заразившись равнодушием (может быть, и временным) Льва Николаевича к педагогике и школе, разъезжались и как сам Лев

Николаевич, увлекаясь хозяйством, не успевал один справиться с делами. На это отец отвечает:

«Покровское, 22 мая [1863 г.] вечер.

Любезный друг.

Давно уже, более 15 лет, знаю я одного отличного человека, который управлял имением у Шалашниковой, а теперь управляет делами и заводом у Вельяшова (зять Рюминых). Все, что перо мое может выразить хорошего об этом человеке, далеко не сравняется еще с его высокими достоинствами».

Дальше идет подробная характеристика рекомендуемого человека. В приписке к этому письму:

«23-го мая. Утро. Покровское.

Сейчас принес мне хлебник³⁰ из Москвы письмо твое от 19 мая, в котором ты пишешь мне, что твои длинноволосые студенты оставили тебя. Я сам, правду сказать, никогда не надеялся на них. Но вряд ли можешь ты справиться один с твоим хозяйством. Предложение мое насчет моего Федора Антоновича кажется кстати, – подумай хорошенько и реши».

В следующем письме от 2 июня [1863 г.] отец снова пишет Льву Николаевичу:

«Жаль мне, что ты не решаешься взять управляющего, которого я тебе рекомендую. Я бы этого желал единственно по-

³⁰ Хлебник ходил каждое утро в Покровское и носил хлеб дачникам и письма отцу.

тому только, чтобы ты имел помощника для твоих многосложных трудов и вместе с этим ты имел бы при себе верного человека. Может быть, и передумаешь, напиши, я буду тогда стараться его тебе добыть. Я не думаю, чтобы жалованье его превышало 300 или 400 р. Я очень хорошо понимаю, что при теперешнем порядке хозяйства требования владельца должны быть совсем другие, как прежде, и хлопот для управляющего также гораздо больше. Из этого следует, что не требования твои незаконны, но вас, помещиков, поставили относительно крестьян не в законное положение. Крестьяне могут вас обманывать и надувать, сколько им угодно, а вы ничего не можете с ними сделать. Равно и всякому управляющему очень трудно с ними сладить.

Авось со временем будет лучше, а теперь пока все нехорошо, и все жалуются...»

В письме от 13 октября 1863 г. отец пишет о книжках «Ясной Поляны»:

«Лучшая продажа твоих маленьких книжек происходит на Никольской под воротами, а не в лавках. Простой народ покупает их очень охотно, а в лавках идут они туго. Саша недавно отвез туда (т. е. под ворота) 60 экземпляров, и там просили адрес твоей конторы. Вот, кажется, все, что имел тебе написать. Прибавлю еще, что люблю тебя от всей души, обнимаю тебя крепко, и, несмотря на все твои пудели, считаю тебя очень достойным охотником, не имеющим только навыка стрелять. Походи два или три раза, сряду и тогда

увидишь перемену. Кланяйся всем. Вероятно, вы в Туле теперь – пишите мне почаще, а лучше всего приезжайте скорее в Москву».

В другом письме (от 27 марта 1863 г.) отец пишет Льву Николаевичу о журнале «Ясная Поляна»: «Деньги, полученные тобою от подписчиков журнала на 1863 год, я все отправил сегодня обратно в одиннадцати пакетах по означенным адресам со вложением денег и записочки, в которой написал, что журнал не будет более издаваться. Итог той суммы, которую я разослал, составляет 76 р. 50 к., а не 73 р. 50 к. Отправка сверх этого стоила 3 р. 60 к. Очень рад, что оно исполнено; ты сам желал, чтобы деньги эти были немедленно отосланы. Очень рад также, что ты покончил с своим журналом; он стоил тебе много труда, столько же забот и был начеист карману». Промахи при стрельбе.

В 1863 году вышла в свет повесть «Кзаки».

Лев Николаевич был в нерешительности, писать ли ему вторую часть. Он охладел к ней и задумывал уже другое, но все же с интересом прислушивался ко всяким отзывам. К сожалению, не помню, какие выходили критики, но знаю, что иные отзывы были восторженные, и повесть эту, казалось, читали все с большим интересом. Повесть «Поликушка», вышедшая почти одновременно, имела менее успеха, хотя иные считали ее выше «Кзаков». Помню, как отец, прочитав «Кзаков», написал в письме (от середины марта 1863 г.) к Соне свое мнение:

«Я прочел всю повесть „Казаки“, не взыщите, если буду излагать свое суждение откровенно. Может быть, оно ошибочно, но оно мое. Я ни с кем другим об ней не говорил и суждений об ней еще не слышал. Все, что в ней описано, относящееся к природе, нравам казачьего быта и прочее – превосходно и интересно в высшей степени. Так хорошо описано, что живо представляешь себе всякое лицо, а уж о природе – и говорить нечего: описание станицы, окрестных ее лесов, реки и садов так живо впечатляется в воображении, как будто все это видел. Но – но эпизода с Марьяной как-то неинтересна и не оставляет никакого впечатления, да и нет в ней никакой последовательности. Автор хотел что-то выразить – да ничего и не выразил. Что-то недоконченное. Видно, мало времени пробыл в станице, не достало времени отдельно изучить какую-нибудь Марьяну, да и Бог знает, стоит ли она того, чтобы изучать ее с нравственной стороны. Я думаю, они все на один лад. Их нервная система совершенно соответственна их мускулам, и также непрístupна к нежным и благородным чувствам, как и их горы. И невыгодное впечатление, которое произвела на меня повесть, относится только к самому концу, а то, читая ее, в начале и середине я был в полном восхищении».

Лев Николаевич оценил откровенность и искренность отца – это я помню, потому что я говорила матери: «Зачем папа пишет и критикует – это не надо!». Мать мне сказала по получении ответа Льва Николаевича: «Видишь, Таня, ты го-

ворила, не надо писать откровенно, а Левочка поблагодарил папа за то, что он высказал ему свое мнение», а согласился ли Лев Николаевич с мнением отца – не знаю. Письмо не сохранилось.

Интересны также суждения о «Казаках», передаваемые Кузминским в письме ко мне от 22 марта 1863 г. из Петербурга.

«На прошлой неделе я прочел „Казаки“. Я не сомневался ни одной минуты в том, что Оленин – это сам Лев Николаевич. Все встречи с Марьянкой, все письма – напомнили мне его.

Нашлись читатели, которые находили, что этот роман неприличен, и что его нельзя давать читать молодым девушкам, так как там встречаются сцены весьма легких нравов. Я спорил об этом и, конечно, доказывал противное. Откровенно говорю, что мне лично роман чрезвычайно понравился, потому что я очень симпатизирую его поэзии. Но все же скажу, что он никогда не будет иметь большого успеха. Например, находятся такие люди, которые говорят, что сюжет романа мало увлекателен для двухсот страниц (и они будут правы). Другие слишком мало развиты, чтобы понять эту высокую поэзию, и, наконец, третьи находят сюжет *trop mauvais genre*³¹, чтобы его читать. Этим меньшинство!»³².

В том же письме (от 27 марта 1863 г.), откуда я привела

³¹ слишком дурного тона (фр.)

³² Оригинал по-французски.

отрывок о журнале «Ясная Поляна», отец пишет о своем намерении в апреле побывать в Ясной:

«Я уже начал готовиться к поездке в Ясную: запасся чемоданом и делаю реестр всему, что придется с собой захватить. С большим удовольствием буду вместе с тобой, милая Соня, рассматривать и вникать во все твое хозяйство; бывало, и чужое меня интересовало, – можешь себе вообразить, как я полюбуюсь на твое. Не знаю, будешь ли ты в состоянии со мною ходить?»

Затем отец пишет о сказке, написанной мне Львом Николаевичем в одном из своих писем. Содержание сказки – рассказ о том, как жена внезапно превратилась в фарфоровую куклу.

Отец пишет об этом:

«Твой Лева написал такую фантастическую штуку Тане, что и немцу в голову не придет. Удивительно, как плодовито у него воображение, и в каких иногда странных формах оно у него разыгрывается. Умел же он об превращении женщины в фарфоровую куклу написать 8 страниц. Он напоминает мне Овида, известного римского писателя, который был, пожалуй, плодовитее твоего мужа, потому что написал целую книгу, которая переведена на немецкий и французский языки: „Les metamorphoses d'Ovide“ („Превращения“ Овидия). Он превратил даже в нарцисс юношу-красавца.

А проказник Могучий³³ не оставляет своей дурной при-

³³ Лошадь, подаренная отцом Льву Николаевичу.

вычки подхватывать; сделай милость – не ездй на нем, а не дурно бы иногда промять его до Тулы в одиночку. Еще забыл тебе сообщить, что оттиски „Поликушки“ я также получил сегодня от Каткова и на днях перешлю их тебе по почте или с транспортом, вместе с оттисками „Казакв“. У меня утацили дети два или три экземпляра...»

III. В Петербурге

Святая неделя прошла для меня тихо. Кузминский ввиду трудных экзаменов не мог приехать в Москву. Я не очень горевала об этом. У меня было утешение – предстоящая поездка в Петербург была разрешена. Хотя от меня и скрывали, что отец берет меня с собой, вероятно, чтобы заранее не волновать меня, но Федора, моя милая Федора, видя мои печальные сомнения, под секретом сказала мне:

– Вы не горюйте, барышня. Мамаша приказали Прасковье переглядеть все ваши нарядные платья и дали выгладить ваш розовый пояс и сказали: «Второго мая в Петербург поедут». Мне это Прасковья сказала.

– Да неужели правда? – воскликнула я, от восторга целуя рябые щеки Федоры.

– Вы никому не сказывайте про то, что я вам сказала, – говорила Федора, – не то мне достанется.

– Нет, как же можно, и виду не покажу, что знаю, – говорила я.

«Я увижу, наконец, Петербург, – думала я, – увижу новых родных, увижу „его“ там, где он живет, откуда пишет мне, думает обо мне, любит меня! А Левочка? Соня? Они не знают, что я еду. Они были бы против этой поездки, ведь Левочка не любит Петербурга».

Хотя я и жила одной мыслью о поездке в Петербург, но все

же мне было интересно знать, как Соня провела праздники. Я просила ее написать об этом.

У нас в семье эти пасхальные две недели считались самыми любимыми из всего года. Мы относились к страстной и святой с чувством религиозной поэзии. Все первые дни пасхи я думала о Соне и получила от нее письмо. Оно было грустно. Соня горевала о своих традиционных праздниках. Она писала мне:

«1863 г. 2 апреля.

Вот вздумала я написать тебе, милая Таня. Скучно мне было встречать праздник. Ты ведь понимаешь, всегда в праздник все больше чувствуешь. Вот я и почувствовала, что не с вами, мне и стало грустно. Не было у нас ни веселого крашения яиц, ни всенощной с утомительными двенадцатью евангелиями, ни плащаницы, ни Трифоновны с громадным куличом на брюхе, ни ожидания заутрени – ничего... И такое на меня напало уныние в страстную субботу вечером, что принялась я благим матом разливать – плакать. Стало мне скучно, что нет праздника. И совестно мне было перед Левочкой, а делать нечего».

Я сочувствовала ей, понимая, чего она была лишена.

Уцелело письмо матери, где она писала о нашем отъезде в Петербург. Срок отъезда приблизился, и меня волновало молчание родителей. Вот что писала мать Соне 3–6 мая 1863 г.

«...Таню я отпустила в Питер с папашей, который

поехал хлопотать, чтобы Сашу произвели в офицеры нынешний год, а то до 18 лет не выпускают, а ему еще 4 месяца до 18.

Тане сказали накануне отъезда, что ее берут. Она начала прыгать, кувыркаться и объявлять пошла всему дому, – чуть что не к коменданту побежала, а при прощании стала реветь и хохотать все вместе.

Мы без них в среду переезжаем на дачу. Пора – так жарко стало.

Бабушка Мария Ивановна у нас. Она тебе кланяется. Она связала тебе два свивальника, а Анечка и Лиза Зенгер 8 пар баשמачков...

Таню и Петю я пришлю к вам в конце мая или в первых числах июня.

Прощай, целую вас обоих. Кланяйся доброй тетеньке и Наталье Петровне.

Л. Берс».

В нашей комнате царит беспорядок. Всюду разложено белье и платья. Лиза с Федорой укладывают вещи, по моей просьбе. Мама сидит на диване и читает мне нотации: «Если ты будешь вести себя, как дома, бегать, скакать, визжать и отвечать по-русски, когда с тобой говорят по-французски, то, конечно, старая тетушка – Екатерина Николаевна Шостак и друг ее, графиня Александра Андреевна Толстая, не похвалят тебя. Да и тетя Julie, жена брата Владимира, осудит тебя. Ты должна быть очень осторожна. Кузминский живет у них – веди себя с ним, как следует».

– Мама, – сказала я обиженно, – зачем вы мне говорите все это? Точно я маленькая и не умею держать себя в обществе.

– Конечно, не умеешь. Намедни, при гостях, какую-то глупость сказала.

– А какую? – спросила я.

– Да вот про меня, что я часто велю сказать, что меня дома нет, а я дома.

– Да ведь это правда. И что же тут обидного?

– А намедни, при первом знакомстве с Дьяковым, на шкаф влезла и вся в пыли вышла к нему.

Я задумалась. Может быть, мама и права, но ведь это так скучно и трудно быть такой, какой она хочет.

Второго мая мы сидим в вагоне.

Я еду по железной дороге в первый раз. Меня все интересует: и скорость езды, и свистки, и остановки с буфетами, и арфистка на станции Бологое, длинная, белесая, с длинным неподвижным лицом и прелестным пуделем, сидящим на задних лапках возле нее. Она безучастно наигрывает на арфе какой-то бесконечный вальс. Папа покупает мне тверские пряники и вообще все, что я люблю.

Оставшись со мной один, что ему было совсем непривычно, он был необыкновенно нежен и заботлив. В Петербурге нас встретил дядя Александр Евстафьевич, брат отца, седой, высокий, как отец, и в военной форме. У него многочисленная патриархальная семья от первой и второй жены и дочь

Вера моих лет. Мы останавливаемся у них. Но не они интересовали меня в Петербурге. Я попала совсем в другой мир, и потому мало коснусь их.

На другой день нашего приезда меня возили по родным. Визиты сошли благополучно – я это чувствовала.

Всех симпатичнее мне был дом дяди Владимира. Он был женат на Юлии Михайловне Кириаковой. Ей было тогда 25 лет. Она поразила меня красотой бархатных черных глаз с длинными ресницами и белизной лица.

Дядя занимал какое-то важное место при министре Валуеве, но какое – до сих пор не знаю. Иславины имели состояние, жили открыто, и их дом считался одним из самых приятных. Много народу перевидала я у них.

Помню, как в первый визит наш к Иславиным, сидя с отцом в гостиной, я с волнением ожидала свидания с Кузминским, но он почему-то не выходил, и мысли, одна другой тревожнее, приходили мне в голову. Но когда я увидела Кузминского, как он быстрым шагом, с веселой улыбкой, вбежал в гостиную и, вопреки всем светским условностям, радостно поздоровался со мной первой, поцеловав меня, я разубедилась в своих глупых предположениях, и мне стало легко и весело.

Tante Julie³⁴, как я называла ее, была очень светская, милая женщина. Она сразу взяла меня под свое покровительство.

³⁴ Тетя Жюли (фр.)

– Андрей Евстафьевич, вы не заботьтесь о Тане, поручите ее мне, я буду развлекать ее и показывать Петербург, – сказала она отцу.

По-видимому, отец был доволен, что сдал меня с рук. У него в Петербурге были разные дела и, главным образом, хлопоты о брате Александре, чтобы его оставили на жительство в Москве после окончания корпуса.

С этого дня для меня начался сплошной праздник. Меня возили всюду – на вечер или на обед к тетушкам, в театр, на острова и т. д.

Самая страшная для меня была тетушка Екатерина Николаевна Шостак, начальница Николаевского института. Это была высокая, чопорная, с представительной наружностью женщина лет пятидесяти. Она имела единственного сына Anatol'я, окончившего лицей.

Анатолий Львович был своим человеком в доме Иславиных, и я часто встречала его там.

С первого же знакомства Anatole просил позволения Юлии Михайловны называть меня Таней.

– Конечно можно, – сказала она, – ведь вы же близкая родня: твоя мать двоюродная сестра ее матери.

– А вы позволяете? – спросил он меня с улыбкой, пристально глядя мне в глаза.

Мои мысли путались. «Папа... – он строг... Саша... Они оба будут недовольны».

– Не знаю, – помолчав, вдруг сказала я.

Все засмеялись моему ответу. Я почувствовала, что сказала глупость, и сконфузилась.

Тетя Julie вывела меня из затруднения.

– Оставь ее, она подумает, а теперь поедemте на острова. Я велела уже закладывать.

Мы ехали в двух колясках, так как у Иславиных гостили родственники.

Был прелестный майский вечер. Меня занимала новизна Петербурга: эти стройные величественные здания, чем изобиловал Петербург в сравнении с Москвой; красота Невы с ее островами, и вообще весь блеск и роскошь Петербурга, начиная с экипажей, лошадей, чистоты города и кончая жителями с их модными нарядами, столь несхожими с московскими.

Мы остановились у Стрелки – так называлось место, откуда было принято смотреть на заход солнца о море. Вся программа поездки была исполнена. Я спросила позволения пройтись, и меня пустили с двумя cousins³⁵. Мы шли, весело болтая. Anatole раскланивался направо и налево; казалось, он знал весь Петербург. По дороге он получил несколько приглашений и, между прочим, на нынешний вечер.

– Мы поедem отсюда прямо к матери, – сказал он мне, – она просила Julie привезти и вас. Если вы поедете, то и я с вами, а нет, я поеду к знакомым, куда меня звали.

Мне почему-то было приятно, что он отказывается от

³⁵ двоюродными братьями (фр.)

приглашения ради меня.

– Да, тетя Юлия Михайловна говорила мне, что мы едем к вашей матери. А вы живете в институте? – спросила я.

– Нет, меня в институт девиц жить не пускают, – ответил он. – Это было бы опасно!

– Для кого? Для вас? – спросила я, чтобы посмотреть, что он мне ответит.

– Обо мне заботиться бы не стали. Для меня институтки не опасны, – сказал он.

Ответ его мне не понравился. «Какой он самоуверенный», – подумала я.

– Зачем вы так говорите об институтках и так самоуверенно о себе? Это не хорошо.

Он добродушно засмеялся.

– *Mais vous etes charmante avec votre franchise severe!*³⁶ – возразил он.

Через полчаса мы подъезжали к институту на набережной реки Мойки. В огромной гостиной собралось уже большое общество. Водоворот светской гостиной был во всем разгаре. Из гостей, сколько я могла заметить, все больше были пожилые. Я никого не знала, и меня всем представляли. Из молодых были лишь мы трое и Ольга Исленьева, гостившая у Екатерины Николаевны.

Я пристроилась к ней.

После представлений и поклонов к нам подошел генерал

³⁶ Но вы прелестны с вашей строгой откровенностью! (фр.)

Арсеньев и представился, как родственник по родству с Екатериной Николаевной. Он говорил со мной по-французски, и я все время боялась сделать ошибку во французском языке. Но помня нотации мама, я старалась говорить, как взрослая.

Я увидела отца. Он сидел с графиней Александрой Андреевной Толстой в углу гостиной, и они горячо о чем-то говорили. Александра Андреевна была родственница Льву Николаевичу и большой его друг. Когда я увидела отца, мне захотелось к нему подойти. Мы не виделись с утра. Я видела, как Александра Андреевна указала отцу на меня, и он сделал мне знак рукой подойти. Я обрадовалась и, забыв приличие, быстро перебежала гостиную и, обняв, поцеловала отца. В гостиной послышался тихий и как бы снисходительный смех, похожий на тот, каким обыкновенно смеются при родителях ребенка от какой-нибудь его милой глупости. Я догадалась, что этот смех относился ко мне. «Что мне делать?» – думала я. «Но папа ведь не сердится, а поцеловал меня... стало быть и ничего», – утешала я себя. Ольга увела нас в другие комнаты.

Там, после чопорной гостиной, мне хотелось смеяться, прыгнуть куда-нибудь, убежать, крикнуть и сбросить с себя этот гнет несвойственной мне фальши. Но это настроение продолжалось недолго. Отец позвал меня в гостиную, где меня просили петь. Я отказывалась, что сердило отца, и мне пришлось исполнить его приказание. Как сейчас помню мою душевную муку. Я спела три романса: первый – цыганский

модный – «Погадай-ка мне, старушка». Мой голос дрожал от страха. Я пела сквозь слезы, и мне казалось, что несчастнее меня нет никого на свете. Никакие аплодисменты и притворные похвалы не могли утешить меня. В шестнадцать лет все чувствуется сильно и после долго остается в памяти. Потом, после просьбы спеть еще что-нибудь, я спела романс Глинки на слова Пушкина.

Я вас люблю, – хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!

Ольга аккомпанировала мне. Она была прекрасная музыкантша. Мой голос окреп, и обычная смелость вернулась ко мне. Эта грациозная вещь понравилась всем, и я чувствовала, что на этот раз аплодисменты были искренни.

– Не вставай, – закричала тетя Julie, – спой «Крошку» Булахова, слова Фета, что ты стела у нас.

Ольга заиграла ригурнель, и пришлось петь.

– Хочешь, Таня, пойдем в сад, – сказала Ольга, видя мое печальное лицо, когда я кончила петь.

Я не могла еще отделаться от первого впечатления и очень обрадовалась ее предложению. Дверь из гостиной вела на террасу в сад. Я сказала отцу, что иду пройтись, и он отпустил меня.

– Но только не простудись, – сказал он, – надень что-ни-

будь.

Меня сразу оживил весенний, свежий воздух. Мы шли вчетвером. Кузминский с Ольгой пошли вперед. Они сговаривались, как провести завтрашний день. Я отстала и села на скамейку. Анатолий стоял передо мной. Как ни странно, но эта белая, красивая ночь навела на меня какую-то непривычную грусть и безотчетное волнение. Анатолий заметил это и, поняв мое настроение, желая развлечь меня, говорил, что все было прекрасно, что хвалили тембр моего голоса, и что напрасно я недовольна собою.

Хотя я и не верила его словам, но все же мне было приятно, что он понял меня, и мне стало обидно, что Кузминский не выказал никакого участия. Анатолий сел возле меня.

– Вам холодно, и руки холодные! – сказал он покровительственным тоном, положив свою большую руку на мою.

В первую минуту мне показалось это очень странным, и я хотела отдернуть свою руку, но боялась обидеть его. Тон его со мной был очень простой, родственный, так что я ничего не сказала, но подумала: «Видно, в Петербурге это можно и принято».

Кузминский с Ольгой ушли в другую аллею, и их не было видно.

– Таня, вы простудитесь в вашем открытом платье, – сказал он. – Ведь отец велел вам надеть что-нибудь, и я захватил вашу накидку.

«Он без моего разрешения называет меня Таня», – так

мелькнуло у меня в голове. «Стало быть, это можно и в Петербурге это принято», – с глупой наивностью думала я.

С этими словами он заботливо укутывал меня, и я чувствовала, как его рука касалась моих плеч. Я хотела уйти, но не могла. Почему, сама не знаю.

Мы дома. Вера и я уже легли спать. Мы спали в одной комнате. Мне не спится, и самые разнообразные мысли приходят мне в голову «Вот кабы мама была со мной, она бы все мне разъяснила, а теперь...»

– Верочка!

– Что? – спрашивает она.

– Ты не спишь?

– Нет. А что?

– Ты была когда-нибудь влюблена?

Верочка засмеялась и привстала. Она никак не ожидала такого вопроса, да еще в такой поздний час.

– Да, немножко, – сказала она, подумав.

– В кого?

– В нашего рисовального учителя. Только ты никому не говори, у нас никто этого не знает. Он такой милый, талантливый!

Верочка была миловидная блондинка, двумя годами старше меня. Ее старшая сестра заменяла ей мать, считая ее вечно ребенком. Держали Верочку строго, отчего у нее выработалась известная скрытность.

– Верочка, – снова допытывалась я. – Как ты думаешь,

можно любить двух за раз.

Верочка засмеялась и приняла это за шутку.

– Что это ты говоришь, Таня? Как же это двух за раз любить?

– Да так, и того и другого.

– Какая ты смешная. Конечно, нет.

Я не отвечала, и мы замолчали. «Она не поймет этого, – подумала я, – она слишком благочестива».

Первые солнечные лучи уже пробивались через завешенные окна, и мы вскоре заснули, не разъяснив моего сложного вопроса.

На другое утро (6 мая) отец писал Толстым письмо. Приведу отрывки из его письма:

«Вероятно, мамаша писала уже тебе, что я поехал в Петербург хлопотать об Саше и взял с собой Таню. Эта [1 слово неразбор.] собирается сама тебе писать. Хлопоты мои насчет Саши увенчались полным успехом. Я остаюсь всеми чрезвычайно доволен, подавно Баранцовым, т. е. товарищем генерал-фельдцейхмейстера. Теперь ожидаю еще кончатальной бумаги от начальника всех учебных заведений – Исакова, и тогда отправляюсь обратно в Москву. Много бы пришлось писать, если б передать вам все мои переговоры...

Теперь порасскажу вам об другом. Вчера утром продолжал я делать свои визиты и был у Степана Александровича Гедеонова (fils)³⁷ и генерал-адъютанта Огарева. Послед-

³⁷ сына (фр.)

ний рассказывал мне, что „Казаков“ читал князь Иван или Дмитрий Александрович Оболенский императрице, которой очень понравилась эта повесть. Она была прочитана dans un cercle de 5 personnes³⁸. А Гедеонов сказал мне, что все кавказцы в полном от нее восхищении, и сам Гедеонов расхвалил ее, как нельзя более.

Обедал я вчера у Маркуса, а вечером поехал к Шостак. Она a la lettre³⁹ впиалась в меня с расспросами о тебе и твоём муже. Я должен был рассказывать ей до малейшей подробности об ваших нравственных и сердечных отношениях, об вашей материальной жизни; одним словом, все интересовало ее до высшей степени, а мне было очень легко и приятно все ей рассказывать. На этот наш разговор вдруг является видная барыня с открытым лицом, умными глазами и весьма приятной наружностью. Это была comtesse Alexandrine Tolstoy⁴⁰. В одну секунду был я ей представлен, и в наш разговор прибавилось много дров. Разговор наш, и так уже очень горячий, обратился в пламенный. Она также чрезвычайно интересовалась вашей жизнью и объявила мне окончательно qu'elle est jalouse des sentiments que j'ai pour Leon⁴¹.

– Похожа ли Соня на Таню? – спросила она меня.

– Да, есть некоторое сходство, – отвечал я.

³⁸ в кругу 5 человек (фр.)

³⁹ буквально (фр.)

⁴⁰ графиня Александра Толстая (фр.)

⁴¹ что она ревнует к чувствам, которые я питаю к Льву (фр.)

Они все воображают себе, что Соня очень хороша. Чтобы разуверить их в этом, я сказал им, что ты сам как-то объявил жене своей, что находишь ее лицом хуже сестер. Все рассмеялись, и графиня Alexandrine оказала:

– Comme je reconnais Leon, comme cela lui res-semble⁴².

Я обещал к ней приехать. Она здесь на короткое время и живет во дворце великой княгини Марии Николаевны. Она очень понравилась мне. Умна, любезна и, кажется, добра, а уж тебя, мой друг, крепко любит. Спрашивала также об брате Сереже.

Я просидел с ними до 12 часов, несмотря на то, что устал от всех моих петербургских поездок. Сегодня обедаю у дяди Володи. Как приеду в Москву, немедленно осведомлюсь об „Казаках“ и пришлю мужу твоему брошюру Гедеонова под заглавием: „L'insurrection polonaise. Reponse a Montalembert“⁴³, которую вручил мне сам автор и которая произвела здесь большой эффект.

Я думаю оставить Петербург 11 или 12 мая.

Прощайте, мои милые, обнимаю вас от всей души; расцелуй ручки и тете Татьяне Александровне. Кланяйся Алексею и Дуняше. Чертенюк Татьяна убежала куда-то, она хотела вам писать.

Будь же ты, дружище, поосторожнее с пчелами, мне ужасно жаль тебя, что они, проклятые, так тебя кусают...»

⁴² Как я узнаю Льва, как это похоже на него (фр.)

⁴³ „Польское восстание. Ответ Монталамберу“ (фр.)

На другой день мы обедали у Иславиных. Первым встретил меня Кузминский.

– Ты знаешь, – сказал он, – что сегодня наш абонемент в опере, и мы после обеда едем в театр?

– Да знаю, Julie мне говорила. А что дают?

– «Севильский цирюльник». Бедные мои экзамены! – прибавил он.

– А когда же ты занимаешься?

– По ночам и очень утомляюсь.

– Я это вижу: ты бледен, и черно под глазами.

– А во всем ты виновата, – сказал он, весело глядя на меня. – Все же как хорошо, что ты в Петербурге. А тебе нравится *le cousin barbu*?⁴⁴ – неожиданно спросил он меня.

Так прозвали Anatoli. Он носил бакенбарды по английской тогдашней моде. Я сама не знала, нравится ли он мне, и что мне ответить.

– И да, и нет, сама не знаю, – подумав, ответила я.

– А он только о тебе и говорит... Его уже дразнят тобой!

Что-то радостное и мучительное шевельнулось в моем сердце. «Зачем он мне говорит это?» – подумала я.

Сборы в театр длились довольно долго. Julie велела парикмахеру причесать меня «*a la grecque*»⁴⁵, как носили тогда на балах, с золотым *bandeau*⁴⁶ с приподнятыми буклями, а на

⁴⁴ кузен с баками (фр.)

⁴⁵ по-гречески (фр.)

⁴⁶ обручем (фр.)

шею надела мне бархатку с медальоном.

Сама она была одета очень парадно с открытой шеей, как и я и Ольга, ехавшая с нами.

Наша ложа – 3-й бенуар. Отец и Anatole в партере. Anatole в первом ряду. Впечатление то же, что на островах: он знает всех – все знают его. С нами в ложе дядя Володя и Кузминский с конфетами.

Я вся поглощена этой чудной музыкой Россини, которая мне так знакома. Минутами я забываю все и всех. В антракте дядя и Александр Михайлович вышли из ложи. Я встала и прошла в глубину ложи. Красивый туалет мой, музыка и милая ласковая Julie привели меня в обычное хорошее настроение. «Он, наверное, придет в нашу ложу, – думала я. – Но какое мне дело? Я не хочу этого!., не хочу... Мне весело, хорошо, свободно». «Нет, ты хочешь, ты ждешь его», – говорил мне внутренний беспощадный голос, перед которым лгать было невозможно.

Капельдинер отворил дверь, и вошел Anatole. Вся фигура его дышала каким-то небрежным изяществом. Все, что он делал – входил в ложу, здоровался, целовал руку Julie – все было так, как должно быть: просто, непринужденно, ласково, особенно со мной, как мне казалось тогда. Одет он был по-бальному, что шло к его большому росту. Поздоровавшись с Julie, он сел против меня.

– Вы отдохнули после вчерашнего вечера? – спросил он меня.

– Я долго не могла заснуть.

– Как вы были трогательны с вашим горем обижен, ного ребенка.

– Я уже не ребенок, мне будет 17 лет.

– Вот как, – сказал он, улыбаясь. – Вы знаете, меня все спрашивают, кто сидит в 3-м бенеуаре.

– Как? Разве Иславины мало известны в Петербурге? Julie мне называла многих, кто сидит с вами в первом ряду, – нарочно сказала я, как бы не понимая его.

– Да, Иславиных многие знают, но вас не знают. Я замолчала.

– Vous etes delicieuse aujourd'hui, cette coiffure vous va a merveille⁴⁷, – продолжал он, играя моим веером и близко нагибаясь ко мне.

Я чувствовала, что краснею, и хотела отодвинуться. «Он пожалуй обидится», – снова мелькнуло у меня в голове, и я осталась на месте. Опять что-то необъяснимое и страшное притягивало меня к нему.

Несколько минут длилось молчание. Он, улыбаясь, пристально глядел на меня, как бы изучая мой туалет, мое выражение лица, мою шею с бархаткой. «Нет, это не должно быть... Ведь никто никогда не был со мной так, как он», – думала я, упрекая себя, обвиняя его, но в чем, я не умела себе ответить, и решительно встала, чтобы уйти. Он так ласково, просто остановил меня.

⁴⁷ Вы прелестны сегодня, эта прическа так чудно идет вам (фр.)

– Таня, куда вы, – сказал он, взявши меня за руку, – тут так хорошо. Не уходите. *Laissez moi vous admirer ne fut ce que quelques moments*⁴⁸.

Я стояла перед ним, не отнимая руки.

– Зачем вы такой? – вдруг почти с отчаянием проговорила я.

Что я хотела выразить этим словом «такой», объяснить себе я не могла, но Anatole понял меня.

– *Vous etes adorable, ravissante, Kousminsky a de la chance*⁴⁹.

Дверь ложи отворилась, и вошел Александр Михайлович. Anatole не выпустил руки моей.

– *Je dois vous dire adieu*⁵⁰, Таня, – сказал он, вставая.

Кузминский прошел вперед и сел возле Ольги. Anatole, непринужденно и весело простившись с нами, обратился к Кузминскому:

– Ой *soupons-nous ce soir*?⁵¹

– *Je vais a la maison*⁵², – сухо ответил Кузминский.

На другой день отец отвез меня к Шостак раньше обыкновенного по просьбе Екатерины Николаевны. Тетушка, позвав несколько институток моих лет, поручила меня им. Мы побежали в сад, где живо перезнакомились. Через два часа

⁴⁸ Дайте мне, хотя бы несколько минут, любоваться вами (фр.)

⁴⁹ Вы прелестны, очаровательны. Кузминскому посчастливилось (фр.)

⁵⁰ Я должен проститься с вами (фр.)

⁵¹ Где мы сегодня ужинаем? (фр.)

⁵² Я еду домой (фр.)

я уже знала, кто кого из учителей обожает. Мы катались с большой деревянной горы, играли в жмурки, танцевали, пели. Что-то детски-радостное наполнило мое сердце, и мне опять хотелось закричать: «Не хочу „этого“, не хочу! Оставьте меня все!»

Перед обедом пришел Александр Михайлович. Я боялась объяснения, но его не было. Он был со мною по-прежнему ровен и спокоен.

– Тебе весело было вчера в театре? – спросил он меня.

– Очень весело, – отвечала я восторженно. – И как я люблю этот вальс Ardittie, который вчера пела Розина на уроке, и как хорошо Левочка тот же вальс аккомпанировал мне, помнишь, перед предложением Соне, – болтала я.

Он, казалось, не слушал мою болтовню; что-то другое не то занимало, не то мучило его. Я это заметила, но не хотела понять, не хотела портить своего веселого настроения.

– А ты знаешь, Саша? – продолжала я, – ведь меня причесывал настоящий парикмахер. Это тетя Julie велела. Ты не заметил? Нет?

– Заметил что-то необычное.

– Ты ведь ничего не замечаешь, – немного обиженно сказала я. – Вот Anatole совсем другое дело. Он все замечает: и что я делаю, и что на мне надето, весела ли я. Все... все...

– Таня, что он говорил тебе вчера? – спросил он с притворной улыбкой. В голосе его слышалась какая-то робость, как будто он стыдился своего вопроса.

– Говорил, что я *delicieuse*⁵³ и что меня заметили в театре и спрашивали про меня.

– А ты и поверила? – с насмешкой спросил он. Я знала его манеру язвительной насмешки, когда ему что-либо не нравилось.

– Конечно, поверила. Разве он станет меня обманывать, и что за странный вопрос ты мне делаешь?

– Ну не сердись, скажи мне: когда я вошел в ложу, он держал тебя за руку, что он говорил тебе? – добивался Кузминский.

Я, конечно, помнила каждое слово Anatoli, но мне не хотелось отвечать ему. Эти слова были именно те, о которых я думала одна дома.

– Да так, ничего особенного, я не помню. Какой ты странный сегодня? Зачем ты все это спрашиваешь?

Он не отвечал мне. Послышался звонок, и через несколько минут вошла Ольга, оживленная, красивая и, как всегда, милая. Она была двумя годами старше меня. Ольга напоминала сильно своего отца, Александра Михайловича Исленьева, моего деда.

– От папа письмо, – сказала она, – он собирается в Петербург погостить у дяди Владимира, а прежде съездить в Ясную.

– Дедушка придет? Как я рада! – закричала я. – Он и в Москве у нас побывает, и я увижу его!

⁵³ прелестна (фр.)

– Саша, что ты какой пасмурный сидишь? – обратилась к нему Ольга.

– Я? нисколько, но я устаю от занятий.

– Давай, Оля, развеселим его, – смеясь, сказала я. С этими словами я быстро подбежала к креслу, на котором он сидел, и, чтобы он не видел меня, тихонько став сзади его, живо обвила руками его шею и поцеловала его в голову.

Он, видимо, никак не ожидал этого, вскочил с кресла, молча улыбаясь, взял мою руку и поднес ее к губам.

Странно сложились наши отношения с Кузминским. Много лет спустя, вспоминая, я поняла их. Они не были достаточно молодыми для моего живого, непосредственного и даже легкомысленного характера. Он никогда не хвалил меня, редко говорил о наружности, тогда как я всегда была слишком занята собой и много заботилась о своей внешности. Он часто относился ко мне, как к взрослой, серьезно и иногда даже взыскательно. Последнее сердило меня, и однажды я писала ему: «Даже отец, когда я отказывала показать ему твои письма, не был резок со мной».

На это он отвечал мне: «Разве тебя каждый раз спрашивает папа про мои письма? Разве нельзя избежать этих вопросов? Я не знаю отчего, но мне кажется, что я имею на тебя какие-то права. Отчего? Сам не знаю».

Но что мирило меня с ним, это то, что я всегда сознавала не то привязанность, не то любовь его ко мне. В редких случаях он высказывался мне с такой энергией, с таким ис-

кренным чувством, что передо мной выросстал другой человек. И я все прощала ему. Так было и во всю мою жизнь. Он дорожил моей откровенностью, дорожил моим доверием к нему, боясь потерять этот единственный нравственный мост, соединяющий нас двух, столь противоположных людей.

Он был одинок, хотя и имел двух сестер, которые воспитывались в институте. Мать его имела много детей от второго брака. Вотчим его, Шидловский, отдал его в училище Правоведения, тогда как семья жила временно в Воронеже, пока Шидловский был предводителем, потом в деревне и в Москве. Так что Александр Михайлович был на попечении дяди Иславина. Он был лишен семейной жизни, воспитывающей доверчивость и откровенность. Он сильно был привязан к нашему дому и очень любил мою мать.

Иные письма его ко мне в юные годы носили уже серьезный характер, а иногда даже мне непонятный.

Помню одно письмо о платонизме. Смысл его я плохо поняла и долго думала, спросить мне Лизу или нет – она ведь все знает. Но я не решалась идти к ней: вдруг он пишет что-нибудь только мне одной! Но все же любопытство взяло верх, и я пошла к сестре.

– Лиза, прочти письмо Саши и растолкуй мне, что он хочет сказать мне. Я не понимаю, – с досадой сказала я, – только дай слово, что ты никому не будешь рассказывать про это.

Лиза дала слово, но, кажется, смеясь, рассказала матери, потому что я заметила, что мама как-то с улыбкой глядела на

меня. Мне тогда еще не было 16 лет, а Кузминскому 19 лет.

Разговор с Лизой у меня сохранился в письме к мужу. Я писала ему, уже бывши замужем, напоминая ему свою глупую невинность и его несвоевременную мораль.

– Что же ты не поняла в письме Саши? – спросила меня Лиза, со вниманием прочитав письмо.

– Я не понимаю, в чем он обвиняет меня и себя тоже. Вот он пишет: *qu'il est insense*⁵⁴ в поведении со мной.

– Что-нибудь же было у вас в последний приезд? – спросила Лиза.

– Да так, – конфузясь говорила я, – мы мирились, вот и все.

Мне не хотелось говорить ей правду.

– Таня, как я растолкую тебе, когда я ничего не знаю? Ведь он же себя обвиняет по отношению к тебе, – сказала Лиза.

– Ну, а что он пишет о «платонической любви», что это значит? – спросила я.

Лиза терпеливо растолковала мне учение Платона.

– Это любовь, построенная на идеалах. Любишь сердцем и душой, и ничего материального не должно примешиваться.

– Да, понимаю. Так целоваться уже никак нельзя и даже грешно?

Лиза весело засмеялась.

– Нельзя никак, – сказала она.

Лиза была старше меня почти на четыре года и очень мно-

⁵⁴ что он безумец (фр.)

го уже читала.

– А, ну теперь я понимаю. На Рождестве, когда он был у нас, я его очень огорчила неверностью, ну просто шутя: танцевала с Мишей Бибиковым, а обещала ему. И потом мы мирились, я плакала, а он меня утешал и мы целовались... Помнишь, еще Левочка все спрашивал у меня с хитрым лицом:

– Что же, примирение состоялось?

– Но я одного не понимаю, – сказала я, – он смеется над учением Платона и немцами и тут же пишет, что материальное служит печатью хорошим отношениям. Если оно служит хорошим отношениям, то оно и хорошо.

– Не знаю, – сказала Лиза, – об этом не думала.

– А мне платоническая любовь нравится, в ней больше поэзии, – сказала я.

IV. Последние дни в Петербурге

Дом дяди Александра Евстафьевича показался мне скучным. Я проводила время у Иславиных и в институте. Склад жизни кузин не развлекал меня, но он был серьезный, настоящий, какой и должен быть. С утра старшие дочери, девушки лет 20–22, занимались с меньшими детьми и хозяйством. Они были воспитаны на иностранный лад. Их мать была англичанка. Портрет ее с длинными локонами, с тонким нежным лицом, писанный акварелью, висел в их комнате. Исполнение обязанностей было девизом дома. Третья дочь Талья (Наталья) была самая красивая и своим английским типом напоминала мать. Старшие сестры были некрасивы.

Лев Николаевич в романе «Война и мир» взял тип сватовства жениха Тали – Мебеса. Мебес, увидя Талю в первый раз в ложе театра, прельстясь ею, сказал себе: «Das soil mein Weib werden!»⁵⁵, и, действительно, менее чем через год он женился на ней.

Отец, видя, что я мало сижу дома (у дяди Берс) упрекнул меня в этом, и я решила провести весь день у них.

Вечером мы поехали в французский театр. Не помню, что давали, но мне очень понравились и пьеса и актеры.

Кузминский поехал с нами, чему я была очень рада.

После театра, приехавши домой, мы застали дядю и По-

⁵⁵ Эта должна быть моей женой! (нем.)

ливанова. Все эти дни Поливанова не было в Петербурге. Мы встретились с ним друзьями. Я нашла в нем перемену к лучшему. Он был спокоен и даже весел, но все же с интересом расспрашивал о жизни Сони. Мы сидели с ним в стороне, на маленьком диванчике, и разговаривали вполголоса. Он говорил мне, что познакомился с семейством, где хочет жениться на молодой девушке, но что это тайна, и еще далеко не решено. Я радовалась за него.

Он расспрашивал меня об Анатоле, и правда ли, что я была к нему равнодушна. Я искренно не знала, что отвечать ему, именно в этот вечер. Я уклонилась от ответа, в чем и созналась своему другу детства.

Нас позвали в столовую, где стоял большой накрытый стол с холодным ужином и самоваром. Вся многочисленная семья дяди, состоявшая из пяти дочерей и двух сыновей, сидела уже за столом. Старший сын Александр, любимец всей семьи, был очень красив. Он был четырьмя годами старше меня и служил в Преображенском полку. Его брат был тринадцатилетний гимназистик. Cousin Саша (как я звала его), Вера, Кузминский, Поливанов и я сели на конце стола вместе. Отец, не видя меня весь день, подозвал меня к себе и ласково спрашивал, как я провела день.

– И как это вас в Петербург отпустили? – удивлялся Поливанов. – Мама ваша, верно, скучает по вас.

– Я напишу ей письмо, чтобы утешить ее, – сказал Кузминский.

– Да, да сегодня же вечером напиши ей, – сказала я.

Мы весело болтали, припоминая с Поливановым кремлевскую жизнь. То и дело слышалось: «А помните?»

– А Софья Андреевна как хорошо играла на нашем домашнем спектакле, и Мария Аполлоновна Волкова уронила лорнет и не поднимала его, чтобы не оторвать глаз, – говорил Поливанов. – А я, вывернув мундир с красной подкладкой, плясал с Оболенским, помните?

Верочка слушала нас с интересом. Ей как будто завидно было нашей веселой жизни.

На меня вдруг пахнуло Кремлем, этим чистым, здоровым воздухом. Прежняя нежность юной любви, как луч солнца, блеснула в моей душе. Петербургский угар в этот вечер был рассеян. Но, к сожалению, только в этот вечер. Я взглянула на Кузминского и в нем тоже видела перемену. Он был весел, прост и оживлен.

Приведу его письмо, написанное моей матери в тот же вечер. Письмо наполнено преувеличенными похвалами, чтобы доставить удовольствие моей матери.

«Петербург, мая 6-го дня 1863 г.

Ваша дочь Татьяна такой фурор здесь производит, милая тетушка Любовь Александровна, что я не могу воздержаться от удовольствия вам кой-что рассказать об ней. Куда ни покажется, везде вскружит голову.

Пишу я вам все это под впечатлением вчерашнего вечера, проведенного у т-те Шостака. Были там

Иславины, Андрей Евстафьевич, графиня Толстая и еще кое-кто, кого вы не знаете. Татьяна пела и сим самым пением восторгала всех присутствующих и выдерживала строгую критику. Отпускала фразы на разные комплименты и *mechantetes*⁵⁶ насчет галки, вертелась и прыгала по стульям.

Все мы купно и врозь показываем ей Питер. Так, вчера перед вечером у т-те Шостак ездили мы на Петербургские острова (более Невские) в двух колясках. В одной – т-те Кириакова, Юлия Михайловна и Владимир Александрович; в другой – Татьяна, Анатоль и я. Татьяна нас занимала премного.

Обретается она в полном здравии, за которым я более всех слежу. У нее привычка, раскрасневшись, высунуться в форточку или выйти на балкон. Я ее отвожу по мере сил.

У Берсовых она скучает, кажется. Ежедневно Анатоль и я – мы приходим в два часа за ней и уводим гулять или к Иславиным, где проводим все вместе остальную часть дня. Вечером, обыкновенно, я ее в карете доставляю на ночлег к Берсам. Сегодня Андрей Евстафьевич и Танечка обедают у Иславиных. Одним словом, она мила, очаровательна и проч. и проч. Анатоль сильно приволакивается, и кто может ручаться за целость его, израненного жестокостью Ольги Исленьевой, сердца.

Все сие пишется беспристрастным судьбою, который не может не воздать должной доли

⁵⁶ колкости (фр.)

прелестям Вашей дочери.

Не могу скрыть от Вас, что поклонение этим прелестям отзывается более всего на мне: бедные мои экзамены сильно страдают от этого. Да и впрямь, какая тут наука полезет в голову.

Не на одном мне отражается это влияние. Анатоля до того прельстила Татьяна и картины, которые она ему нарисовала об житье в Ясной и в Ивицах, что он просит как-нибудь устроить, чтоб и его пригласили на недельку.

Однако, страница кончается, и с ней должны кончиться мои хвалебные песни, и посему целую Ваши ручки и остаюсь душевно преданный вам племянник Ал. Кузминский».

Прочитав это письмо, я не только не узнала себя, но не узнала и его. Это писал он? Никогда не выразить мне ни восхищения, ни очарования, ни даже просто банальной похвалы и написать такое письмо? Я в недоумении читала его и, конечно, не поверила ему.

V. Наш отъезд

Время шло быстро, и отъезд наш приближался. Ухаживание Анатоля продолжалось. Никто не придавал этому значения, вероятно, ввиду моих юных лет. Даже мать его, поцеловав меня, сказала мне:

– Мой сын увлечен тобою и хочет следовать за тобою в Ясную.

Вспомнив наставление матери, я старательно по-французски ответила:

– Я уверена, что Лев Николаевич и Соня будут очень рады познакомиться с вашим сыном.

Но, несмотря на мой примерный ответ, я узнала, что Екатерина Николаевна говорила про меня:

– Она очень мила, но еще не умеет держать себя. Об этом мне сосплетничала Ольга, и меня это очень огорчило. А кроме того, у меня была неприятность с отцом. Он заметил мое увлечение Анатодем и, испугавшись этого, не знал, как быть со мною без матери. Он сделал мне выговор и прочел нотацию, как молодая девица должна быть скромна и строго держать себя. Я успокаивала его, что ничего дурного не делала и что он мне просто нравится.

Отец написал второе письмо из Петербурга Толстым. Он хлопотал в Петербурге, по просьбе Льва Николаевича, о бывшем учителе яснополянской школы – Томашевском. Тома-

шевский обвинялся в пропаганде либеральных идей.

Вот письмо отца от 9 мая 1863 г.

«Не помню, писал ли я тебе, мой добрый друг, в последнем моем письме, что я подал Валуеву докладную записку, в которой я просил его, чтобы тульское начальство оставило в покое Анатолия Константиновича на месте теперешнего его жительства, изложив предварительно те причины, по которым присудили его или поступить опять в университет, или отправиться на родину. Валуев принял от меня эту записку самым приятнейшим образом, с рукопожатием и прочими любезностями, о подробностях которых расскажу при свидании, если не забуду. Результатом всего этого было то, что он вторично взял меня за руку и просил меня прийти к нему сегодня утром за ответом.

Ответ его оказался совершенно удовлетворительным. Он снесся с шефом жандармов и завтра пошлет отношение к тульскому губернатору, чтобы Анатолию Константиновичу было разрешено жить у тебя без всяких препятствий.

Вероятно, губернатор ваш не замедлит известить об этом исправника: впрочем, не лишнее будет, если б, при случае, ты заехал к губернатору.

Когда я говорил Валуеву, что был у тебя в Ясной и что я был очевидцем занятий этого молодого человека, который посвятил себя всей душой земледелию, старательно исполняя приказания своего хозяина, он, смеючись, возразил мне:

– Да не правда ли, теперь это стало идеалом молодого че-

ловека!

– Смейтесь, – отвечал я ему, – но поверьте мне, что деревня и занятия делают человека лучше и разумнее.

Вообще, Валуев был очень любезен и рад был сделать тебе удобное.

Вчера вечером был я опять у Катерины Николаевны Шостак и встретился вторично с восхитительной твоей Alexandrine Tolstoy⁵⁷. Мы весь вечер проговорили с ней вдвоем об тебе, отдельно от прочих гостей.

Она расспрашивала меня обо всех подробностях твоей жизни: настроении твоего духа, твоих занятиях и проч. и проч. Я рассказывал ей обо всем, что мог только вспомнить, и не раз воскликнула она:

– Я узнаю Льва! Какое удовольствие мне доставляет видеть, до какой степени вы его любите.

– Но разве это может быть иначе, графиня? – отвечал я ей.

– Представьте, кто-то сказал мне, что вы его не любите.

– Я так уверен в наших хороших отношениях с графом, – отвечал я ей, – что если бы даже кто-нибудь и сказал бы ему то, что сказали вам, он никогда бы этому не поверил.

Она познакомила меня также с ее братом, который служил в Оренбурге. Мы расстались с ней, как хорошие знакомые, и я сохраню об ней самое приятное воспоминание. Она приказала кланяться тебе и Софье. Таня моя совсем замоталась – все у Катерины Николаевны или у Иславиных. Все

⁵⁷ Александра Андреевна Толстая.

они очень полюбили ее и не отпускают от себя. Дела мои об Саше кончил я очень успешно. Ты можешь поздравить его прапорщиком ар тиллерии, и он будет постоянно и безвыездно жить в Москве в течение двух лет. Завтра отправляемся мы обратно в Москву. Письмо это поедет со мной до Москвы. Жена, кажется, переехала уже на дачу. Прощай, мой добрый друг, кланяйся тете и расцелуй Софью Интересно мне знать, чем ты решил намерения твои насчет винного завода?»

Я писала Соне: «Неделя в Петербурге – волшебный сон!». На Сонином письме была приписка Льва Николаевича: «Таня! Зачем ты ездила в Петербург? Тебе там скучно было. Там...»

Мы в Покровском – на нашей даче, куда уже переехала вся семья.

Я так рада видеть мама! Вечером, когда все уже легли спать, у меня с мама была продолжительная беседа. Я все рассказала ей: и про разговоры с Анатолем, и про провождение времени, и про свое увлечение им. Последнее мама не похвалила, сказав:

– Не тебя первую увлекает он, его надо остерегаться и не верить его признаниям. Он насчет этого имеет плохую репутацию.

«Мама это нарочно говорит, – подумала я, – она боится за меня, а он очень хороший».

Дома я застала два письма от Сони. В своем первом пись-

ме она еще не знала о моем отъезде в Петербург.

Соня жаловалась на свое нездоровье... «А что еще будет через месяц?» – писала она мне 6 мая. «У нас хозяйство, хозяйство до бесконечности. И как много сопряжено с этим неприятного и трудного, конечно, для Левы и уж потом для меня, вследствие того, что Левочке трудно...

Лева, если за что возьмется, весь так и уйдет в дело. Оно и хорошо и скучно немного...

Левочка заиграл „С тобой вдвоем“, мне стало еще скучнее и вас напомнило. А соловьи поют изо всех сил. Ночь чудная, теплая. Таня, напиши мне поскорей. У меня теперь одна забота – скорей родить. Беременность стала так в тягость. Я ужасно рада, что ты будешь здесь во время появления на свет маленького Толстого. Мне кажется, если я буду видеть твою фигуру тонкую, слышать твой голос звонкий, мне будет не так больно».

В другом письме (от 23 мая):

«Сейчас получила ваши письма, милая Татьяна. Главное, что меня сокрушает, это то, что бедная мама больна. За что ей? Уж я бы, беременная, болела, а ей пора – она уже отстрадала.

Сейчас же получила письмо от Саши Кузминского, длинное, милое и жалостливое. Лева и я решили, что славный он, а ты, кажется, его на пустозвона Анатоля променяла. А я, хоть и позвала его к нам, а куда как Саша мне милее и симпатичнее. Вот я вас рассужу здесь в Ясной. А ты, девочка,

свою головушку крепче держи, ты дюже молода. Приезжайте скорее, хотела было сказать „милые дети“ – так уж я себе кажусь стара и скучна. Повеселите мою душу, может быть, с вами немного и помолодею.

Лева все хворает. Бог знает что с ним? А так скучно, что он болен, – ужас. Желудок дурен, в ухе шумит, а что с ним, Бог знает. И я все с грехом пополам.

Погода дурна, и у нас не весело. Но все это, верно, скоро обойдется. Ты не забудь мне черкнуть, девочка, когда лошадей вам выслать; да не отдумайте, смотрите, приехать к нам. Я так вас жду... Мне очень хочется тебя видеть скорей, ты мне привезешь нашего духа и будешь все рассказывать о нашем житье-бытье, о поездке в Питер, о мама, о своих cousins. Напрасно Сашу обижаешь, он милый человек. Нашему Саше скажи, что я его изо всех сил, во все горло поздравляю, целую его, и Лева тоже. Слава Богу, двое из Берсов на ногах – сделали карьеру, как говорит мама. Я, многогрешная жительница Ясной Поляны, и мой товарищ детства – грозный артиллерист. Когда же Бог уgomонит и положит к месту твою распутную, ветреную, но милую головушку. А Сашу покинула – жаль. Меня это дюже огорчило. Я ему опять напишу, у нас с ним будет деятельная переписка, как у вас с Анатодем...»

VI. Ясная Поляна

Какая счастливая звезда загорелась надо мной, или какая слепая судьба закинула меня с юных лет и до старости прожить с таким человеком, как Лев Николаевич! Зачем и почему сложилась моя жизнь? Видно, так нужно было.

Много душевных страданий дала мне жизнь в Ясной Поляне, но много и счастья.

Я была свидетельницей всех ступеней переживаний этого великого человека, как и он был руководителем и судьей всех моих молодых безумств, а позднее – другом и советчиком. Ему одному я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет. Для меня он был чистый источник, освежающий душу и исцеляющий раны. Начало июня. Я с братом уже в Ясной так же, как и Анатолий и Кузминский. Я живу с тетенькой Татьяной Александровной в одной комнате. Брат и оба cousins в другом флигеле. Школа уже распадалась, и из учителей остались Томашевский, переделанный в управляющего, Келлер и Эрленвейн. Соня весела, бодра, но мало принимает участия в наших развлечениях по своему нездоровью. Мы до того счастливы видеть друг друга, что разговорами нашим нет конца.

Лев Николаевич, хотя и поглощен хозяйством – пчелами, баранами, поросятами и т. п., но, любя молодежь, уделяет нам часть своего времени и принимает участие в пикниках,

кавалькадах и прогулках. Летом он почти совсем не писал, но мне казалось, многое записывал в свою книжечку, которую он носил постоянно в кармане. Однажды я спросила его: «Что это ты все пишешь в свою книжечку?» Он усмехнулся: «Да вас записываю», – сказал он. «А что в нас интересного?» – добивалась я. «Это уж мое дело. Правда – всегда интересна».

Сергей Николаевич, брат Льва Николаевича, тоже часто приезжал в Ясную Поляну из своего имения Пирогова. Не привыкши видеть такое большое общество молодежи в Ясной, он, со свойственным ему юмором, посмеивался над молодым, беспечным оживлением, царившем в доме, хотя и сам охотно принимал в нем участие. Сергей Николаевич был человек, одаренный тонким умом, большим тактом и внутренним художественным чутьем. Между двумя братьями было семейное сходство, до такой степени сильное, что однажды во время своего пребывания в Москве Сергей Николаевич приехал к нам, и на его звонок отперла дверь няня, а не лакей, знавший графа, которая с волнением доложила матери:

– Любовь Александровна, приехали Лев Николаевич, да только черный!

Опишу сначала, что представляла собой Ясная Поляна в те времена.

Теперешний большой дом был флигель, схожий с другим флигелем. Наверху в нем было 5 комнат с темной каморкой,

а внизу одна комната с каменными сводами, бывшая кладовая, и рядом небольшая комнатка, откуда вела наверх винтовая деревянная лестница.

Настоящий большой дом, стоявший между двумя флигелями и построенный Волконским, был продан на снос помещику Горохову и сгорел в девятисотых годах.

В теперешнем большом доме наверху были: спальня, детская, комната тетеньки, столовая с большим окном и гостиная с небольшим балконом, где обыкновенно после обеда пили кофе.

Внизу комната со сводами меняла, на моей памяти, много назначений. Она была столовой, детской и кабинетом Льва Николаевича. Художник Репин написал ее кабинетом Льва Николаевича.

В саду была теплица для зимних цветов и оранжерея с персиками чудной породы. Садовник был Кузьма. Когда позднее завели цветы, он делал мне букеты такие, какие продают обыкновенно в магазинах, и я их очень любила.

При тетеньке жила, как я уже писала, Наталья Петровна Охотницкая, вдова армейского офицера. Она была не то чтобы глупа, а так себе – дурковата. Она рассказывала, как у ней был ребенок и как они шли куда-то в поход с солдатами. «А я ехала в фургоне, – говорила она, – с ребеночком: я кормила его. А дорогой-то у меня молоко-то и пропало. Я и стала его соской кормить. Нажую, бывало, хлеб и в тряпочку завяжу. Он совсем было привык уж, да на десятый день-то и помер!

Жалко же мне его было!» Лев Николаевич очень любил разговаривать с ней.

Иногда, после серьезных занятий, Лев Николаевич заходил в комнату тетушки. По лицу его я видела, что ему хотелось что-либо выкинуть; прыгнуть куда-нибудь, сказать какую-либо глупость. Но однажды он спросил меня серьезно:

– Таня, а ты еще ничего не рассказывала мне, что с тобой в Петербурге было? Мне же надо знать, как ты там справлялась? – полушутя-, полусерьезно обратился он ко мне.

Я думала, что он выспрашивает меня из участия, и красноречиво рассказала ему все, что могла. Тетеньки в комнате не было, а Наталья Петровна меня не стесняла. Лев Николаевич часто останавливал меня вопросами: «Что же ты чувствовала, что это было нехорошо?» или: «Как же он был с тобой?» и т. п. Я и не подозревала тогда цели его вопросов и была с ним откровенна. Обыкновенно же он обращался с расспросами к Наталье Петровне. А то помню раз, как он сам рассказывал:

– Наталья Петровна, вы знаете, я читал в газете, что прилетели птицы зефироты, большие с длинными клювами, невиданные нигде...

– Ай, ай, ай, батюшки! – качая головой, говорила старушка, – не к добру это!

– А что же это значит? – спросил Лев Николаевич с любопытством.

– Да не то к войне, а то и к голоду. Ведь птиц-то и вообще

во сне видеть нехорошо, к потере, – глубокомысленно говорила Наталья Петровна.

И Лев Николаевич, улыбаясь, слушал ее.

Странно, Лев Николаевич прямо любил «божьих людей»: недоразвитых, полусумасшедших, скитальцев, странниц и даже пьяненьких, как он сам однажды выразился:

– Ужасно люблю пьяненьких. Этакое добродушие и искренность!

Ехавши по большой дороге верхом, он встретил мужика и бабу. Мужик ругался, баба молчала. Но, когда Лев Николаевич поравнялся с ними, баба стала унимать мужика:

– Замолчи, вон граф едет.

– А что мне граф! Я – сам граф!

Мы, слушающие его, конечно, оспаривали это добродушие и эту искренность. Интерес к этим людям и оказываемое им гостеприимство он наследовал еще от матери (в «Войне и мире» княжна Марья – тип его матери). Издавна тетушками и бабушками велся этот обычай странноприимства. В Ясную Поляну приходило много нищих, странниц и скитальцев. Они шли на богомолье в Киев, Новый Иерусалим и Троице-Сергиевскую лавру. Их кормили и подавали милостыню. Со многими беседовал Лев Николаевич.

Однажды пришел нищий, бывший и ранее в Ясной Поляне. Он был полусумасшедший и признавал только свою религию. Лев Николаевич звал меня слушать его.

– Ты вникни в то, что он говорит, у него пресложная ре-

лигия. Он из крестьян, его дома не кормят, «нехрист» говорят. Он и скитается по деревням.

– Ну, Гриша, – говорит Лев Николаевич, – как поживают твои боги?

Гриша щурился от солнца, припоминая что-то, его сумасшедшие глаза останавливались на одной точке. Он был очень бледен и худ.

– Да, да, – начал Гриша, – бог Ивлик родил бога Излика, они тут, они со мной! – стуча себя в грудь, говорил он.

– А зачем они с тобой? – спросит Лев Николаевич.

– Добру учат... добру, – отрывисто говорит он.

– Какому добру? – спросила я.

– Не пей, не бери чужого... не завидуй...

– Куда же ты идешь? – спросил Лев Николаевич.

– Боги гонят: Киев... иди... иди... – И он махал рукой, указывая вдаль.

– А что же, ты слушаешься их и идешь в Киев?

– Иду... иду... благодати возьму... Милостыни подай, – обращаясь к нам, говорил Гриша.

Его кормили, давали денег. Но если давали много, например, до рубля, он не брал, говоря:

– Много, не надо!

– А кто же запрещает тебе брать много? – спросят его.

– Бог Ивлик да бог Излик накажут: много не надо!

Он жил у нас дня два-три и уходил опять скитаться. Через полгода он снова возвращался.

Другой юродивый, приходивший в Ясную Поляну уже позднее, был тоже крестьянин. Он воображал себя чуть ли не вельможей и называл себя «князем Блохиным». Сумасшествие его проявлялось в мании величия. Он проповедовал, что господам жизнь дана «для разгулки времени», как он выражался, что им ничего не надо делать, а только получать чины и жалованье.

А когда Лев Николаевич спрашивал его, смеясь:

– А ты, князь, какой же чин имеешь?

– Я? – закричит он весело. – Я князь Блохин, всех чинов окончил!

Этот юродивый был всегда весел, в нем не было ничего страдальческого, как в Грише.

– Сенокос скоро, ты поди, покоси, – говорил ему нарочно Лев Николаевич.

– Никак невозможно-с князю косить.

Много позднее уже, когда Лев Николаевич стал менять свои воззрения, и были взрослые дети, он, смеясь, говорил нам:

– Здесь все сумасшедшие. Единственный здравомыслящий, себя не обманывающий – это князь Блохин.

А то, я помню, еще разговор в этом духе с Михаилом Васильевичем Булыгиным. Это было позднее, в восьмидесятых годах. Булыгин был сосед по Ясной Поляне, помещик. В молодости – военный, а затем, бросив службу, поселился в деревне. Прочитав статью Льва Николаевича «Так что же нам

делать?», он стал отчасти его последователем.

Лев Николаевич был гораздо старше его; он любил его и ходил к нему в Хатунку и много беседовал с ним.

Был чудный майский день. Лев Николаевич был в Москве. Булыгин, бывший в 1886 г. в Москве, зашел к нему. Они сидели за чаем на балконе, выходящем в сад.

– Что за большое здание виднеется там за забором сада? – спросил Булыгин.

– Говорят, это дом умалишенных, но я одного не понимаю: зачем этот забор? – ответил Лев Николаевич, улыбаясь при последних словах. Булыгин весело засмеялся.

Простота в яснополянском доме поражала меня, пока я не привыкла. Никакой роскоши не было в нем. Мебель довольно простая, вся почти жесткая. За столом простые вилки и ножи.

В столовой и гостиной – олеиновые лампы, купленные отцом, а чаще горели калетовские свечи, как называли тогда полустеариновые, полусальные свечи. В людских – сальные овечки, у тетеньки калетовские. Простота эта распространялась не только на домашнюю обстановку, но и на привычки Льва Николаевича. Например, он спал всегда на темно-красной сафьяновой подушке без наволочки. Я, как сейчас, вижу ее сшитыми бочками, как какое-либо сиденье в экипаже.

Когда Соня вышла замуж, несмотря на то, что эта подушка очень удивила ее, она молчала. И лишь позднее, когда подушка стала уже не первой молодости, она решила сменить

ее на шелковую, пуховую, присланную ей с приданым.

– Левочка, тебе ведь покойнее будет спать на большой, – сказала она с робостью.

В старину существовал обычай, что невеста привозила в приданое всю постель и двенадцать рубашек мужу. И этот обычай соблюдался во всех слоях общества и в народе.

Повар был одет очень неряшливо, как я заметила. Соня пошила ему белые поварские колпаки и фартуки. Людей в доме было немного. Горничная Дуняша и лакей Алексей, маленького роста, плотный, молчаливый, честный и очень привязанный ко Льву Николаевичу.

Когда Лев Николаевич задумал жениться, он спросил Алексея его мнение о невесте. Алексей, весело захихикав по своей манере, ответил: «Какова мать – такова дочь». И больше ничего не сказал.

Потом в доме жила девочка Душка, горничная Сони. Варвара, московская горничная, соскучилась и уехала в Москву. Жил еще повар Николай Михайлович, старик, бывший крепостной Волконского – флейтист из домашнего оркестра. Когда его спрашивали, отчего его довернули в повара, он, как бы обиженно, отвечал: «амбушуру потерял». Я любила беседовать с ним о старине. Иногда он напивался и не приходил. Помощником повара и дворником был полуидиот Алеша Горшок, которого почему-то опозитизировали так, что, читая про него, я не узнала нашего юродивого и уродливого Алешу Горшка. Но, насколько я помню его, он был

тихий, безобидный и безропотно исполняющий все, что ему приказывали. И всегда еще бегал и помогал всем, кому нужно было, какой-то мальчишка: Кирюшка, Васька, Петька — не припомню всех их.

На дворе людей было много: прачка Аксинья Максимовна, дочери ее, скотница Анна Петровна (мать горничной Душки) с дочерьми, староста Василий Ермилин, кондитер из крепостных Максим Иванович, рыжий кучер Индюшкин и другие. Но любимица моя была Агафья Михайловна (я писала о ней выше). Сухая, высокая, она была горничной еще при бабушке Льва Николаевича, графине Пелагее Николаевне Толстой. Она всегда вязала чулок, даже на ходу, мало говорила и очень любила животных, не имея никаких других привязанностей, так как была старой девой. Когда у Льва Николаевича бывали щенята от дорогих охотничьих собак, они воспитывались у Агафьи Михайловны, которая закрывала их своей одеждой. И когда сестра подарила ей теплую кофту, то и ее постигла та же участь.

С ней бывали уморительные случаи. Помню, когда гостил в Ясной Поляне мой брат Степан, уже бывши правоведом, Агафья Михайловна очень полюбила его за его ласковое обращение с ней. Весной, когда она узнала, что у брата Степана начались трудные экзамены, она зажгла восковую свечу перед образом Николая угодника. Это был ее любимый и чтимый святой. В это время я сидела у нее, и мы беседовали. Она очень любила, когда я к ней заходила. Кто-то постучал-

ся в дверь, и вошел доезжачий, малый, ходивший за охотничьими собаками.

– Агафья Михайловна, как нам быть? Беда приключилась!

– А что? – испуганно спросила она.

– Да, вишь, Карай и Побеждай, гончий наши, значит, с утра в лес убегли, и до сих пор их нет. – Ах батюшки! Что ж теперь делать? И граф-то что скажут? – суетилась Агафья Михайловна. – Ты, Ванюшка, вот что, ступай верхом в Заказ – как бы они на скотину не напали, они, наверное, там рыщут. Да рог с собой возьми, потруби им.

– Знаю, знаю, – говорил доезжачий, как бы обижаясь, что его учат.

– Да ты скорей собирайся, не то уж темнеет.

Доезжачий ушел. Агафья Михайловна о чем-то раздумывала. Потом, вижу, она встала, пододвинула стул к образу, влезла на стул, потушила восковую свечу, подождала немного и опять зажгла ее.

– Агафья Михайловна, что это вы делаете, голубушка? – спросила я ее. – Зачем вы потушили и зажгли свечку?

– А это, матушка, она за Степана Андреевича горела, а таперича пускай за собак горит, чтобы нашлись скорее.

VII. Хозяйство

Утро Лев Николаевич проводил в хозяйстве; все, бывало, обойдет или же сидит на пчельнике. Это лето он пристрастился к пчелам. Пчельник находился приблизительно за 2–3 версты от дома, в мелком кустарнике возле Засеки. Там жил старик-пчеловод с длинными седыми волосами и длинной седой бородой, точь-в-точь, как представляют в опере. Весной мы ездили туда на тягу вальдшнепов.

Но не одними пчелами увлекался Лев Николаевич. Его увлечения были самые разнообразные. То он сажал капусту в огромном количестве, то разводил японских свиней и писал отцу, что он не может быть счастлив, если не купят ему японских поросят, какие есть у известного хозяина Шатилова. Отец исполнил его желание. «Что за рожи, что за эксцентричность породы!», – писал Лев Николаевич отцу.

В это же лето он насадил яблочный сад, сажал кофе – цикорий. Посадка еловых лесов очень занимала его.

Сначала я принимала его увлечение как бы за обычное ведение хозяйства и лишь позднее уже поняла, что это было не простое хозяйственное настроение, а творческое увлечение гения, вмещающего в себя не одного человека, а многих разнообразных людей.

Управляющий Томашевский, произведенный в эту должность из учителей, недолго оставался в Ясной Поляне. Оче-

видно, ему надоело его дело, да он мало что и смыслил в нем и не любил его. Томашевский оставил Льва Николаевича.

Этот уход неприятно повлиял на Льва Николаевича.

После ухода Томашевского Льву Николаевичу пришла мысль, что будет гораздо лучше, если он и Соня, с легкой посторонней помощью, будут справляться с делом одни.

Соня сделалась конторщицей. Она рассчитывала поденных девок, в чем и я помогала ей. На своих легких белых платьях она носила на ременном поясе тяжелую связку ключей.

Лев Николаевич заведовал полевым хозяйством, взяв себе на помощь мальчишку Кирюшку, лет 14-ти, из бывших учеников.

Лев Николаевич писал Фету 15 мая 1863 г.:

«Я сделал важное открытие по юхванству, которое спешу вам сообщить. Приказчики и управляющие и старосты есть только помеха в хозяйстве. Попробуйте прогнать всё начальство и спать до 10 часов, и всё пойдет, наверное, *не хуже*. Я сделал этот опыт и остался им вполне доволен».

Но Афанасий Афанасьевич, будучи прекрасным хозяином, не последовал совету Льва Николаевича и лишь посмеялся с соседом Борисовым новому увлечению и оригинальному совету Льва Николаевича.

Конечно, опыт Льва Николаевича иметь помощника на 900 десятин – Кирюшку был пригоден лишь на короткое время. Потому хозяйство в Ясной Поляне всегда шло плохо, и

последствия были плачевные. Так, например, не имея управляющего, нанимавшего людей с большим выбором, Лев Николаевич нанял сам к своим любимым пороссятам какого-то пьяницу, пожалев его, так как он, бывши старшиной, был прогнан за пьянство. Лев Николаевич думал этой должностью облагодетельствовать его, но вышло наоборот. Этот пьяница обиделся за свою должность. Над ним стали смеяться дворовые, и он переморил голодом почти всех поросят, о чем сам же рассказывал впоследствии.

– Идешь, бывало, к свиньям и даешь им корму понемножку, значит, чтобы слабела. Она и слабеет. Придешь в другой раз – еще какая пищит, ну, опять немного корму задашь, а уж если утихнет, – тут ей и крышка. Так, понемногу, погибали заводские свиньи. Лев Николаевич огорчился, думая, что эпидемическая болезнь переморила их. А правду он узнал лишь много позднее.

Потом как-то Лев Николаевич послал продавать окорока в Москву. Но тут опять неудача. Окорока оказались плохо выделаны и мало просолены. А тут подошел пост и оттепель. Окорока испортились, и их с трудом продали за бесценок.

Отец пишет письмо (25 ноября 1863 г.) Льву Николаевичу о товаре, посланном в Москву на продажу, о поросятах и масле:

«Твой посланный, вероятно, рассказал уже тебе об неудачном его появлении на Смоленском рынке и, позднее, на площадке в Охотном ряду... Товар твой был забракован и

давали за него самую ничтожную цену, – в чем я и сам лично убедился, пробывши около часа на площадке. Все знакомые и незнакомые мне покупатели находили, что поросята дурно выделаны, цветом красны и смяты.

Масло же горько, по краям кадок было много зеленой плесени, и внутри оказалось оно также испорченным, так что все покупатели, побывавшие у нас накануне, – отказались от него».

Дальше в письме идет описание, как сбывали товар: масло насилу продали по 6 р. за пуд.

В Ясной лишь яблочный сад и посадки лесов процветали и обессмертили память Льва Николаевича в хозяйстве.

Лев Николаевич затеял постройку винокуренного завода вместе с соседом Александром Николаевичем Бибиковым в имении последнего – Телятинках. Соня была очень против этой затеи, находя ее безнравственной, но Лев Николаевич говорил, что для развода свиней нужна ему барда.

Отец писал Льву Николаевичу:

«И ты будешь уверять меня с своим Бибиковым, что вино полезно? Нет, мой друг, на своей продолжительной практике я видел вред вина и многих вылечивал от запоя».

Отец пишет коротко, не желая распространяться об этом предмете.

А мне эта постройка завода была приятна. Я часто ездила со Львом Николаевичем верхом в Телятинки. Он наблюдал за постройкою, я – просто для развлечения. Я бегала с сыном

Бибикова, мальчиком лет 13–14, по всей усадьбе, собирала рыжики, ягоды и беседовала с милой Анной Степановной, его сожительницей, занимавшейся хозяйством.

А. Н. Бибиков был настоящий тип прежнего некрупного помещика. Гостеприимный, ни умный, ни глупый, простой, практичный, среднего роста, плотный и добродушный. Ему было лет сорок с лишним.

Помню, как мы всей нашей молодой компанией приехали раз в Телятинки и как милая Анна Степановна, вроде экономки и жены его, суетилась угостить всех нас простоквашей, варенцом, пастилой разных сортов и чаем. А Александр Николаевич, добродушно улыбаясь, говорил: «Ужасно люблю молодежь».

Анатоль, не бывши совсем знаком с деревней и ее коренными жителями, говорил мне: «*Mais ce couple est charmant. Et surtout ee butor me plaît beaucoup*»⁵⁸.

На пикниках, в обществе, Анатолий бывал блестящ, остроумен и оживлен. Он находил всегда какой-нибудь подходящий рассказ или, как говорится, *un mot pour rire*⁵⁹.

Но он умел и слушать. Когда, например, говорил Лев Николаевич, он запоминал каждое слово и нередко после обсуждал его.

⁵⁸ Эта пара прелестна. И в особенности мне нравится этот дуралей (фр.)

⁵⁹ что-нибудь смешное (фр.)

VIII. Разговор с сестрой

К нашей молодой компании присоединилась еще Ольга Исленьева. День до обеда (пяти часов) молодежь была предоставлена самой себе. А после обеда затевалась какая-либо общая прогулка, в которой обыкновенно принимали участие и сестра со Львом Николаевичем и часто Сергей Николаевич с сыном Гришей, мальчиком лет 10-ти. Мне на этих пикниках было особенно весело. Я любила верховую езду и это общее приподнятое настроение. Все, что говорилось, казалось кстати, добродушно и придавало оживление, в особенности от присутствия Льва Николаевича, хотя минутами я угадывала, по выражению его лица, что он чем-то бывал недоволен, и я боялась, что это относилось к Анатолю. «Но на днях он говорил, – утешала я себя, – что Анатолий – умный малый и далеко пойдет».

Как-то, на одной из прогулок, когда я была особенно оживлена, Лев Николаевич сказал мне полушутя, полусерьезно:

– Таня, ты что же это опять в большую играешь?

Он, очевидно, не мог отрешиться от мысли, что девочка, катающаяся у него на спине, уже выросла – объяснил он мне впоследствии, когда мы с ним говорили об Анатоле.

Не помню, что я ответила ему, но прекрасно поняла, что он хотел сказать мне этим. Когда он был женихом, как-то

вечером у нас были гости, и я, оставшись в гостиной с Сергеем Николаевичем и Тимирязевым, сочла своим долгом занимать их разговором.

Соня пишет про это в своих воспоминаниях: «Естественно, что та неуловимая симпатия, которая соединила меня с Львом Николаевичем, сблизила и наших – сестру мою с его братом.

Симпатия эта проявилась впервые, когда Лев Николаевич был моим женихом и приехал с Сергеем Николаевичем в Москву. Сестре моей не было еще 16-ти лет. Смелая, быстрая, с прекрасным голосом, кокетка и ребенок в то же время, она прельщала всех и в том числе и Сергея Николаевича. Раз вечером, сидя на маленьком диванчике с Сергеем Николаевичем, она безумствовала так грациозно, обмахиваясь веером, как большая, так была мило оживлена, что Сергей Николаевич удивился, почему Лев Николаевич не женится на такой обворожительной девочке, а на мне.

Через пять минут Таня-сестра, свернувшись на этом диванчике, прихрапывая, спала крепким сном, по-детски открыв рот.

„Посмотрите, какая прелесть!“ – говорил Сергей Николаевич».

Лев Николаевич, подойдя ко мне, когда я проснулась, сказал:

– Таня, ты что же это? В большую играла, а потом вдруг стала маленькой с открытым ртом!

– А что лучше, быть большой или маленькой? – спросила я.

– Маленькой лучше, – подумав, ответил он. Ухаживание Анатоля, как и мое увлечение, стало всем заметно. Я никогда не умела скрывать своего чувства. Да и не старалась. Я шла в сад, потому что знала, что он пойдет за мной. Когда мне подавали оседланную лошадь, я знала, что именно его сильная рука посадит меня на седло. Я слушала его льстивые, любовные речи, я верила им, и мне казалось, что только он один, этот блестящий, умный человек, оценил и понял меня. Кроме того, мне льстило то, что он считал меня за большую.

«А. Шостак был один из тех людей, которых часто встречаешь в свете. Он был самоуверен, прост и чужд застенчивости». Он любил женщин и нравился им. Он умел подойти к ним просто, ласково и смело. Он умел внушить им, что сила любви дает права, что любовь есть высшее наслаждение. «Преград для него не существовало. Не бывши добрым, он был добродушен. В денежных делах честен и даже щедр. В обществе он бывал остроумен и блестящ, прекрасно владел языками и слыл за умного малого».

Соня говорила мне:

– Таня, что с тобою? Твое увлечение Анатодем всем заметно. Левочка наперед говорил: «Ах как жаль ее! Он не стоит ее, он опасен для таких девочек».

– Да, да, вы все против него, вы его не любите, я вижу это, – обиженно говорила я. – Он хороший, он любит меня,

а вы нападаете на него! – кричала я, чуть не плача.

– Почему же никто не нападал на тебя и на Сашу? Скажи, пожалуйста?

– Потому что... потому что... Я не знаю, почему. Потому что мы не сидели в саду... а вы этого не любите, – торопясь говорила я.

– Да, ты постоянно с ним удаляешься, это все заметили. Намедни Левочка спросил: «А где же Таня?» И ни тебя, ни Анатоля не было с нами, и он покачал только головой и проговорил: «Ах-ай, ай, ай!». Ты посмотри, как Саша изменился с тобой. Он совершенно удалился от тебя, – продолжала Соня.

– Да, это правда. Мне это жаль. Я его очень люблю.

– Что же у вас объяснение с ним было? – спросила Соня.

– Нет, он ни слова не говорил мне и ни в чем не упрекал, и я молчу.

– Да, потому, что он благородный. Он молча удалился от тебя. Он скоро уезжает к матери, а потом к себе в имение.

Я заплакала. Этот разговор расстроил меня. Мне стало жаль этого прошлого, жаль любви, полной поэзии, чистой, бессознательной. Я пошла в тетенькину комнату, взяла свой дневник и написала несколько строк:

«Почему он так завладел мной? Когда я с ним, мне и хорошо и страшно. Я боюсь его и не имею сил уйти от него. Он мне ближе всех! Господи, помилуй и спаси меня и спаси их двух!».

Но от чего спасти, и что я хотела бы, я не отдавала себе отчета. Я только чувствовала, что я хоронила свою чистую первую любовь и была одержима чем-то властным, сильным и непонятным мне.

Вошла тетенька Татьяна Александровна и, увидя меня в слезах, с удивлением спросила меня:

– Pourquoi pleurez vous, ma chere enfant?⁶⁰

– Je ne sais pas pourquoi⁶¹. Мне так тяжело, тетенька, – отвечала я.

И действительно, я не умела ответить, о чем я плакала. Она погладила меня по голове и молча поцеловала меня. Эта ласка благотворно подействовала на меня.

⁶⁰ Почему вы плачете, мое милое дитя? (фр.)

⁶¹ Я не знаю почему (фр.)

IX. Пикник

Приближалась развязка моего краткого увлечения. Было это в воскресенье. Погода была хорошая, вечера длинные, светлые, и жаль было проводить их дома. За обедом решено было ехать с чаем куда-нибудь в лес. После совещаний, куда ехать, решили отправиться в Бабурине, деревню за три-четыре версты от Ясной. Соня, боясь тряски экипажа, решила остаться дома, Лев Николаевич тоже. Он просил Сергея Николаевича ехать с нами, боясь отпустить с лошадьми одну молодежь.

Когда линейка и две верховые лошади были поданы к крыльцу, Лев Николаевич вышел посмотреть наши сборы.

– Сережа, – сказал он брату, – вы поедете через Кабацкую гору. Советую вам слезть с линейки и пройти гору пешком, боюсь, лошади не поднимут вас.

Я сидела уже на лошади и стояла в стороне, когда подошел ко мне Лев Николаевич. Он внимательно своим пронизательным взглядом посмотрел на меня и сказал:

– Таня, смотри же, не будь «большой».

– Постараюсь, но это трудно, – усмехнувшись, ответила я.

В линейке ехали Сергей Николаевич с сыном, Ольга, Кузминский и брат Саша. Анатолий и я ехали верхом.

На горе мы обогнали линейку. Лошади шли полной рысью. Мы ехали полем. Над нашими головами, заливаясь, ви-

лись мои любимые жаворонки. Ни одна птица не умеет и не может так петь на лету, как поет жаворонок. За то я и люблю его.

Быстрая езда, открытый вид поля и сама молодость привели меня в хорошее, веселое настроение. Вчерашний разговор с Соней был не то, чтобы забыт, но он нашел себе утешительный уголок в моем сердце, как это часто бывает, когда мы всячески заглушаем то, чего не хотим признать плохим. Так было и со мною. Мне было утешительно думать, что вчерашним разговором с Соней я как бы отдала дань своему прошедшему, молясь и оплакивая его. А сейчас, проезжая мимо линейки, я видела, как весело болтал Кузминский с Ольгой, сидя с ней рядом, и я успокоилась.

Мы снова пропустили линейку вперед и ехали шагом, порядочно отстав от них.

– Как хорошо в деревне после Петербурга и как красиво поле, – сказал Анатоль.

– Как, и вы замечаете природу и любуетесь ею? – спросила я с удивлением, не зная его с этой стороны.

– Постольку замечаю ее, поскольку она дает мне наслаждения. Вот теперь я еду с вами, то есть с тобой (ведь мы условились быть на «ты»), и природа дает мне наслаждение.

– Вы знаете, я никак не могу перейти на «ты», – сказала я. – Мне кажется это каким-то банальным, пошлым. Нет, я не хочу быть на «ты», – прибавила я. – Если хотите, говорите вы мне «ты», вы старше меня.

– Таня, ваше седло ослабло, ремень от подпруги висит, – сказал он, как бы не слушая меня.

– Как же быть теперь? – спросила я.

– Я вижу впереди нас лесок. Мы остановимся там, и я поправлю подпругу.

Мы ехали шагом. Лошади дружно отбивали такт своими копытами по твердой, торной между ржи дороге. Вдали виднелась наша линейка. Анатолий близко подъехал ко мне так, что его рука касалась моего плеча. Лошади шли тесно рядом. Я не отъехала от него, что меня впоследствии мучило.

– Как хорошо ты сидишь на лошади, и как тебе идет амазонка! Ты училась в манеже? – спросил он.

– Нет, мой учитель Лев Николаевич.

– А я так брал уроки в манеже, – сказал он.

Мы въезжали в молодой лес с старыми пнями. Солнце стояло высоко; лесок еще не затих, и в нем шла жизнь.

Я не могла оставаться равнодушной к прелестям этого вечера, но ни слова не говорила Анатолию и не указала на то, что трогало меня. Он не понял бы меня, я это чувствовала.

Мы остановились у большого пня. Он слез с лошади и привязал ее к дереву. Его движения были медлительны и как-то неопределенны. Он о чем-то думал или был чем-то недоволен. Я не понимала.

– Вы подтянете мою подпругу? – спросила я, чтобы что-нибудь сказать.

– Да, непременно и сейчас.

– А мне слезать не надо?

– Нет надо, я сейчас сниму вас.

При этих словах я живо спрыгнула сама. Он повел мою лошадь к дереву и тоже привязал ее. «Зачем он привязывает ее, подпругу и так можно подтянуть», – подумала я. Я вскочила на большой широкий пенё, путаясь в длинной амазонке, и сама хотела сесть на лошадь.

– Ведите мою Белогубку к пню, я сяду. Как мы отстали! Вы поправили седло?

Он не отвечал мне и шел ко мне без лошади.

– Какая тишина, как хорошо здесь, и мы одни, а ты так спешишь к ним! Мы никогда не бываем одни в Ясной. Мне даже часто кажется, что за нами следят, как это неприятно.

Я не знала, что отвечать. Разговор с Соней сказал мне многое. Мы замолчали. Он пристально глядел на меня.

– Как красиво ты стоишь в зелени, – сказал он и, подойдя ближе ко мне, взял мою руку и стал медленно снимать перчатку с крагой, которую я носила три верховой езде. Он поднес мою руку к губам и стал целовать ладонь.

Я молчала и не отнимала руки. «Что я делаю? Это ужасно!» – мелькнуло у меня в голове.

– Таня, ты не хочешь понять, как я люблю тебя, как я давно хочу сказать тебе это и не могу, – говорил он, бережно снимая меня с высокого пня и осыпая меня поцелуями.

– Tout m'attire vers toi, tu es charmante, adorable, le t'aime,

depuis que je t'ai vu a Petersburg...⁶²

Его лезть кружила мне голову. Его волнение передалось и мне. Я чувствовала полное бессилие уйти, убежать, зажать уши, не слушая его признаний, столь новых, непривычных мне.

– Si j'avais seulement des moyens, j'aurais ete heureux de t'epouser, si tu m'aimais, ne fut ce qu'un peu!⁶³ – продолжал он, держа меня в своих объятьях.

Прошло минут десять, пятнадцать, не знаю сколько. Солнце уже заходило за деревья. На небе слева я увидела молодой серп луны. «К слезам!» – подумала я и вспомнила сказанные Львом Николаевичем слова при прощаньи: «Таня, смотри не будь „большой“!». Эти слова сразу отрезвили меня. Я вырвалась из его объятий и подбежала к лошади.

– Поедьте, Боже мой! Что подумают о нас? – говорила я. Мне казалось, что все, все должны узнать, что я слушала его признания. В глазах моих прочтут его преступные поцелуи. А Левочка? От него ничего не скроешь... Мы молча скакали до Бабурина.

– Отчего вы так долго не ехали? Что с вами было? Мы так беспокоились, – закидали нас вопросами.

Мы объяснили, что останавливались переседлать лошадь.

⁶² Все влечет меня к тебе, ты мила, очаровательна. Я люблю тебя с тех пор, как встретил тебя в Петербурге... (фр.)

⁶³ Если бы у меня были средства, я был бы счастлив жениться на тебе, хотя бы ты и немного любила меня (фр.)

Я видела по лицу Сергея Николаевича и Кузминского, что ни тот, ни другой не поверили нам. Сергей Николаевич, как мне показалось, пытливо устремил на меня свои выразительные серовато-голубые глаза и неодобрительно глядел на меня. Кузминский, напротив, избегал моего взгляда, разговаривая с братом.

Около избы был вынесен стол и самовар. Ольга хлопотала с чаем. Немного дальше стояли девки и бабы, глаза на нас.

– Я заставлю их петь и плясать! – сказала я. Мне хотелось, чтобы было оживленно и весело. Хотелось забыться, стряхнуть с себя эту «большую».

– Гриша, пойдем со мной просить их плясать.

Гриша был рад какой-нибудь перемене, и мы побежали к бабам. Через пять минут послышалось пение, а затем началась и пляска. Бабы лет сорока так лихо плясали, что каждый взмах руки говорил сердцу. Сергей Николаевич, любивший пение, называл песни, какие они должны петь. Чай был готов, и колесо оживления было пущено.

Вечером, когда мы приехали домой и сидели за чайным столом, нас расспрашивали, как прошел пикник, и весело ли нам было. Льва Николаевича не было за столом, и мне казалось, что Сергей Николаевич рассказывает ему обо мне. Через несколько минут они пришли к чаю. Меня заставили петь, и вечер прошел незаметно.

Уже поздно. Все разошлись, и я иду к себе.

– Таня, постой, куда ты спешишь? – окликнул меня Лев

Николаевич, идя в кабинет.

– Я не спешу, а что?

– Зачем вы отстали с Анатолем и слезали с лошади? – прямо, как и всегда без всяких подходов, спросил меня Лев Николаевич.

Я молчала. «Все, что я скажу – будет ложь», – думала я.

– У меня подруга ослабла, – сказала я наконец. Он пристально глядел на меня, и мне казалось, что его глаза насквозь пронизывают меня и читают все мои сокровенные мысли без всяких препятствий.

– Почему ты знаешь, что мы отстали? – спросила я.

– Мне сказал Сережа.

– Я так и думала, что он скажет тебе.

– Таня, ты молода и не знаешь людей, береги себя, – не обращая внимания на мое возражение, продолжал он, – тебе в твоей жизни придется еще много бороться против соблазна; не попускай себя. Это попускание кладет неизгладимые следы на душу и сердце.

– А что я сделала дурного? – вдруг спросила я.

– Дурного? – повторил он, и снова его пытливый взгляд устремился на меня. – Ты должна это сама знать.

– Он любит меня так, как никто еще меня не любил, – чуть не плача говорила я. – Вы... вы все ненавидите его за это...

– А почему он не женится на тебе, если он тебя так любит?

– У него нет состояния, – повторила я слова Анатоля.

– Это не причина, чтобы не жениться. Многие женятся

без состояния и прекрасно живут.

– Он мне говорил, что этого никак нельзя.

– Ах, Боже мой, – как бы простонал Лев Николаевич.

Он имел эту привычку, когда что-либо удивляло или огорчало его.

– И говорить тебе это! и вести себя так!

Слово «так» сказало мне, что я не ошиблась – он подзревал правду. «Сказать ему все, все, – думала я. – Нет, не могу». И я молча стояла перед ним.

– Таня, иди спать, прощай, ты устала, – сказал он тихим голосом, как бы успокаивая меня.

Он, конечно, видел мое смущение и понял меня лучше моих слов.

Я записала в своем дневнике:

«Левочка все знает. Он осуждает его, а может быть, и меня. Мне тревожно после его разговора со мной и тревожно после того, что было в лесу! Я хотела ему все сказать, но есть слова, которые не выговоришь!»

– Вы что это пишете? – подходя ко мне с хитрой, но добродушной улыбкой, спросила меня Наталья Петровна.

– Дневник, – сказала я.

– Небось, все про Анатолия сваво.

– Наталья Петровна, какая вы нескромная! – смеясь сказала Татьяна Александровна. – Оставьте ее, душенька, она чем-то расстроена.

Х. Дедушка и отъезд Анатоля

На другой день меня ожидали и радость и неприятность. Из Ивиц приехал дедушка, мой любимый, милый дедушка, дня на два с тем, чтобы снова ехать в Ивицы, а потом уже в Петербург к сыну.

Неприятность же была та, что Кузминский уезжал в Воронежскую губ., к матери, а потом к себе в имение. У меня щемило сердце, мне хотелось плакать. Но не от расставания с ним, а от этого безмолвного прощания и сознания, что между нами и нашей чистой детской любовью стояла какая-то преграда. В последние минуты мы условились переписываться, что облегчило мое тяжелое чувство. Брат уезжал с ним.

Дедушке всюду сопутствовал его лакей Сашка, теперь уже женатый, но все тот же «Сашка» в устах дедушки и с теми же жесткими вихрами на голове.

Лев Николаевич и Соня всегда радушно принимали дедушку, и вечером, чтобы потешить старика, сели играть в преферанс.

Я сидела у карточного стола, чтобы не расставаться с дедушкой и чтобы при всех показать, что я не все время с Анатодем, как меня в том упрекали.

Дедушка временами горячился из-за какого-либо хода, возвышал голос и поддергивал плечом. Несмотря на свой пре-

клонный возраст, он играл бойко и скоро, часто оборачиваясь ко мне, чтобы поцеловать меня, или чтобы положить мне в рот кусочек домашней смоквы. Сергей Николаевич, улыбаясь, глядел на нас.

После чая, по просьбе Сергея Николаевича, дедушка сел за рояль и запел старинную цыганскую песню:

Зеленая роща шуметь перестала,
А я, молоденька, всю ночь не спала.

Но так запел своим старческим, угасшим голосом, с таким умением и цыганским пошибом, что задел всех за живое.

– Еще, дедушка, милый, еще! Я не пушу тебя, не вставай! – кричала я.

Сергей Николаевич просил спеть «Мне моркотно молоденьке». Дедушка спел и научил меня и вторил мне.

– Экая жизненная энергия, эта Исленьевская кровь, и во всех вас, черных Берсах, течет она! – обращаясь к Соне и ко мне, сказал Лев Николаевич.

«Черными» назывались те из нас, у кого были темные глаза и черные волосы.

Помню, как Лев Николаевич расспрашивал дедушку, как он справляется с работами без крепостных. – Да в доме и на дворе почти все осталось по-прежнему – у нас устроились, а вот на деревне с иными мужиками туго приходится, особенно моему управляющему. Ведь эти каналы работать не

хотят, пьянство усилилось, – говорил дедушка.

Помню, что я сочувствовала ему. Лев Николаевич утешал, что это все перейдет. Сергей Николаевич не соглашался с ним и держал сторону дедушки. Хотя Сергей Николаевич не был, что называется, «крепостником», но всегда старался дальше держаться от крестьян, признавая в них непобедимую дичь.

Дедушка попросил меня позвать Сашку, чтобы ложиться спать. Заспанный, лохматый Сашка, спавший в буфете на полу, на войлоке, насилу поднялся. Я с Алексеем с трудом добудились его. Я провела его в комнату дедушки и слышала разговор их.

– Разожги трубку, – сказал дедушка. – Чего стоишь, сонная тетеря! Слышишь, что ль?

– Уморился, ишь вон уже первый час! – отвечал Сашка.

– Поел, что ль? Поужинал? – заботливо спросил дедушка.

– Ничаво, накормили, – нехотя отвечал Сашка, не любивший и не допускавший никаких забот о себе и даже считавший эти заботы унижительными для деда. «Нас-то много, а барин-то один», – говорил он.

Сашка был угрюм, неразговорчив, любил изредка выпить, за что получал от деда потасовки. Обиды за них он не чувствовал, признавая себя виновным. Когда вышла вольная, Сашка остался у деда за маленькое вознаграждение.

Соня и Лев Николаевич решили отправить Анатоля, но я ничего не знала об этом. Соня жаловалась дедушке на него

и на меня. Дедушка осуждал его.

– Этот англичанин (так звал дедушка Анатоля) у нас в Петербурге известен за «победителя», но я не понимаю, как он позволяет себе ухаживать в Ясной!

– А ты, моя девочка, – лаская меня, сказал дедушка, – ты не увлекайся им. Он тебя не стоит.

Отец писал 24 июня Толстым:

«Я думаю, что тебе, и даже вам обоим, наскучила молодежь. Насчет Анатоля я вперед уверен был, что он встанет вам поперек горла, подавно, твоему мужу – они не охотники до этого народа. Анатолий годился бы с своей английской дорожкой⁶⁴ на нашу Покровскую английскую дорожку. Там бы разинули бы на него рты, но в Ясной он диспарат⁶⁵.

Надеюсь, что Саша уже в дороге. Сегодня получил я на его имя бумагу от Фрейганга, в которой его обязывают явиться завтра к присяге».

Дедушка погостил два дня и уехал с Ольгой в Ивицы.

Я была огорчена отзывами об Анатоле и, конечно, не верила им.

Дня через два после отъезда дедушки Лев Николаевич велел заложить лошадей, а Саня сказала Анатолю, что ввиду ее скорой болезни она думает, что ему будет лучше уехать. Анатолий был сконфужен своим вынужденным внезапным отъездом. Он, конечно, догадывался о причинах его.

⁶⁴ пробором позади головы.

⁶⁵ несоответствие (фр.)

Я сидела одна в пустой гостиной. Я знала, что он уезжает.

– Вы что же это тут сидите, горюете? – вдруг услышала я голос Натальи Петровны.

– Анатоль уезжает, – отвечала я.

– Ну, горевать не стоит, другой кто придет, утешит вас, – говорила Наталья Петровну. – А то нехорошо – увидят еще.

Дверь отворилась, и вошел Анатоль. Он сказал мне про свой отъезд. Наталья Петровна вышла из комнаты, оставив нас вдвоем.

Мне вспомнилась вдруг наша прогулка в Бабурине, маленький лесок и молодой серп луны слева... «К слезам», и я горько заплакала.

Не буду описывать наше прощание – он было печально. На Толстых я была озлоблена за их отношение к Анатолю. Анатоль и я, сами того не зная, расстались надолго.

В первый раз мы свиделись после 16–17 лет. Я была замужем и имела детей. А он был женат на сестре мужа – Шидловской. Анатоль служил тогда губернатором в Чернигове.

XI. Рождение первенца

Когда приехала к родам Сони в Ясную мама, сестра ей обо всем рассказала. Мама одобрила отъезд Анатоля и, вероятно, написала об этом отцу, который писал (19 июля 1863 г.) Толстым:

«...Насчет Татьянки делайте, как знаете, но вы вряд ли удержите ее от разных безумств. Я потерял к ней всякую веру. Она проучила меня в Петербурге. На словах она города берет, а на деле все вздор выходит. Голова набита разными глупыми грезами; ей нужны еще гувернантки, но так как большая часть из них такие же дуры, как и сама Анютка, то и не знаю, что с ней делать.

Я тебя прошу серьезно, мой добрый друг Лев Николаевич, принять ее в руки; тебя послушает она скорее всего, почитай ей мораль. Вам все кажется, что это не нужно, а я говорю вам, что это необходимо; вы поверьте мне. Очень нужно было отпускать ее в Тулу. Ты, моя милая мамаша, судишь по себе, и вообразила себе, что она похожа на тебя; в ней и тени нет похожей на тебя, ты всегда была серьезна и обстоятельна во всем, а она верченая девчонка. Ей-богу, я говорю вам серьезно; ей скоро 17 лет, пора оставить ребячество и сделаться пообстоятельнее. Веселость в девице всегда приятна и уместна, но ветренность и верченость не красят девицу, а, напротив, делают ее несчастье.

Я желаю, чтобы вы дали ей прочесть мое письмо; она поймет меня и, может быть, изменится...»

Не больше как через два-три года желание отце исполнилось – я изменилась. Меня исправила не умная гувернантка, а сама жизнь, как будет видно из моих записок.

Но что бы только ни дал отец, чтобы снова вернуть своего чертенка, буйно-веселого Татьянчика, как он называл меня тогда. Эти слова отца я узнала впоследствии от матери.

27 июня, с вечера, заболела Соня и довольно тяжело в 2 часа ночи родила сына.

При ней была акушерка Мария Ивановна Абрамович – полька, женщина лет 45, небольшого роста, с приятным лицом, умелая, обходительная и услужливая. В другой комнате сидел молчаливый доктор Шмигаро с польским акцентом.

Суматоха в доме разбудила меня. Тетенька сказала мне: – *Le bon Dieu a donne un fils a Sophie et a Leon*⁶⁶.

Я наскоро оделась и пошла в столовую. Там нашла я мать, доктора, Наталью Петровну, и вскоре пришли тетенька и Лев Николаевич. Лицо его было бледно, глаза заплаканные – видно было по нем, как он волновался. К Соне мать меня не пускала. Подали шампанское и ходили поздравлять ее, я настаивала, чтобы и меня пустили. Соня лежала с утомленным, но счастливым лицом.

В доме настала тишина. Я много сидела с матерью, читала, гуляла с маленьким братом и няней. Няня как-то раз сказала

⁶⁶ Бог дал сына Соне и Левочке (фр.)

мне:

– Что же это, «саратовская», – она часто называла меня так, когда говорила со мной полушутя, – говорят, вы нашего Александра Михайловича на другого, чужого, петербургского променяли?

– Кто это сказал? – спросила я.

– Да все говорят, и Агафья Михайловна, намедни, когда я у ней чай пила, тоже говорила.

– Няня, я не променяла его, мы с ним переписываемся и с Анатолем тоже, потому что я и его люблю.

– Вы – бедовая, мамаше с вами беда, да и папаша ваш, приехавши из Петербурга, все беспокоился о вас.

– Молчи, няня, расскажи что-нибудь другое, мне надоели упреки.

– Вот Елизавета Андреевна чисто профессорша, такая солидная, и родителям с такой-то покойнее.

Няня Вера Ивановна в Ясной со всеми уже перезнакомилась, все уже знали, что она не простая, а из духовного звания. Наталья Петровна, сидя с ней на скамейке в саду, выпытывала у нее все подробности жизни нашего дома.

– Ну, и что же, много женихов к вам ездят? – спрашивала она.

– А как же, три невесты дома были, – с гордостью отвечала няня, – всякие бывали. Теперь Елизавету Андреевну будем отдавать.

– Что же, и военные ездят? – жуя табак и как-то кося рот

набок, выпрашивала Наталья Петровна.

– Двое их ездят. Один-то... как его бишь... флигель, кажется, да адъютант, гусар, значит, – говорила няня, – а другой-то тоже военный – штабной, сказывали, хочет через два года приехать и нашу Татьяну Андреевну взять, так и родителям сказывал. Потому ему отказали, что молода еще.

– Ах, батюшки! – ахала Наталья Петровна, – женихов-то в Москве много небось? Ну и хлопот же с дочерьми, только, знай, приданое готовь! Да и отцам трудно: «дом – яма, хозяин, стой прямо».

– Ну, а как же? – говорила няня, – известно трудно, только и знай, что заготовляй все дочерям! У нас уже многое и пошито: прошивки к рубашкам и кофтам и всякие такие батисты уже куплены. Монашка, сестра Евлампия, из монастыря, что у Боровицких ворот, знаете? Так вот она к нам по воскресеньям после обедни чай пить ходит, ей-то Любовь Александровна и дает работу. А уж шьет-то она, словно бисером нижет! – захлебываясь говорила няня. – Она и Софье Андреевне вашей одеяло стегала! – По мнению няни. Соня уже стала «ихняя».

Соня плохо поправлялась. Ребенок был беспокойный. Няни не было. Лев Николаевич осуждал тех матерей, которые не ходят за детьми сами и не кормят их. Соня кормила, конечно, сама и няни не нанимала в угоду мужу.

Когда через десять дней уехала Мария Ивановна, а Соня, еще совсем слабая, еле стояла на ногах, мать настояла на

том, чтобы взяли кого-нибудь, хотя временно, чтобы ходить за ребенком. С дворни привели сестру нашей Дуняши Варю, девушку лет 24-х. Она была уже невеста бывшего крепостного Ивана шорника. В уходе за ребенком она мало смыслила, и матери пришлось ей все показывать.

Мать была очень недовольна, что не было постоянной няни. Она говорила: «Левочка все чудит, хочет жизнь Сонечки по-бабьему устроить, а тут у нас и уход за ребенком и матерью не тот, что у баб на деревне, да и силы не те. Он не хочет понять этого. Да к тому же и кормление идет неблагополучно, вряд ли Соня сможет кормить, раз у ней кожа на груди потрескалась. Это – длинная история».

Тетенька и я слушали это и очень огорчились, но делать было нечего, пришлось выжидать и смотреть на страдания Сони, которые, по предсказаниям матери, все усиливались, так как уже начало нарывать.

Лев Николаевич ходил расстроенный. Он, очевидно, никак не ожидал этого и не верил матери. А Соня слабела, не поправлялась и страдала ужасно.

В доме, после большого оживления, царил теперь тишина и тяжелая атмосфера. Мама уговаривала Соню взять кормилицу, Соня и слышать не хотела, так же как и Лев Николаевич. Тетенька тоже уговаривала Соню, но все напрасно. Лев Николаевич согласился на просьбу матери послать за Шмигаро. Послали за ним меня, чтобы я непременно привезла его. Доктор, осмотрев Соню, сказал, что ей кормить нельзя,

и советовал взять кормилицу. Лев Николаевич, был очень недоволен его советом и был еще более не в духе.

Отец писал (8 августа 1863 г.) по поводу болезни Сони очень длинное и недовольное письмо.

«К... сожалению, я должен вам сказать, что живете вы, мои любезные друзья, без всякого расчета и не умеете даже смириться перед теми обстоятельствами, которые вы сами на себя навлекли вашими необдуманнми поступками. Вопрос в том, брать или не брать кормилицу, равнялось у вас Гамлетовскому – „to be, or not to be“⁶⁷ – и эту трагедию разыгрывали вы целых 6 недель, вопреки всех просьб и увещаний людей, желающих вам добра. Вы согласились на это только тогда, когда уже были доведены до maximum физических и нравственных страданий, продолжающихся до сих пор.

Письмо твое, любезная Соня, от 31 июля, раздирающее душу, я не мог прочесть двух раз, – довольно было одного, чтобы расстроить себе все нервы. Ты считаешь себя совершенно несчастной матерью, потому что сочла себя вынужденной взять кормилицу, а муж утешает жену свою тем, что обещает не ходить в детскую, потому что ему противна теперешняя ее обстановка etc., etc. Я вижу, что вы оба с ума сошли, и что мне придется к вам приехать, чтобы привести вас в порядок. Неужели тебе неизвестно, любезный муж, как вредно и пагубно действуют на организм душевные скорби, подавно на недавно родившую женщину и изобилующую

⁶⁷ быть или не быть (англ.)

притом молоком. Такое настроение духа, в котором находится теперь Софья, может повести к весьма дурным последствиям. Перестань дурить, любезная Соня, успокойся и не делай из мухи слона. Не стыдно ли принимать к сердцу самые обыкновенные неудачи, встречающиеся так часто в нашей жизни. Экая беда, что не удалось кормить своею грудью ребенка, и кто ж виноват этому? Сама, – подавно муж, который, не соображаясь с положением жены своей, заставляет ее делать все, что могло ей только повредить. Будь уверен, мой друг Лев Николаевич, что твоя натура никогда не переобразуется в мужичью, равно и натура жены твоей не вынесет того, что может вынести Пелагея, отколотившая мужа и целовальника в кабаке около Петербурга („Московские ведомости“ № 165 или 166).

Как жаль мне, что вы так безбожно напортили себе ваше существование и чрез это так сильно огорчили нас. Нет другого блага в мире, как здоровье, а вы им-то именно и пренебрегаете. Вы находитесь оба в ужасной ошибке, если полагаете, что оно дается нам даром, как свет Божий. Оно приобретается и сохраняется единственно только нашими разумными поступками и опытами своими собственными и чужими, которые, к сожалению, служат нам менее всего в пользу... Кланяйтесь тетеньке и Тане. Очень рад, что она тебе в утеху. Ходи, Таня, по пятам за твоей неугомной сестрицей, брани ее почаще за то, что она блажит и гневит Бога, а Левочку просто валяй, чем попало, чтобы умнее был. Он мастер

большой на речах и писаньях, а на деле не то выходит. Пускай-ка он напишет повесть, в которой муж мучает больную жену и желает, чтобы она продолжала кормить своего ребенка; все бабы забросают его камнями. Смотри, хорошенько его, требуй, чтобы он вполне утешил свою женку».

ХII. Сергей Николаевич

Я чувствовала, как ко мне понемногу возвращалось сначала спокойствие, а затем моя беззаботная веселость. Любовь эта не пустила корней. Это безотчетное, молодое увлечение, как волна в прибое, захлестнула и тут же освободила меня.

Правда, что этому освобождению способствовали частые посещения Сергея Николаевича. Он приезжал на один день, а оставался два, три дня и не в силах был уехать, как сам говорил. Я относилась к нему, как к старшему, с уважением и доверием. Лев Николаевич часто говорил про него: «Сереза исключительный человек, это – тонкий ум в соединении \$ поразительной искренностью».

Сергей Николаевич 15 лет жил с цыганкой Марией Михайловной, взятой им из табора совсем молодой. Мария Михайловна жила в Туле, там же, где и ее родители, а он в своем имении Пирогове. Сергей Николаевич обыкновенно часть года проводил за границей с сестрой своей Марией Николаевной и ее детьми.

У Сергея Николаевича были дети. О них я ничего не знала и видела лишь Гришу. Когда я спрашивала, кто же его мать, мне говорили: «Его мать цыганка: он незаконный». Слово «незаконный» для меня означало «ничей».

Вот при каких условиях началось сближение мое с Сергеем Николаевичем. Сергей Николаевич чувствовал, что ез-

дить ему в Ясную не следовало, и он говорил это брату, но все же продолжал ездить.

Настали июльские теплые вечера. Сидеть дома казалось невозможным, и мы часто ездили верхом. Однажды Сергей Николаевич предложил мне ехать на «Провалы», за 18 верст от дома. Мать отпустила меня. К моему удивлению, дорога была та же, что на Бабурино. Мне это было неприятно. Я предвидела разговор о нашей прошедшей поездке и не ошиблась. Он спросил меня, почему мне нравился Анатоль, и любила ли я его. Я молчала и совершенно искренно не знала, как ответить.

– Я не знаю, любила ли я его, – наконец сказала я – Может быть. Но знаете, мне было его так жалко при его отъезде. Его обидели, принудили уехать, ему было так неловко, грустно, и я плакала. Ну зачем Соня и Левочка так осрамили его? Это нехорошо, очень нехорошо...

– Я думаю все-таки, что Левочка так даром не сделает этого. Верно, Анатоль сам виноват.

– Нет, – почти закричала я, – это я во всем виновата, ведь вы не знаете...

– Вы не можете быть виноваты в шестнадцать лет.

– Мне скоро будет уже семнадцать.

– В семнадцать, – улыбаясь, повторил он за мной.

– А папа говорит, что женщина сама виновата, когда за ней ухаживают.

Он засмеялся.

– А когда же Левочка его отправил? за что? – спросил он.

– Потому что, помните, мы отстали в лесу? Вы знаете, ведь у меня подпруга у седла ослабла, и мы слезли с лошадей...

Я замолчала. «Что я могу ему сказать?» – подумала я.

Сергей Николаевич пристально глядел на меня.

– Да, вы долго не ехали, – сказал он. – Почему?

– Так... Вы его осудите... Я ничего больше не скажу вам...

– Отчего? – спросил он снова. – Не могу говорить.

Мы оба молчали. Лошади скорым шагом шли вперед.

– Он не стоит вас, – как бы отчеканивая каждое слово, сказал Сергей Николаевич. – Таких, как он, много, а вы – одна. Я понимаю Левочку, что он отправил его.

Мы подъезжали к молодому лесочку. Большой пень, серп луны и сам Анатолий живо представились мне. Казалось, что Сергей Николаевич не может не знать, что было между нами – он все понимает.

Я волновалась, мысли путались, и вдруг я решительно и сильно хлестнула лошадь. Она вздрогнула и сразу понеслась, так что с непривычки я еле усидела на седле. Она проскакала лес, понеслась дальше, дальше, по торной, знакомой дороге, унося мое постыдное увлечение, как мне казалось тогда.

– Тише, тише, осторожнее, – кричал Сергей Николаевич, догоняя меня на своем золотистом Карабахе, накануне приехавшем с ним из Пирогова.

Он догнал меня, пригнулся к шее моей Белогубки и, схватив поводья, остановил ее.

– Ну какая же вы неосторожная. Можно ли так рисковать и скакать со старыми подпругами, – говорил он.

– Я не хотела видеть этого лесочка и хлестнула лошадь; она испугалась и поскакала, я не могла ее удержать. Я не подзревала в Белогубке такой прыти, – оправдывалась я.

– Нет, вас нельзя одну пускать, вы не знаете опасности...

И помолчав сказал:

– И не знаете себе цены.

Последние слова он проговорил, ласково глядя на меня.

Мы приехали к «Провалу» и остановились у сторожа в маленькой избушке. Старик рассказывал нам, как однажды ночью слышался страшный гул, такой, что сначала даже оглушил его.

– Я и не понял, в чем дело, – говорил он, – только поутру пошел смотреть в лес и вижу: вода, как прудок какой. И деревья на том месте были – и их не видать и дна не достать.

Сторож провел нас в лесок. Мне было очень интересно посмотреть на это подольше, но было поздно, темнело, и мы спешили домой.

– Мама будет беспокоиться, что с нами что-нибудь случилось, – говорила я.

Дома мы нашли все благополучно. Соня спала, но мама, действительно, сидя с тетенькой, с тревогой говорила о нас. Тетенька успокаивала мать, говоря:

– Rien ne peut arriver a Таня, une fois que Serge est la⁶⁸.

⁶⁸ Ничего не может случиться с Таней, раз Сережа с ней (фр.)

Тетенька любила Сергея Николаевича и верила в него.

Лев Николаевич сидел у себя и писал. Он говорил, что начал втягиваться в писание, свое обычное и любимое занятие.

После чая я пошла проводить мать в «тот дом», как мы называли флигель. Мама легла спать, и я присела на край ее постели.

– Мама, вы знаете, – начала я, – он все про Анатоля спрашивал.

– Про кого ты говоришь? – спросила мать.

– Ах, мама, конечно, про Сергея Николаевича.

– Ну так что же?

– Он меня расспрашивал про Анатоля, любила ли я его?

Он говорит, что таких, как Анатоля, много, а я одна, и что он не стоит меня. Вы знаете, он такой хороший, он все понимает, все!

Мать улыбнулась.

– Это потому, что он тебя хвалит?

– Ну, какая вы странная, мама. Он не хвалил меня, но я чувствую, как он понимает меня. Мы так хорошо с ним говорили.

– Ты смотри, Таня, опять влюбишься.

Я не отвечала, мне хотелось сказать свое:

– Мама, вы знаете, что меня мучает? Это то, что Соня больна, а мне так весело, хорошо на душе, особенно сегодня вечером, я так счастлива! Отчего это? Я вас так люблю. Когда вы уедете, я подумать не могу, что я буду делать без вас.

Я прилегла головой на подушку матери, поцеловав ее.

– Я тогда все Левочке буду говорить, он очень хороший, но он все не велит «большой» быть, а я не хочу его слушать и засыпать с «открытым ртом», как он велит.

Я засмеялась, и мне стало еще веселее.

– Таня, я боюсь за тебя, ты слишком сильно в твои годы хватаешься за жизнь, – сказала мать. – Будь осмотрительнее, мой друг.

– Мама, а что, два брата могут жениться на двух сестрах? – спросила я, не слушая морали матери.

– Конечно, нет, это невозможно. А разве ты замуж собралась? – улыбаясь спросила мать.

– Нет, мама, ну что вы говорите, конечно, нет, я так.

Мы простились, и я ушла к тетеньке.

Татьяна Александровна на другой день за утренним самоваром спросила мама, что она сделала со мной, что я такая радостная пришла к ней.

Мама вкратце рассказала про наш разговор. Лев Николаевич в это время входил в столовую и просил повторить ему. Я вышла из комнаты (мама послала меня за маленьким братом) и не слышала их разговора. Сергей Николаевич в это утро уехал в Пирогово.

Весь день я провела с Соней. Ее здоровье поправлялось плохо. То ей становилось лучше, то снова, при кормлении, начинались страдания. Но кормилицы все не было. Мама уже поговаривала об отъезде.

Приведу письмо свое к Поливанову:

«Ясная Поляна, 1863 г. 8 июля.

Получила я ваше письмо, милый предмет мой, и, грешный человек, очень рада была читать от вас такие похвалы и перемену, которую вы нашли везде без меня. А я тут остаюсь до сентября, я просилась, да и они очень просили мама оставить меня подольше. Мне тут славно жить: одна без барышень, большой тенистый сад, пруды, своя комната, рояль, ноты, верховая езда, Соня и Левочка, чего же больше, да еще самое большое счастье, что мама приехала и живет здесь с месяц. Погода теперь дурная. Соня еще не совсем справилась после родов, да, ведь я вам не написала, что она родила 28 июня ночью в 2 часа. Сейчас подали шампанское, чай. Тут были и бабушка и доктор, и все обошлось благополучно, только тяжело ей достался Сережа (мой племянник), 22 часа она мучилась. Живем мы в двух домах – мама с маленькими и няней в одном флигеле, а мы все в другом. Гуляю я тут мало. Саши оба уехали уж с неделю. Скоро и мама уедет, 20-го, и останусь я одна по собственной охоте. Ездили мы в Ивицы. Бабушка вам кланяется и расцеловать вас велела. В Тулу часто катаем.

Если бы вы видели Ясную, это такое привлекательное место по природе, и по людям, и по воспоминаниям, как я жила здесь с Anatole. Все, все тянет меня остаться подольше, а отсюда прямо еду в Москву на театр и вечера. Когда-то вас увижу, предмет мой милый, потолкуем с вами обо всем.

Сергей Николаевич приезжает довольно часто сюда. Я с ним наездни ездила верхом 3 часа сряду за 20 верст. Наездница я лихая стала, ничего не боюсь, а все за меня боятся. Как я бы с вами прокатилась и красиво было бы – молодой белокурой офицер и молодая девушка брюнетка, вот так поэзия! А тут большей частью кучер рыжий мой кавалер бывает, а мне все-таки весело, потому что верховую езду я до страсти полюбила.

Прощайте, милейший, любезнейший воспитанник, пишите мне еще и еще, я буду делать то же. Теперь сижу я в своей комнате, Соня кормит ребенка, все у нее. Погода гадкая, хандру наводит, а я все-таки, как обыкновенно *toujours fidele et sans soucls!*⁶⁹

Ваша Таня.

P. S. Я много читаю русских повестей и романов в русских журналах».

⁶⁹ всегда верна и без забот (фр.)

ХІІІ. Поездка в Пирогово

Тетушка Пелагея Ильинична Юшкова была родная сестра отца Льва Николаевича. В 1863 году она жила в женском Тульском монастыре. Детей у нее не было.

Смолоду она любила свет, общество и роскошь. Она была, что называется, добрая, но ко всему относилась слегка поверхностно и составляла полную противоположность тетушке Татьяне Александровне, принимавшей все к сердцу и не любившей света.

Мы ожидали Пелагею Ильиничну, чтобы ехать в Пирогово. Я знала ее еще раньше: мы ездили к ней в Троице-Сергиевскую Лавру, где она жила, когда Лев Николаевич был женихом.

Одега всегда в черном, с черным тюлевым чепцом, с рюшью и красивой накидкой, она имела более блестящий вид, чем старушка Татьяна Александровна.

Карета подана громадная, четырехместная. Нас провожают на крыльце Лев Николаевич, Наталья Петровна, Дуняша и Алексей. Тетеньки, несмотря на июль, в бурнусах, перчатках и с косынками на голове. Дорога вела проселочная, большак. От Ясной до Пирогова считалось 40 верст. Отъехав 20 верст, в деревне Коровьи Хвосты мы сделали привал. Я спрашивала тетеньку, увидим ли мы Сергея Николаевича.

— Надеюсь, увидим, если он узнает, что мы приехали, та

chere⁷⁰ Танинька, – сказала Пелагея Ильинична, – il faut faire savoir a Serge, que nous sommes venues. Je veux le voir⁷¹.

Тетенька почти всегда говорила по-французски. Я мысленно благодарила ее, что она просила дать знать о нашем приезде.

В Пирогове я обежала вновь построенный дом, принадлежавший Марии Николаевне, яблочный сад и все уголки новых мест. «Вот скоро приедут из-за границы мои друзья Варя и Лиза (дочери Марии Николаевны). То-то будет весело!» – мечтала я.

Узнав о нашем приезде, к обеду приехал Сергей Николаевич. Он предложил мне в своем кабриолете ехать с ним на его половину, осмотреть его усадьбу. Тетенька Татьяна Александровна отпустила меня.

Мы ехали очень быстро. Большая, глубокая река отделяла две усадьбы.

Лошадь, кабриолет и он сам, как и его усадьба, носили на себе свой особый отпечаток.

– Вам нравится здесь? – спросил он.

– Очень, а главное – хороша река. Я так люблю жить у реки. Дайте мне править, я умею, – просила я.

Он отдал мне вожжи, а сам смотрел за мною.

– А вы всегда тут живете? – спросила я.

– Нет, не всегда, хотя я и люблю Пирогово и никогда здесь

⁷⁰ моя милая (фр.)

⁷¹ Надо дать знать Сереже о нашем приезде. Я хочу его видеть (фр.)

не скучаю, – сказал он.

– Что же вы одни делаете? – спросила я.

– Много читаю, очень люблю английские романы. Я на старости лет выучился по-английски, а потом по хозяйству много дела.

– Вы читали роман Octave Feuillet «La petite comtesse»?⁷² – продолжал он.

– Нет, – отвечала я. – А хорошо это?

– Очень хорошо. Вы там описаны, прочтите. Меня это очень заинтересовало, и я решила прочесть, чтобы знать его мнение обо мне.

Приехавши к Сергею Николаевичу, я побежала в сад. Он был довольно большой с тенистыми аллеями. Вдали виднелась река, которая красила всю усадьбу. Неожиданно пошел дождь, и мы вошли в дом. Дом был большой и старый. Вдруг набежала темная, большая туча и разразилась сильная гроза. Я боялась грозы. Перед каждым ударом грома молния освещала полутемную комнату. Сергей Николаевич не отходил от меня. Я сидела у окна в кресле и волновалась от частой молнии. Вдруг ярким светом осветилась вся комната, и тут же грянул невероятно сильный удар грома так, что рамы в окнах задрожали. Я испугалась, вскочила с кресла и невольно кинулась к нему, как бы под его защиту. В глазах моих стояли слезы.

Он взял обе мои руки и стал меня успокаивать.

⁷² Октав Фейэ «Маленькая графиня» (фр.)

Его бережно нежное обращение благотворно подействовало на меня. После этого удара гроза отдалялась, но дождь лил, как из ведра. Тетенька, как мы узнали потом, очень беспокоилась о нас, но ехать обратно через реку было невозможно.

Этот вечер был один из самых поэтических воспоминаний моих и Сергея Николаевича, как я узнала впоследствии от Льва Николаевича. Все, что мы говорили, было незначительно, но, как это часто бывает, казалось, что все в этот вечер носило свой особый отпечаток чего-то нового, близкого нам обоим.

Сидя на окне, я рассказывала, как мы ездили на охоту. С лорнетом в руках Соня подозрила⁷³ зайца, и когда он вскочил и убежал, она была очень довольна.

– Ей было жаль его, – говорила я смеясь. Потом, под впечатлением грозы и этого страшного удара, я рассказала ему, как я ребенком заблудилась в лесу и долго бродила в нем, когда мы ходили за грибами.

– Какие там таинственные места с оврагами попадались мне, если бы вы только знали! – говорила я. – Мы называли этот лес Швейцарией. И страшно было и хорошо... Птицы, вылетая из кустов, пугали меня. Я видела зайца, видела белку. Вы этого чувства не понимаете, – говорила я, волнуясь при этом воспоминании, – я не умею рассказывать...

– Нет, я все понимаю, все, что только вас касается. Но не

⁷³ увидела лежащим.

всем дано это счастье знать и понимать вас, – сказал он.

В этот вечер без объяснения в любви мы чувствовали ту близость и единение душ, когда и без слов понимаешь друг друга. Это было зарождение того сильного чувства веры в будущее счастье, которое и возвышает и поднимает человека и делает его лучше и добрее. Мое сердце было переполнено счастливой радостью, но не той детской радостью, что было с Кузминским, не той испуганной страстью, неведомой и грешной, с Анатодем. Нет, это счастье было сознательное. Я не могла не чувствовать в нем той разницы с другими, которых я знала до сих пор. И это чувство любви наполнило все мое существо. Оно принесло мне и счастье и много горя. «Да, этот исключительный человек только и понимает, и ценит меня», – думала я. «Он знает все, что я думаю и чувствую. Я не могу ни с кем сравнить его». Я любила его, и сердце мое впервые переполнилось радостным [чувством]

Мы долго еще сидели, пережидая дождь, и все время находили темы для разговоров.

Подали чай, и Сергей Николаевич просил меня хозяйничать. Видя мое утомленное лицо, он посоветовал мне после чая лечь спать. Принес всю постель и сам постелил ее в соседней комнате. Как сейчас помню ее, – небольшая с ширмами у дивана.

Но вдруг снова блеснула молния, послышался гром, и я не могла себе представить, как я останусь в пустом доме одна. (Его спальня была в другом этаже). Было уже начало третьего

часа.

– Я боюсь остаться одна, – сказала я.

– Если хотите, я не уйду вниз, пока не пройдет гроза и пока вы не уснете, – сказал он. – Я буду караулить вас за ширмами, – как бы шутя, прибавил он.

Почти не раздеваясь, прилегла я на приготовленную им постель. Я слышала, как он переворачивал страницы своей книги, слышала, как приближалась вторая гроза. Усталость томила меня. Счастливая, свободная и беззаботная, с радужными мыслями и неопределенными надеждами на будущее, я перешла в другой мир, но не знаю, какой из них был лучше...

Письмо к Поливанову (числа нет):

«Дорогой предмет, получила письмо Ваше. Вы спрашиваете, как здоровье Сони. Теперь ей лучше. Она встает, но еще бледна.

Знаете, я ездила за доктором Шмигаро в Тулу и привезла его. Мы ехали в карете. И я, и он все время молчали. Левочка встретил нас на проспекте и я, смеясь, говорю ему: „Знаешь, что мы первое слово говорим во всю дорогу“. Он засмеялся и говорит доктору: „Каково выдержала! Это ведь ее манера – не разговаривать дорогой“.

Шмигаро – добрый, толстый, неуклюжий и точно вечно спит. Кабы я была больна, я бы ему не верила.

Левочка не в духе. Сережа кричит, няня все ходит и баюкает его, и это заунывное не то пение, не то

мычание, так и перенесло меня в Покровское, где мы жили около детской три девы. Моя комната тоже около детской.

Расскажу вам, милый воспитанник, как я была в Пирогове с двумя тетеньками.

Подали большую карету. На крыльцо вышли Алексей, Дуняша и Наталья Петровна. Я живо прыгнула на козлы. Тетенька говорит:

– Таня, *descendez, ce n'est pas bien de rester avec le cocher*⁷⁴.

А тут пришел Левочка и говорит:

– Пускай ее, тетенька, для нее законы не писаны! Мы поехали. Пирогово 40 верст от Ясной. Дорогой я угощала нашего старого кучера рыжего Индюшкина карамельками, чем очень потешался Сергей Николаевич, когда ему об этом рассказала тетенька. В Пирогове мы остановились в доме Марьи Николаевны. Дом был пустой. К обеду приехал Сергей Николаевич. Обед был плохой, и тетенька ворчала, что компот без изюма.

После обеда тетенька меня пустила в имение Сергея Николаевича. Мы поехали в кабриолете. Когда мы приехали, я побежала смотреть дом. Дом большой, старый. А потом пошли в сад. И сад старинный, и река вдали.

Но загремел гром, и пошел дождь, и мы вошли в дом. Подали чай. И я разливала. Он был как-то задумчив и все наблюдал за мной и вдруг говорит:

⁷⁴ сойдите, не хорошо сидеть с кучером (фр.)

– Вам скучно со мной. Вы так молоды, а я стар. Я ему сказала, что мне всегда и весело и хорошо с ним, потому он все понимает. А он усмехнулся и говорит:

– Не всякому дано счастье знать и понимать именно вас. Мне кажется, что дома вас не довольно ценят и не понимают, какая вы.

Вдруг стало темнеть, я побежала к окну и вижу: низкая, темная туча и тут же блеснула молния, и вслед за ней гром – ужасный. Я вскрикнула и отскочила. Ужасно боюсь грома. Он подошел ко мне и посадил меня в кресло и не отходил все время грозы.

И, странно, несмотря на страх мой, мы так хорошо говорили. Так как-то удивительно сложился весь этот вечер. Он был другой, каким я знала его раньше. Я рассказывала ему про наше детство, Покровское, как пропала в Швейцарии. Помните? – заблудилась, и Соня и Петя плакали. А я бродила долго, и страшно было одной и хорошо. Сарра Ивановна меня дома бранила. А Никольские мужики указали дорогу.

Про охоту говорили. Опять спрашивал про Anatole, но я сказала:

– Не портите вечера, не говорите об этом. – И он замолчал.

Ах, предмет, если бы я могла вычеркнуть из своей жизни это время с Anatole!

Мы сидели долго, а дождь все лил, и спать мне не хотелось. Зажгли лампы, гроза утихла, а мы все находили о чем говорить.

Как мне хочется, чтобы вы его знали. Это такой

человек удивительный, и Левочка его очень любит. Но мне иногда неловко как-то при нем. Боюсь сказать глупость. Но только не в этот вечер в Пирогове.

Прощайте, пишите и не показывайте никому письма.

Таня».

Вот что писал Лев Николаевич сестре моей Соне из Пирогова, после нашего разрыва с Сергеем Николаевичем в 1864 г. Он приехал туда поохотиться с моим братом Александром и Келлером. Сергей Николаевич отсутствовал.

«После ужина я прошел в подробности по всему дому и узнал вещи Сережины (разные мелочи), которых я не видал давно, которые знаю 25 лет, когда мы оба были детьми, и ужасно мне стало грустно, как будто я его потерял навсегда. И оно почти так. Они спали наверху вместе, а я внизу, должно быть, на том диване, на котором Таня за ширмами держала его. И эта вся поэтическая и грустная история живо представилась мне. Оба хорошие люди, и оба красивые и добрые; стареющий и чуть не ребенок, и оба теперь несчастливы; а я понимаю, что это воспоминание этой ночи – одни, в пустом и хорошеньком доме – останется у них обоих самым поэтическим воспоминанием, и потому что оба были милы, особенно Сережа. Вообще мне стало грустно на этом же диване и об них, и о Сереже, особенно глядя на ящичек с красками, – тут в комнате, – из которого он красил, когда ему было 13 лет; он был хорошенький, веселый, открытый мальчик,

рисовал и все, бывало, пел разные песни, не переставая. А теперь его, того Сережи, как будто нет».

XIV. Кто бывал в Ясной Поляне

Дома я нашла перемену. Была взята кормилица, Наталья Фоканова, из деревни Ясная Поляна – симпатичная, милая женщина лет 22. Соня с трудом согласилась взять ее и много плакала. Мать, как могла, утешала ее.

К обеду приехал Дмитрий Алексеевич Дьяков. Он ехал в Москву и проездом заехал к нам. Мы все были ему рады, даже Соня повидала его.

Гости в то время в Ясной Поляне были редкостью. Железной дороги еще не было, а проселочные, как и всегда, были невозможны. Да к тому же Лев Николаевич ни с кем из соседних помещиков не знался. Он не любил это общество, относился почти ко всем с насмешкой и называл их «благородное дворянство», как-то особенно смешно выговаривая слова. Как ни странно сказать, но он был горд и всю свою жизнь боролся с этим чувством, сознавая его в себе, равно как и осуждение. Он признавал людей своего круга и крестьян, называя деревню «le beau monde»⁷⁵, но это, конечно, не значит, чтобы он не имел друзей и знакомых в других слоях общества.

С каждым годом Ясная Поляна все больше и больше привлекала всевозможных людей.

Я могу наперечет сказать, кто бывал у Толстых в 1863 г.

⁷⁵ высший свет (фр.)

Это были: А. А. Фет, Д. А. Дьяков, П. Ф. Самарин, Раевский, князь Дм. Дм. Оболенский, его мать баронесса Е. И. Менгден; из Тулы Е. Л. Марков, Ауэрбах с женой и племянницей. Родственники Горчаковы и Толсты, сосед Бибииков, позднее И. С. Тургенев и Н. Н. Страхов.

Когда, бывало, к тетушке приезжала с визитом помещица Бранд или какая-нибудь другая, Лев Николаевич говорил, уходя с книгой:

– Мой адрес – в оранжерее, или – в Чепыже.

В этом лесу Лев Николаевич построил маленькую избушку, где он одно время спасался от жары и писал.

Часто мучило Льва Николаевича осуждение. Он говорил:

– Разговор всегда оживляется, когда кого-нибудь осуждают, и это надо всякому знать и воздерживаться от этого.

Но он сам иногда осуждал и так остроумно и не зло, что все смеялись, и никто не обижался.

Позднее уже, когда подросли его дети, мы случайно бывало начнем кого-нибудь осуждать, он выйдет из своего кабинета, с засунутыми за ременный пояс руками, остановится перед нами и скороговоркой с доброй улыбкой скажет:

– Не судите, не судите, да не судимы будете. Я раз шутя ответила ему:

– Ведь это так весело.

– Да, я знаю, и как сам тогда безупречен кажешься себе, так и хочется сказать: «Вот я, например, так никогда не мог бы этого... и т. д.». А особенно говорят так женщины.

Но тут поднялся против него протест женщин, и он ушел.

Дьяков остался у нас ночевать. После обеда зашел разговор о хозяйстве, о новой реформе. К моему удивлению, Дмитрий Алексеевич не бранил ни народ, ни реформы. Он сумел устроиться и вести образцовое хозяйство.

– А я без шуток скажу тебе: прогони все начальство управления и спи сам до 10 часов, – говорил Лев Николаевич, – и никакой перемены в хозяйстве не будет!

Надо было видеть, как при этих словах добродушно и весело рассмеялся Дмитрий Алексеевич. Очевидно, он не ожидал услышать что-нибудь подобное.

– И долго ты думал об этом? – спросил он Льва Николаевича, продолжая смеяться.

У Дьякова было очень большое имение – Черемошня, сохранившееся в большом порядке. Другое имение находилось в Рязанской губернии.

Жена Дьякова, Дарья Александровна, не любила деревни и часть года жила за границей со своей дочерью Машей. Оставшись один, Дмитрий Алексеевич часто приезжал в Ясную, жаловался на одиночество и иногда на хандру, но потом, как бы спохватившись, что это лишнее, обыкновенно переходил на что-либо смешное. Так было и теперь.

– У нас поп старичок, отец Тихон, – рассказывал Дмитрий Алексеевич, – как-то в зале нашей служил молебен, да и спрашивает про Долиньку: «А хозяйка где будет?» «За границей, – говорю, – лечится». А он, покачав головой, стоя по-

среди залы, стал оглядывать комнату со всех сторон и, глубоко вздохнув, сказал: «О, Господи! Жить бы да жить!» И он был прав, – прибавил Дмитрий Алексеевич с грустной улыбкой.

За ужином зашла речь о занятиях Льва Николаевича. Дмитрий Алексеевич всегда интересовался духовным миром и писанием своего друга. Лев Николаевич говорил ему, как он в прошлом году, т. е. в 1862 году, интересовался эпохой декабристов, и какие это люди были.

– А вторая часть «Казачков» как же? – спросил Дьяков. – Ты уже начал ее?

– Начал, да не идет – бросил. Перевертели «Декабристы». Я до сих пор помню это его выражение «перевесили». Остальной разговор его словами передать не могу, но помню, о чем говорилось.

Лев Николаевич с одушевлением говорил о Муравьеве, Свиетунове, Завалишине и прочих, какие материалы он достал, и говорил, что хотел ехать в Петербург посмотреть крепость, где они были заключены и повешены.

– И так как надо было дать понятие, какие они были люди, откуда они, – говорил Лев Николаевич, – то я начал с 1805 года и подхожу к 1808 году. Но что выйдет из этого – не знаю.

– А когда же ты печатать будешь?

– О, до этого еще далеко. Летом не писалось, а теперь тянет к работе.

Позднее уже Лев Николаевич охладел к декабристам и да-

же разочаровался в них.

– Вот ее записываю, – смеясь и как бы шутя сказал Лев Николаевич, указывая на меня.

Дьяков добродушно засмеялся, принимая слова Льва Николаевича за шутку, так же, как и я.

Я сидела около тетеньки и все время молча слушала их разговор.

– Voila, ma chere, comme vous devez vous bien conduire et bien penser a ce que vous faites⁷⁶, – сказала мне Пелагея Ильинишна, добродушно засмеявшись. Мама была не совсем здорова и к ужину не вышла, а сидела с Соней.

На другое утро Дьяков уехал.

– Алексей, кто это пришел к нам – седой монах в ободранной рясе? – спросила я.

– Это Николай Сергеевич Воейков, – отвечал Алексей.

– Да кто же он? – спрашивала я.

– Он барин, помещик был да спился, а теперь ходит по родным – бродягой стал – и к нам заходит, поживет и снова дальше идет; граф их давно знает, – говорил Алексей.

– Знаю, так это он! Лев Николаевич про него говорил.

Это было утром. Я вошла в столовую пить чай. Тетушки и Наталья Петровна сидели уже за чаем. Я сказала им про приход Воейкова, но их не удивило это известие.

– Давно не бывал у нас, – сказала Татьяна Александровна.

⁷⁶ Вот, милочка, как ты должна хорошо себя вести и думать о том, что ты делаешь (фр.)

Дверь отворилась, и вошел Воейков со Львом Николаевичем.

Лев Николаевич дружелюбно встретил его.

– Таня, вот тебе кавалер верхом ездить, вместо Индюшкина. Бывший кавалерист, – шутя прибавил Лев Николаевич, указывая на Воейкова.

– Вот увидите, это такой пьянчуга! – толкнув меня локтем, проговорила мне на ухо Наталья Петровна.

Я сразу поняла, кто как относился к Воейкову, и поняла, что он был в доме чем-то вроде шута.

Воейков почтительно поклонился тетушкам и мне и сел за чайный стол.

Это был человек лет 50-ти, высокого роста, широкоплечий, с правильными чертами лица, с седыми длинными волосами. Его наружность напоминала что-то библейское; портили лишь голубые глаза с красноватыми белками, вероятно, от пьянства. Воейков поселился у нас, но где он спал, где находился весь день, я так и не знаю до сих пор.

Он был когда-то помещик, служил смолоду в военной службе, затем поселился в деревне и запил запоем. Потом поступил в монастырь, откуда был исключен за пьянство. Именье было прожито. Он остался нищим. Родные не могли его долго держать в доме, да и он сам нигде долго не заживался. У него была потребность и склонность к бродяжничеству. Он ходил от одних родных к другим, его кормили, давали денег и, как он запивал, его отсылали и гнали. Он по-

стоянно бродил из одного села в другое. Ясную Поляну он тоже не забывал.

Бывало выпросит у Дуняши «травничку», как он называл водку, настоенную на травах и приготавливаемую обыкновенно в Ясной, подвыпьет, и начнутся представления. Он декламировал:

J'entends les tourterelles⁷⁷, стенающих в лесу,
И так же, как они – стенаю и грущу!

И другие стихотворения. И все это с таким пафосом и так смешно, что все смеялись, исключая Сою.

– И что тут смешного? – говорила она. – Кривляется пьяный монах и больше ничего.

Но Лев Николаевич продолжал добродушно смеяться.

– А я люблю всякое старинное шутовство и поощряю его.

Но когда он бывал пьян, я боялась его и просила Алексея спрятать его куда-нибудь подальше.

Мы проводили мама. Она уехала в Покровское. Флигель опустел, я больше не ходила туда и с грустью смотрела на его запертые двери и окна.

Соня поправлялась, выходила к столу и уже принимала участие в нашей общей жизни, хотя была еще очень слаба и худа.

Льву Николаевичу не удавалось победить в себе непри-

⁷⁷ Я слышу горлиц (фр.).

язненное чувство к детской с кормилицей и няней, Татьяной Филипповной, вынянчившей детей Марии Николаевны и привезенной из Пирогова. Когда Лев Николаевич входил в детскую, на его лице проглядывала брюзгливая неприязнь. Соня, конечно, замечала это и иногда жаловалась мне.

– Посмотри, как он редко ходит в детскую, – говорила сестра, – а все оттого, что тут кормилица и няня.

– Соня, как же ты хочешь иначе, он весь ушел в свою работу, – утешала я ее, – ему не хочется отрываться.

– Нет, нет, – горячилась она, – ты посмотри на выражение его лица, когда он в детской, – говорила она, – я все вижу!

По вечерам Лев Николаевич приходил в комнату тетеньки и делал там пасьянсы, загадывая вслух:

– Если этот пасьянс выйдет, то надо изменить начало.

Или:

– Если этот пасьянс выйдет, то надо назвать ее... – но имени не говорил.

Он требовал всегда, чтобы кто-нибудь сочувствовал пасьянсу и помогал раскладывать. Наталья Петровна была из самых постоянных сочувственников.

Соня целые вечера просиживала у своего письменного стола, переписывая «Войну и мир». Она пишет в своем дневнике: «Бессчетно раз переписывала иногда одни и те же места в „Войне и мире“». Она любила эту работу, интересовалась ею и никогда не тяготилась.

Когда сестра написала, что Лев Николаевич начал роман

из эпохи 12-го года, отец пришел в волнение, о чем писал Льву Николаевичу. Вот отрывок из письма его от 5 сентября [1863 г.]:

«Вчера вечером мы много говорили о 1812 годе по случаю намерения твоего написать роман, относящийся к этой эпохе. Я помню, как в 1814 или 1815 году горел щит на Тверской у дома Бекетова, огромной величины, изображавший Наполеона, бежавшего и преследуемого воронами, которые его щипали и вместе пакостили на него. Народу на улице было несчетное число, и все хохотали от души; как бы я рад был, если б племянник его подвергся той же участи».

18 сентября 1863 г. отец писал Льву Николаевичу:

«...Так-то бывало, отец мой начнет нам рассказывать об 1812 годе; действительно, это была замечательная и интересная эпоха; ты избрал для романа твоего высокой сюжет, дай Бог тебе успеха. Не дальше как вчера я говорил об этом с Анке. Ему было в 12 году 10 лет. Он все время оставался в Москве, видел Наполеона, слышал взрыв Кремля, ходил, наконец, без сапог, и последним убежищем его и многих других после и во время пожара была наша лютеранская церковь в Немецкой слободе. Он рассказывал несколько весьма интересных эпизод того времени и советует добыть тебе „Les memoires du docteur Macillon“⁷⁸, который, как после оказалось, был шпионом Бонапарта и пробыл в Москве довольно долгое время до 1812 года. Я непременно справлюсь у Го-

⁷⁸ „Воспоминания доктора Макийона“ (фр.)

тье и Urbain об этой книге, да, пожалуй, и по Никольской потаскаюсь, не добуду ли там чего-нибудь. Есть еще живая хроника, это лейб-медик Маркус – его слушали мы всегда с большим интересом; он был в 12 году полковым врачом и приближенным человеком при графе Воронцове; а propos⁷⁹, у меня есть биография огромная графа Михаила Семеновича Воронцова, которую написал Щербинин и мне подарил. Я непременно пришлю ее тебе. В ней верно говорено очень много об 12 годе и, вероятно, со слов самого Воронцова, который еще при жизни своей передал многое Щербинину, при нем служившему и даже как его родственнику.

А когда же приедете вы в Москву, я и покою вам не дам, пока вы к нам не приедете и не привезете мне графчика...»

Отец устроил, по просьбе Льва Николаевича, свидание с Маркусом, когда Маркус приезжал из Петербурга в Москву с царской фамилией.

Что рассказывал Маркус Льву Николаевичу, к сожалению, не помню, или же не знала и прежде.

Отрывок из другого письма:

«Тебе кланяются Перфильевы. Настасья Сергеевна, узнавши о том, что ты намерен наградить нас романом эпохи 1812 года, предложила мне послать тебе письма Марии Аполлоновны Волковой, писанные в 1812 году к ее матери Ланской. Еще я добыл роман в 4-х частях под заглавием „Леонид“ также из эпохи 1812 года. А если ты желаешь

⁷⁹ кстати (фр.)

непрерывно иметь газеты 1812 года, то хоть и трудно их добыть, но возможно: они находятся в Румянцевской библиотеке. Сверх этого мне обещаны также Les memoires du docteur Macillon, о которых я тебе уже писал, но не ближе как через две или три недели, потому что они в деревне».

В начале августа была для всех нас неожиданная радость: приехала из-за границы Мария Николаевна с дочерьми. Сын остался в швейцарском пансионе.

Варя больше по годам своим подходила ко мне, и я была с ней очень дружна. Она переживала тот возраст, когда начинают быть похожей на молодую девушку. Всегда оживленная, с вьющимися темными волосами она была очень хорошенькой. Отсутствие самомнения и кокетства, удивительно уживчивый характер делали ее привлекательной и необыкновенно приятной в жизни.

Ее сестра Лиза, моложе ее на два года, тогда еще девочкой, обещала быть красивой с своим типичным южным лицом. Черные большие глаза, тонкое окаймленное черными волосами лицо напоминало мать. Она была серьезнее сестры, практичнее и рассудительнее. Отца они почти не знали, так как Мария Николаевна, бывши в замужестве очень несчастлива, по совету двух братьев, разъехалась с ним и вскоре овдовела.

Соня с их приездом тоже оживилась. Они должны были жить в Пирогбве, а пока остановились в Ясной Поляне. Мария Николаевна уехала по разным делам в Тулу.

Лев Николаевич очень любил и сестру свою и девочек и был им так же рад, как и Соня, но все же утро было его. Он занимался, не выходя из своего кабинета, и никто не смел и не решался входить к нему.

Сергей Николаевич стал еще чаще бывать в Ясной. Бывало, сидим мы с Варей в саду в тенистой липовой аллее за какой-нибудь книгой или работой. Вокруг нас тишина, пения птиц уже не слышно, и разве только изредка промелькнет по макушкам лип легкая пушистая белка. Мы сидим в созерцательном настроении, и на нас благотворно влияет эта тишина.

– Таня, ты слышишь бубенцы? – спросит вдруг Варя.

– Да ведь это же Сергей Николаевич! – прислушиваясь, закричу я, брошусь ей на шею, и так радостно забьется сердце.

Глядя на меня, Варенька засмеется. Она все знает и все понимает. Между березами прешпекта промелькнет коляска, и мы издали уже видим его немного сутуловатую фигуру в темной мягкой шляпе. Я не могу спокойно сидеть за работой, не могу идти домой. Я бегу вниз по аллее, прочь от дома, Варя за мной.

– Танюша, ну какая же ты смешная, куда ты бежишь? – кричит она. – Постой!

– Я останавливаюсь и, вскочив на скамейку, поднимаю руки и делаю вид, что лечу.

– Варечка, как я тебя люблю! Летим вместе, милая! – кри-

чу я.

Вспоминая тогдашнее состояние своей души, я поняла, что делает счастье. Оно заставляет верить во все хорошее, заставляет любить всех, и никакое сомнение уже не закрадывается в душу.

Обыкновенно, когда приезжал Сергей Николаевич, мы после обеда ехали куда-нибудь кататься верхом или в линейке. Я садилась на козлы вместо кучера, Сергей Николаевич садился около козел и учил меня править. При спуске с горы он брал у меня вожжи, показывая, как спускаться коренника и сдерживать пристяжных. Я скоро выучилась всем премудростям и часто ездила вместо кучера.

Ни я, ни Сергей Николаевич, мы никогда не искали уединения. Сидя у тетеньки или все вместе в столовой, мы и без слов понимали друг друга. Я постоянно чувствовала на себе его внимательный взгляд, и он говорил мне многое.

Лев Николаевич и Соня замечали наше обоюдное увлечение, хотя с моей стороны было что-то более серьезное, много глубже «увлечения». Лев Николаевич неодобрительно относился к Сергею Николаевичу, зная про семью брата и его 16-летнюю привязанность к Марии Михайловне. Он не видел возможности брака без серьезных препятствий, хотя я о браке тогда и не думала. Лев Николаевич был прав. Я не понимала этого и иногда серьезно сердилась на него, что будет видно впоследствии.

Я должна сказать, что Сергей Николаевич, может быть и

бессознательно, но поддерживал во мне это чувство своим постоянным вниманием ко мне, к моим действиям, пению и словам. Я не могла относиться равнодушно к этому исключительному человеку, в сравнении с теми, которых я встречала раньше. Много раз я задавала себе вопрос: что он обо мне думает? Любит ли он меня? И эти вопросы всегда оставались без ответа. Но я задавала их себе обыкновенно в его отсутствие, когда же он был со мной, эти вопросы и не приходили мне в голову.

Но все же он привлекал меня к себе похвалами, вниманием к словам и действиям моим, осторожно-нежным обращением. Я помню несколько замечаний его в этом роде, они льстили моему самолюбию и привязывали меня к нему.

Была у нас в гостях одна молодая девушка, дочь Марии Ивановны Абрамович.

На мне было вышитое, белое, легкое платье, как-то особенно сшитое. Она просила это платье на фасон и адрес портнихи.

Сергей Николаевич, слыша все это, говорил мне:

– Она просит вас дать ей адрес портнихи. А я говорю, надо взять адрес у Господа Бога, где вас творили, а не портнихи, платье тут ни при чем.

– Вы прочли роман Фейэ, о котором я говорил вам? – спросил он меня.

– Прочла и с большим интересом.

– И вы узнали себя? – спросил он.

– Характер мой, да? Так вы меня такой видите? – спросила я.

Он засмеялся:

– Да, такой.

– Она лучше меня, она блестяща! – сказала я совершенно искренно, вспоминая описание бала.

– Она старше вас, но вы будете такой. Вы счастливее ее: вас все любят, балуют, какой-то особенный магнит притягивает к вам. Даже люди охотно служат вам, даже ворчливая Дуняша охотно исполняет ваше приказание и катает вас на спине, как намедни у тетеньки, – сказал он, смеясь.

– Но почему в романе, тот, кого любила *la petite comtesse*⁸⁰, не любил ее и отказался жениться на ней, когда она этого хотела? – спросила я. – Он ведь был свободен.

– Он поздно постиг ее, уже когда она была при смерти. Такие характеры редки. Этот роман взят из жизни. Вот Левочка теперь вас описывает, – насмешливо улыбаясь, сказал он. – Увидим, сумеет ли?

– Как? Неужели? Не может быть! – воскликнула я. – Ради Бога, скажите ему, чтобы он историю с Анатодем не описывал, – чуть не со слезами молила я его. – Ну, пожалуйста, скажите. И как папа будет сердиться... Вы знаете, Левочка все выпрашивал меня про Петербург. Я, хотя и не говорила ему всего, но ведь он насквозь все видит. Я думала, что он из участия меня спрашивает. Это не хорошо с его стороны.

⁸⁰ маленькая графиня (фр.)

Сергей Николаевич успокаивал меня:

– Левочка ничего не напишет, что бы могло вредить вам, я в этом уверен. Да дурное и не пристанет к вам.

Такого рода разговоры, конечно, только усиливали мое чувство к нему.

Однажды я спросила моего друга:

– Варя, скажи мне, что заметны наши отношения... чувства? Я не знаю, как назвать это.

– Да как тебе сказать, – отвечала Варенька. – К вашим отношениям придраться нельзя никак. Новее же что-то в вас заметно. У тебя все на лице написано. А дядя Сережа стал часто ездить и все на тебя смотрит, про тебя говорит. Левочка наемдни заговорил про него и сказал: «И когда-то он на охоту в Курскую губернию уедет?» – а потом прибавил: «Ему надо уехать, у него туман в голове».

Разговор с Варей меня расстроил. Стало быть, у него туман, а у меня?

XV. Осень

Незаметно подходила осень. Настало и так называемое бабье лето от 1-го до 8-го сентября. Варя, Лиза и я выходили в поле с крестьянскими девушками копать картофель. Нас посылал Лев Николаевич ради развлечения, но мы больше болтали, чем работали. Конечно, не работа привлекала меня, а компания Душки, молодой бабы Арины Хролковой с чудным голосом и талантом плясать, и других девок. По субботам я с сестрой рассчитывала поденных; я знала их всех по именам. Солнце грело, как летом. Паутина, как дымчатая ткань, тянулась по всему полю и приставала к рукам, волосам и платью. Такой невероятно густой паутины я еще не видала.

– Пойдемте купаться, – сказала я, – мы живо вернемся, в поле так жарко!

Варенька, Лиза и несколько девушек последовали за мной.

После купанья мы побежали домой по «прешпекту», когда послышался топот лошадей, и на плотине показалась тройка с коляской, которую я тотчас же узнала. Я бежала вперед, и все мои спутницы за мной. С визгом и хохотом мы пересекли дорогу, так что кучеру пришлось сдержать лошадей, чтобы не наехать на нас. Сергей Николаевич, улыбаясь, приподнял шляпу и проехал мимо нас.

– Варя, я не пойду на картофель, я не могу, – сказала я.
– Да и мы с Лизой не пойдем, раз приехал дядя Сережа.
Они побежали к нему, а я к тетеньке в комнату.

Я вышла лишь к обеду. За обедом Лев Николаевич говорил с братом об охоте, и Сергей Николаевич сказал, что он через несколько дней едет в Курскую губернию, в свое имение и пробудет там до декабря. Мы не глядели друг на друга, когда он говорил это.

К обеду приехала Мария Николаевна.

Вечер и день прошли бесцветно. Сергей Николаевич сидел все больше с братом. Они ходили вместе гулять, долго сидели вдвоем в кабинете и о чем-то секретно говорили, как мне тогда казалось.

Весь этот и следующий дни я старалась провести с девочками, быть, как всегда, веселой и отнюдь не показывать ему, что меня удивляет и огорчает его внезапное отчуждение. После обеда я уехала верхом с Воейковым. Я это сделала нарочно, чтобы не сказать ему, что я еду. По словам Вари я узнала, что, он, действительно, был удивлен и все спрашивал:

– Да зачем она уехала? Куда? Почему не сказала? Когда я вернулась, он спросил меня:

– Зачем вы ездили и куда? Кто вас на лошадь сажал?

– Индюшкин! – смеясь ответила я и отошла в сторону.

На третий день экипажи были поданы. Мария Николаевна с детьми и Сергей Николаевич уезжали в Пирогово. Мы вышли на крыльцо провожать их.

– Сережа, а ты уже совсем собрался в Курское имение? – спросил Лев Николаевич.

– Не знаю, но думаю, что да. Лошади тронули. Я пошла в сад.

– Таня, куда ты? – окликнул меня Лев Николаевич, заметив, вероятно, мое тревожное настроение.

– Хочу одна быть, – отвечала я.

– Займись чем-нибудь, – прокричал он мне вслед.

Я, не отвечая ему, ушла в самое укромное место сада, прозванное нами «диким». Опустившись на скамью, я горько заплакала, но не оттого, что он уехал, а от чувства оскорбления, которое я безотчетно испытывала. Что-то сдержанное, непривычное проглядывало в нем в его последнее посещение.

«Ни улыбки, ни внимательного взгляда, ни обычных бережливо-нежных слов, – говорила я себе, – и все это перед разлукой... Зачем же все это было?»

И во мне поднималось чувство оскорбленной гордости.

– Но что же я хочу от него? Какое право он имеет на меня и я на него? И что было между нами? Ровно ничего. Он старше меня на 20 лет, относится ко мне, как к ребенку, вот и все. Нет, нет, надо все забыть... Я счастлива, я в Ясной, Соня и Левочка со мной; ничего мне больше не надо.

Я пошла наверх, открыла рояль и села петь сольфеджио⁸¹.

– Вот умница! – вдруг услышала я позади себя голос Льва

⁸¹ упражнения для голоса.

Николаевича.

Он сел за рояль и проаккомпанировал мне «Молитву» Гердижиани и несколько вещей Глинки и возвратил мне мое настроение.

Окончив аккомпанировать, он блестяще сыграл «Кавалерийскую рысь». Он очень любил эту вещь, она действительно имела свойство взвинчивать души, чувства и нервы.

Он встал, пристально поглядел на меня и, улыбаясь, сказал:

– И все это – вздор. Тебе надо петь и заниматься пением. Пой, развивай свой голос, – говорил он, – веди здоровую жизнь и не увлекайся романтизмом. У тебя все впереди.

Я ушла к Соне и остальную часть дня провела с ней. Мы сидели в детской и беседовали с кормилицей. Она рассказывала, что Микишка – мальчик ее, молочный брат нашего Сережи, «не дай Бог, какой хворый», что она против воли родителей вышла замуж за безземельного солдата в что оттого ее и в кормилицы отпустили.

Прошло дня три-четыре. Я сидела у тетеньки и читала ей вслух роман по рекомендации Льва Николаевича – «Полинька Сакс» А. Дружинина, когда отворилась дверь и вошел Сергей Николаевич. И удивление и радость заставили меня сильно покраснеть.

– Mon cher Serge! – встретила его тетенька. – En voila une bonne surprise! Je suis tres contente de vous voir avant votre

depart!⁸²

После обычных приветствий Сергей Николаевич спросил тетеньку, где Левочка.

– Он в Туле, будет к обеду, – ответила она.

Он спросил себе чаю, сел с нами и стал читать начатый мною роман. И мне опять стало спокойно и хорошо. Лев Николаевич опоздал к обеду, и мы обедали одни.

После обеда я взяла ключи от книжных шкафов и от «того дома» и встала, чтобы идти туда.

– Куда вы идете? – спросил меня Сергей Николаевич.

По выражению лица его и по голосу я снова признала в нем прежнего Сергея Николаевича.

– Иду выбрать себе книгу для чтения, – сказала я.

– Да разве там есть что-нибудь путное? – спросил он.

– Там русские журналы: «Современник», «Русский вестник». Левочка все дразнит меня и называет их: «твои подлые романы!», а мне интересно их читать.

Я ушла, но на дорожке, соединяющей два дома, он догнал меня.

– Я пойду с вами и тоже возьму что-нибудь для чтения на дорогу.

– Вы когда же едете? – спросила я, боясь показать свое волнение.

– На днях непременно надо ехать. Боюсь, дорога испор-

⁸² Мой милый Сережа! Вот хороший сюрприз. Я очень довольна видеть тебя до твоего отъезда (фр.)

тится (железной дороги тогда еще не было).

Мы отперли дом и входили наверх. Шаги гулко раздавались в пустом, нежилом доме.

Мы вошли в комнату с большим итальянским окном, у которого стояли высокие книжные шкафы, сделанные домашним столяром. К шкафу прилегал длинный школьный стол.

– Вот в этом шкафу мои любимые журналы. А вы какие книги хотите? – спросила я.

– Какие вы мне выберете, полагаюсь на вас, – ответил он.

– Я ничего не знаю, кроме «подлых романов».

Он не отвечал и о чем-то думал. Я перебирала принесенную связку ключей и тоже молчала. Он сидел возле стола и помогал мне выбрать ключ.

– Отчего вы не сказали мне, когда я в последний раз был в Ясной, что вы едете верхом? – вдруг спросил он.

– Не хотела.

– Почему?

– Вы были другим, я не привыкла вас видеть таким.

– И поэтому вы не хотели ехать со мной? – медленно проговорил он.

– Не хотела... Не могла.

Я продолжала перебирать ключи, чтобы показать, что я занята. Разговор с ним смутил меня.

– А знаете, почему я был другим? – спросил он.

– Почему?

– Ваше оживление, ваш веселый детский смех, когда вы,

помните, пересекли мне дорогу на прешпекте, дали мне почувствовать всю разницу наших лет.

– Но что же в этом плохого? Вы еще в Пирогове, за чаем, говорили мне об этом, спрашивая, не скучно ли мне с вами, так как вы гораздо старше меня, а я тогда же вам ответила, что мне всегда хорошо и весело с вами, потому, что вы все понимаете.

– На днях я говорил о вас с Левочкой, – сказал он.

– Обо мне? – не умея скрыть своей радости, с удивлением спросила я.

– Да, о вас.

– Что же вы говорили?

– То же, что я говорил вам сейчас, и он понял меня.

Я молчала. Он сидел, задумавшись, и, как мне казалось, в нем происходила какая-то борьба. Я подставила стул к столу и, став на стол, стала выбирать книги. В комнате царила полная тишина, лишь большая осенняя муха, жужжа, билась, ползая по стеклу окна.

– Если она поползет вверх, – неожиданно для самой себя загадала я, – «это» будет. А вниз... – я не успела окончить своей мысли – муха поползла вверх.

– О чем вы так задумались? – спросил Сергей Николаевич.

– Так, ни о чем...

– Таня, вы упадете, не подходите к краю стола!

Эти простые слова, его голос вдруг почему-то сказали мне, что вот сейчас в моей жизни должно совершиться что-

то важное, значительное, и робость, и счастье переполнили мою душу.

– Что же вам выбрать? – спросила я, чтобы что-нибудь сказать.

– Что хотите – все будет хорошо!

Я выбрала два журнала и себе кое-что.

– Надо идти домой, Соня и Левочка будут недовольны, что я так долго сижу здесь, – сказала я. – Левочка, наверное, уже приехал.

– Слезайте со стола, – сказал он тихо.

Я взяла выбранные книги, заперла шкаф и хотела слезать, но Сергей Николаевич сидел на стуле, с которого я вошла на стол.

– Как же я слезу, когда вы сидите? – смеясь, сказала я. – Пустите, я прыгну! – Я знала, что он не пустит меня.

– Нет, прыгать нельзя, высоко, вы ушибетесь. Сойдите по стулу, – тихо, но решительным голосом сказал он.

Его тон был так внушителен, что послушаться его было невозможно. Я осторожно ступила на самый край стула, держа в руках тяжелые журналы. «Не надо этого», – мелькнуло у меня в голове, но было уже поздно. Потеряв равновесие, я зашаталась, выронила книги и упала к нему на руки.

– Боже мой! – закричала я, испугавшись своего падения. – Я ушибла вас?

Он не отвечал. Его лицо почти касалось моего. Он пристально глядел на меня, держа меня на руках. Я хотела

встать, он удержал меня.

– Таня, – взволнованным голосом, какого я еще никогда не слыхала, сказал он, – когда я был у вас в Москве, вспомните этот вечер, вы заснули в зале на диванчике. Я глядел на вас и говорил брату, хотя тогда еще шутя:

– Подожди жениться, мы будем венчаться в один день на двух родных сестрах; теперь я вас прошу – хотите быть моей женой?

XVI. Охота

Ни Соня, ни Лев Николаевич не удивились предложению Сергея Николаевича. Решили ждать год, но это ужаснуло и поразило меня.

– Как целый год? Почему? – спросила я. Мне год казался вечностью, и я заплакала.

– Вы так молоды, – говорил мне Сергей Николаевич, целуя руки, – вам еще 17-ти лет нет, с моей стороны было бы преступлением жениться, не давая вам обдумать и испытать своего чувства.

– Меня испытывать не надо, – серьезно и твердым голосом сказала я.

– Я должен устроить свои дела, это тоже возьмет много времени, – продолжал он.

Мои счастливые первые минуты омрачились тем, что надо ждать год. Как я узнала после, Лев Николаевич и сестра были за это решение. Я не сознавала тогда, какое осложнение влечет за собой его шестнадцатилетняя семейная жизнь с тремя-четырьмя детьми, из которых я знала лишь одного. Я помнила и сознавала лишь то, что мне предстояла разлука на несколько месяцев.

На другой день, перед отъездом его, мы пошли в сад. Мы говорили о нашей будущей жизни, о том, как после свадьбы поедem за границу, как будем жить в Пирогове, и что он в

последний раз едет без меня на охоту в Курскую губернию.

Странно, он ни слова не сказал мне о своей семье и о своих делах.

Последние дни своего пребывания он выказал мне столько любви, нежности, что я поверила в возможность разлуки, но это было для меня мучительно.

Наступил день отъезда. Я не плакала. Лицо лихорадочно горело, руки похолодели. Что-то безнадежное, роковое почувствовала я, когда он прощался со мной.

– Зачем вы уезжаете? – были мои последние слова.

Первые дни я очень тосковала, но все же сознание будущего счастья и жизни в Ясной с Соней и Львом Николаевичем возымели свое благотворное действие. Да и я была слишком бодра, чтобы падать духом и попускать себя.

Через несколько дней неожиданно приехал П. Ф. Самарин, известный в округе за умного, образованного и состоятельного владельца богатого имения. Самарин приехал оповестить Толстых о приезде в Тулу наследника Николая Александровича с его свитой.

– Дворянство будет давать бал наследнику, – говорил Самарин, – и мы бы желали, чтобы и ваша семья приняла бы в нем участие.

Тем временем входила в столовую сестра и, узнав о приглашении, искренно и просто выразила сожаление о невозможности ехать на бал из-за нездоровья. Я заметила удивление Льва Николаевича сожалению Сони. После визита Са-

марина он выпрашивал ее, почему ей так хотелось на бал? Он забыл, что ей 19 лет.

Лев Николаевич ничего не решил насчет себя. Бал был назначен на 15 октября.

За чаем зашел интересный разговор с Самариным о грабеже, о реформе и законах. Самарин высказывал негодование на существующую распущенность в деревнях и нелепые наши законы. Лев Николаевич винил помещиков в дикости и распущенности народа, но отвергал всякие крайние законные меры. Он горячился и неприятно и резко спорил. Самарин спокойно и кратко высказывал свое мнение. Наконец, спор дошел до крайнего – до смертной казни. Самарин сказал:

– Смертная казнь в России необходима.

Лев Николаевич побледнел и проговорил злым шепотом:

– Мне страшно быть с вами.

Но тут вмешалась Соня, предлагая чая, сухарей, сахару, чтобы только прекратить этот спор, что ей и удалось.

Наступили осенние дни с теплым, мелким дождем. Льва Николаевича тянуло на охоту. Решали, куда ехать, отдавались приказания насчет лошадей и собак, дали знать в Телятинки Бибикову, вечному нашему спутнику, куда поедем. Все это делалось серьезно, степенно, и я чувствовала всю значительность этих сборов и понимала, что охота – вещь серьезная.

В таких случаях я приходила вечером в кабинет Льва Ни-

колаевича и спрашивала его:

– И я еду?

– Ты устанешь, лучше не езди, мы далеко ведь поедем! – говорил Лев Николаевич.

Я понимала, что он отвечает так, потому что боится, как бы я, девочка, не помешала правильной охоте.

– Нет, нет и я поеду! – кричала я и так сильно протестовала, что действительно ехала. А потом это обернулось в обычное явление, и я знала, что не стесняю и не порчу охоты.

Мы охотились раза два, три в неделю. Ездили полями в Тулу к Пелагее Ильиничне, в Пирогово, за сорок верст, где теперь жила Мария Николаевна с дочерьми, а то и просто колесили вокруг Ясной Поляны. Спутником моим почти всегда был мальчишка с деревни, ученик Льва Николаевича – Николка Цветков, черненький, живой мальчик, очень затейливый, начитавшийся школьных книг. Дорогой он часто повторял наизусть разные прочитанные монологи. Помню пресмешной эпизод, происшедший с нами на охоте.

Был настоящий осенний день. Дул холодный ветер. Земля размякла от дождей. Собакам скакать было хорошо. Мы выезжали на охоту, невзирая ни на какую погоду. Так было и в этот раз. Мы выехали в 7 часов утра. Александр Николаевич Бибиков был с нами. Лев Николаевич говорил, что в такую погоду заяц крепко лежит в поле, боясь шума падающих листьев в лесу, и что охота, думает он, будет удачная. Места, которые мы проезжали, были незнакомы мне и пото-

му интересны.

Действительно, охота была удачна. Нам удалось затравить несколько зайцев и видеть издали лисицу. Заехав погреться в избу, мы попали на свадьбу.

Я в первый раз видела деревенскую свадьбу. Жених и невеста сидели рядом безмолвно и неподвижно. Девки пели песни. Когда мы вошли в избу и сели отдохнуть, они стали нас величать, т. е. петь песни в нашу честь.

Но мы недолго оставались в избе. Я села на лошадь, не осмотревши подпруги, в этом обвинял себя и Лев Николаевич, так как со мной случилась неприятность. Выехав в поле, мы стали, как всегда, «равняться», т. е. старались ехать вдоль полей, на некотором расстоянии друг от друга.

Не знаю, каким образом я заехала одна вперед всех и, хлопая арапником, проезжая овраг, не заметила, как у меня ослабла подпруга седла. Я вдруг почувствовала, как едва заметно седло съезжало набок. Но я не останавливалась. Вдруг равновесие изменило мне, и я съехала на правый бок вместе с седлом. Остановив лошадь и не выпуская поводья, я еле держась на седле, висела на правом боку. Запутавшись в длинной амазонке, я не могла соскочить. Вдали никого не было видно. Крик мой разносил сильный ветер. На меня напал ужас от беспомощного состояния.

«Боже мой, – думала я, – если Белогубка тронется с места, я пропала».

Я снова стала звать Льва Николаевича, но голос терялся за

ветром, а я услышала издали неотразимо привлекательный крик:

– Ату его! Ату его!

И через несколько секунд мимо меня пронесся заяц, большой русак, преследуемый вытянувшимися в струнку борзыми. За ними рванулись и мои собаки – две английских борзых – Фани и Милка. Но милая, верная Белогубка не двинулась с места.

– Левочка! падаю! – кричу я изо всех сил, видя, как он летит мимо меня на своей быстрой, сильной белой лошади.

– Душенька, подожди! – проскакав, закричал он. Я понимала, что он не мог поступить иначе в своей охотничьей страсти, и ждала его.

– Затравил? – первое, что я спросила его, когда он вернулся.

– Ушел! – с досадой ответил он мне.

«Но какое счастье, – думала я уже много после, – что лошадь моя стояла, как вкопанная, и я благополучно провисела на седле несколько минут. Что бы могло быть, если бы она поскакала за ними?»

И я спрашивала себя, возвращаясь домой:

«Проскакал бы „он“ мимо меня?» – и мысли мои, как это часто бывало, улетели далеко, в Курскую губернию.

Из письма отца мы узнали, что у нас в Кремле гостил дядя Александр Евстафьевич и что здоровье отца ухудшалось. Последнее очень встревожило нас.

Отец писал (13 октября 1863 г.):

«...Давно бы я сам к вам приехал, но все нездоровится. Теперь гораздо лучше, а было нехорошо, подавно во время пребывания брата. Его бедного я совсем расстроил: он вставал ночью и все наблюдал меня, а после его отъезда рассматривали меня 12 докторов. Я ничем не лечусь, соблюдаю диету, придерживаюсь разным гигиеническим правилам, и вот уже 12 дней, как стал ездить в гимнастику. Все это сделало мне пользу, а ваш приезд воскресит меня совершенно. Из твоего письма я вижу, что Таня сделалась страстной охотницей – оно и неудивительно; боюсь я только, чтобы она, приходя в азарт, не слетела бы с лошади.

А Дора⁸³ твоя будет отличная, – в этом будь уверен; самки бывают всегда гораздо обстоятельнее и не носятся по лесу так, как самцы. Погоди, еще придется тебе ее сдерживать, она еще не осмотрелась и всего боится. Но и сдерживать ее надобно осторожно и отнюдь не бить. К сожалению, у брата моего погибла сестра ее от чумы; говорит, что была очень умна и писаная красавица...»

Памятна мне одна из наших охот. Это было в конце сентября.

Как-то вечером Бибииков, который у нас сидел, сказал:

– Я должен завтра ехать в Тулу, а жаль, самая охота теперь.

– Поедьте в Тулу с собаками полями, – сказал Лев Николаевич. – Вы, вероятно, переночуете там, а мы с Таней про-

⁸³ Охотничий рыжий сеттер, подаренный отцом еще щенком.

едем к тетеньке в монастырь, а оттуда домой.

Я радовалась этим планам и боялась лишь перемены. Бибиков согласился. Мы сговорились выехать в 8 часов утра и стали готовить себе провизию. Лев Николаевич старательно растирал зеленый сыр с маслом и укладывал его в продолбленный белый хлеб. Воейков вызвался ехать с кабриолетом в Тулу, чтобы нам можно было вернуться в экипаже. Сестра уговаривала не поручать ему лошади, но Лев Николаевич, после некоторого колебания, решил послать Воейкова.

– Николай Сергеевич, – толковал Лев Николаевич, – возьмите с собой корзину с провизией и ружье мое и выезжайте к нам из дому в час дня. Поезжайте прямо на деревню Прудное, что под Тулой, и там подождите нас у моста.

– Знаю, знаю все места там, – говорил Воейков. – Не беспокойтесь, найду вас.

Мы выехали в 8 часов утра. Погода была самая охотничья. Моросил мелкий, теплый, небольшой дождь.

Проехав Засеку, этот величественный, старый, казенный лес, который я так любила, мы стали равняться в поле. Собаки весело бежали около нас.

– Таня, в овражке прохлопай, – кричал мне иногда Лев Николаевич.

Или же:

– Проезжай по полынкам, – и я ехала и вскоре сама постигла всю премудрость охоты «в наездку». Все влекло меня

к охоте, а больше всего сама природа.

В этот раз мы подозрели трех зайцев. Подозреть зайца не только мне, но и Льву Николаевичу и всякому охотнику доставляло большое удовольствие. Охотник в таких случаях останавливался и с поднятым вверх арапником негромко говорил:

– Ату его!

Собаки, насторожась с приподнятыми ушами, дрожали. Начиналась травля.

При удачной травле поднимались шумные разговоры, перебивали друг друга, а я выражала свою радость криком, разносившимся по всему полю, что было с детства моей привычкой.

В 3 часа дня подъезжали к условленному месту в Прудном. Воейкова не было.

– Что это значит, Воейков не едет? – говорил Лев Николаевич, – видно, поздно выехал.

Сделав привал, мы терпеливо стали ждать его.

– Не заблудился ли он, – продолжал Лев Николаевич, – или, может быть, поехал дальней дорогой.

Есть нам хотелось ужасно, но, несмотря на это, завязался интересный разговор. Я говорила, что меня часто мучает какой-нибудь пустяк из моей жизни, который я потом разбираю. Бибиков добродушно засмеялся и сказал, что это совершенно напрасно, что думать о том, что прошло, не стоит, что на свете все приятно, все прекрасно «и в особенности

для вас», – прибавил он, обращаясь ко мне, – и что мучиться никогда не надо.

Лев Николаевич заметил, что анализ в молодости особенно мучителен, и что он сам перешел через это. Иногда какой-нибудь пустяк, как, например, ошибка во французском языке, гораздо более мучает, чем какой-нибудь дурной поступок.

– А вот теперь нас просто мучает голод, – сказал он, смеясь. – Поедемте, может быть, Воейков нагонит нас.

Пришлось голодными снова сесть на лошадей и равняться в поле.

– Не видали ли зайца в поле? – обращались мы к пастухам с обычным вопросом, а теперь еще прибавляли: – А тележки с монахом не видали? – Но получали всякий раз отрицательный ответ.

К шести часам вечера мы подъезжали к Туле. Проехав заставу, мы были уже на главной улице – Киевской. Собак держали на своре и ехали стороной. Бибиков простился с нами и уехал к брату. Вдруг глазам нашим представилось неожиданное, ужасающее зрелище.

Посреди улицы, мимо нас, мчалась наша тележка с Воейковым. Он сидел без шляпы, его седые волосы развевались по сторонам; глаза были красные, блуждающие, и он неистово кричал: «На abordаж! На abordаж!», – причем, держа в руках ружье, целился в прохожих, которые рассыпались, кто куда: одни прятались под ворота, другие ломились в первую

попавшуюся дверь. Вожжи Воейков распустил, и умная, старая лошадь Барабан галопом мчалась по Киевской. Я взглянула на Льва Николаевича. Он неудержимо смеялся.

– Таня, сворачивай в переулок! – кричал он мне. – Скорей, скорей!

Мы свернули в переулок, чтобы не иметь с ним никакого дела.

Так как нельзя было оставлять лошадей в монастыре, то Лев Николаевич, подъехав к монастырю каким-то глухим переулком, велел мне сойти с лошади и ждать, а сам с Николкой повел лошадей, теперь уже не помню, куда. Но тут ожидал меня другой случай.

Уже смеркалось. Я стояла на узеньком тротуаре, как вдруг услышала за собой пьяный голос:

– Мадмазель, Диана, величественно! замечательно! Позвольте проводить!

С этими словами он наступал на меня. Я подняла хлыст.

– Ле краваш... ле краваш⁸⁴! – повторял он пьяным голосом.

Я страшно испугалась. Кругом ни души.

– Левочка! – закричала я, что было сил, не зная, услышит ли он мой голос.

Но, к счастью, Лев Николаевич торопливым шагом шел уже ко мне, догадываясь, в чем дело. «Лекраваш», увидав его, тотчас же бросился бежать.

⁸⁴ La cravache – хлыст (фр.).

Наконец, мы у тетеньки. Лев Николаевич, от души смеясь, рассказывал про Воейкова. Я до сих пор без смеха не могу вспомнить обо всем.

Пелагея Ильинична накормила нас, напоила чаем. Мы отдохнули, но ехать домой пришлось снова верхом, что было очень утомительно.

Несмотря на усталость, я любила эти поздние возвращения.

Едешь себе, бывало, покачиваясь в седле. В тороках висят зайцы. Впереди темно, над головой звездное небо. От усталости непреодолимо клонит ко сну. Закроешь глаза, и мерещатся зайцы, зеленя, полынки...

А на душе так молодо, так хорошо! И мечты о будущем счастье сливаются с настоящим.

– Таня, ты спишь? – окликнет меня Лев Николаевич. – Не отставай!

Он боится, что я засну и упаду с лошади. Лев Николаевич едет впереди, моя лошадь постоянно отстает, Николка на своей лошаденке плетется сзади. Он и в темноте не остается спокойным, выкрикивая протяжным голосом:

– Генерал-фельдмаршал князь Бярятинский!

Николка начитался про Бярятинского, ему нравится это имя, и он сам чувствует в себе воинственный дух. Или же, слыша у нас в доме пение тогдашнего модного романса «Скажите ей», Николка громким голосом запевал:

– Скажите ей... – и говорком продолжал: – что у меня

портки худые!

Или:

– Скажите ей... что меня пчелы искушали!

При этом я слышу в темноте добродушный смех Льва Николаевича.

Лошади, равномерно шлепая копытами по лужам грязной дороги, торопливым шагом спешат домой. Но вот уже виднеются огоньки на деревне, слышен лай собак, и мы дома. Нас встречает сестра:

– Что это вы как запоздали? Я очень беспокоилась о вас.

Мы рассказали ей о случившемся. Она перебила нас словами:

– Я говорила тебе: нельзя давать ему лошадь, а ты не послушал, – это такой нелепый, неверный человек!

На другой день был послан в Тулу Алексей выручать лошадь, тележку и самого Воейкова. Все оказалось в полицейском участке.

Мы узнали, что Николай Сергеевич открыл корзину с провизией и выпил весь графин травничку, уложенный Дуняшей по его же просьбе вместе с провизией.

В те дни, когда мы не ездили на охоту, мы занимались музыкой. Лев Николаевич одно время очень увлекался музыкой, желая усовершенствоваться. Он играл по два, по три часа в день Шумана, Шопена, Моцарта, Мендельсона и позднее уже учил вальс Антона Рубинштейна, который пришелся ему по характеру. Я всегда слушала его с удовольствием.

Он умел вложить во все, что он делал, что-то свое – живое и бодрящее.

Иногда он читал нам вслух. Помню, как он читал переводной английский роман мистрисс Браддон – «Аврора Флойд». Этот роман ему нравился, и он часто прерывал чтение восклицаниями:

– Экие мастера писать эти англичане! Все эти мелкие подробности рисуют жизнь! Таня, а ты узнаешь себя в этом романе? – спросил меня Лев Николаевич.

– В Авроре?

– Ну да, конечно.

– Я не хочу быть такой. Это неправда, – закричала я краснея, – и никогда не буду ею.

– Нет, без шуток, это ты, – продолжал Лев Николаевич полушутя, полусерьезно.

– Mais c'est vrai, Leon⁸⁵, – говорила тетенька. – Les traits du caractere sont les memes⁸⁶.

Это огорчило меня еще больше. Лев Николаевич засмеялся и продолжал читать.

«Сергей Николаевич сравнил меня с la petite comtesse, но та, по крайней мере, действительно прелестна, – думала я. – А это Бог знает что... Влюбиться в конюха!»

Мысль о конюхе, как наш Индюшкин, рассмешила меня.

Сюжет романа следующий: Аврора, дочь богатых и гор-

⁸⁵ Да, это правда, Левочка (фр.)

⁸⁶ Черты характера – те же (фр.)

дых родителей, влюбилась в своего берейтора и отдалась ему, что составило несчастье ее жизни и ее родителей. Берейтор ярко очерчен в романе: чувственный, низменный, красивый и смело подлый. Конца романа я не помню. Впоследствии я старалась достать этот роман, чтобы видеть, какие именно черты характера Авроры схожи с чертами характера Наташи в «Войне и мире». Я помню хорошо, что я и Соня это заметили. Но достать этот роман я не могла в переводе.

Недолго отдыхала Соня. Кормилица Наталья заболела грудницей, и ее пришлось отпустить. Сережу решено было воспитывать на рожке. Опять беспокойство, возня и забота. Я помогала Соне, как могла, но она чувствовала себя хуже прежнего. А тут, на беду, заболела няня Татьяна Филипповна внутренним раком, и ее отправили в Пирогово. Маленький Сережа своим беспокойным криком от всех этих перемен мучил Соню. Я помню, как однажды я застала Льва Николаевича одного в детской. Чтобы успокоить ребенка, он сильной дрожащей рукой совал в ротик ребенка рожок, наливая молоко другой рукой. Я никогда не забуду этого зрелища.

Но вскоре все наладилось. Взяли няню из дворовых – Марию Афанасьевну, женщину лет 45. Это была классическая няня. Она носила на голове не то повязку, не то повойник, который носят купчихи или свахи в пьесах Островского. На шее у нее всегда была кодынка. Она долго жила у Толстых и

вынянчила всех старших детей, несмотря на то, что иногда в праздник любила выпить.

Отец (3 ноября 1863 г.) пишет Соне насчет Москвы и кормилицы:

«Вчера получили мы твое письмо, в котором ты всячески стараешься, моя милая дочка, успокоить нас насчет твоей болезни. Я же ни тебе, ни докторам вашим ни в чем более не поверю и не успокоюсь до тех пор, пока сам не увижу твоей больной груди...

Но во всяком случае я нахожу, что вас ничто не должно задерживать приехать к нам в Москву. Таню можешь ты опять взять с собою обратно в Ясную, если она тебе не надоела; с тем только условием, чтобы ты приискала ей там мужа собачника, такого же безумного, как и она.

Вчера вечером был у нас Фет. Он приехал в Москву с своей женой на всю зиму. Я просил его, чтобы он доставил нам 1 цыбик чаю от Петра Петровича, точно такой же, как мы брали в прошедшем году. Я так привык к нему, что всякий другой не нравится мне: к тому же чай этого отличного достоинства. Он обещал мне исполнить мою просьбу. Не оставить ли и вам несколько фунтов? Фет поручил мне непременно вызывать вас в Москву. Он уморительный. Очень смешил нас своими оригинальными рассказами и просидел у нас до 12 часов.

Приезжайте, мои милые, утешьте вашего старика, который любит вас свыше всего и тревожится и мучается, как

несчастный. Сколько спокойствия и радости будет для меня, когда я вас увижу».

XVII. Бал

Было начало сентября 1863 года. Приближался день бала. К нам приезжала баронесса Менгден уговаривать нас ехать на бал. Ее муж был предводителем в уезде, где находилось его имение. Баронесса была замужем второй раз. Первый раз она была за Оболенским, который из мести был зарезан крепостным поваром. У нее был взрослый сын, Дмитрий Дмитриевич, и две дочери от второго брака. Баронесса Елизавета Ивановна была прекрасная женщина. Она очень сошлась с моей сестрой и всю жизнь поддерживала с нами хорошие отношения.

Баронесса уговорила Льва Николаевича ехать со мной на бал, за что я была ей очень признательна. Соня отговорила меня нездоровьем, хотя я видела, что и ей хотелось ехать, но, действительно, это было бы опасно для нее. Соня обещала сделать мне бальный туалет и просила Елизавету Ивановну вывезти меня, так как ехать вдвоем со Львом Николаевичем было неудобно.

После отъезда баронессы я бегала по всему дому, рассказывая свою радость Алексею, Дуняше, Наталье Петровне и прочим. Все люди приняли участие, как мне тогда казалось, особенно Душка. С ней я уже успела подружиться. Алексей Степанович, захихикав по обыкновению, сказал:

– Хорошее дело. Значит, и граф поедут – надо фрак из

кладовой вынуть.

Настал желанный день. Я с Соней укладываю свой балльный наряд, весь белый, легкий. Как приятно быть одетой на первом бале, а это был мой первый большой бал.

Соня грустна. Я вижу, что и ей хочется ехать, и меня печалит, что она остается дома.

Через два часа мы уже у тетеньки, где я должна одеваться. Пелагея Ильинична принимает большое участие в моем туалете. Ее послушница сестра Евдокия, добрая и милая, одевает меня.

– Тетенька, я думаю, что в монастыре первый раз одевают на бал, – говорю я и весело смеюсь с молодой послушницей.

– Ничего, мой друг, ты молода, веселись – это не грех! – отвечает тетенька, прикалывая мне белые розы на грудь и на голову.

– Таня, ты готова? – слышится голос Льва Николаевича за дверь. – Пора, ведь мы должны заехать еще к Менгден. Можно войти?

– Войди! войди! Можно! – кричу я в нетерпении. Он внимательно оглядывает послушницу, меня и, усмехнувшись, что-то говорит с ней, но что именно, не помню.

Мы на бале. Я вхожу с баронессой Менгден, Лев Николаевич и сам барон, бодрый, небольшого роста, с гордо приподнятой головой, украшенный орденами, идут за нами. Свет, блестящая, нарядная толпа, украшенная цветами зала приводят меня в праздничное настроение и смущают. Издали

я вижу Ольгу и Sophie Ауэрбах. Обе – нарядные, красивые. Ольга блестяща в своем палевом воздушном платье с полевыми цветами и колосьями.

Но вдруг все зашевелилось. Толпа раздвинулась, и вошел наследник Николай Александрович, молодой, красивый, с приветливой улыбкой. За ним шла его блестящая свита. Оркестр заиграл польский из оперы «Жизнь за царя». Я стояла с Ольгой в зале. Пары танцующих проходили мимо нас. Меня удивляло, что танцующие дамы все почти были уже немолодые. Наследник шел в паре с женой предводителя, хозяйкой бала, которой я была представлена. Мне хотелось участвовать в польском, но это было невозможно. Я увидела Льва Николаевича. Он был окружен свитой наследника. Между ними нашлись его петербургские знакомые. Лев Николаевич тогда уже был известным писателем, как автор «Детства» и «Отрочества». «Казачьи» и «Поликушка» только что вышли в свет.

Но вот заиграли вальс Штрауса. Закружились пары, запели скрипки. Мне хотелось танцевать, но, окинув взглядом всю залу, я не нашла ни одного знакомого лица. Мне казалось, что я простою так у колонны весь бал.

– Зачем же я приехала сюда? Зачем же весь этот наряд? – думала я, чуть не плача. – Никто и не заметит меня.

Ольга что-то говорила мне, указывая на танцующих, но я не слушала ее. В горе своем я не заметила, как Лев Николаевич подводит ко мне князя Оболенского. Должна сознаться,

что радость моя была огромна.

После вальса с ним я танцевала весь вечер со многими другими, забыв свои печальные мысли.

В одной из фигур мазурки мы, Ольга, Софи и я, подошли к наследнику. Фигура состояла в том, что три дамы загадывали три слова и подходили к танцующему. Он должен назвать одно из слов и идти танцевать с той, которой оно принадлежит. Ольга была *qui pro quo*⁸⁷, Софи – *mal a propos*⁸⁸, я – *a propos*⁸⁹. Эти почти бессмысленные три слова приняты в мазурке из-за рифмы. Наследник назвал *qui pro quo* и танцевал с Ольгой.

После тульского бала рассказывали про наследника пресмешной эпизод.

Оставшись в столовой с своим адъютантом, выдержав весь вечер свою натянутую, скучную роль наследника, так как по этикету даже для кадрили были заранее назначены дамы, жены губернатора и предводителей, наследник, вернувшись домой, повеселел. На него нашло желание мальчишеской шалости. Он спросил себе чаю, а сам спрятался под стол, закрытый длинной скатертью. Когда удивленный лакей вошел с подносом и, не найдя наследника, спросил адъютанта, куда нести чай, наследник со смехом выскочил из-под стола.

– Если это только правда – это прелестно! – сказал Лев

⁸⁷ недоразумение (лат.)

⁸⁸ некстати (фр.)

⁸⁹ кстати (фр.)

Николаевич, когда ему рассказали об этом. – Думаю, что правда. Выдумать это трудно.

XVIII. Лев Николаевич и Софья Андреевна

На другой день, рассказывая Соне о бале, я спрашивала ее, что она делала без нас.

– Я проплакала весь вечер, – сказала она, – так обидно мне стало, что я не могла ехать.

Об этом она пишет в своих воспоминаниях: «Вообще знакомых, друзей и родных на этом бале было много и, когда Лев Николаевич надел фрак и уехал в Тулу на бал с сестрой Таней, я принялась горько плакать и проплакала весь вечер. Мне было едва девятнадцать лет, мы жили замкнуто, однообразно и скучно и вдруг такой случай веселья и я его лишена!» Я вполне сочувствовала ей.

– Но ты знаешь, Таня, – говорила она мне, – я бы все равно не могла ехать, если бы и была здорова.

– Почему? – спросила я.

– Да ведь ты знаешь Левочкины воззрения? Могла ли бы я надеть бальное платье с открытым воротом? Это прямо немислимо. Сколько раз он осуждал замужних женщин, которые «оголяются», как он выражался.

– Я знаю его воззрения, а может быть, он и прав, – подумав о Сергее Николаевиче, сказала я.

Мы замолчали.

– Это ревность говорит в нем, – тихо, как бы про себя, с

грустью сказала Соня.

– Соня, ты сама ревнивая, его нельзя обвинять. Вспомни, как ты ревновала, когда Ольга Исленьева играла с ним в четыре руки. А к кому же он может тебя ревновать, ведь у нас же никого нет?

– Намедни, – говорила Соня, – мы как-то оживленно спорили при всех за чаем с Эрленвеином, не помню о чем – так что-то незначительное, ну вот он и приревновал меня.

– Как? К учителю? Господи! Вот бы не ожидала! Они все такие серьезные.

– Я сразу и не поняла его ревности, – продолжала Соня, – не понимала и спрашивала себя: «За что он язвит меня? За что он вдруг охладел ко мне?» и я плакала и не находила ответа. Я приписывала это своей глупости, неразвитости в сравнении с ним, думала, что ему скучно со мной, и он сердится на меня.

Тут я не выдержала и перебила Соню:

– Соня, зачем ты унижаешь себя? Не надо этого. Ты должна сознавать, что ты тоже «сама по себе», как и он. Вот такая, натуральная, какая ты есть, и будет хорошо, и выйдешь умная. К чему подделываться под его ум? Все равно тебе это не удастся. Он такой, а ты – другая, вот и все. Нет, я бы не могла так жить.

– Может быть, ты и права, но я слишком люблю его. А если бы ты знала, Таня, как мне это иногда тяжело!

– Соня, голубчик, – говорила я ей, желая утешить ее и

внушить ей, что Лев Николаевич находит ее умной и любит ее, – брось эту мысль о своей мнимой глупости. Ты всем интересуешься, ты отлично выдержала экзамен, лучше Лизы. Папа пишет про тебя: «Ах ты моя сердечная, чувствительная. Вот так-то я и люблю женщину, какова ты». Помнишь, он писал тебе?

Соня улыбнулась и задумалась.

– А ты знаешь, в Левочкином дневнике я прочла, что он пишет обо мне, и переписала себе эти строки.

Соня принесла дневник и прочла мне:

«Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею... Не смею».

– И еще дальше он пишет про меня: «Она преобразовывает меня».

– Ну вот видишь! Ну, как это все хорошо! – радостно воскликнула я. – И мы так же дружно будем жить с Сергеем Николаевичем, только... – и я не досказала своей мысли. Меня часто мучили сомнения, и я заглушала их в себе.

По молодости ли лет своих, или по своему характеру, Соня, насколько я помню, смотрела на все глазами мужа. Она даже боялась иметь свои желания, свое суждение. Например, живя в Ясной Поляне, первое время она с грустью указывала мне на лопухи и репы, окружавшие дом, куда люди выбрасывали сор. Года через два она решилась велеть вычистить все около дома, дорожки посыпать песком и посадить кое-где цветы. Лев Николаевич снисходительно глядел на это и

осторожно, к слову, прибавлял:

– Не понимаю, к чему это? Прекрасно жили и без этого.

Но тут тетенька вступилась за Соню:

– Mon cher Leon, – говорила она, – c'est tres bien que Sophie a fait nettoyer autour de la maison, c'est si agreable de se promener maintenant⁹⁰.

Но что удивило нас, так это то, что Лев Николаевич, заразившись примером, велел в саду окрасить скамейки и вычистить дорожки в липовых аллеях.

Лев Николаевич вообще не любил всяких новшеств. Мосты на дорогах были сломаны, их объезжали, а весной не раз застревали там экипажи и телеги. Когда, вместо oleина, вошел в употребление керосин, он критиковал его. Позднее уже, когда появились аэропланы, он говорил:

– Это совершенный вздор. Людей Бог создал без крыльев, и летать им, как птицам, не подобает.

Когда открылась Дума, он с недовольством говорил, что это «ни к чему», и «совершенно несообразно». «Чтобы решить что-либо важное, всякий должен обдумать у себя в кабинете, а на народе ничего путного не выйдет. Много баить не подобает! А в Думе болтовня и руготня».

Он был против высшего образования женщин: женских курсов, университетов и пр. Он говорил, что женщина настоящая, как он понимает ее, это – мать и жена.

⁹⁰ Милый Левочка, это очень хорошо, что Софи велела вычистить вокруг дома, так приятно теперь гулять (фр.)

– А если она замуж не выйдет? – спрашивали его.

– Если не выйдет замуж, то всегда найдет себе дело и место, где она будет нужна. В больших семьях нуждаются в помощи.

Обыкновенно вопрос этот вызывал горячий спор. Все кричали: «Да, чужих детей нянчить, чулки штопать... В кухне торчать... Нет, это невыносимо!»

Лев Николаевич, улыбаясь, слушал всех и однажды сказал:

– Вот Вильгельм говорит: «Для женщин должно быть: Kirche, Küche, Kinder»⁹¹. А я говорю: «Вильгельм отдал женщине все самое важное в жизни, что же осталось мужчине?»

Но я отвлеклась от своего прошлого.

После нашего разговора с сестрой, я много думала о Соне и Лье Николаевиче. Я стала приглядываться к ним и их отношениям. Мне стало ясно, что они оба были до боли ревнивы и этим самым отравляли себе жизнь, портя свои хорошие, сердечные отношения.

Помню один странный случай, не стоящий внимания, а вместе с тем повлекший за собой неприязнь.

Как-то раз приехал в Ясную знакомый нам всем молодой человек – Писарев, светский, милый, но самый обыкновенный. Он редко бывал у нас.

Соня, сидя у самовара, разливала чай. Писарев сидел около нее. По-моему, это была его единственная вина. Писарев

⁹¹ Церковь, кухня, дети (нем.)

помогал Соне передавать чашки с чаем, оказывая и другие мелкие хозяйственные услуги. Он весело шутил, смеялся, нагибаясь иногда в ее сторону, чтобы что-либо сказать ей.

Я наблюдала за Львом Николаевичем. Бледный, с расстроенным лицом, он вставал из-за стола, ходил по комнате, уходил, опять приходил и невольно передал мне свою тревогу. Соня тоже заметила это и не знала, как ей поступить.

Кончилось тем, что на другое утро, по приказанию Льва Николаевича, был подан экипаж, и лакей доложил молодому человеку, что лошади для него готовы.

Про свою ревность Лев Николаевич пишет в своем дневнике:

«То, что ей может другой человек, и самый ничтожный, быть приятен – понятно для меня и не должно казаться несправедливым для меня, как ни невыносимо потому что я за эти 9 месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек.

Нынче луна подняла меня кверху, но *как*, этого никто не знает».

Соня, как всегда, успокаивала его и так как она не чувствовала за собой никакой вины, ей было легко это сделать.

Отсутствие самоуверенности, мнимая ревность и презрение к самому себе заставляли его часто страдать.

Много раз приходилось мне быть невольной свидетельницей состояния его души. Когда несколько времени позднее я жила замужем в другом флигеле, Лев Николаевич часто

проводил меня по вечерам домой. В лунную или ярко звездную осеннюю ночь, которую он особенно любил, он остановится, бывало, на дорожке, соединяющей два дома, обратит мое внимание на прелесть ночи и скажет:

– Да ты посмотри, какая красота!

И я по выражению его лица вижу, что все суетное, житейское и пошлое сброшено, и, как он писал, его подняло вверх.

Интересны его отрывочные записи в дневнике 25 сентября 1862 года после женитьбы.

«В Ясной. Утро, кофе – неловко. Студенты озадачены. Гулял с ней и Сережей⁹². Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье. И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтобы это кончилось только жизнью».

1862. 15 октября.

«Все это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать. И потому собой недоволен и не ясен в отношениях с другими. Журнал решил кончить, школу тоже... Мне все досадно и на мою жизнь и даже на нее. *Необходимо работать*».

1862. 30 сентября.

«В Ясной. Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все, как у других».

⁹² Брат Льва Николаевича.

Вот в этих последних словах сказался весь Лев Николаевич. Ни ревность, ни разность мнений, ничего, что повело бы к ссоре, не было ему столь противно, как сама пошлая ссора, как она бывает у всех.

Уже месяц, два позднее, 19 декабря 1862 г. Лев Николаевич пишет:

«Я пристально работаю и, кажется, пустяки. Кончил казаков 1-ю часть.

Черты теперешней жизни – полнота, отсутствие мечтаний, надежд, самосознания, зато страх, раскаяние в эгоизме. Студенты уезжают и мне их жалко. У тетиньки сделалось новое старческое выражение, которое трогает меня».

Несмотря на свое временное пристрастие к хозяйству и к наживе, на него вдруг напала хандра, разочарование в том, что он делал, чем он был увлечен. Вопрос: «Зачем все это?» начинал мучить его, и он не находил до поры до времени ответа. Он ходил расстроенный, бывал не в духе, молчалив, и Соня, приписывая это его нездоровью, сама расстраивалась. Он писал в дневнике своем уже в 1863 году:

«Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с матерьяльными условиями – жена, дети, здоровье, богатство<...> Могут быть жена, дети, здоровье и др., но не в том».

И он, несмотря на то, что думал и писал в дневнике, все же продолжал свое начатое хозяйство и заботу об увеличении средств.

Надо было знать его, чтобы понять, что обыденная кар-

тина счастья – жена, дети, богатство – не могла удовлетворить его, как удовлетворяла большинство людей типа Берга в «Войне и мире». Запросы такого человека, как Лев Николаевич, были исключительные. Но и он, как всякий человек, требовал счастья, любви, благосостояния. Достигнув всего этого, он оглядывался на себя. Формы этого счастья казались ему пошлыми. Он чувствовал себя в цепях этих достигнутых идеалов и страдал.

Он не мог не любить своей жены – матери своих детей, преданной, любящей и посвятившей себя всецело семье. Он не мог отказаться от желания проводить несколько месяцев в Москве, хотя бы для своей работы, как мы увидим по его письму.

И все это, помимо его, облекалось в какую-то будничную, обычную форму почти мещанского счастья.

Сколько раз в жизни своей он повторял:

– Нет, так жить нельзя! Не в этом счастье!

А в чем? Он искал это счастье всю жизнь, как синюю птицу, а она сидела у него в клетке.

Но все же видно, как через всю его жизнь, с юных лет, проходили отречение от материального и мучительный самоанализ. Борьба с гордостью, роскошью, осуждением, страстью часто вызывала в нем недовольство собой.

Его друг, Александра Андреевна Толстая, писала ему:

«A force d'analyser, vous ferez de votre coeur une eponge

seche»⁹³.

Левин в «Анне Карениной» это он. Он ярко характеризует себя в XXVI главе романа, где говорит о возвращении Левина из Москвы:

«Дорогой в вагоне <...> так же как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд перед чем-то; но когда он вышел на своей станции, узнал кривого кучера Игната <...> он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется, и стыд и недовольство собой проходят». Соня шутя говорила:

– Левочка, ты – Левин, но плюс талант. Левин – нестерпимый человек!

Лев Николаевич, не отвергая этого, с улыбкой слушал ее. Он всегда смотрел на Ясную, на тетеньку Татьяну Александровну как на чистилище и говорил:

– Я, только приехавши в Ясную, могу разобраться сам с собой и откинуть от себя все лишнее.

Любовь к народу жила в нем с детства. Меня удивляло, с какой нежностью он относился к мальчишкам (как я звала их), ученикам своим. Он так заботился о них, интересовался ими. А однажды он указал мне на старуху Власову, жившую на деревне. Она лежала уже 10 лет в параличе, без ног, в тесной, грязной избе. Она поразила меня своим восковым видом и напомнила мне чудный рассказ Тургенева «Живые мощи». Я ходила к ней, носила ей, что могла. Она была в

⁹³ Вашим постоянным анализом вы превратите ваше сердце в сухую губку (фр.)

полной памяти и интересно рассказывала мне о старине. Но выходя от нее на свежий воздух, я чувствовала, как от моего платья несло луком, испеченным хлебом, навозом и прочими ароматами, а нередко я уносила с собой ненавистного красного таракана или нечто другое, похуже таракана.

Когда я пожаловалась на это Льву Николаевичу, он, смеясь, отвечал мне:

– Ах, как это хорошо! Пожалуйста, ходи почаще!

XIX. Болезнь

Я больна и перешла вниз, чтобы не беспокоить тетеньку. У меня жар. Соня и Лев Николаевич в тревоге. Зная, что Агафья Михайловна хорошо ходит за больными и любит меня, я посылаю за ней. Она не раз говорила мне:

– Когда, матушка, заболеее, пошлите за мной. Но на этот раз посланный вернулся с ответом, что Агафья Михайловна очень сожалеет, но прийти не может, так как только что вернулась из бани. Нечего делать, думаю, Душка со мной.

Но, чувствуя себя все хуже и хуже, я посылаю вторично:

– Скажи Агафье Михайловне, что я ей на платье куплю, если она придет.

Посланный возвращается один.

– Агафья Михайловна очень обиделись на вас, они уже одевались к вам идти. «Скажи Татьяне Андреевне, что, коли обещает на платье, так не пойду. Не-што я из-за платья иду? Как не стыдно так думать».

Я осталась с Душкой, которая вскоре заснула, а мне очень неможилось. Не прошло и получаса, как дверь тихонько отворилась, и вся закутанная в платок вошла Агафья Михайловна.

– Что это вы, матушка, расхворались? А я обиделась на вас.

– Агафья Михайловна, голубушка, мне так нехорошо, я

рада, что вы пришли, – говорила я.

– А я было прилегла, да сердце беспокойно, думается: да с кем вы таперча, одни небось. Оделась и пришла. Теперь спокойны будьте. Я вам лимонадцу от графини принесу. Да вот и они сами.

Соня несла мне на ночь чаю, лимонаду и лекарство.

– Уж вы походите за ней, Агафья Михайловна, а если Тане будет хуже, приходите за нами, – сказала Соня.

– Вы не беспокойтесь, графинюшка, посижу ночь с ними, – говорила Агафья Михайловна, – мне это дело привычно, а они, Бог даст, и уснут.

Но мне не суждено было спать эту ночь. Жар с каждым часом усиливался. Ни лимонад, ни лекарство не помогали. Я ужасно страдала, меня что-то душило, я задыхалась, и бедная Агафья Михайловна не знала, что делать. Так прошло часа два. Все в доме спали. Слушая мои стоны и бред, Агафья Михайловна испугалась и пошла будить сестру. Через десять минут, как мне рассказывали, пришли Соня и Лев Николаевич. Они тоже, как молодые, неопытные, испугались моего состояния.

По словам Агафьи Михайловны, я встала с постели и в бреду пошла, не зная, куда и зачем. Я никого не узнавала. Главное страдание мое было удушье. Я помнила, как Соня и Агафья Михайловна старались уложить меня в постель, а я не шла.

На другой день, когда бред прошел, Лев Николаевич спро-

сил меня, что мне чудилось. Я еле могла говорить и слабым голосом рассказала ему, что мне чудилось бесконечное поле, покрытое местами белой густой паутиной. Куда бы я ни шла, она ползла за мной, обвивала шею, ноги, грудь, и я не могла дышать и не могла уйти.

– То-то ты все повторяла в бреду: «Тянется... тянется, снимите с меня...», а Соня спросила: «Что снять?». А ты такая жалкая была и опять повторяла: «Тянется...», а про паутину не сказала, – говорил Лев Николаевич.

Этот бред Лев Николаевич вложил в уста князя Андрея в романе «Война и мир».

Сколько раз позднее уже, когда ему неможилось и когда бывало спрашивали его, что с ним, он жалобным моим голосом отвечал: «Тянется... тянется...»

К утру послали за доктором – неизменным Шмигаро. Я пролежала десять дней, очень похудела и ослабела. По определению доктора, у меня была сильнейшая ангина «с горячечным состоянием».

Милая Агафья Михайловна просидела со мной всю болезнь, изредка лишь оставляя меня для своих собак. Мать прислала ей на платье, и она приняла этот подарок, так как он был от матери из Москвы, а не от меня.

После болезни я временно затосковала о Сергее Николаевиче. Так мало прошло времени, и до свидания оставалось еще долго. Слабость повлияла на бодрость моего духа. Но время шло, я поправлялась, выходила и даже ездила со

Львом Николаевичем на порошу.

Отец в письмах своих вызывал нас в Москву из-за болезни Сони, Льва Николаевича уговаривал пожить в Москве для печатания своего романа, а обо мне писал: «На днях была у нас madame Laborde и с нетерпением ожидает Таню, чтобы давать ей уроки, а она, я вижу, и не помышляет даже о своем возвращении.

Я очень рад – пускай живет у вас, умнее будет» (в письме от 18 сентября 1863 г.).

Лев Николаевич писал:

«Я часто мечтаю о том, как иметь в Москве квартиру на Сивцевом Вражке, по зимнему пути прислать обоз и приехать и пожить 3, 4 месяца в своем перенесенном из Ясного мирке с тем же Алексеем, той же няней, тем же самоваром и т. п. – Вы, весь ваш мир, театр, музыка, книги, библиотеки (это главное для меня последнее время) и иногда возбуждающая беседа с новым и умным человеком, вот наши лишения в Ясном. Но лишение, которое в Москве может быть гораздо сильнее всех этих лишений, Это считать каждую копейку, бояться, что у меня неостанет денег на то-то и на то-то, желать что-нибудь бы купить и не мочь и, хуже всего, стыдиться за то, что у меня в доме гадко и беспорядочно. Поэтому до тех пор, пока я не буду в состоянии отложить только для поездки в Москву по крайней мере 6000, до тех пор мечта эта будет мечтою».

Несмотря на это письмо, все же Толстые собирались в

Москву на несколько дней для здоровья Сони, а к тому же родители так упорно вызывали и меня, что и я должна была ехать.

С грустью доживала я последний месяц в Ясной, когда неожиданно получила из Тулы приглашение от Ауэрбах, начальницы гимназии, тетушки Софьи Павловны на трехдневное празднество: бал, спектакль и еще что-то.

Юлия Федоровна Ауэрбах бывала с Софи у нас в Ясной.

Соня, желая развлечь меня после болезни от хандры, которая напала на меня, снабдила меня туалетами и отправила в Тулу к Юлии Федоровне. Побывши у них несколько часов, я вспомнила, что забыла свой мешок с платьем там, где стояли наши лошади, и я поехала за ним. Наталья Петровна, сопровождавшая меня из Ясной в Тулу, встретила меня с радостной улыбкой и со словами:

– Твой-то, твой приехал, говорят, и в Ясную покатыл, а тебя-то нет!

На радостях и сочувствуя мне, она перешла уже со мной на «ты».

– Кто? Когда? – с замиранием сердца спрашивала я.

– Да твой-то – Сергей Николаевич, с охоты-то приехал да в Ясную махнул.

– Правда? Неужели? – допрашивала я, не веря своему счастью. – Наталья Петровна, я с вами поеду, подождите меня, – говорила я.

И я поехала извиниться, что не могу остаться в Туле. Че-

рез два-три часа мы уже подъезжали к Ясной. Я вбежала по лестнице наверх, как была в шубе, и отворила дверь в комнату тетеньки. Сергей Николаевич, Варя и Лиза не ожидали меня видеть и радостными криками встретили меня.

Сергей Николаевич, как сейчас помню, при помощи девочек раскутывал меня из бесконечных платков и косынок. И снова его глаза, с столь знакомым и дорогим мне выражением, близко, близко смотрели на меня, когда он снимал с лица мой вуаль. Все мы, как бывает при радостном свидании, говорили, перебивая друг друга.

Сергей Николаевич затравил сорок четыре лисицы и подарил их Соне.

Лев Николаевич был в духе и рад был видеть брата. Он расспрашивал его про охоту, хозяйство и положение деревень.

Сергей Николаевич приехал на три дня и привез с собой племянниц.

– Вы были уже в Туле? – спросила я.

– Я – нет, но я послал туда своего человека. От него и знают, что я приехал, а я прямо из Пирогова. Я скоро еду за границу и хотел непременно вас видеть до отъезда, – сказал он. – Сколько раз я вспоминал вас на охоте, как бы вы наслаждались травлей лисиц! Вам нужна хорошая, породистая лошадь, а не Белогубка.

– А я люблю свою Белогубку, с ней связано столько дорогих воспоминаний, – сказала я. – А потом, ведь вы знаете,

она могла убить меня или искалечить, но не сделала этого.

И я рассказала ему случай на охоте, как свернулось седло, и как Белогубка, поняв опасность, стояла как вкопанная. Он пришел в ужас.

– И Левочка проскакал мимо? Как это на него похоже! – медленно проговорил он, качая головой.

Сергей Николаевич пробыл в Ясной три дня. Он говорил мне о том, что венчаться надо в Курском имении, и что он, бывши там, об этом думал. Но с семье своей он опять не сказал ни слова, а я не представляла себе ничего затруднительного, так как не знала, что у него было уже трое детей и что Мария Михайловна была в ожидании четвертого.

В последний день перед предстоящей долгой разлукой мы почти не расставались, и его отношения ко мне должны были рассеять все сомнения, если они и существовали у меня.

XX. Праздник Рождества 1863 г.

Как я писала, родители постоянно вызывали нас в Москву: Соню из-за ее здоровья, а меня из-за моего письма, где я писала о предложении Сергея Николаевича. Отец был против этого брака. Он знал про семью Сергея Николаевича и не верил в возможность счастья. Мать, зная мое увлечение, со знавала правоту отца, но мне не высказывала своих мыслей, полагаясь на судьбу и «на волю Божию», как она говорила. И она была права. Все, что говорилось против, огорчало и оскорбляло меня преждевременно. Я писала об этом отцу. И он пишет мне (письмо от 3 декабря 1863 г.):

«...Я часто задумываюсь об тебе. Тебя все любят, и это большой залог к тому, чтобы быть счастливой – и это много утешает меня и успокаивает меня насчет твоей будущности. Мне кажется, что тебе надобно укрощать немного твой слишком живой характер, и вообще не увлекаться, а то придется тебе во многом разочаровываться...»

В этом же письме отец Соне пишет, как он сожалеет, что мы, вопреки своему обещанию, не приехали к его именинам:

«...Что делать, что приятные мечты мои не сбылись, надеюсь, что они осуществляются позднее. Письмо твое, Соня, так же мило, как ты сама. Мне кажется, что я задушу тебя от радости, так хочется мне тебя видеть и твоего Сережу, у которого верно очень умное выражение лица и веселая улыбка;

да и в кого же быть ему иначе?..

Когда же дождусь я этого счастья видеть вас всех у нас в Кремле? Если Таня приедет с madame Ауэрбах, то дайте знать по телеграфу, чтобы мы могли прислать за ней карету: пора тебе, птичка, в клеточку...»

Прочитав про Ауэрбах, я рассердилась:

– Неужели папа думает, что я хоть одним днем выйду из Ясной раньше вас? – говорила я.

– Что ты волнуешься! – говорил Лев Николаевич, – конечно, ты поедешь с нами.

Он, видя мою тревогу, добродушно успокаивал меня, стоя передо мной в своей обычной позе, засунув руки за пояс синей фланелевой блузы – обычный домашний костюм его. В Москве он носил обыкновенное мужское платье. Его портной был француз Шармер – один из лучших.

Мы в Москве.

Толстые приехали на короткое время. Соня советовалась и лечилась у докторов Дейч, Анке и Кох. Они очень помогли ей, и страдания ее прекратились. Она повеселела.

Лев Николаевич посещал библиотеки, по часам просиживая там. Он был оживлен, в духе, и я видела, как ему необходимо было проветриться от болезней, забот и «детской». Я подумала тогда еще: «Только мы, женщины, способны и можем выносить долго эту канитель: пеленок, нянек, приправленных детскими и своими болезнями, как выносила Соня и другие настоящие, хорошие женщины».

Лев Николаевич перевидал друзей своих: Аксакова, Жемчужникова, Григоровича и других. Все они перебивали у него. Приезжал и посланный от Каткова. Не знаю, что было говорено, но думаю, что о романе. Лев Николаевич еще не решил тогда, печатать ли самому, или же отдать в журнал.

На праздники, к моему большому удовольствию, дом оживился приездом близких и родных. Приехал из Польши брат Саша. Гостила у нас кузина Горсткина, рожденная Кузминская, сестра Александра Михайловича. Из приюта отпустили Клавдию, теперь молодую, красивую, и чисто русского типа девушку 18 лет. И совсем неожиданно приехал из Петербурга, сначала отказавшись от приглашения, Кузминский.

– Как хорошо ты сделал, что приехал на праздники к нам, – говорила мама, здороваясь с ним, – и твои обе сестры в Москве.

– Да, да, – перебила я мать, – я так рада, что ты по-прежнему проведешь с нами Рождество! У нас весело будет! – прыгая на шею матери, закричала я.

Мне хотелось как-нибудь излить свой избыток жизни. Чем-то веселым, родным повеяло на меня, и так радостно забилося сердце.

– Ты знаешь, – говорил Кузминский, – мне так надоел Петербург, что я решил провести несколько дней с вами. Я прежде хотел ехать в Воронеж к матери, но потом решил – к вам. Теперь я с сестрами повидеюсь, – говорил он. – Да где же они?

– Сони дома нет, с Лизой уехала, – отвечала я. Софья Михайловна Горсткина была замужем за богатым пензенским помещиком. Она была немного старше Сони и очень дружна с ней. Красивая, живая, веселая, она своими большими черными глазами добродушно, не мудрствуя лукаво, глядела на весь мир, как и мир глядел на нее.

До сих пор не понимаю, где и как помещались все наши гости. Какой необычайно длинный стол накрывался в столовой и что за громадные ростбифы, телятину и горячие блюда носил буфетчик Григорий по внутренней лестнице наверх, весело шагая по ковру через ступень! А камердинер отца, флегматичный Прокофий, с важностью выжидал, пока Федька не принесет ему из кухни соусы и салаты, которыми он должен был обносить стол, чем он, впрочем, не тяготился.

Мне казалось тогда, что всем легко и весело, как и мне самой, и что все служат нам с особенным удовольствием, а особенно мне.

Семнадцатилетний Федька был взят в дом по просьбе своего отца, покровского сторожа Павла, денщика отца. Это был прямо дикий мальчишка.

– Андрей Евстафьевич, – молил Павел, – возьмите Федьку на зиму, пускай поучится служить. Избаловался мальчишка.

И отец, не умея отказывать, взял его в помощь нашим людям.

Его, конечно, тотчас же заметил Лев Николаевич и вступил с ним в разговор.

– Ты грамотный?

– Н-е-т, – протянул Федька.

– Ты бы у Елизаветы Андреевны поучился.

– Ни к чаму, – отвечал, хихикая, Федька с расплывшейся глупой улыбкой, как будто он слышал что-либо смешное и несбыточное.

– А в деревне небось лучше? – спрашивал Лев Николаевич.

Федька молча хихикал. Мне стало досадно.

– Где тебе лучше? Отвечай! – сказал я.

– И тут ничаво, – проговорил Федька, заикаясь. Люди наши полюбили его за его кротость и часто забавлялись его неожиданными лаконическими ответами. Однажды за ужином они спросили его:

– Каков ваш батюшка на селе, хороший?

– За голубям гоняется, – был его ответ. И больше ничего не сказал Федька.

В другой раз был с ним прекомический случай: буфетчик Григорий, он же и выездной, заболел. Лиза и я должны были куда-то ехать, куда не помню теперь, но без лакея нельзя было ехать, по мнению матери. Я протестовала и смеясь сказала:

– Мама, нарядим Федьку и поедem. А мне именно сегодня хочется там быть.

Мама согласилась. Когда мы с Лизой вышли в переднюю, Федька с гордой улыбкой стоял уже готовый. Но, Боже мой,

что это было! Ливрея доходила до пят, шляпа, несмотря на вложенную во внутрь газету, даже может быть и не одну, слезала до ушей.

Я не могла удержаться от смеха, а главное, мне нравился при этом его гордый, довольный вид.

– Федька, голубчик, – говорила я, – как же ты на козлы влезешь? Ведь ты запутаешься.

– Ничаво, влезу, – был его ответ.

Хохол Прокофий, провожавший нас, тихо посмеит вался.

– Ничего, подберется, – говорил он. – Чисто ворона в павлиньих перьях!

Когда мы вышли садиться в коляску, Федька первый полез на козлы, не обращая на нас никакого внимания.

– Куда ты первый лезешь! – закричал Прокофий.

– Оставь его, – сказала Лиза, – пускай уж сядет. Мы остановились у одного магазина на Кузнецком мосту. Я живо выпрыгнула из коляски, Лиза за мной. Федька преспокойно сидел на козлах, пока кучер Афанасьич не научил его слезть с козел и не велел ему стоять у коляски. Когда через несколько минут мы вышли из магазина, Федьки у коляски не оказалось.

– Афанасьич, где же он? – спрашивали мы.

– Да не знаю, не заметил, куда ушел, он сейчас тут был.

Мы стояли с Лизой на тротуаре и караулили, откуда выйдет Федька. Наконец увидали мы, как он, переваливаясь и путаясь в ливрее, выходил из соседних ворот. Прохожие

останавливались, глядя на его комичную фигуру: шляпа уже как-то свернулась и опустилась еще более на уши.

– Федька, где же ты был? – спросил я его.

– Для себе ходил, – отвечал Федька с добродушной улыбкой, влезая на козлы и не обращая на нас никакого внимания.

Кузминский знал, что я невеста Сергея Николаевича; я писала ему об этом. Отношения наши сразу установились. Они были простые и дружеские, как будто каждый из нас решил, что прежняя любовь наша была детская, не имеющая основания требовать постоянства, и что она служит даже поводом к нашим теперешним дружеским отношениям. И мы поверили в это, и нам было легко и просто встречаться.

Однажды он спросил меня, когда и как сделал мне предложение Сергей Николаевич. Я рассказала ему, что мы ходили во флигель выбирать книги, и я передала ему наш разговор, но о падении моем со стула я умолчала.

– А зачем же ждать год? – спросил он.

– Говорят, от молодости лет моих, да и у него много разного дела, как говорили Левочка и сам он. А ты кончаешь Училище этой весной, а потом что? – спросила я, чтобы переменить разговор.

– А потом поеду к себе в имение, займусь хозяйством и поступлю на службу, постараюсь на юге. Я люблю Малороссию.

Он говорил мне это, не глядя в глаза, равнодушным голо-

сом.

«Уедет? И неужели меня это не трогает? Странно, непривычно...» – думала я. «Ведь он теперь мне должен быть совсем, совсем как чужой!»

Ежедневно устраивались у нас какие-нибудь развлечения: театр, вечера, елка и даже катание на тройках.

Лиза как бы проснулась: она была рада мне и нашим гостям. К тому же эту зиму проводила в Москве меньшая сестра Кузминского, бывшая замужем за Эдуардом Яковлевичем Фукс, который был эту зиму назначен прокурором в Москву.

Елена Михайловна была мой большой друг. Большую часть замужней жизни своей мы провели вместе, так как впоследствии судьба свела нас в Петербурге, где мы и прожили около 25 лет и где муж ее был сенатором, а потом членом Государственного Совета. Елена Михайловна была на два года старше меня. Это была женщина высокого роста, изящная, что называется «породистая», как наружностью, так и внутренним содержанием. Одаренная тонким умом и тактом, она, казалось, на лету схватывала то, что другой, может быть, и совсем не понимал. До конца моей жизни я сохранила с ней лучшие отношения.

Узнав о нашем приезде из Ясной и о приезде брата и сестры, она все время принимала участие в нашем общем шумном оживлении. Она очень любила своего брата. Когда она узнала, что я невеста другого, она сказала мне:

– Таня, тебе все равно было бы очень трудно выйти замуж

за Сашу. Моя мать и твои родители, в особенности отец твой, были бы против этого брака. Сколько раз я с моей матерью говорила об этом. Да к тому же вы и двоюродные.

– Леночка, – с грустью сказала я, – отчего же я такая несчастная, что всякий, кто полюбит меня, встречает серьезные препятствия. Вот теперь, как надолго разлучены мы с Сергеем Николаевичем. И мне говорили, что есть разные причины, но какие – я не добьюсь.

– Да ведь у него, кажется, семья? – сказала она.

– Какая семья? У него Гриша и цыганка, говорят, мать Гриши. Он ведь один живет в Пирогове.

– Не знаю, мой друг, – сказала она. – Я только так стороной слышала об этом.

– Если бы ты знала, какой он человек, то поняла бы и оценила его, – сказала я.

Мне не хотелось портить своего счастливого настроения, и я замолчала.

Несмотря на все развлечения наши, я любила, когда мы проводили вечера дома. Толстые еще с нами. Сидим мы в столовой за чайным столом или же в маленькой гостиной, перегороженной комнате матери. Разговоры самые разнообразные: то страшные про сны, спиритизм, привидения, от которых и ночь не уснешь, то более интересные – отвлеченные.

Помню, как кто-то сказал, что на свете самое несправедливое, это – счастье. Лев Николаевич сидел с нами и сказал:

– Счастье людей, как вода в пруду или озере – совершенно

ровно разлито до краев.

Многие возражали ему, что один богат, другой беден, один болен, другой здоров, и посыпались разные сравнения.

– Да, – сказал Лев Николаевич, – это только так кажется. Если подойти к ним ближе, то увидишь другое: у богатого жена больна, дети неудачны, совесть нечиста. У бедного – здоровье, душой спокоен, урожай хороший. Да мало ли что. А в жизни я замечал, что это так, как я говорю. И для счастья нам нужно только слушать наш внутренний голос, и он никогда не обманет нас.

– Нет, обманет, – решительно сказала я. – Ты любишь человека, которого не надо любить – ты несчастлив; ты болен – ты несчастлив; ты сердисься и обижаешь окружающих – ты опять несчастлив. Да много таких примеров, – говорила я.

– Я говорю, – продолжал Лев Николаевич, – надо разобраться прежде всего, что хорошо и что дурно, и в какую сторону идти. А если не разберешься, то и не удивляйся, что будешь несчастлива. Одно можно выработать в себе – это спокойствие и доброту, которых у меня, к сожалению, мало. Мы физически никогда не в нашей власти, но зато нравственно – всегда полная свобода. Но, к сожалению, людей часто стена отделяет от истины!

Эти вечера соединяли нас всех. Даже брат мой, четырнадцатилетний Петя, удивительно милый и симпатичный мальчик, принимал в них участие и с широко раскрытыми черными глазами внимательно слушал слова Льва Николае-

вича.

Эти разговоры обыкновенно прерывались шумным появлением меньших братьев – Степы и Володи – десяти- и одиннадцатилетних мальчиков. Это был час, когда они приходили наверх. В другие часы они занимались или играли с гувернером французом Гюбер. Они бежали прямо ко Льву Николаевичу; он поощрял их появление, и они знали это. Он возился с ними: учил их гимнастике, сажал на плечи, бегал с ними. Тут присоединялись и мы с Петей, и начиналась беготня кругом дома, т. е. скачки. Всем нам давалось вперед против Льва Николаевича, и он все же выигрывал у нас.

Появлялась и няня, Вера Ивановна, с трехлетним Славочкой. Он тоже шел прямо ко Льву Николаевичу и требовал сказки о семи огурцах. Сказка состояла в том, что мальчик съел семь огурцов. Лев Николаевич рассказывал ее с представлением, как все было:

– Первый огурец, – говорил Лев Николаевич тихим голосом и клал в рот будто маленький огурец. – Второй, – говорил он, проделывая то же самое уже громче и более открывая рот, – гам!

И так постепенно продолжалось до седьмого огурца. Голос возвышался и рот открывался все больше и больше, и, дойдя до седьмого огурца, который с трепетом ожидал Славочка, голос прямо ревел, а рот походил уже на открытую пасть – и Вячеслав, махая руками и ногами, в азарте начинал тоже реветь, как Лев Николаевич.

Но скоро вся эта компания шла спать.

Лев Николаевич подходил к роялю и начинал наигрывать трио «С тобой вдвоем коль счастлив я». Я пела первый голос, Клавдия, как я говорила, «привезла с собой чудесный контральто», – второй голос, и Саша. Лев Николаевич подпевал. Затем составлялся хор. За хором следовала самая разнообразная музыка, которая, по обыкновению, кончалась мазуркой, по моей просьбе. Я любила танцевать ее с братом, который научился в Польше танцевать ее по-настоящему.

– Танцуйте все, – кричала я им, – мы будем делать фигуры!

Лев Николаевич так играл, что действительно нельзя было стоять на месте – и танцевали все.

В дверях показывалась Трифонова в чепчике и старомодной мантилье, подарок бабушки Марии Ивановны. Трифонова приходила достать холодный ужин из кладовой, велеть все поставить на стол и приглядеть за всем.

– Степанида Трифонова, здравствуйте, – слышалось со всех сторон.

Все наши родные знали ее, уважали за ее степенность и возили ей подарки. Трифонова была очень светская, умела всякому ответить, дорожила отношениями и умела быть и полезной, и приятной.

– Вам, я думаю, теперь хлопотно, – говорил Лев Николаевич, – нас много наехало.

– Ничего, справимся, – отвечала, добродушно смеясь,

Трифоновна, – лишь бы чаще приезжали к нам – мы так рады вам. Все у нас хорошо, да только здоровье Андрея Евстафьевича плохо стало, – прибавила она.

Мы шли в столовую, где ожидали нас чай и ужин. Мама разливала чай, а отец сидел обыкновенно на другом конце стола на высоком стуле.

– Люба, налей Трифоновне чашку чая, – говорил отец.

– Не беспокойтесь, Андрей Евстафьевич, – отвечала Трифоновна, – я после напьюсь.

– Что там после, садись, садись.

И Трифоновна садилась немного поодаль стола у окошка и пила с нами чай, чем была очень довольна.

К ужину почти всегда кто-нибудь приезжал к нам из театра, зная, что мы дома. И всех-то у нас принимали радушно, хлебосольно, и всем-то было и хорошо и тепло. Должна сказать, что я редко встречала более патриархальный и гостеприимный дом, чем наш, благодаря удивительной простоте и самобытности склада всего дома, происходившего больше от отца. Он никогда не подражал никому и ничему, был совершенно равнодушен к роскоши и к громким именам. Он одинаково относился, как к фотографу греку Кукули, которого подхватил в Александровском саду, гуляя с ним, так и к какому-нибудь Шереметеву. Он любил иметь полный дом, но без роскоши, как я уже писала.

Толстые вскоре уехали, к вашему большому сожалению, а остальные остались до 12 января 1864 г. и провели со мной

мои именины.

Отец пишет Толстым (12 января 1864 г.):

«...Сегодня именины Татьяны Александровны – прошу поздравить ее от меня и извиниться, что прежде не писал. А моя Татьяна завела гитару и бредит цыганскими песнями, а об madame Лаборд и слышать ничего не хочет; вы совсем испортили ее в Ясной.

Подбили мою старуху ехать сегодня в маскарад в ложу, слушать цыган, и сейчас послали за домино, несмотря на то, что уже 11 часов ночи. Народ бедовой, эмансипация настоящая. Хуже поляков».

Я часто впоследствии вспоминала свою мать. С каким терпением и любовью она выносила все, что касалось нас, а ей это было трудно с больным мужем. Мать понимала, что для меня это время было и будет незабвенно.

Это была моя последняя счастливо проведенная зима в Кремле с веселым праздником Рождества. Я писала Поливанову [13 октября 1862 г.]:

«Не завидую вам, что вы живете прошедшим, предмет, а я так себе, настоящим наживаюсь. Верно, мне лучше этих лет и вообще этого время никогда не будет. Я сама это чувствую... Я вам всегда писать буду, если горе и веселое будет, я вам все чертить буду; верно, вы хоть и далеко от нас, а все-таки все понимать и во все вникать будете».

XXI. Письма толстых

Прошла неделя с тех пор, как все разъехались. В доме тишина. Вечер. Мне тоскливо. Тишина упნетает меня. Я одна иду бродить по всему дому.

Мама с папа в кабинете. Здоровье отца плохо. Лиза делает английский перевод.

«Счастливая, – думаю, – всегда занята, не то, что я».

Я обхожу всех. Мальчики внизу с гувернером Гю-бер играют в шахматы. Иду дальше. Слышу разговор в девичьей. Прасковья и Федора о чем-то смеялись, но, увидав меня, переглянулись и замолчали. Мне обидно: я хочу в чем-то участвовать с ними, хочу знать, чем они живут, и что-нибудь услышать от них.

– Федора, тебе хорошо на свете живется? – спрашиваю я. Одиночество навело на меня философские мысли. Федора смеется:

– Ничаво, хорошо, – отвечает она.

– Что ты, дура, смеешься, ты скажи барышне, о чем радуешься, – сказала Прасковья.

– Что, скажи? – спрашиваю я Прасковью.

– Да сегодня к Степаниде Трифоновне сватов засылали из Покровского. Значит, жениха нашей Федоре сватают.

– Кого же? – с удивлением спросила я.

– Да того сторожа, что на Химке у купален живет, – от-

вечала Прасковья. – Да чего ты, дура, все смеешься. Ты расскажи сама-то, – обратилась она к Федоре.

Но Федора продолжала молчать и улыбаться.

– Ну, а как же дело со сватами было, и сколько их приехало? – спросила я.

– Да двое – родственники жениховы. Мать женихова их присылала. Мужики хорошие, степенные, – говорила Прасковья.

– Ну и что же они? – спрашивала я.

– Мы Федору-то принарядили и сватам показали. Чаем их напоили у Степаниды Трифоновны в комнате. Ну и ничего, кажись, она им пондравилась.

– Что ж вы меня не позвали? – полушутя спросила я.

– Ну что ж девку-то конфузить! На людях-то и сватам не разобратся, – говорила Прасковья.

– Федорушка, ну, а как же ты решила? – спросила я.

– Да надуть у Любовь Александровне спросить, как они скажут, – отвечала она, краснея.

– Да ведь ты теперь вольная, Федора, – сказала я.

– Ничего, пушай спросит, – вмешалась Прасковья, – Любовь Александровна ей за мать были.

– Мама, наверное, благословит тебя, если ты этого хочешь, – сказала я.

Но Федора так и не сказала ни своего мнения о женихе, ни о СВОИХ чувствах, а только застенчиво посмеивалась и краснела.

«Как у них все это просто и хорошо, никаких ухаживаний, никаких влюблений. Все ясно. И к чему это ожидание год», — невольно применяя к себе разговор с Федорой, думала я.

Через несколько дней мы получили первое письмо от Толстых. Приведу отрывок из письма (от 16 декабря 1863 г.) Сонм к родителям и приписку Льва Николаевича:

«...От поездки в Москву осталось очень приятное, хорошее впечатление, если б не болезнь папа. Непременно за границу надо. Когда вспомню Кремль, мне представляется огромная шумная картина, много лиц, всё любимых, длинный стол, светло, и одно лицо за другим с такими различными и славными выражениями. А у нас тихо, пусто, мирно. И я так привыкла к этой жизни, что уже забыла свою прежнюю кремлевскую жизнь с этой обстановкой, которая теперь оставила во мне такое впечатление. Все еще мне слышится голос мама из саней, когда вы нас провожали, и так я вас всех беспрестанно вижу и слышу. Что-то вы все теперь? Так ли у вас, как было при нас? Должно быть и Соня Горсткина уехала. А если нет, то поцелуйте ее от меня крепко. Я ее еще больше полюбила последнее время. Так мы с ней во многом сошлись. Лиза была как-то особенно мила и весела. Я ее такой никогда не видала. Поцелуйте от меня Таню, тоже особенно. Без нее не то в Ясной Поляне. Так стало тихо, пусто. Не с кем *ma tante'*⁹⁴ в безик играть. И они скучают. Вот весной, Бог даст, опять ее увезем. Я ей напишу скоро. Ска-

⁹⁴ тетушкам (фр.)

жите ей, что я очень всегда люблю и что я ей неизменный друг. Слышишь, Танечка?..»

Дальше Соня спрашивает совета о маленьком Сереже.

Приписка Льва Николаевича:

«Я так доволен своей аккуратностью в сроке пребывания в Москве, что намерен во всем быть аккуратен и писать вам так же аккуратно, как М. А. Нынче хоть поздно, но приписываю только подтверждение *всего*, что пишет Соня. Только с Горсткиной мы не сошлись в том, что нужно мужей ревновать, зато сошлись в том, что она прелесть какая милая».

Через несколько времени я получила полушуточное и полусерьезное письмо от Льва Николаевича.

«Mademoiselle!

Aimer ou avoir aime cela suffit!..Ne demandez rien ensiute. On n'a pas d'autre perle a trouver dans les plis tenebreux de la vie. Aimer est un accomplissement⁹⁵.

Вы взиграйте, гусли мысли,

Я вам песенку спою.

La jeune fille n'est qu'une lueur de reve et n'est pas encore une statue⁹⁶.

Кабыла і... паганец.

В центре земли находится камень алатырь, в

⁹⁵ Любить или испытывать любовь – достаточно. Ничего больше не требуйте. Нельзя найти другой жемчужины в мрачных складках жизни. Любить – это верх совершенства (фр.)

⁹⁶ Молодая девушка – только сияние мечты, но пока еще не статуя (фр.).

центре человека находится пупок. Как непостижимы пути Провидения! О, младшая сестра жены своего мужа! В центре его иногда еще находятся предметы. Все предметы подлежат закону тяготения в обратном отношении квадратов расстояний. Но допустим противное. Наталья Петровна не может есть ботвины. Лошадь возвращается к своему стойлу. Игра случайностей преследует сына праха. Возьми и неси его выше».

Дальше идет шутливое описание нашей поездки весной с братом и cousin Кузминским:

«Я видел сон: ехали в мальпосте два голубя, один голубь пел, другой был одет в польском костюме, третий, не столько голубь, сколько офицер, курил папиросы. Из папиросы выходил не дым, а масло, и масло это было любовь. В доме жили две другие птицы; у них не было крыльев, а был пузырь; на пузыре был только один пупок, в пупке была рыба из охотного ряда. В охотном ряду Купфершмит⁹⁷ играл на валторне, и Катерина Егоровна⁹⁸ хотела обнять его и не могла. У ней было на голове надето 500 целковых жалованья и рез⁹⁹ из телячьих ножек. Они не могли выскочить, и это очень огорчало меня. Таня, милый друг мой, ты молода, ты красива, ты одарена и мила. Береги себя и свое сердце. Раз отданное сердце нельзя уж взять назад, и след остается

⁹⁷ Первая скрипка в театре, товарищ по охоте отца.

⁹⁸ Моя немка-учительница.

⁹⁹ Шелковая, модная сетка на волосах.

навсегда в измученном сердце. Помни слова Катерины Егоровны: в шманткухен¹⁰⁰ *не надо никогда подливать кислой сметаны*. Я знаю, что артистические требования твоей богатой природы не таковы, как требования обыкновенной девушки твоих лет; но, Таня, я, как опытный человек, любящий тебя не по одному родству, говорю тебе всю правду. Таня, вспомни M-me Laborde, и у нее ноги слишком толсты по туловищу, что, с некоторым вниманием, ты можешь всегда заметить, когда она на сцене выходит в панталонах. Жизнь переделает многое. Извини меня, милая Таня, что я даю тебе советы и стараюсь развивать твой ум и твои высшие способности. Ежели я позволяю себе это, то только потому, что искренно люблю тебя.

Твой брат Лев».

Письмо это, чушь, перемешанная с серьезными советами, – мне было понятно.

Отец писал и говорил Льву Николаевичу, чтобы он почитал мне мораль, и что я его одного слушаюсь. Я, прочитав это в письме, сказала Льву Николаевичу:

– Терпеть не могу этих моралей из «Зеркала добродетели»¹⁰¹ и не буду их слушать.

Лев Николаевич в своих письмах упоминает об этой книге. К сожалению, большинство писем нешуточных пропало.

¹⁰⁰ Род пирожного.

¹⁰¹ Это книга с рассказами о всевозможных шалостях и дурных поступках, а в конце всякого рассказа была пущена «мораль».

Их пересылали по просьбе брата в Польшу, где он служил.

Я писала Соне и Льву Николаевичу, что хандрю и не знаю, кому верить и чему верить, что папа, хотя и осторожно, дает мне чувствовать, что этот брак ведет за собою препятствия, почти непреодолимые, а что Сергей Николаевич мне ни разу не писал об этом.

Лев Николаевич пишет мне (приписка в письме С. А. Толстой от 20 февраля 1864 г.):

«Да, будь умна, милая Таня. Ей Богу, лучше. Чему быть, тому не миновать. Жизнь устраивает всё по-своему, а не по-нашему, и на это не надо сердиться и ждать терпеливо, умно и честно. Иногда думаешь, что жизнь устраивает противно твоим желаниям, а выходит, что она делает то же самое, только по-своему. Всё это к тому, что дурацкой проигрыш всегда сильно действует и переменяет и возбуждает человека. Я по опыту знаю. Ежели он теперь поедет за границу, чего я очень желаю, то там он вполне опомнится, и там, что скажет и решит, то будет правда. Когда ты увидишь Сережу – ежели увидишь – возьми с него слово написать тебе из-за границы. И что он оттуда напишет, тому верь. А впрочем, главное, будь умна и не увлекайся романтизмом. У тебя целая жизнь впереди и жизнь, обещающая много счастья. Прощай».

Такие письма поддерживали меня нравственно. Наступил самый скучный для меня месяц – февраль. Но все же я не унывала и старалась полезно проводить свое время: училась музыке, пению, брала уроки английского языка и много чи-

тала. Но когда запахло весной, приближалась святая, любимая моя неделя, меня потянуло в Ясную.

XXII. Весна

– Мама, когда же вы меня пустите в Ясную? Я немогу больше оставаться в Москве, я все пропущу: и прилет птиц, и как оденутся «Чепыж», «Заказ» и ясенские липы в саду, – говорила я, чуть не плача.

– Подожди еще: снег в овражках лежит, – говорила мама. – Ведь только еще начало апреля. Куда торопиться. Опять же и Саша приедет. Он хочет с тобой ехать.

– Мне скучно, меня душит Москва, я в Ясную хочу продолжала я, чуть не плача. – Я Соню хочу.

– Ты блажишь, и это нехорошо. Опять же ты невеста, и тебе неловко торопиться в Ясную.

– Почему? Очень мне нужно! Ведь он за границей. Меня Левочка и Соня еще в марте уговаривали ехать в Ясную.

– Мало ли что уговаривали, – продолжала мама. – Тебе будет неловко перед людьми, что ты торопишься к его возвращению в Ясную, тебя же осудят.

Мне вдруг показалось обидным, что я чего-то жду, что я должна считаться с какими-то приличиями невесты, а он свободен (как мне тогда казалось) и живет за границей. Меня угнетала мысль, что я пропускаю расцвет весны, из-за чего? Я совсем и не еду в Ясную из-за того, чтобы его видеть, да его и нет! – говорила я себе.

– Мама, – вдруг решительно, раскрасневшись от волне-

ния, сказала я, – я презираю этот ложный стыд, про который вы говорите мне.

– Напрасно, это не ложный стыд, это приличие, это известная скромность молодой девушки.

– Нет, нет, – кричу я, – это не скромность, это приторное притворство! А я не хочу его!

16-е апреля 1864 г. Я с братом в Ясной. Брат отпущен ненадолго. Дорогой он говорил мне, что отец переводит его в гвардию, что польская глушь и чуждая ему сфера тяготят его.

– Хотя есть в полку хорошие товарищи, с которыми жаль будет расстаться, – прибавлял он.

Лев Николаевич встретил нас в Туле. Он здоров, весел, мил и бодр, чему я была рада. Соня писала, что он хандрит и кашляет, и я боялась его встретить хворым.

Нас ожидают катки тройкой. Тот же Индюшкин с подслеповатыми глазами и доброй улыбкой, тот же Барабан в корню, с шлеею, подвязанной веревочкой, и милая Белогубка и Стрелка на пристяжке.

О, как радостно забилося мое сердце при виде всего этого!

В Ясной все то же. Тетенька встречает меня словами:

– Notre chere Таня nous revient avec les hiron-delles¹⁰².

– Наша-то, наша приехала! – кричит Наталья Петровна, обнимая и целуя меня.

Соня здорова, весела, и опять у меня с ней бесконечные

¹⁰² Наша милая Таня возвращается к нам с ласточками (фр.)

беседы.

– Таня, ты просила меня устроить тебя одну внизу в маленькой комнате, – говорила Соня. – Я приготовила тебе, пойдём смотреть. Без твоей просьбы я бы не решилась поместить тебя в такую комнатку.

– Ты знаешь, мне совестно и кажется, что я стесню вас, с прибавлением вашего семейства, – сказала я.

– Какие пустяки ты говоришь! – воскликнул Лев Николаевич. – Ты нас никогда ничем не стеснишь. А потом ты думаешь, ты даром живешь у нас – я тебя всю записываю, – сказал он, смеясь, полушутя, полусерьезно.

Соня повела меня вниз. Я не узнала этой комнатки в одно окно. Пол был обит сукном. Постель, туалет, все было белое, прозрачное с розовыми лентами. Драпировки, стены – все белое. Я была очень довольна.

– А рядом с тобой будет детская с Марьей Афанасьевной, Сережей и девочкой Таней, которую я ожидаю в октябре, – сказала Соня.

Тяга вальдшнепов была во всем разгаре, и в тот же вечер Лев Николаевич и мы все поехали на тягу.

Мы остановились недалеко от пчельника в молодом лесу. Все заняли свои места. Рыжий сеттер Дора, еще щенком подаренный Льву Николаевичу моим отцом, теперь красивая, большая собака, лежал у ног Льва Николаевича.

Тишина была полная. Даже Соня, не умеющая сидеть без дела, находя себе всегда какое-нибудь занятие даже в лесу,

притихла.

При приближении вальдшнепов с их характерным хорканьем и свистом – все замирало.

Дора, наострив уши, сидя на задних лапах, вся превращалась в слух. Быстро, как бы раскачиваясь на лету, пролетали парами и по одному вальдшнепы. Слышался взвод курков, раздавались выстрелы... Но не знаю, к счастью или к несчастью, но выстрелы были редко удачны.

Я раньше бывала в этом лесу, но теперь не узнала бы его. Так красив был его весенний пушистый наряд при закате солнца. Вдали кричали зайцы, и слышалось фыркание наших лошадей.

– Таня! – окликнул меня Лев Николаевич. – Каков вечер, а запахи какие? Лучше твоих «Violettes de Parme»¹⁰³.

– Да, да, прелесть, – восторженно отвечала я. – А ты не знаешь, что я испытываю – какой рай после городской пыли, духоты и треска мостовой.

Я в первый раз видела весну в деревне. Она трогала меня. Эта весна действительно была такая, какую описал много позднее Лев Николаевич в романе «Анна Каренина».

«Прекрасная, дружная, без ожидания и обманов весны, одна из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди».

Что можно прибавить к этому описанию?

Брат Саша говорил Льву Николаевичу, что утренняя тяга

¹⁰³ «Пармские фиалки» (фр.) – духи.

не так хороша, как вечерняя. Это взволновало отца, и он писал Льву Николаевичу (3 мая 1864 г.):

«...Я все еще не насытюсь рассказами Саши, но впрочем он тюлень, от него не скоро добьешься подробных описаний всех происшествий – подавно охотничьих. Между прочим, разговаривая об тяге вальдшнепов, я вижу, что он наврал тебе чепуху, да еще меня тут припутал; он уверял тебя, что в утреннюю тягу вальдшнеп не кричит. Вальдшнеп тянет почти во всю ночь, но среди ночи реже, чем на зорях. В утреннюю зорю он начинает тянуть перед рассветом и тянет до восхождения солнца – кричит все равно, как вечером, а летит тише и плавнее. Слышно его далеко, но они так рано начинают тянуть, что не всякого разглядишь.

Бывало, я всегда становился лицом к востоку, чтобы его виднее было, и не раз случалось мне убивать вальдшнепа и не видеть, куда он упал. Иногда приносила собака, а большею частью я поднимал их тогда, когда кончалась тяга и я сходил уже с места.

Утренняя тяга восхитительна и часто бывает гораздо лучше вечерней. Мы, бывало, в мае придем с вечерней тяги, напьемся чаю, поужинаем, приляжем, поболтаем, иногда и немного заснем, а глядишь, уж пора идти; в мае выходили мы из избы в половине второго и не позднее двух часов, подавно, если это было еще в первых числах мая. Обыкновенно с утренней тяги ходил я в лес за рябчиками на манку¹⁰⁴

¹⁰⁴ Дудочка, приманка самок – подражание тетереву.

или с подходу за тетеревами, которых подчуфыковал.

Блаженные и незабвенные времена! Выше удовольствия в жизни я не ощущал, как те, которые доставляла мне охота, не как промышленнику, но как обожателю природы и наблюдателю того, что в ней таится.

После этого вообрази, как бы я счастлив был, если б мог вместе с тобою, в твоём обществе насладиться этим удовольствием. Не люблю я этого гама и шума, неизбежных атрибутов охоты с гончими и борзыми; для меня не в пример приятнее тишина и неторопливость, неизбежные при ружейной охоте. С доброй собакой и ружьем на плече и одному скучно не бывает. Не поленись, сходи когда-нибудь на утреннюю тягу, но возьми с собой провожатого без ружья, который бы стоял около тебя и принес бы тебе вальдшнепа, которого бы удалось тебе убить, да и всегда не лишнее иметь при себе ночью в лесу надежного товарища; пожалуй набредешь и на волка, а он как раз стащит собаку, подавно, если она далеко отбежит. Мы, бывало, всегда опасались этой встречи и ночью держали собаку около себя, а молодых держали на сворке...»

Прочитав это письмо, Лев Николаевич сказал:

– Так может писать только настоящий охотник, понимающий и любящий природу.

Я была горда за отца. «Это справедливо», – думала я.

Помнится мне один случай, происшедший с нами. Виною его была я.

Мы ехали на тягу в катках тройкой. Нас было шесть чело-

век, из них двое гостей, приехавших из Тулы: Келлер и Мичурин – учитель музыки. Мичурин часто бывал у нас, играл со Львом Николаевичем в четыре руки, а впоследствии давал детям уроки музыки.

На этот раз решили ехать на тягу за реку, через большой лес. Местоположение было дивное, и новизна места веселила меня. Я ехала вместо кучера, как это вошло в обыкновение. Уроки Сергея Николаевича послужили мне впрок.

Тяга была из удачных. Мы замешкались. Я нашла упавшее гнездышко с яичками и занялась им. Одна Соня торопила нас домой. Мы и не заметили, как быстро стемнело, и набежала большая тучка.

– Таня, темно, довезешь ли нас? – спросил Лев Николаевич.

– Довезу. Я хорошо вижу.

– Ну, да я только потому и оставляю тебя, что сам вижу очень плохо.

Не могу сказать, что я без страха садилась на козлы, но я стыдилась признаться в этом и храбрилась.

Плотину через реку Воронку мы проехали благополучно, хотя молодая пристяжная, наострив уши от шума воды, как раз на мосту налегла на коренника. Вспомнив, что делал в таких случаях Индюшкин, я слегка хлестнула пристяжную. Усердный старик Барабан навел порядок и вывез нас благополучно к самому лесу.

«Теперь самое трудное, – думала я, – это темный лес».

Поднялся ветер, который смутил меня. Мы въехали в самый лес. Сначала в темноте я ничего не разбирала. Надеюсь на лошадей, я пустила их свободно.

– Таня, ты видишь что-нибудь? – с тревогой спросил Лев Николаевич.

– Ничего, вижу, – нехотя отвечала я.

Дорога лесом шла с версту. Весенняя грязь – топкий суглинок с глубокими неровными колеями и буграми то и дело затягивал колеса и шатал нас из стороны в сторону.

Накрапывал дождь, сверкнула молния. Глаза мои привыкли немного к темноте, и я уже разбирала дорогу. Мы ехали шагом, и одна моя забота была не зацепить за суки деревьев пристяжную и колесом за пень.

«Господи! пронеси нас», – тихонько молилась я.

Этот путь казался мне бесконечным. Но вот мы миновали лес и въезжали на довольно широкую дорогу, ведущую мимо гумна.

«Дома, дома!» – весело думала я и пустила лошадей мелкой рысцой.

– Ай да кучер! – сказал Лев Николаевич, – довез нас.

Не успел он похвалить меня, как передние колеса линейки наехали на что-то высокое, не понятное ни мне, ни другим. Катки сильно накренились набок, и я первая слетела с узких маленьких козел, выпустив из рук вожжи, за что и срамили меня в продолжение двух лет после этого случая. Да я и до сих пор не могу забыть этого позора, что я выпустила вож-

жи из рук. Лошади, почуя свободу, понесли в конюшню. Лев Николаевич выпрыгнул вслед за мной. Лошади мчались зигзагами. Все мужчины с заряженными ружьями попадали по очереди. Оставалась на линейке одна лишь тяжелая длинная подушка и на ней Соня. Лев Николаевич бежал за катками и кричал отчаянным голосом:

– Соня, Соня! сиди, не прыгай!

Но и Соня не могла усидеть. Ее тянула за собой длинная тяжелая подушка. Она свалила Соню как раз около канавы яблочного сада.

Услышав топот лошадей и крики, оба кучера уже стояли у дверей конюшни и остановили лошадей.

Соня отделалась лишь испугом. Мы, конечно, боялись только за нее, но дурных последствий не было. Всех нас интересовало, что именно лежало на дороге. Оказалось, что один из рабочих в то время, как мы были на тяге, намел на самую середину дороги не то мусор, не то сучья, грязь в одну кучу; в темноте ее невозможно было разобрать.

Страшно подумать, что могло бы быть! Все ружья были заряжены. Но даже гнездышко с яичками в целости поднес мне Келлер. Об этом происшествии есть в письме отца к Толстым (от 8 июня 1864 г.). Привожу часть письма, относящуюся ко Льву Николаевичу:

«Что это ты беспокоишься, моя голубушка, насчет приливов крови, которые, по твоим словам, делаются у твоего мужа. Судя по шуму в ушах и по сонливости, которая иногда

находит на него, я приписываю это просто задержанной испарине, – он верно всякий день выходит босой или вообще не одетый на воздух, по давню по утрам, и остужает испарину ног, а пожалуй, и мочит их. Наблюдай за ним, чтобы он этого не делал, да не давай ему пить водку и пиво, которых он, вероятно, и не пьет. Вся эта дрянь может только еще более возбуждать его нервную систему, которая и так уже находится всегда в излишне деятельном положении.

Я знаю его натуру и знаю, что голова его беспрерывно работает, а ей следовало бы побольше отдыха и отсутствия всего возбуждающего, столько же в нравственном, как и в материальном отношении. Хорошо ли он спит, – я замечал, что сон для него был всегда полезен. Сколько я вижу, он и хозяйственными делами не умеет заниматься чисто материально, – он везде действует *con-amore*¹⁰⁵ и везде хочет, как немцы говорят, *durchsetzen*¹⁰⁶.

А что, дружище, получил ли ты дробовницу, которую я послал тебе с Офросимовым в квартиру Карновича; и годится ли она тебе? А об деньгах, пожалуйста, не беспокойся – нужно будет, скажу и никак не поставлю тебя в то положение, чтобы ты стал их искать или продавать что-нибудь не в свое время. Я всегда имею возможность скорее тебя добыть себе здесь в Москве какие-нибудь 500 р. А вот что, я бы тебя по-охотничьи постегал арапальником: как же мож-

¹⁰⁵ с любовью, с увлечением (ит.)

¹⁰⁶ сделать по-своему (нем.)

но возвращаться ночью домой и поручать вожжи Тане? Просто страшно было читать, что пишет нам Таня. Авось, вперед не случится с вами подобной беды. Таню винить нельзя – она глупая девочка, которая ничего не понимает, а что же ты смотришь? Не взыщи за откровенную и сердечную побранку; я ужасный трус на все эти приключения, сам бывал в этих переделах и в семействе своем имел также несколько примеров. Отец сломал ногу, а брат руку, а вы рисковали еще больше...»

По утрам Лев Николаевич по-прежнему продолжал свои занятия. Я спросила его:

– А ты пишешь? Ты так часто на охоту ездешь!

– Меня тянет и туда, и сюда. Надо уметь распределять свое время, а я часто увлекаюсь и отступаю от правил. Вот ты опять за свои подлые романы взялась и читаешь их, – прибавил он шутя.

– А ты напиши не подлый, так я буду его читать, а ваших серьезных книг я не могу терпеть, – обиженно сказала я.

Он так весело засмеялся моему ответу, что обида моя прошла.

– Нет, серьезно, когда ты думаешь печатать его?

– Думаю зимой, – отвечал он.

– Да ведь для этого надо в Москву ехать, – сказала я.

– Конечно, так что же, мы и поедем.

Этот разговор остался у меня в памяти. Он указал мне всю несостоятельность наших планов и вообще темное будущее,

скрытое от нас.

XXIII. Комедия Льва Николаевича

В начале мая 1864 г. к нам съехались гости: семья Дьяковых и Мария Николаевна с дочерьми. Великая была наша радость видеть самых близких друзей.

Семья Дьяковых состояла, как я уже писала, из мужа, жены и дочери 13–14 лет. При дочери жила не то гувернантка, не то подруга лет 20–22 – Софья Робертовна Войткевич, бывшая институтка. Дмитрий Алексеевич говорил про нее:

– Софеш, – так называли ее, – живет у нас для примера Маше, чтобы Маша делала как раз все обратное Софеше.

Но говорил он это добродушно, шутя и не обидно. Дарья Александровна, Долли, как ее звали, была женщина лет 34–35. Высокая, изящная, очень спокойного характера, с медленными движениями, болезненная и удивительно добрая. Отец и мать до обожания любили дочь. Белокурая, с золотистым оттенком волос, она походила на отца, а сложением и изяществом напоминала мать.

Разместились мы все, не помню как, но знаю, что весь флигель превратился в жилой дом, и что я перешла к ним, чтобы не расставаться с девочками.

Дмитрий Алексеевич уехал обратно на сельские работы и обещал приехать через неделю.

Чего только не придумывали мы с Соней, чтобы веселить наших милых гостей!

Лев Николаевич добродушно относился ко всем нашим затеям. Однажды, глядя на представление нашей шарады, он оказал:

– Отчего вы не разучите какую-нибудь маленькую пьесу?

– Да где мы ее возьмем, а выписывать некогда, – говорила

Соня.

– Напиши ты нам, – сказала я. Несколько голосов подхватили:

– Да, да, Лев Николаевич, дядя Левочка, – кричали все. – Напишите нам!

– Хорошо, попробую, – сказал он.

Через три дня он принес нам написанную комедию «Нигилист», не помню, кажется, в одном действии. Мы разобрали роли и стали разучивать.

В те времена «нигилизм» только что стал проявлять себя. Повесть Тургенева «Отцы и дети» наделала много шума. Нигилизм, как плохая трава, размножался и пускал корни.

В этой комедии ярко очерчен взгляд Льва Николаевича на это новое веяние.

Сюжет пьесы состоит в том, что молодые влюбленные супруги живут очень тихо, уединенно в деревне. Неожиданно приезжают к ним гостить теща, кузины, молодые девушки и студент с идеями.

Начинается шумная, веселая жизнь. Суматоха выбивает супругов из их обычной колеи. Сначала молодые супруги очень довольны и веселы. Но мужу начинает не нравиться

студент, который при всяком удобном случае проповедует свои идеи – отрицает все, во что принято верить. Он молод, красив, развязан, и одна из молодых кузин увлекается его красноречием и влюбляется в него. Мужу кажется, что жена его тоже увлекается студентом. Он ревнует ее, и их мирная жизнь нарушается сценами ревности. Жена, чувствуя себя ни в чем не виноватой, приходит в отчаяние и негодование.

К сожалению, у нас никого не было на мужские роли, а выписывать кого-либо было поздно. Сестра Соня приняла на себя роль мужа, а Лиза Толстая – роль студента. Роль жены дали мне. Софеш – теща, а Варенька и Маша – две кузины.

Когда Марию Николаевну просили участвовать в комедии, она отказалась, но Лев Николаевич сказал ей:

– Машенька, ведь мне же необходима странница, как же быть? Кроме тебя, никто не сыграет.

– Ну, хорошо, – сказала Мария Николаевна. – Я согласна, но ты не пиши мне роли, я ее никогда не выучу. Ты мне наметь только выходы, а я уж сама придумаю, что говорить.

Так Лев Николаевич и сделал.

Много приготовлений и веселых репетиций было у нас в течение этой недели. Льва Николаевича очень забавляли репетиции. Он переправлял многое, смеялся, учил девочек, как играть.

Эта комедия была первая его попытка написать что-либо для сцены.

Я помню, он говорил:

– Как приятно писать для сцены! Слова на крыльях летят!

На репетициях Мария Николаевна не участвовала, а только внимательно следила за нашей игрой.

Мы устроили сцену в столовой. Столовую перенесли на два дня вниз. Приехал из деревни Дмитрий Алексеевич. Вообще, публики набралось довольно много в назначенный день спектакля.

Как страшно было, как билось сердце, когда после второго звонка отдернули занавес!

Первая сцена изображала приезд гостей, суматоху и радость. Затем было несколько сцен студента с кузинами, красноречивая проповедь нигилизма, со смелым, циничным ухаживанием за одной из кузин. Такой же разговор и с тещей. Ее недоумение и легкое осуждение. Потом шла сцена ревности мужа с женой. Затем представлен накрытый чайный стол. Я одна сижу у стола в слезах, жалуясь на свое горе, – несправедливость и ревность мужа. Открывается дверь, и входит Мария Николаевна.

Я не репетировала с ней и не видала ее одетой и загримированной странницей. Если бы я не знала, что это Мария Николаевна, я бы не узнала ее. Одежда, прим, походка, котомка за спиной – все было точь-в-точь, как у настоящей странницы. Одни черные большие глаза были ее. Как она поклонилась с палкой в руке вроде посоха, как она подала мне прошивку и села, по моему приглашению, за стол – все было как настоящее, непринужденное, не сыгранное. Я взглянула на

Льва Николаевича. Он положительно сиял от удовольствия.

Я спросила странницу, откуда она пришла, что видела. Странница сразу начала свое повествование, причем прихлебывала чай, откусывала сахар как-то совсем особенно, не спеша, как бы оценивая каждый глоток и каждый кусочек сахара. Вообще Мария Николаевна играла свою роль не только словами, но и мимикой и всем своим существом. Она рассказывала о своем странствовании, о своем сне, как птица, слетевшая с небес, заклевала лягушку, и что птица эта была мать-игуменья, она заклевала врага своего, что мутил ее. А враг был батюшка из соседней церкви.

Мария Николаевна взяла такую верную интонацию, такие верные ужимки, что, невольно, слыша в публике неудержимый смех, а в особенности заразительный смех Льва Николаевича, я не могла оставаться печальной и, закрыв лицо платком, чтобы по крайней мере не видеть странницы, притворилась, что утираю слезы умиления от ее рассказов, а сама тряслась от смеха, уткнувшись в платок.

Казалось, что все, что слышала Мария Николаевна в течение многих лет от странниц, она все ввела в свой рассказ. Все слилось в одно длинное, комическое и верное повествование: как из щечки Богородицы денно и ночью сочилось миро; как монах, за то, что полюбил девку Гашку, языка лишился.

Когда я ушла и странница осталась одна, она стала поспешно собирать со стола кусочки сахара, остатки баранок,

хлеба, и, оглядываясь на дверь, поспешно клала все это в свою котомку. Эта безмолвная сцена была великолепна и вызвала громкий смех и аплодисменты.

Дверь отворилась и вошел студент. Как только он получал кого-нибудь слушателем, он начинал свою проповедь. Так было и со странницей.

Надо сказать, что самое удачное и яркое в этой комедии были проповеди студента и странницы (к сожалению, я не могу передать их слова).

Обыкновенно проповедь начиналась со слов о правах женщины: как женщина должна приравнять себя к мужчине и прежде всего остричь свои длинные косы.

– Что ты, что ты, батюшка, Христос с тобой! У нас девкам-то косы за плохое поведение стригут, а ты хочешь так себе ни в чем не повинных осрамить! Нет, этого никак нельзя, – качая головой, говорила странница.

Но студент не унимался, он отвергал почтение к родителям, богомольство называл пустым шляньем. Странница с ужасом слушала его. Но когда дело дошло до сравнения Бога с воздухом – кислородом, странница в испуге, забрав свою котомку, крестясь и отплевываясь, как от нечистой силы, убежала от него.

Тут раздались аплодисменты и неудержимый хохот.

В конце концов странница благотворно действует на семью. Следующая сцена – муж мирится с женой.

Соня была неузнаваема в широком парусиновом пальто;

трудно было лишь справиться с ее густыми волосами. Она отлично играла роль мужа, да и вообще у нее все роли всегда выходили хорошо.

Пьеса кончается благополучно: студента с идеями выпроваживают; влюбленная кузина утешается. Пьеса кончается пением куплетов, которые поет жена на мотив романса Глинки – «Я вас люблю, хоть я бешусь». Помню лишь последний куплет:

Я постараюсь все забыть,
Простить, что было между нами,
Я занята одними вами,
Могу лишь вас одних любить.

Когда я на репетиции спросила Льва Николаевича:

– Ведь мы помирились, зачем же мы на «вы»? Он ответил мне:

– Ничего, пой так, не вышло иначе.

И подумать только, что никто из нас не записал этой комедии! Переписанные роли были брошены, как ненужная бумага. Так мало придавалось значения в те годы тому, что писал Лев Николаевич. Да и жилось тогда не будущим, а настоящим – молодым и эгоистичным.

Эта маленькая комедия дала мысль Льву Николаевичу написать пьесу для настоящей сцены. И он написал и повез ее в Москву. Знаю, что у Льва Николаевича было страстное желание поставить ее на сцену немедленно. Называлась эта пьеса

«Зараженное семейство».

Я никогда не читала ее.

Несмотря на все хлопоты, поставить ее в казенном театре Льву Николаевичу не удалось. Препятствий было много: цензура, пост, мало обработана и т. д.

Лев Николаевич читал ее в Москве Жемчужникову и Островскому. Островский одобрил ее, но сказал, что «мало действия, что надо ее обработать». Лев Николаевич выразил сожаление, что ее нельзя поставить тотчас же, так как интерес был, по его мнению, современный, на что Островский ответил ему полушутя:

– Ты боишься, что в один год поумнеют?

Лев Николаевич впоследствии охладел к этой комедии и не переправлял ее.

Соня с трудом собрала потом листки этой комедии, переписанные разными лицами.

Да к тому же А. А. Фет в своих письмах отсоветовал Льву Николаевичу писать в драматической форме.

Отец, узнав, что Лев Николаевич пишет комедию для настоящего театра, был в восторге и [25 декабря 1863 г.] писал ему:

«...Наконец, сбудется мое давнее желание – ты произведешь на свет комедию, которая будет игратья на сцене. Названные тобою артисты все уже имели свои бенефисы, но лучший бенефис будет режиссера Богданова 21-го Генваря. Постарайся прислать только

*как можно скорее твоё творение, оно будет принято с благодарностью. Но ты можешь отдать его также дирекции и получать за эту пьесу поспектакльную плату. Сегодня утром говорил я обо всем этом с Степановым, он также очень рад, что ты пускаешься на это поприще. Я кладу голову на плаху, если ты не похоронишь всех наших существующих драматических писателей. Ты – наш Теккерей; в тебе сидит много логики; ты не погонишься за одними эффектами, и поэтому-то самому и производишь его в своих сочинениях, исполненных верностью и простотой. А что твой роман? Я никак не менее, как Сухотин, обожаю тебя, как автора, и ты можешь смеяться надо мною, столько же, как над ним. Я всегда был и пребуду поклонником литераторов, сочинителей музыки и всех артистов; в них вижу я „un feu sacré“¹⁰⁷, который всегда меня согревал. Прощайте, обнимаю вас от всей души
ваш дед Андрей».*

Слава драматического писателя, предсказанная отцом, осуществилась. Но отцу не пришлось ее пережить. «Власть тьмы» затмила все и всех.

¹⁰⁷ священный огонь (фр.)

XXIV. Петровский пост

Пишу дневник в конце мая 1864 г.:

«Все разъехались. В доме, в саду, в лесу тишина. Все зелено. Даже молодые дубы в Чепыже позеленели. Приедет только через три месяца. Как было весело! Странно – без него. А Левочка говорил: „Так и хорошо, и должно быть“. Я не умею грустить. Не хочу».

В начале июня, неожиданно для всех, приехал Сергей Николаевич.

Все интересы, занятия, мысли, все, что я выработала в себе в эти полгода, – исчезло вдруг. Все сосредоточилось в одно целое «огромное, мучительное и радостное». Со мною был тот же Сергей Николаевич, которого я любила и ждала. Он сказал брату, что хочет ехать венчаться в Курскую губернию – в свое имение, не говоря ни слова Марии Михайловне.

Железных дорог тогда еще не было, и пришлось бы ехать в экипаже.

Лев Николаевич предложил дормез, купленный им перед его свадьбой.

Я видела, как из сарая был выдвинут, вымыт и подмазан экипаж. Сергей Николаевич почти безвыездно жил у нас. Я ожила. Казалось, я всей душой предавалась счастью. Я всегда умела им пользоваться, когда оно улыбалось мне. Это было свойство моего характера, как говорили мне дома.

Но на этот раз счастье длилось недолго, чего я никак не могла предвидеть по своей молодости и неопытности.

Няня Мария Афанасьевна, узнав, что мы едем венчаться, сказала мне:

– Что же это, Татьяна Андреевна., вы венчаться собрались, постом-то? Да кто же на это согласится!

– Да, теперь ведь пост! Ведь никто и венчать не станет, – с ужасом сказала я.

Мне казалось, что я вот сейчас этими словами произнесла себе приговор. Никому из нас это препятствие не пришло в голову. Меня это очень расстроило. Почему? Не знаю. Ведь пост две недели, ведь это же не много...

Я пишу письмо (без даты) отцу:

«Милый папа, я сегодня только могу писать, хотя немного спокойнее. Сережа уехал в Пирогово. Я все боялась тебе писать. Ты был болен, боялась тебя расстроить. За глаза так трудно говорить про все это. Видно, судьба моя такая, чтобы это все было без вас. Мы очень торопились, папа, и только ждем конца поста.

Ради Бога, пришли мои бумаги скорее, что мне нужно – ты сам лучше знаешь. Как пост кончится – сейчас и свадьба! Я пишу тебе это так прямо, потому что знаю, что согласие твое есть, ты мне прежде говорил, что не будешь против. Напиши мне, пожалуйста, милый папа, все: ваши мнения, ваше согласие, как ты все это принял. Я с таким нетерпением буду ждать письма. Без того же я хожу сама не своя. Он уехал на

неделю в Пирогово. Как это жалко, милый папа, что ты не можешь приехать. Я говеть стану, и он тоже. Если бы ты меня видел, как я счастлива теперь. Осенью на охоту поедем. Помнишь, ты мне все желал мужа охотника? Он все предлагает мне за границу ехать. Но я не желаю, а хочу первое время на месте сидеть в деревне.

Прощайте, не взыщи, что я так мало и даже глупо пишу тебе. У меня все перемешалось в уме, и я только хотела поверить тебе все скорее и получить от тебя письмо.

Целую крепко. Таня».

Приписка Сони к моему письму?

«Милый папаша, мне так весело, что все только хочется говорить о счастье Тани и нашем вообще. Долго любила она, наконец-то ей Бог послал. Воображаю, как вы тоже будете рады. На них весело смотреть О препятствиях родства мы и не думаем: столько было примеров, и все проходило прекрасно. Ужасно грустно, что вас не будет, а то бы вполне было бы весело. Ждем от вас писем с нетерпением. Целую тебя крепко.

Соня».

Матери я писала еще раньше о приезде и решении Сергея Николаевича венчаться в Курском имении. Лев Николаевич тоже писал моим родителям о предстоящей свадьбе брата. Он писал, что рад за брата, рад за меня, видя нас счастливыми, но, предвидя осложнения с Марией Михайловной, он ничего не мог ни советовать, ни отсоветовать. Он писал, что

самое лучшее, конечно, уехать и венчаться в Курской губернии.

К сожалению, письмо Льва Николаевича не сохранилось.

Отец ответил мне, что он очень рад за меня и сделает все, что я просила. «Я бы готов был душою, – пишет мне отец 21 июня, – присутствовать при вашей свадьбе, но благоразумие велит мне этого не делать. Я могу чрез это повредить вам и всему нашему семейству. Так как брак этот считается не совсем законным до тех пор, пока не будет разрешен синодом, то лучше мне не быть при этом, чтобы не навлечь на себя негодования начальства и самого царя, которому, конечно, будет об этом сообщено. Вот почему и советую сыграть свадьбу как можно тише и скромнее и отнюдь не просить теперь архиерея об разрешении этого брака. Об этом надобно будет просить после, подавно если будут дети...»

На выраженное мною сожаление, что не будет со мной родителей, отец пишет мне в утешение:

«У тебя есть там, помимо меня, другой отец; он любит тебя не менее, как я, да и Софья, пожалуй, послужит тебе за мать и сестру».

Лев Николаевич тоже писал отцу о разрешении архиерея или синода, спрашивая его совета. И отец пишет (в этом же письме от 21 июня):

«Сейчас прочел я еще раз оба твои письма, мой добрый друг Толстой, и *reflexion faite*¹⁰⁸, я остаюсь все-таки при моем

¹⁰⁸ обдумав это (фр.)

убеждении, чтобы никак не просить теперь разрешения на бракосочетание».

Привожу эти строки, чтобы показать, как много хлопотал о нашей свадьбе и Лев Николаевич.

Через неделю вернулся Сергей Николаевич. Пост еще не прошел.

Я нашла в нем перемену – она огорчила меня: он был задумчив, чем-то озабочен, хотя его отношения ко мне уже более сердечные и близкие, как жениха к невесте, не изменились. Что с ним? Что произошло? – назойливо с тоской спрашивала я себя.

Вставая утром, ложась спать, бродя с ним по саду, я не находила себе покоя. Плакать я не могла. Может быть, слезы помогли бы моей внутренней неодолимой тоске. Серьезно-вопросительным взглядом я глядела ему в глаза, желая прочесть то «непонятное», что медленно уносило мое счастье.

Он уезжал, приезжал снова к нам, но уже не так часто.

Лев Николаевич, призвав меня однажды в кабинет, решился говорить со мной откровенно. Он начал с того, что после поста, как хотел Сережа, венчаться нельзя. Надо ждать. «Сережа предполагал жениться на тебе тайно от Марии Михайловны. Но до нее стороной дошли эти слухи. Скрывать этого больше нельзя было. У них было объяснение. Она приняла его решение расстаться с ней очень тяжело, хотя и кротко, что было для него еще тяжелее».

– Сколько у него детей? – спросила я.

– Трое. Он должен сначала обеспечить семью свою и продать Курское имение, как он говорил мне, а потом уже жениться.

Я молчала – все это было для меня ново.

– Зачем он не говорит со мной об этом? – спросила я наконец.

– Он боится тебя расстроить. Ты так еще молода. Он все надеется устроить свои имущественные дела – что же ему говорить с тобой об этом!

– Ну, так что же он, наконец, хочет? – почти закричала я.

Лев Николаевич внимательно с удивлением посмотрел на меня.

– Жениться на тебе, устроив свои личные отношения с Марией Михайловной и имущественные дела, – тихо проговорил он. – Таня, это будет все очень трудно и сложно.

– Так что же мне делать? – спросила я с тоской и недоумением.

– Ждать, если ты его любишь. Но знай, что там пятнадцать лет длится их связь.

Опять водворилось молчание.

– Ждать чего? А, может быть, он и Маше говорит то же самое, что мне? Да, конечно, ему трудно.

– Переговори с ним, – сказал Лев Николаевич, – когда он придет. Это самое лучшее.

– Да, да, это лучше, но, знаешь, я не сумею, и потом это

выйдет нехорошо, как будто я тороплю его.

Лев Николаевич молча улыбнулся.

Я ушла к себе. Мне и хотелось, и тяжело было говорить об этом.

Когда я оставалась одна сама с собой, я делалась взрослой. Я говорила себе: «что я делаю? Я должна отказать ему. Должна стыдиться, что хотя временно отвлекла его от семьи, отняла его у той, которая жила с ним пятнадцать лет! Зачем он не сказал мне этого раньше? Зачем обманывал меня, как ребенка? Обращались как с хрупкой игрушкой, которую можно разбить! Да, он и разбил меня своими обманами», – говорила я.

Негодование и обида кипели в моем сердце.

А вместе с тем, когда я живо вспоминала и представляла себе все, что было между нами: его частые посещения, вечерние прогулки в липовых аллеях, наши бесконечные разговоры о будущем и многое, многое, то неуловимое, что сближало нас, я невольно спрашивала себя: «И все это отойдет от меня, а я все-таки останусь жить?..» Я чувствовала, что слабею, что решение мое «отказать» куда-то далеко отходит от меня, и я делаюсь сама себе противна и презренна...

По просьбе родителей Лев Николаевич сам отвез меня в Москву. Лиза и я должны были ехать за границу с отцом. Лев Николаевич спешил вернуться домой, боясь за Сою.

По приезду его домой, Соня пишет мне 14 сентября:

«Вообрази себе мою досаду, милая Таня! Левендопуло¹⁰⁹ потерял свой бумажник с деньгами, счетом от мамыши, главное, что мне, Бог знает, как жаль – твое письмо... Ты, Танечка, будь умна, не скучай, мне душу изливай...»

В ответ я пишу Соне 18 сентября 1864 г.:

«Сейчас только получила твое письмо, друг мой Соня. Жаль, что Левочка потерял бумажник, были ли там деньги и письма? Мне жаль, я тебе там пишу как-то очень откровенно, еще под разными впечатлениями Кремля и Ясной. Последние до сих пор так и душат. Я стала (некуда их девать) записывать все свое лето, все, что помню. Иногда сижу, пишу и все забываю окружающее. Мое скучное письмо первое, второе ничтожнее и потому веселее. Хочу петь, петь и петь; надо быть умной и ходить в струне, а там что будет; езжу в театр. И не пиши, и не внушай мне, что я могу очень скучать. Я такая сильная, молодая, все переломить хочу: восемь октав голосом взять, сорок верст пробежать. Все это я чувствую больше, чем когда-либо, и так хорошо, отрадно; опять, Бог даст, к вам приеду с новыми рассказами. Милый мой второй родительский дом, век его не забуду...»

Теперь, если напишешь, то уже вероятно за границу; я тебе сейчас же адрес дам. Как хорошо было, и охота, и последняя поездка в Пирогово, как мы все прощались.

Ну, Соня, прощай, тетеньку от меня и Марью Николаевну расцелуй, и тебя крепко обнимаю, желаю позднее и благопо-

¹⁰⁹ Лев Николаевич.

лучнее родить. Что Сережа здоров ли? Левочке кланяюсь. Когда-то я опять увижусь с вами! Все храбрюсь, храбрюсь, а все не могу всего из себя выдать. Как бывает дурно, сейчас тогда убегу куда-нибудь, выплачусь и опять готова перед родителями и всеми. Все думала: вот 16-го придут к вам Марья Николаевна, Зефироты, весело вам.

Левочке я куплю, что просил.

Твоя Таня».

Часть III

1864–1868

I. Операция отца

Начало октября 1864 г. Мы в Петербурге у дяди Александра Евстафьевича, брата отца. Здоровье отца ухудшилось. Призваны лучшие доктора. За границу не едем. Решили делать операцию трахеотомии. Отец просил Раухфуса быть его оператором. Раухфус был тогда молод и только что входил в славу. Выбор был удачен. Раухфус был не просто хороший хирург, – он был талантлив. Со временем это была популярная знаменитость, что не мешало ему сохранить всю свою жизнь скромность и вести трудовую жизнь, делая добро, где только можно.

Отец простудился, и операция была отложена. В это время мы узнали о печальном известии – падении Льва Николаевича с лошади. Я писала об этом брату. Приведу отрывок моего письма (от 11 октября 1864 г.):

«Левочка поехал на охоту один с борзыми на сумасшедшей лошади Машке¹¹⁰. Вскочил русак. Он:

– Агу его!

¹¹⁰ Это была английская заводская кобыла.

И поскакал во весь дух. Наскакал на узкую, но глубокую рытвину. Лошадь не перескакала и упала, он с нее и расшиб и вывихнул себе руку. Лошадь убежала, он встал и поплелся. Он говорит, что ему казалось, что все было очень давно, что он когда-то ехал и упал и т. д. До шоссе было с версту. Он дошел и лег. Проезжали мужики, положили на телегу и повезли в избу, чтобы не испугать Соню. Мама приготовила ее, но все-таки было ужасно. Приехал доктор Шмигаро и восемь раз принимался ее править, и ничего не сделал.

Мама одна все присутствовала при этих страданиях. Шмигаро уехал, и утром приехал другой, который с хлороформом выправил отлично руку. Ночь он провел в страшных страданиях, а теперь он почти здоров».

Этот случай убедил меня, что одна беда никогда не бывает, а влечет за собою другую.

По ответу отца можно судить, как поразило его и всех нас это известие. Отец пишет (в ответ на письмо Сони, написанное раньше моего письма к брату) из Петербурга 6 октября 1864 г.

«Милые и добрые друзья мои.

Я нахожусь со вчерашнего дня в таком волнении, что не был даже в состоянии взять пера в руки, чтобы изъяснить вам мою радость и поздравление об новорожденной Татьяне. Вчера в два часа пополудни получили мы телеграмму, а в 4 часа принесли нам письма от мама и Сони. Ужасная катастрофа твоя, любезный Лев Николаевич, так уничтожила

нас всех, что мы с Таней оба просто расплакались, и я долго не мог ее утешить; а брат мой принялся тебя бранить, что ты, как отец семейства, должен бы более себя беречь и не ездить на охоту на лошадях, которые не приспособлены к ней. Одним словом, твой вывих руки заглушил в нас всякую радость и навел на всех большое уныние.

Признаюсь, что я до сих пор не могу успокоиться. Вся эта ужасная картина: твои страдания, Соня, жена и все прочие, не знающие, за что взяться и чем пособить, и кончательно твой урод Шмигаро, который берется за дело, ему незнакомое – все это расстроивает душу и наводит хандру, от которой я и так не знаю куда деваться...»

Настал ожидаемый тяжелый день. С утра начались приготовления. Помню эту безмолвную суету, чужих лиц в белых фартуках, длинный стол в пустой комнате и дядю Александра Евстафьевича, энергично распоряжавшегося всем.

Когда все стихло, бодрым шагом вошел отец. Он не имел угнетенного вида, но милое лицо его выражало волнение.

Я с Лизой стояли в стороне. Отец обратился ко мне:

– Таня, ты бы ушла, а Лиза пускай останется. Лиза тоже обратилась ко мне с этими словами.

– Папа, я не уйду, – решительно сказала я. Затем подошел Раухфус и тоже уговаривал меня уйти. До сих пор не понимаю, почему так настойчиво выпроваживали меня и оставляли сестру. Вероятно, мой непрочный вид, в сравнении с Лизой, не внушал доверия. Я опять повторила, что хочу быть

с отцом и не уйду.

– Оставьте ее, пускай делает, как хочет, – сказал отец. – Я готов. Можно начинать.

Операция началась. Хлороформировать отца было невозможно. Наступила мертвая тишина. Лиза стояла около отца. Я оставалась на своем месте, поодаль, не спуская глаз с отца. Я видела, как он страдал.

Когда показалась тонкой струйкой кровь, послышался легкий стон, но стон не отца.

Я взглянула на сестру. Она помертвела, зашаталась, и один из фельдшеров сильной рукой обхватил ее и почти вынес на руках в другую комнату. Ей сделалось дурно при виде крови.

Я испугалась за отца и близко подошла к нему.

– Ничего, папа, Лиза сильная, ничего, ты не беспокойся, – говорила я, чтобы только его успокоить.

Я видела, что дурнота Лизы очень волновала его. Он взял меня за руку и так держал все время. Я чувствовала, что ему было приятно иметь около себя близкое существо.

Операция продолжалась 35 минут.

Самая ужасная минута была последняя, когда трубку вставили в горло. Папа вдруг поднялся, стал как бы ловить воздух и показывать рукой, чтобы ему дали писать. Ему подали бумагу и карандаш, и он написал: «Задыхаюсь... умираю...»

Раухфус успокаивал его, что это сейчас пройдет, что это

обычное явление: напор воздуха слишком силен. Раухфус учил отца дышать.

Эта страшная минута, когда я видела отца с блуждающими глазами и мертвенным цветом лица, мне показалась вечностью.

Оправившись после удушья, отец с чужой помощью перешел в свою комнату.

Я побежала к себе и, упав на кровать, плакала и молилась.

Следующие ночи Лиза и кузина попеременно дежурили у отца. Отец поправлялся, но медленно. Я дежурила у отца по вечерам. Я помню трогательное внимание его: для меня всегда был приготовлен пряник, мармелад или что-нибудь сладкое. Папа знал, что я это люблю, а дядя смеялся и дразнил меня говоря: «Ах ты, балованная baby!»

Мы получили телеграмму от Толстых, что Соня благополучна и мама приезжает в Петербург. Отец принял радостно это известие.

Мама в Петербурге. Я ожила. «Теперь все пойдет на лад», – говорила я себе.

И действительно, отец сразу стал бодрее, он лучше и спокойнее спал ночи. Мама водворилась в кресле у его изголовья, и это внушало всем нам веру в хороший исход. С приездом мамы навещали нас родные, но к отцу никого еще не пускали. Я виделась с Кузминским, с Поливановым. Анатоля в Петербурге не было, чему я была рада.

Пребывание мое в Петербурге казалось мне продолжи-

тельным. Оно было так непохоже на то, как я была здесь два года тому назад, и одна лишь милая Верочка уносила меня немного в молодой мир. Она, по настоянию отца, гуляла, каталась со мной и делала со мной кое-какие покупки.

Мама рассказывала нам о страданиях Льва Николаевича:

– Хотя ему и вправили руку, но все же я не очень надеюсь на его выздоровление. Уж очень плохи тульские хирурги, да и сам Лев Николаевич неосторожен.

Говорили и про Соню, что девочка ее славная, здоровенькая, и Соня сама кормит ее.

– А Варенька и Лиза в Ясной? – спросила я.

– Как же, они все время с Соней; очень милые девочки, – прибавила мама.

– Счастливые, – чуть не со слезами сказала я. Лиза и я поехали домой. Нас послала мать: дом остался без хозяев. Мне мама поручила надзор над домом и деньги, Лизе – детей и все хозяйство.

II. Дома

Хотя дома, как говорится, и стены помогают, но все же было грустно въезжать в пустой дом. Только и была приятна радостная встреча братьев. Они шумно встретили нас в передней, когда увидели в окно нашу карету. Я сразу принялась за хозяйство. Я пишу Соне, 23 октября 1864 г.:

«Вот мы и в Москве, милая Соня. Мы приехали вдвоем третьего дня. Все дети, люди нам ужасно обрадовались. Папа мы оставили в хорошем духе и состоянии, и все читал нам нотации, чтобы мы под вагон не попали. Вообрази, Соня, в Москве Трубецкой объявил в Совете, что получили депешу, что папа умер. К детям приехал Анке, убитый, грустный, Армфельд. Сидят и разливаются, плачут. Одни Перфильевы знали правду; к детям беспрестанно приезжали узнавать, что они, и думали, что им еще этого не писали. Одним словом, в Москве его все похоронили и оплакивали. Клавдия прилетела в день нашего приезда без воротничка, растрепанная, в слезах посмотреть, что мы. Это очень хорошо, значит, долго жить папа. У нас так тихо, так пусто в доме без родителей. Лиза ноет и скучает целый день, а я с утра до ночи пою и занимаюсь „почем тетерева?“. Все хозяйство мама поручила мне. Я теперь езжу закупать яблоки, заказываю стол, выдаю все и веду счета. Я так рада, что мы уехали из Петербурга: он такое дурное впечатление произвел на меня

этот раз... Опять та же Москва, так же скучно, да еще без родителей. Как я скучно, дурно кончаю свои 17 и начинаю 18 лет... В Петербурге папа подарил мне чудную настоящую гитару. Я так к нему привязалась в Петербурге, что очень скучаю по нему, а изноешься на него смотреть, как он изменился, исстрадался, а мама до того с ним каждой безделицы пугается, что я ее не узнаю: она, такая твердая обыкновенно, теперь сама похудела, с нами прощалась, чуть не плакала...»

Ко дню своего рождения, 29 октября, я получила от Вари и Лизы Толстых письмо с припиской Льва Николаевича. Лев Николаевич пишет мне:

«Здравствуй, Таня. Поздравляю тебя. 18 лет, это лучший, самый лучший возраст. В этом-то году и придет тебе твое хорошее счастье. И больше меня ему никто радоваться не будет. Покинула ты меня – мой стремянный. Я без тебя изувечился. И, право, начинаю бояться, не остаться бы калекой 4 недели, а рука всё не поднимается и всё болит. И Фанни убежала от меня и пропала. Я послал искать. Что у вас? что мой дорогой, милый Андрей Евстафьевич? А я – гадкий эгоист, в душе рад, что вы вместо Ниццы, Бог даст, рано весной к нам приедете. – То-то я буду доволен. Правда, ты говорила, что неприятно писать далеко. Пишешь и думаешь: что-то у вас там? Либо Андрей Евстафьевич еще не совсем хорош; либо ты влюбилась уже в какого-нибудь молодого оператора и уехала за границу, а я тебе буду писать об ясенских зайцах. – Соня очень хороша и мила со своими птенцами и

труды свои несет так легко и весело. Нынче только она заму- чилась девочкой, и оттого письмо ее невесело. Прощай, будь здорова и счастлива. Пиши и целуй всех наших».

Родители вернулись из Петербурга в начале ноября к нашей общей радости. Я пишу Соне (13 ноября):

«Мне были две радости за раз, милая моя Соня: приезд родителей и твое давно ожидаемое письмо. Папа мы нашли гораздо лучше, мама веселая и довольная, что опять дома. Петя ездил их встречать, они приехали 12-го... Приехали, растрогались мы все и они ужасно при свидании, этакого случая не было еще никогда. Сейчас пошла суэта, раскладка, рассказы, кофе, оживили весь дом после такой тишины. Мама привезла нам много нарядов, тебе плед. Понравится ли? Мне очень. И тут же я получила твое письмо и обрадовалась ему и Зефиротским и не знаю, как тебе сказать, ужасно. Вот так родители у меня, столько приятностей от них...

Соня, ты меня все хвалишь, что я хозяйка и сама хорошая; хвали, голубчик, мне это приятно от тебя слышать...

Какие на меня, Соня, минуты находят отличные: мысли все светлые, приятные, начинаю петь, и голос чистый станет, потом скорее беру журнал и записываю все свое состояние и мысли и так мне не то, что весело делается, а очень хорошо и легко и что-то необыкновенно ясно. Хочу подольше удержаться в этом состоянии, а оно так и проходит понемножку; его у нас никто не знает и не понимает, а я живу и берегу эти минуты... Прощай, душенька, целую крепко тебя... Ле-

вочка, мамаша продала еще маленькую „Ясную Поляну“ на 7 рублей. Посылаем желатин, что ты просила, запонки и еще какие-то письма от дяди Володи.

Ваша Таня».

Дошли до нас слухи, что Лев Николаевич, вопреки запрещению тульского хирурга Преображенского, пошел на охоту с ружьем и как-то неосторожно сбил повязку. Рука начала болеть и не могла подниматься. Это так смутило его, что он решил ехать в Москву и советоваться с Поповым, известным в то время хирургом.

Он приехал к нам с своим лакеем Алексеем Степановичем. Это было в 20-х числах ноября 1864 г. Пригласили хирургов; был консилиум, и мнения врачей разошлись, Лев Николаевич был угнетен своею болезнью. То он решал делать операцию, т. е. сломать неправильное сращение кости, то, слушая советы иных докторов, решал лечить руку ваннами и массажем.

Так прошла неделя. Он нервничал, хотя и заботился о помещении первой части «Войны и мира» в «Русском вестнике», издававшемся Катковым. К нему из редакции ездил Любимов. Лев Николаевич пишет жене [27 ноября 1864 г.]:

«Надо было слышать, как он в продолжение, я думаю, 2-х часов торговался со мной из-за 50 р. за лист <...> Я остался тверд и жду нынче ответа. Им очень хочется, и вероятно согласятся на 300, а я, признаюсь, боюсь издавать сам».

Лев Николаевич сердился на мелочность Любимова и го-

ворил, что он решил печатать сам отдельной книгой, если Катков будет еще торговаться. Но Любимов так пристал, что Лев Николаевич отдал первую часть в редакцию за 300 р. за лист.

С печатью он покончил. Теперь оставалось решить с рукой. Он долго колебался, советовался с 5–6 докторами и все же не решал. Все почти были против операции. Наконец, как это бывает почти всегда, незначительный ряд обстоятельств, самых ничтожных, заставил его принять решение делать операцию.

После того, как ему сказали, что гимнастика сделает ему пользу, он стал ее делать, но мазание и растирание руки только ухудшали его боль. Он пришел в уныние и поехал в водолечебницу к известному Редлиху.

Лев Николаевич пишет сестре моей [29 ноября 1864 г.]:
«...» я очень уныл, и в этом унынии поехал к Редлиху; когда Редлих, у которого была выгода брать с меня деньги, на гимнастике сказал, чтоб я правил, то я окончательно решился; по чистой правде, решился я накануне в театре, когда музыка играет, танцовщицы пляшут, Мишель Боду владеет обеими руками, а у меня, я чувствую, вид кривобокий и жалкий; в рукаве пусто и ноет».

Вечером, как-то до театра, мы разговорились о его руке. Он спросил меня, как бы я сделала на его месте, дала бы править и ломать руку, и было ли бы мне неприятно иметь убогого мужа. Последнее он спросил меня как бы в шутку.

– Я не верю ни в гимнастику, ни в ванны. Это «*ies remedes des bonnes femmes*»¹¹¹, как говорил наш француз Пако, – сказала я решительно.

– Ну, а насчет мужа? – спросил Лев Николаевич.

– А мужа с одной рукой иметь как-то неловко, совестно, – сказала я, подумав.

– Отчего? – спросил он.

– Мужской силы нет, которая должна быть. Это должно быть мужу обидно, и стало быть и жене.

Лев Николаевич пишет Соне, диктуя мне, на другой день:

««...» Бояться хлороформа и операции мне было даже совестно думать, несмотря на то, что ты обо мне такого низкого мнения; неприятно мне было остаться без руки немного для себя, но право больше для тебя, особенно после разговора с Таней, который меня еще больше в этом убедил».

– Зачем ты пишешь про меня, – сказала я. – Соня еще обидится на меня.

– Пиши, пиши, ничего, – сказал Лев Николаевич и продолжал диктовать:

««...» Катков согласен на все мои условия, и дурацкий торг этот кончился <...> но когда мой *porte-feuille*¹¹² запустил и слюнявый Любимов понес рукописи, мне стало грустно, именно оттого, за что ты сердисься, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше».

¹¹¹ домашние средства (фр.)

¹¹² портфель (фр.)

III. Операция Льва Николаевича

На 28-е ноября была назначена операция. У нас в доме с утра почему-то была суета, но все успокоилось, когда приехали доктора. Лев Николаевич смешно описывает, диктуя мне, этот день:

«Теперь следующий день, мое памятное 28-ое. С утра начались необыкновенные события и суетня во всем доме, как-то: первое, барышни, уступавшие мне комнату, переносились; второе, Анночка *ma chere*¹¹³ с стиркой, произведшей тоже не малое волнение; потом третье: мама с девами, Степой, Лапой, няней поехали в баню; 4-е: приехала Захарына¹¹⁴, тоже событие; 5-е: полотеры, которые, мешаясь всем на дороге, танцевали при этом по комнатам; 6-е: портниха с шубками и наконец 7-ое: ожидание Попова и приготовление к операции. Операцию тебе описала Таня, которая обо всем могла иметь большее понятие, чем я; я знаю только, что не чувствовал никакого страха перед операцией и чувствовал боль после нее, которая скоро прошла от холодных компрессов. Ухаживали и ухаживают за мной так, что желать нечего, и только совестно; но, несмотря на все, вчера с расстроенными нервами после хлороформа, особенно после твоих писем, которые пришли четверть часа после операции, я Бог

¹¹³ Наша горничная, я дала ей прозвище «*ma chere*» (фр. – моя милая).

¹¹⁴ Моя крестная мать.

знает как хотел, чтобы ты тут была...».

Операцию делали в спальне матери, предварительно очистив комнату. Отцом были приглашены три хирурга: Попов, Нечаев и его помощник Гаак. Рядом в комнате стояли уже наши два служащих: они должны были тянуть больную руку, чтобы сместить ее с прежнего места. Это был самый трудный и тяжелый период операции. В комнате осталась мать, Алексей и я. Присутствуя при операции отца, я уже смело осталась при Льве Николаевиче, тем более, что он сказал мне:

– Напиши Соне все подробно. Ей интересно будет знать про все мелочи.

К сожалению, подробное письмо мое не сохранилось.

Лев Николаевич очень спокойно приступил к операции, но не мог заснуть от хлороформа. Возились долго. Наконец, он вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами; откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату:

– Друзья мои, жить так нельзя... Я думаю... Я решил...

Он не договорил. Его посадили в кресло, подливая еще хлороформ. Он стал окончательно засыпать.

Сидел передо мной мертвец, а не Лев Николаевич.

Вдруг он страшно изменился в лице и затих.

Двое служащих, по указанию Попова, тянули из всех сил руку Льва Николаевича, пока не выломали неправильно сросшуюся кость. Это было очень страшно. Мне казалось, что без хлороформа операция эта была бы невыносима. Меня

охватил страх, что вот он сейчас проснется.

Но нет, – когда рука безжизненно повисла, Попов ловко и сильно как бы вдвинул ее в плечо. Я как сейчас вижу все это, такое сильное впечатление произвела на меня эта операция. Мама подавала лекарства, поддерживала его голову, и после наложенной повязки его стали приводить в чувство. Но это было почти так же трудно, как и усыпить его. Он долго не приходил в себя. Когда он очнулся, то пожаловался на боль в руке, Я просидела с ним весь вечер. Он страдал от тошноты – следствие хлороформа – и долго мучился ею.

Когда же он через два-три дня писал Соне про операцию, он не упоминал о своих страданиях. Я спросила его:

– Ты скрываешь это от нее?

– Да нет, да я не особенно страдал. Я думал, будет хуже.

Прошло несколько дней. Лев Николаевич, видимо, поправлялся. Он принимал к себе всех, кто приезжал навещать его. Помню, приехал как-то вечером А. М. Жемчужников и Аксаков, и Лев Николаевич по настоятельной просьбе их прочел им начало своего романа. Я тоже сидела, слушала чтение и наслаждалась. Он отлично читал вслух – живо и весело.

Лев Николаевич пишет об этом вечере Соне:

«Еще приятное, и очень приятное, впечатленье было нынче то, что Жемчужников приехал ко мне, и я, против твоего совета, обещался прочесть ему несколько глав. Случайно в это же время приехал Аксаков. Я им прочел до того места,

как Ипполит рассказывает: одна девушка, и им обоим, особенно Жемчужникову, чрезвычайно понравилось. Они говорят: прелестно. А я и рад, и веселей писать дальше. Опасно, когда не похвалят или наврут, а зато полезно, когда чувствуешь, что произвел сильное впечатление».

Первое время после операции я писала под его диктовку письма к Соне и роман «1805 год», т. е. «Войну и мир». Я как сейчас вижу его: с сосредоточенным выражением лица, поддерживая одной рукой свою больную руку, он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух:

– Нет, пошло, не годится! Или просто говорил:

– Вычеркни.

Тон его был повелительный, в голосе его слышалось нетерпение, и часто, диктуя, он до трех, четырех раз изменял то же самое место. Иногда диктовал он тихо, плавно, как будто что-то заученное, но это бывало реже, и тогда выражение его лица становилось спокойное. Диктовал он тоже страшно порывисто и спеша. У меня бывало чувство, что я делаю что-то нескромное, что я делаюсь невольной свидетельницей внутреннего его мира, скрытого от меня и от всех. Мне припоминались слова его, написанные в одной из педагогических статей по поводу совокупного сочинения учеников школы Ясной Поляны. Он пишет о себе:

«Мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть: зарождение таинственного цветка поэ-

зии».

Наша диктовка обыкновенно кончалась словами:

– Я тебя замучил. Поезжай кататься на коньках.

И я ехала с братом, а позднее, когда рука подживала, и он приезжал с дедушкой подышать воздухом и посмотреть на катающихся. Дедушка все это время был у нас и очень баловал меня. Возил мне всякие безделицы, конфеты и горевал, что не имеет прежнего состояния, чтобы взять меня совсем на житье в Петербург.

– Тогда я был бы счастлив, – говорил он. И за это я очень любила его.

Мы иногда ездили в театр и Лев Николаевич с нами. Помню, как понравилась ему новая пьеса Островского – «Шутники». Я взглянула на него в тот момент, когда старик находит на улице подкинутый шутниками денежный пакет, дрожащими руками открывает его и видит, что он пустой, и слышит насмешливый хохот шутников. У Льва Николаевича стояли в глазах слезы, и я сама не могла сдержать слез и прикрыла глаза биноклем. «Это самое сильное место в пьесе». Помню еще, как он восхищался музыкой «Гильом-Телль» – оперы Россини. Особенно первыми двумя актами. Обыкновенно, при возвращении домой, мы иногда очень приятно и весело разговаривали, ужинали и пили чай. Иногда затевался или интересный, или веселый разговор, и мы сидели дольше обыкновенного.

Перед отъездом Льва Николаевича в Ясную отец, по

просьбе Анастасии Сергеевны Перфильевой, уговорил его прочесть у них что-либо из начатого романа.

Скажу несколько слов о семье Перфильевых.

Кто не знал в те времена патриархальную, довольно многочисленную, с старинными традициями семью Перфильевых? Они были коренные жители Москвы. Старший сын генерала Перфильева от первой жены был московским губернатором и старинным другом Льва Николаевича.

Я помню, когда вышел роман «Анна Каренина», в Москве распространился слух, что Степан Аркадьевич Облонский очень напоминает типом своим В. С. Перфильева. Этот слух дошел до ушей самого Василия Степановича. Лев Николаевич не опровергал этого слуха. Прочитав в начале романа описание Облонского за утренним кофе, Василий Степанович говорил Льву Николаевичу:

– Ну, Левочка, цельного калача с маслом за кофеем я никогда не съедал. Это ты на меня уж наклепал!

Эти слова насмешили Льва Николаевича.

Анастасия Сергеевна была очень популярна в Москве. Ее здравый ум, энергичный, смелый характер с отзывчивым сердцем имели притягательную силу и внушали общее уважение.

Перфильевы были друзьями моего отца. По просьбе отца, устроить чтение у Перфильевых Лев Николаевич согласился, только просил не приглашать много гостей, так как чувствовал себя еще не совсем окрепшим. Его желание было

ИСПОЛНЕНО.

IV. Чтение «Войны и Мира».

Отъезд Льва Николаевича

В Перфильевской, полутемной большой гостиной, освещенной двумя олеиновыми лампами, собралось несколько человек. С приездом Льва Николаевича пошли приготовления к чтению. Я описала этот вечер в письме к Поливанову. Приведу первую половину письма (без даты), уцелевшую по странной случайности:

«Милый предмет, давно не писала вам, зато много пережила. Прочтите письмо к Саше, где пишу про Левочкину операцию. Теперь он поправился и папа устроил чтение его начатого романа у Перфильевых. Мама не здорова, и мы две девы поехали с папа. Опишу вам все по порядку.

У Перфильевых было несколько человек. Приготовление к чтению напоминали что-то торжественное, вроде как приготовление к крестинам: полутемная гостиная, столик с свечами и водой. Настасья Сергеевна в высоком чепце, на высоком диване. Папа возле. Он в духе и доволен. Когда все уселись, Левочка начал читать. Но начал как-то слабо, точно конфузился. Я оробела. Думаю: „Все пропало“.

Но потом он как бы оправился и читал так твердо, так увлекательно, что я чувствовала, как он потащил всех за собой в высоту. И мне хотелось закричать: „Лечу, лечу!“ Помните, как бывало я кричала после пения или „Евгения

Онегина“, что улетаю, а вы спокойно скажете: „Все же на месте останетесь“.

Какая прелесть начало этого романа! Скольких я узнала в нем. Описание вечера у А. П. Шерер очень понравилось. Особенно насмешило своим юмором сравнение Анны Павловны, как хозяйки дома, с хозяином ткацкой мастерской. Когда будете читать, заметьте. Про семью Ростовых говорили, что это живые люди. А мне-то как они близки! Борис напоминает вас наружностью и манерой быть. Вера – ведь это настоящая Лиза. Ее степенность и отношения ее к нам верно, т. е. скорее к Соне, а не ко мне. Графиня Ростова – так напоминает мама, особенно как она со мной. Когда читали про Наташу, Варенька хитро подмигивала мне, но, кажется, что никто этого не заметил. Но вот, будете смеяться: моя кукла большая Мими попала в роман! Помните, как мы вас венчали с ней, и я настаивала, чтобы вы поцеловали ее, а вы не хотели и повесили ее на дверь, а я пожаловалась мама. Да, многое, многое найдете в романе; не рвите моего письма, пока не прочтете романа. Пьер понравился меньше всех. А мне больше всех, я люблю таких. Маленькую княгиню хвалили дамы, но не нашли, с кого писал ее Левочка.

Был перерыв, пошли пить чай. Казалось, все были очарованы чтением.

Тут начались разговоры на дамской половине стола, кого Левочка описал, и многих называли, и Варенька вдруг громко сказала: „Мама, а ведь Мария Дмитриевна Ахросимова –

это вы, она вас так напоминает“. – „Не знаю, не знаю, Варенька, меня не стоит описывать“, – говорила Настасья Сергеевна. Левочка засмеялся и ничего не сказал.

Папа от чтения и успеха Левочки был на седьмом небе. Мне весело было глядеть на него. Жаль, что не было Со-ни. Но знаете, что Варенька правду сказала. По-моему эта смесь Марии Аполлоновны Волковой с Перфильевой. Ипполит, знаете, кого напоминает?..»

Здесь письмо обрывается: вторая половина его потеряна.

Через два дня после чтения Лев Николаевич уехал в Ясную Поляну. Хотя он еще не совсем владел рукой, но общее здоровье его поправилось.

Грустно было расставаться с ним. Все, чем я жила этот последний месяц, вдруг как бы замерло. Диктовка «Войны и мира», интересные разговоры, интересные люди, приезжавшие его навещать, прогулки с ним и братьями на каток, которые мы так любили, – все прекратилось. Ни выезды, ни пение не развлекали меня. А главное, опустела эта уютная небольшая комната, где жил Лев Николаевич, где было все полно им и дышало яснополянским духом... Я сразу лишилась и друга, и советчика в моих девичьих интересах, вероятно, кажущихся ничтожными уже пожившим, серьезным людям, но значительные в 18 лет. Он умел понимать и сочувствовать всякому возрасту.

Он писал сестре моей 27 ноября 1864 г.:

«Года 3, 2 тому назад был ваш целый мир твой и ее, с

влюбленьями разными и ленточками, и со всей поэзией и глупостью молодости, а теперь вдруг и после нашего мира, ей очень полюбившегося, и всех передряг, т. е. чувства, испытанного ею, она, вернувшись домой, не нашла больше этого мира, который у нее был с тобою, а осталась добродетельная, но скучная Лиза, и поставлена она лицом к лицу, т. е. ближе к родителям, которые вследствие болезни стали тяжелы. Ну, записались на коньки, сделали шапочку мерлушечью, записались в концерт, но этого ей мало».

В другом письме (от 7 декабря) он пишет о Лизе:

«Лиза, не переставая, работает: от немецкого перевода к английскому уроку, от английского к уроку с детьми; я право люблюсь на нее».

Помню, как мы провожали Льва Николаевича, когда он уезжал от нас после операции. Я шла с матерью по лестнице вниз в переднюю, он шел впереди нас и все оглядывался, улыбаясь, молча кивал мне головой. Он оставил матери и мне записочку, которую Петя передал нам после его отъезда. Он говорит о ней в своем письме.

По возвращении в Ясную Соня и Лев Николаевич пишут нам [отрывок письма Сони, 14 декабря 1864 года, «вечер»]:

«Милая Таня, уж не могу никак посылать на почту, чтоб не написать тебе. Ты мне еще стала во сто раз милее за все твои заботы о Левочке. Он мне рассказывал, что ты была его писарь и друг и служила ему, и друг другу вы *confidences*¹¹⁵

¹¹⁵ признания (фр.)

делали. Я так рада, что вы были с ним так близки и хороши. Я вас обоих так люблю. Понимаю, что много грустнее стало тебе без него. Он напоминал тебе собой наш мир, который ты любишь, и он понимал тебя лучше всех... Можешь себе вообразить, Таня, как мне опять теперь хорошо и весело и всякий раз, как я это тебе говорю, вспомню: а каково Тане бедной? Что делать, милая, я так бы хотела дать тебе счастье, да негде мне его взять для тебя. Приезжай ко мне поскорей, все вместе лучше обсудим и перенесем. Таня, меня оторвали от письма пить чай и кормить дочь... Скоро ли я тебя, милую, увижу? У нас так хорошо – и счастливо, и весело. Будь бодра, душенька, не унывай. Твой друг Соня».

Приписка Льва Николаевича:

«Хотел тебе приписать, да прочел Сонино полусонное письмо и после нее писать нечего. Так тепло и просто она умеет и любить и сказать это, как я не умею. Вы удивились записочке, которую вам передал (вам – тебе и Л. А.) Петя. Я помню, что что-то там бестолковое написано; но дело в том, что мне хотелось вам обоим сказать что-то еще, такие вы милые, добрые и, я чувствовал, любящие меня, уходили с лестницы. Мне и хотелось сказать вам еще, что я вас очень люблю. И написав записочку, я успокоился. Пиши нам, милая, почаще. Всё интересуется меня у вас: и Петины коньки, и Славочкины огурцы, и Степины поклоны¹¹⁶, а главное:

¹¹⁶ Степа имел привычку без конца, с приятной улыбкой, раскланиваться с взрослыми, которые замечали и хвалили его. Лев Николаевич пишет сестре, что

1) каково состояние физическое и нравственное папа,

2) Что *твоя* канюля – зарастает ли? Старайся закрыть ее, Таня. Играй Chopin и пой. Держи себя в струне и в аккурате, чтоб, что ни придет к тебе – счастье или несчастье, оно бы застало тебя молодцом. „Будь счастлива“ этого нельзя сказать, но будь не тряпка и будь кротка – это можно сказать, и ты старайся. Пуще всего я замечал, что когда тебе на душе нехорошо, ты делаешься резка и жестка к другим. Это нехорошо. Прости за мораль, я тебя так люблю, что с тобой не скрываю никакой мысли, которая мне приходит. 3) Особенно интересуется меня состояние духа мама. Что она, не хандрит ли за вырезушечной перегородкой, что и как рассуждает о будущем? Lise! épousez Matsherskoi!¹¹⁷ Прощай, милая Таня, все и всех целуют и кланяются».

Несмотря на милые письма Сони и Льва Николаевича, я сильно затосковала, оставшись, хотя и в семье, но одинокой, как я себя чувствовала. Я никуда не хотела ездить. Изредка лишь выезжала в концерты и в театр и то, чтобы доставить удовольствие матери. Единственно, что влекло меня, это – консерватория, где я брала уроки пения по совету Льва Николаевича. Здоровье мое сильно расшаталось. Я кашляла, худела и, видимо, теряла силы. Помню, как мне доставляло удовольствие чувствовать себя «угасающей», как говорила

Степа расшаркивается без конца, и «Сухотина он довел вчера до нежных поцелуев».

¹¹⁷ Лиза! выходите замуж за Матчерского! (фр.) Лизу мы все дразнили, что Матчерский видел ее где-то и ухаживал за ней.

мне мать с горечью и досадой, что ничего не ем и часто говорю о смерти. Иногда я выходила из своего тоскливого состояния, искала смысл жизни, разучивала для отца итальянские легкие арии, беседовала с Петей, подолгу сидя с ним вдвоем. Ему взяли учителя математики – немца Гумелля. Я, любя математику, просила немца и меня принять на урок, на что он охотно согласился.

В одном из писем к Толстым отец пишет про меня (письмо от 22 апреля 1864 г.):

«Что касается до Тани, то я надеюсь, что вы успокоите ее и возвратите ей ту беззаботную веселость, которая была всегда ее главною краскою. Рано еще ей знакомиться с горем, да и не дай Бог когда-нибудь его знать. А самой накликасть „а себя несчастье не должно“».

Когда я позднее в Ясной прочла это письмо, я подумала: «желание отца сбылось, я стала примерная, степенная девица».

Отец поправлялся и однажды, к нашему общему удовольствию, собрался в театр. Я пишу (12 февраля 1865 г.) Льву Николаевичу и Соне об этом радостном происшествии:

«Поздравляю милого друга Левочку с именинами и желаю всего лучшего на свете, чтобы все так шло, как теперь у тебя идет.

А у нас, вообрази, сидят ныиче родители вечером, я пою, вдруг слышу шум, что же? папа собрался в театр [на] оперу „Фауст“. Стал он одеваться, разные приготовления и фуфай-

ки, и мятные лепешки. Прокоп голову потерял, мама суетится, все дети сбежались, и отправили наконец. Папа посидел там акт и антракт, приехал и все рассказывал, как ему обрадовались все театральные, какой он фурор произвел там своим появлением, после того, как все его почти похоронили».

Я заметила перемену в Лизе: она стала оживленнее, больше следит за своим туалетом, реже занимается английским языком и охотно выезжает. Что с ней – спрашивала я себя. «И в сердце дума заронилась: пора пришла, она влюбилась», припомнились мне стихи Пушкина. Но в кого? Между молодежью, ездившей к нам, я знала, что никто ей особенно не нравится. А вместе с тем она часто задумывалась, причем являлась лукавая, игривая улыбка, столь несвойственная ей. Я говорила себе: «С Лизой неладно. Для кого-нибудь совершится же эта перемена». Вскоре я заметила, на кого пал выбор Лизы. Это был флигель-адъютант, полковой командир гусарского полка, родом малоросс, Гавриил Емельянович Павленко, богатый владелец нескольких имений на юге и в Рязанской губернии. Ему было лет 37–38. Высокий рост, военная выправка, с военной наружностью времен Александра II, делали его видным и даже красивым. Как истый военный тех времен, он с благоговением относился к государю, и в разговоре не выражался иначе, как «государь император соизволил...» и т. п. Его полк стоял в Малороссии, в Лубнах, он наездом лишь бывал в Москве и каждый приезд посещал наш дом. Он был принят, как и все, радушно и просто. Он приез-

жал вечером, а иногда и просто к обеду. Если нас не заставлял дома, то возился с меньшими братьями. Это был очень милый и приятный человек. С Лизой он говорил о литературе, играл с ней в шахматы. Помню, как я, смеясь, говорила отцу:

– Папа, я заметила, что все женихи, возможные для нас, играют с нами в шахматы. Вот посмотри, что Павленко женится на Лизе!

Папа засмеялся и сказал:

– Что ж, если и женится, я буду доволен. Он хороший человек.

С отцом он беседовал о политике. С возмущением говорил о польском восстании. Не было гостиной, где бы не говорилось о политике. Несмотря на то, что польское восстание было подавлено, все же чувствовалось какое-то безотчетное беспокойное настроение. Как гул подземных раскатов, слышалось что-то непонятное и неприемлемое.

Лиза была очень спокойна. Мало говорила о нем и иногда лишь обращалась ко мне с вопросами:

– Таня, тебе нравится Гавриил Емельянович? Я хвалила его.

– Он очень благородный человек, очень порядочный, – говорила Лиза.

Я соглашалась.

– Но знаешь, – говорила я, – мне всегда смеяться хочется, когда он начинает говорить о государе. Точно он официальный доклад делает. Помнишь, он рассказывал, как государь,

отпуская наследника в его длинное путешествие, назначал, кто с ним поедет?

И, приняв торжественную военную позу, как Павленко, я начинала, конечно, немного утрированно, представлять его:

– «Государь император соизволил приказать сопроводить его императорское высочество таким-то адъютантам».

И я перечисляла их фамилии.

Все это я представляла в комическом виде, но Лиза не обижалась и смеялась со мной; она привыкла ко мне и знала, что я никогда не хотела обидеть ее.

V. Безумный поступок

Мое нравственное и физическое здоровье ухудшалось. Я сделалась раздражительна, озлобленна, завистлива. Меня раздражали малыши, раздражал смех Клавдии и Пети. Клавдия часто бывала у нас. Я досадовала на отца, что он был занят исключительно своей болезнью, как мне несправедливо казалось тогда. Я осуждала все и всех, будучи сама хуже всех, раздражительнее и несноснее всех.

И это сознание внутреннего беспощадного голоса и делало меня несчастной и усугубляло мое состояние. Я только и бывала не то спокойна, не то безучастна, сонлива, когда вечером при свете лампы или сальной свечи сажу бывало у Веры Ивановны, слушая ее рассказы о деревенской жизни Смоленской губернии, ее родины, или же рассказы о прочитанном ею житии святого. Федора наша, приткнувшись в уголок, тоже внимательно слушала няню.

В один из таких вечеров Прасковья, живя рядом в комнате, рассказала, как одна молодая девушка, племянница ее знакомой, полюбила женатого и семейного.

– И он, значит, ее полюбил, – говорила Прасковья. – И она, окаянная, обошла его, да так, что он и жену, и детей всех бросил для нее.

– Ну, такой разлучнице, Бог счастья не пошлет, – говорила няня, быстро шевеля спицами своего чулка.

«Да, это ведь и я такая», – подумала я.

И мне стало еще грустнее.

Я пишу Соне (12.XII – 1863-года):

«...Лизка живет себе и наслаждается; сейчас перебивала с Павленко. Левочка прыгает, что тебя увидит.

Ты сейчас пишешь, что у тебя судьба счастливая. За что мне такая гадкая судьба стала? Нет, я глупости пишу, это меня так вдруг сейчас все расстроило, и я стала плакать, и это случилось сейчас, в то время, как я тебе пишу.

Прощай, милый мой друг Соня, целую крепко. Сейчас читала твое последнее письмо. Только ты бы подольше, всегда держалась бы в своем счастье».

Лев Николаевич писал мне (1–3 января 1864):

«Вчера смотрел, когда рождение месяца, и в календаре теньки нашел: *aujourd'hui Leon et sa femme sont partis pour Moscou, accompagnes de la chere Таня*¹¹⁸. Ты мне и всегда *chere*¹¹⁹, но тут ты еще шерее мне сделалась, как это всегда бывает, без видимой причины. – А ты говоришь, что я тебе враг. Враг тебе 20 лет лишних, которые я жил на свете. Я знаю, что, что бы ни сделалось тебе, не надо опускаться и быть той милой беснующейся энергической натурой в счастья и той же натурой, не поддающейся судьбе, в несчастий. Ты можешь это, ежели ты не будешь попускать себя. Скажи

¹¹⁸ Сегодня уехали Левочка с женой в Москву, сопровождаемые милой Таней (фр.).

¹¹⁹ мила (фр.)

сама себе: ходи в струне перед самой собою. И ходи. Ну, ежели бы он умер. Ну, ежели бы для меня Соня умерла или для нее? Ведь легко сказать, я бы жить не стал. Главное, что это легко сказать и глупо, и подло, и лживо, и надо ходить в струне. Кроме твоего горя у тебя, у тебя-то есть столько людей, которые тебя любят (меня помни), и ты не перестанешь жить, и тебе будет стыдно вспоминать твой упадок в это время, как бы оно ни прошло. Ей-Богу, не сердись на меня. Ты будь убеждена, что опускаться нехорошо, и всё будет хорошо.

– А как я смотрю на ваше будущее? Ты хочешь знать. Вот как. – Сережа обещал приехать к нам через два дня и не приезжал до сих пор; мы узнали, что Маша рожает, но еще прежде этого я стал очень беспокоиться. Меня мучила мысль, что он сказал раз: „надо всё кончить так или иначе, женившись на Маше или на Тане“. Я жалею Машу больше тебя по рассудку, но, когда мне пришло в голову, что он, может быть, решится без нас, я испугался. Мы и написали ему письмо, что имеем ему важное сообщить. Теперь она рождает, он в первый раз присутствует, и я боюсь. В душе *перед Богом тебе говорю*, я желаю *да*, но боюсь, что *нет*. Перед ее страданиями, которые могут быть соединены с нравственными страданиями, ему всё может показаться в другом свете. – Дьяков был у нас и потом у него и много говорил с ним о тебе, ничего, разумеется, не подозревая, и его речи могли иметь большое влияние против тебя. Он хвалил Машу,

говорил вообще про его положение и про тебя говорил, как ты молода, как тебе еще рано выходить замуж и, разумеется, про то, какая ты прелесть. – Я же пришел к тому убеждению, что, женившись на Маше, он погубит, пожалуй, себя и ее. Я ему сказал, что, не женись на ней, он оставлял себе une porte de salut¹²⁰ инстинктивно. Он сказал: „да, да, да“. Теперь же, ежели он женится, эта porte de salut будет закрыта, и он возненавидит ее. Так жить с ней он может еще, но жениться – он пропадет. – Но, Таня, в душе другого читать трудно, и чем больше знаешь, тем труднее. Я ничего не знаю и ничего определенного для вас не желаю, хотя люблю вас обоих всеми силами души. Что для вас обоих будет лучше, знает Бог, и ему надо молиться. – Да. Одно я знаю, что чем труднее становится выбор в жизни для человека, чем тяжелее жить, тем больше надо владеть собой (употреблять, по крайней мере, все силы, чтоб владеть собой, но не попускаться), оттого что в такую минуту ошибка дорого может стоить и себе и другим. Всякий шаг, слово в такие минуты, в ту минуту, в которую ты живешь важнее годов жизни после. Таня, голубчик, может быть это похоже на зеркало добродетели; но что же делать что самые задушевные мои мысли и желания похожи на зеркало добродетели. Всякое слово обдуманно и прочувствовано, может быть оно не правда для тебя покажется, но я сказал всё, что я думаю и чувствую об этом, исключая одной маленькой штучки, которую я скажу когда-нибудь после.

¹²⁰ дверь спасения (фр.)

Прощай. Молись Богу, это лучше всего и одно».

Это было первое письмо, которое сказало мне правду. Оно открыло мне картину жизни Сергея Николаевича, его мысли и даже чувства.

Слова: «Я должен решить жениться на Маше или Тане», оскорбили меня. Я смутно понимала их. В чем решение, раз я его невеста? Хотя тотчас же, рассуждая о его семейной жизни, я говорила себе, что понятна его привязанность к семье, раз он хороший, честный человек, каким я считала его. А я что в глазах его? Пустая, ветреная девочка, влюбляющаяся третий раз. С его же стороны может быть просто увлечение, как у меня было с Аиатолем, говорила я себе с злой усмешкой. И я с твердым намерением садилась писать ему отказ, но все была недовольна своим письмом. Я зачеркивала, рвала начатые письма. То мне казалось, что я резка, обижена, хо, что письмо длинно или коротко. И я, как всегда в затруднительных случаях, обратилась за советом к матери:

– Мама, – говорила я, – прочтите письмо Левочки и скажите, что мне делать.

Мама, прочитав письмо, задумалась. Она пытливо глядела на меня, как будто хотела узнать, насколько письмо огорчило меня.

– Таня, – наконец, сказала она, – напиши ему отказ. Женившись на тебе, он сделает несчастье свое, всей семьи, а стало быть и твое. Он любит Машу.

Вечером я написала ему отказ, не переделывая ни слова.

Я помню содержание его:

«Сергей Николаевич! Я получила письмо от Левочки. Оно многое открыло мне, чего я прежде и не знала. Может быть, и не хотела бы знать. Оно заставило меня возвратить вам ваше слово. Вы свободны! Будьте счастливы, если можете».

Я получила ответ, который и не ожидала. Сергей Николаевич пишет мне на четырех страницах:

«Вы дали нищему миллион, а теперь отнимаете его!» – и дальше он пишет, что надо устроить дела, что это так сложно и требует времени, что теперь болезнь Марии Михайловны мешает что-либо предпринять и т. д.

Это письмо мне показалось неискренно. Почему, – не знаю. К сожалению, я сожгла это письмо, как и многие другие, и некоторые дневники свои, по настоянию Кузминского, когда он был женихом.

Я ничего не ответила ему. Я не верила уже в возможность брака. Я вдруг почувствовала, что он не может бросить семью. Мне это стало ясно.

Тоска, безвыходная, безнадежная тоска овладела мною. Чем мне было тяжелее, тем меньше я старалась высказывать это, чтобы со мною не говорили, а главное, чтобы не жалели меня. Я хотела быть одна и перенести все одна.

«Умереть, умереть – единственный выход», – говорила я себе по молодости и глупости своих лет.

Мысль о смерти не оставляла меня. Но как? Где это средство? Какое? И я не находила ответа.

Однажды, случайно, проходя мимо девичьей, я увидела, как Прасковья всыпала в стакан порошок.

– Что ты делаешь? – спросила я. – Ты больна? Это лекарство?

– Нет, что вы! это – яд, он выводит всякие пятна. Я вот салфетку замывать должна.

– А он очень ядовит? – спросила я.

– Все руки объест, беда какой! – отвечала Прасковья. – Надо его спрятать. Это квасцы.

Прасковья поставила стакан с квасцами и коробочку на полку между своей посудой и ушла.

Я взяла стакан, прибавила в него порошок и в раздумье держала его перед собой. Ни страха, ни раскаяния я не чувствовала. Скорее всего я ни о чем не думала тогда, а просто машинально исполняла то, что мучило и точило меня все это время. Услыхав шаги, я сразу выпила этот порошок. Поставив стакан на место, я ушла к себе в комнату. Я чувствовала не то боль, не то ожог языка и рта. Так лежала я тихо с полчаса, когда совершилось что-то невероятное и неожиданное!

В передней раздался звонок. Минут через десять отворилась дверь, и вошел Кузминский.

– Откуда? – воскликнула я с удивлением, не зная, радоваться или нет его приезду.

– Из Ясной Поляны, – отвечал он. – Соня, Лев Николаевич и Сергей Николаевич приедут дней через пять в Москву. Лев Николаевич – чтобы ставить свою пьесу. Я же еду в

Петербург из Киева, проездом заехал в Ясную и к вам.

– Как я рада тебя видеть, – слабым голосом говорила я. – Ты надолго?

– До завтрашнего дня. А ты больна?

– Да, мне нездоровится; но это пройдет. Пойдем наверх, я велю дать кофе.

Распорядившись, я позвала мать и просила ее идти в мою комнату. Братья остались с Кузминский. Я уже начинала чувствовать сильную боль.

Мать, ничего не понимая, пошла со мною вниз. Когда мы шли по лестнице, она спросила меня, заметив мою бледность и тревогу:

– Что с тобою? Я не отвечала.

– Таня, ты больна?

– Мама, Толстые и Сергей Николаевич приезжают через 4–5 дней в Москву.

– Да, я знаю, – сказала мама. – И ты окончательно переговоришь с ним!

– Мама, я отравилась, – тихо, но внятно проговорила я. – Надо меня спасти: я хочу его видеть.

Мама не дослушала слов моих, ее ноги подкосились, она побледнела и, чтобы не упасть, тихо опустилась на ступени лестницы.

– Чем? Когда? – проговорила она.

Я отвечала ей и в эту минуту вдруг поняла, какое низкое безумие я сделала по отношению родителей и в особенно-

сти матери. И мне припомнилось то, что так недавно писал мне Лев Николаевич. «Кроме твоего горя, у тебя, у тебя-то, есть столько людей, которые тебя любят (меня помни), и ты не перестанешь жить, и тебе будет стыдно вспоминать твой упадок в это время...»

Да, я почувствовала и стыд и раскаяние. Я не помню, что было дальше. Мне давали противоядие. Боли начались нестерпимые. Приехали два доктора. Отца не было дома, он приехал только к обеду. Я не знаю, как он принял мою болезнь. Страдания были настолько сильные, что меня уже ничего не интересовало. Я узнала, когда мне стало легче, что Кузминский остался у нас по случаю моей болезни. Я позвала его к себе, чтобы поговорить с ним. Он сказал мне, что назначен в Киев чиновником особых поручений при Черткове, и что он заедет к нам на обратном пути. О причине моей болезни ни он, ни я ни слова не сказали. Мы расстались друзьями. Знал ли он про мой поступок или нет? Не знаю.

На третий день после отъезда Кузминского приехали Толстые, но Сергей Николаевич не приехал. Сохранилось письмо Сергея Николаевича к брату, где он пишет, почему не мог приехать. Приведу отрывки писем его – их было два: одно фальшивое, где он пишет Льву Николаевичу, что не может приехать, потому что Маша и ребенок больны, и это письмо он просит показать мне. В другом он пишет:

«Я лгу в письме, которое пишу вам, что Маша и ребенок болен. Приехать же я не могу оттого, что Анисья Ива-

новна¹²¹, узнав, что я женюсь на Татьяне Андреевне, вышла из себя, говорит, что она будет жаловаться, что я живу с ее дочерью, что меня заставят на ней жениться, что она докажет, что я прижил от нее детей, что она пойдет и объявит архиерею, что я хочу жениться тайно на сестре жены брата, и чтобы он это запретил. Одним словом, я не знаю, что делать и как тут все устроить. Она говорит, что она, если я поеду в Ясную, пойдет тоже туда пешком. Она способна на все. Ты не можешь себе представить, в каком она иступлении. Я боюсь, чтобы она не пришла в Ясную и не сделала бы там гадкой сцены. Поэтому мне необходимо остаться здесь, чтобы ее разуверить как-нибудь и успокоить. Она может сделать много вреда. Отец тоже действует в том же духе и, к несчастью, пьян. Письмо это не показывай никому, особенно Татьяне Андреевне. Я боюсь, что эта история, а особенно мое отсутствие, наделают вам хлопот, но успокойте ее как-нибудь. Ты сумеешь что-нибудь придумать для этого, куда мне можно будет приехать.

Ей кто-то уже написал жалобу, которую она хочет на меня подавать, не знаю, куда».

Мне не показали этого письма, я ничего о нем не знала. Но, по-моему, Анисья Ивановна была права. Сожалею, что от меня скрыли истину.

Не знаю и не помню, как принял отец и Толстые мой поступок. Я была слишком сильно больна и почти ничего не

¹²¹ Цыганка – мать Марии Михайловны.

сознавала. Заботливый уход дал мне возможность понемногу поправляться, хотя я была совершенно равнодушна к этому и скорее даже сожалела, что поправляюсь. Лев Николаевич и Соня говорили мне, что он очень желал приехать и, если не приехал, то причина, конечно, важная.

VI. Первые отзывы о «Войне и Мире»

Начало «Войны и мира» впервые было напечатано в январской и февральской книгах «Русского вестника» за 1865 г.

12 февраля 1865 г. я пишу Льву Николаевичу: «Теперь папа взял читать твой роман, а мне все его еще не дают, на-расхват у нас пошел». Отец в этом же письме пишет:

«Вестник вышел. Я посылал к Любимову за оттисками, и он прислал мне третьего дня один экземпляр, который я с жадностью стал читать, но вчера же отняла у меня Лиза и так смеялась, читая твое сочинение, что Тане спать не дала. Суждений я никаких еще не слыхал, знаю только, что Любимов ужасно расхваливает и это сочинение ставит гораздо выше „Казаков“. Лиза говорит, que c'est un chef d'oeuvre¹²², что оно должно быть гораздо выше всех прочих твоих сочинений. А по мне, я ничего выше не признаю из твоих сочинений, как „Детство“. Это мог написать только человек с высокой нравственностью и таким чувствительным и добрым сердцем, как твое. Известно ли тебе, что Екатерина Егоровна переводит твое „Детство“ на немецкий язык и не нахвалится мягкостью и легкостью слога, не говоря уже о самой сущности этого высокого произведения...»

После выхода первой части «1805 год» я получила от По-

¹²² что это образцовое произведение (фр.)

ливанова письмо (от 2 марта 1865 г.).

«Верно вы прочли „1805 год“. Много вы нашли знакомого там? Нашли и себя: Наташа как ведь напоминает вас? А в Борисе есть кусочек меня; в графине Вере – кусочек Елизаветы Андреевны, и Софьи Андреевны есть кусочек, и Пети есть кусочек. Всех по кусочку. А свадьба-то моя с Мимишкой тоже не забыта. Я с удовольствием прочел все, но особенно сцену, когда дети вбегают в гостиную. Тут очень много знакомого мне. А поцелуй Наташи не взят ли Львом Николаевичем из действительности тоже? Вы, вероятно, рассказали ему, как когда-то лобызнули кузена вашего. Уж не с этого ли взял он? Вам верно знакомы все личности, с которых списывал Лев Николаевич, или у которых он брал какую-нибудь черту для характеров своих героев. Если знаете что-нибудь в этом роде, то не откажитесь черкнуть нам грешным...»

Я пишу ему ответ (26 марта):

«Милый мой предмет, давно уже получила я ваше милое письмо, а вы верно мое, только не знаю, насколько оно мило... Вы мне писали про роман Левочки. Правда, есть ваш кусочек, Лизин, а Сони нет, это он описывает тетеньку Татьяну Александровну в молодости. Марья Дмитриевна существовала в самом деле; из мужчин никого не знаю. Наташа – он прямо говорил, что я у него не даром живу, что он меня списывает. Мне его роман очень нравится и жду с нетерпением окончания Всем, большей части читателям, от которых я слышала суждения, или не нравится, или не понимают

Pierre. Я бы желала знать ваше суждение поподробнее. Напишите, если не трудно. Потом еще, предмет, вы думаете, что поцелуй Наташи взят из учителя, нет, это из времен Саша Кузминского.

Завтра вербная суббота, и мы нынче вспоминали все эту субботу, когда были кадетство, как шумно и весело было...»

Мне рассказывал брат, что Лев Николаевич, как вышел февральский «Русский вестник», поутру, еще не встававши, посылал его за газетой, где должна была быть, не помню чья, критика. Он с волнением ожидал ее и когда брат замешкался, Лев Николаевич торопил, говоря:

– Ты ведь хочешь быть генералом от инфантерии? Да? А я хочу быть генералом от литературы! Беги скорее и принеси газету!

Теперь об этом смешно вспомнить, зная то равнодушие, с которым он относился в последние годы к критикам своих произведений.

Помню, как я гораздо уже позднее, по поручению одной дамы, просила его разрешения переделать «Смерть Ивана Ильича» в комедию или драму, и он ответил:

– Пожалуйста, хоть в балет!

А в другой раз, когда вышла «Война и мир», я тоже по поручению одной дамы просила разрешения на перевод на французский язык. Тогда еще существовала конвенция, и он разрешил. Когда эта дама перевела известную часть романа, она прислала на суд ко Льву Николаевичу. Он читал добро-

совестно ее перевод, но когда дошел до сцены, где солдаты поют «Ах вы, сени мои, сени!» и французский перевод ее: «vestibules, mes vestibules», – он пришел в отчаяние. Но последствия этого отчаяния не помню.

– Хотя вольный перевод и верен, но в переводе выходила бессмыслица, недопускаемая людьми с чутьем, – говорил Лев Николаевич.

Лев Николаевич позднее вошел в сношение с типографией Риса и наладил печатать роман сам. Хотя я и мало принимала участие в их жизни в эти две недели, все же я видела, как лихорадочно относился он к своему решению печатать самому.

Рис был очень аккуратный не то немец, не то эстонец. Он приезжал несколько раз в Ясную, где я его видала. Запомнила я тоже, как он учил меня и Соню варить малиновое варенье. Ломаным русским языком объяснял он:

– Малину, сахар бухайте все за раз в таз. Воды – kein и kochen¹²³. И все.

– И хорошо будет? – спрашивали мы.

– Очень хорошо.

Мы варили, и правда было хорошо. И это варенье называлось «малина Риса» во всю нашу жизнь.

Помню, что когда мне стало лучше, и я больше могла видаться с Толстыми, я заметила в Льве Николаевиче какое-то особенное настроение умственного оживления. В нем как бы

¹²³ никакой и варить (нем.)

с новой силой проснулась энергия и дух творчества, интерес к роману и к успеху его. Он как бы отдохнул и ожил после своей болезни.

Еще из Ясной 23 января 1865 г. он пишет Фету в Москву: «А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я – литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор. На днях выйдет первая половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого – Тургенева. Он *поймет*.

Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера и ор[us'ом] черн[овым]; печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет – бяда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, а то ругательства расстроивают...»

Как смешно читать теперь, что «Война и мир» может пройти незаметно. По этому видно, как Лев Николаевич не знал себе цены. Но должна сказать, что ни одно свое произведение Лев Николаевич не писал с такой любовью, с таким упорным постоянством и волнением, как роман «Война и мир». Это был расцвет его творческой силы. В конце письма он пишет Фету, как будто шутя: «Я рад очень, что вы

любите мою жену; хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете, – жена».

Если бы меня спросили, «кто написал это?» – конечно, Лев Николаевич, до того слова эти похожи на него.

Первая критическая статья, к тому же хвалебная, вышла в газете «Инвалид» в феврале. Фамилия не подписана. Эта статья доставила удовольствие и даже большое Льву Николаевичу. Автор статьи начинает словами: «Первая часть этого замечательного произведения явилась в январской и февральской книжке, а вторая значит будет через год. Слишком поздно, конечно, но зато типы, выводимые графом Толстым, имеют не временное значение – они глубоко запечатлеваются в памяти, и о них вспомнишь и не через год только».

Эта статья особенно восхваляет военные сцены, целиком выписывая их.

– И кто бы это мог написать? – говорил Лев Николаевич. – Наверно, военный или бывший военный.

Отец отвечает на письмо сестры, где Соня пишет: «Левочка очень волнуется, что взял на себя издание своего романа. Но я надеюсь, что это все обойдется

Напиши, как здоровье Тани?»

В начале письма 25 января 1867 г. отец пишет, как меня надо лечить, и прибавляет:

«Беда только та, что с ней очень трудно ладить. Она верит только одному доктору в мире: это – графу Л. Н. Толстому, который совершенно ее избаловал, а сам, бедный, измучался

с своим романом.

Напиши мне, голубушка, прочел ли он о себе статью в „Отечественных записках“?

Я вполне понимаю его: он не будет до тех пор покоен, пока не кончит его. Все ждут его с нетерпением, да как и может быть это иначе? Произведение, написанное мастерским пером, верное исторически, почерпнутое из самой интересной эпохи и в высшей степени занимательное своими эпизодами».

14 января 1867 г.

«На днях обещали мне дать книгу „Отечественных записок“, в которой напечатана великолепная статья о тебе как-ким-то г-н Страховым».

Мне смешно читать теперь выражение: «каким-то» об известном Страхове в литературном мире.

Так как самое яркое, сильное и правдивое мнение о «Войне и мире» было мнение Страхова, на которое Лев Николаевич больше всего обратил внимание, то я приведу несколько выписок из его статей. Я слышала от Льва Николаевича прямо восхищение на то, как Николай Николаевич понял его.

«В 1868 году появилось одно из лучших произведений нашей литературы, „Война и мир“. Успех его был необыкновенный... Гр. Л. Н. Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключениями... ни изображением страшных душевных мук, ни, наконец, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденциями... Ни-

чего не может быть проще множества событий, описанных в „Войне и мире“. Все случаи обыкновенной, семейной жизни, разговоры между братом и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свидание родных, охота, святки, мазурка, игра в карты и пр., – все это с такою же любовью возведено в перл создания, как и Бородинская битва... Правда, рядом с этим гр. Л. Н. Толстой выводит на сцену великие события и лица огромного исторического значения».

– Это место в критике прелестно своей простотой суждения, – говорил Лев Николаевич. И еще понравилось ему, где говорится об этих лицах:

«Автор ничего не рассказывает от себя: он прямо выводит лица и заставляет их говорить, чувствовать и действовать, причем каждое слово и каждое движение верно до изумительной точности...» Как будто имеешь дело с живыми людьми...» Когда он раз вывел их на сцену, он уже не вмешивается в их дела, не помогает им, предоставляя каждому из них вести себя сообразно со своею натурой» и т. д.

Его разбор дышит тонким благородством, верностью, что и оценил Лев Николаевич... Страхов, живя в Петербурге, не издавши никогда Льва Николаевича, пишет в своей статье то самое мнение о русском солдате, которое я слышала от Льва Николаевича.

В другом месте Страхов пишет:

«Многие чувствительные души не могут, напр., переварить мысли об увлечении Наташи Курагиным; не будь это-

го, – какой вышел бы прекрасный образ, нарисованный с изумительной правдивостью; но поэт-реалист беспощаден».

Лев Николаевич заметил тонкое понимание Страховым различий отношений Курагина к Наташе и к ней же отношения Пьера... Мнение Страхова о Николае и княжне Марье удивительно верно и хорошо. Люди эти ничем не блещут, ничем не выдаются, а между тем они – идущие по самым простым жизненным путям, очевидно – существа прекрасные, никому не уступающие душевной красотой, составляют одну из самых мастерских сторон «Войны и мира».

Льву Николаевичу этот разбор был тем приятнее, что княжна Марья была идеалом его матери, а Николай Ростов напоминал типом своим отца.

– Это – единственный человек, который, никогда не видевши меня, так тонко понял меня. Еще прежняя статья его в «Отечественных записках» мне доказала это.

Лев Николаевич, еще до знакомства с Страховым, говорил:

– Страхов своей критикой придал «Войне и миру» то высокое значение, которое получил мой роман и на нем остановился навсегда.

Из критики Страхова я выписала каплю в море, именно те места, которые отмечал при мне Лев Николаевич, насколько я помню. Но, очевидно, его восхищение не остановилось только на том, что я выписала.

Приведу мнение Тургенева о начале «Войны и мира», пе-

реданное мне отцом, когда вышли лишь два номера «1805 года» в январе и феврале в «Русском вестнике». Я лично не видала Тургенева в 1865 году; когда он был у нас, я была уже в Ясной.

На вопрос отца, читал ли он «1805 год» и как нашел начало этого романа, Тургенев ответил нехотя:

– Да судить еще трудно, мало выяснено, да и генеральчики его мало напоминают Кутузова и Багратиона, настоящих генералов! Увидим, что будет дальше. Но описания его, сравнения – художественны. На это он мастер.

Тургенев больше ничего не сказал. Видимо, он стеснялся высказать свое мнение отцу.

По просьбе Льва Николаевича Фет прочел ему в двух письмах Ивана Сергеевича его мнение о романе. Тургенев пишет в 1866 году:

«Вторая часть „1805 года“ тоже слаба: как это всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти *вечные* рассуждения о том – трус, мол, ли я или нет – вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи – где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена – но она была бы хороша, как узор на фоне – а фона-то и нет».

Позднее уже, когда «Война и мир» подвинулась вперед, Тургенев пишет Фету:

«Я только что кончил 4-й том „Войны и мира“. Есть вещи невыносимые – и есть вещи удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно».

но хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано – никем <...>>

Не знаю, насколько первое мнение Тургенева огорчило Льва Николаевича, и насколько последнее было ему приятно. Я была у Дьяковых. Думаю, что он сначала затушил в себе критику Ивана Сергеевича. Сестра говорила мне, что Лев Николаевич спокойно отнесся к этому, говоря:

– Важно то, что будет дальше. А пока полезно и это.

Наконец, не могу не привести комичный, желчный отзыв о «Войне и мире» М. Е. Салтыкова. В 1866 – 67 гг. Салтыков жил в Туле, равно как и мой муж. Он бывал у Салтыкова и передал мне его мнение насчет двух частей «1805 года». Надо сказать, что Лев Николаевич и Салтыков, несмотря на близкое соседство, никогда не бывали друг у друга. Почему – не знаю. Я в те времена как-то не интересовалась этим. Салтыков говорил:

– Эти военные сцены – одна ложь и суета. Багратион и Кутузов – кукольные генералы. А вообще – болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше, так называемое, «высшее общество» граф лихо прохватил...

При последних словах слышался желчный смех Салтыкова.

Мне казалось, что это был человек, который никогда не имел душевного спокойствия. Он постоянно был одержим непримиримой злобой к кому-нибудь или к чему-нибудь, а скорее всего ко всем.

VII. Возрождение

В феврале уехали Толстые. Я поправлялась здоровьем, но не духом. Равнодушие к жизни и тоска угнетали меня. Отец пишет Толстым:

«Не знаю, что делать мне с Таней? С тех пор, как она приехала из Ясной, я не видал на ней улыбки. Вы совсем испортили ее: только и одушевляется ее разговор, как скоро она заговорит об деревенской жизни, об охоте и вообще об житье своем в Ясной Поляне. Наши поехали сегодня в театр, а она осталась дома и ушла к себе в комнату. Все мои увещевания остаются бесполезными. Авось, со временем последует с ней какая-нибудь перемена, а теперь наводит она на меня ужасную хандру, к которой я и без этого очень склонен».

Наступила ранняя весна, сырой дождливый март. Ручейки беспрепятственно, журча, бегут вдоль московских тротуаров. Мальчишки, пуская самодельные кораблики, весело бегут за ними. Грязные, неметеные улицы, с неровной изрытой мостовой, затрудняли езду и ломали экипажи. В те времена починка улиц считалась роскошью, и ремонт полагался лишь изредка, например, перед приездом государя или после сломанного экипажа генерал-губернатора. Но солнце, весеннее солнце, ни от кого не зависящее и потому всегда верное, выкупало все. Оно грело, утешало и предвещало весну! А с весной – что-то безотчетно радостное...

Помню, как 9 марта, в день сорока мучеников, поэтичную историю коих мне рассказала няня Вера Ивановна, я проснулась рано утром и по обыкновению подбежала к окну, отдернула штору, чтобы взглянуть, какая погода. Погода была чудная. Солице было уже весеннее, теплое и заливало весь наш двор и цветы, стоящие у меня на окне. Я вспоминала стихотворение Фета на 9 марта, написанное в 1863 году:

Повеет раем над цветами.
Воскресну я и запою,
И сорок мучеников сами
Мне позавидуют в раю!

«Как хорошо!» – подумала я. И мне вдруг повеяло чем-то отрадным, далеким, пережитым мною. «Пускай и мне позавидуют эти сорок мучеников», – весело подумала я. «Левочка правду пишет: „И ты не перестанешь жить“. И я хочу и буду жить снова!» – говорила я себе. Безотчетная радость вместе с весенним лучом проникли в мою душу и согрели мое сердце.

«Пора, пора, милая Таня, – приписывал мне Лев Николаевич в письме сестры (от 28 февраля 1865 г.). – Уж 3-й огурец – осталось 4-е. Спасибо за известие от Галицына. Мне все интересно. Но теперь не пишется, слишком много думается, и музыка слишком сильно действует. Весна приближается. Что твой голос?»

Соня огорчила меня своим письмом. Она захандрила.

Она пишет в том же письме, где Лев Николаевич: „Милая Таня, получили мы твое письмо, которое ты писала, когда была „очень умна“. Левочка прочтя сказал: „Какая славная девочка, со всех сторон, куда ни поверни, все хорошо <...>“

А я теперь, Таня, все эти дни такая не славная <...> Я хочу тебе рассказывать все, что у меня на душе, и какая я теперь гадкая. Все не в духе, все мне дурно. Вчера я Левочку так обидела, просто ни за что, что теперь вспомнить страшно <...> Мне все скучно, я ровно ничего не делаю... Левочка более чем когда-либо нравственно хороша. Пишет, и такой он мудрец! Никогда он ничего не желает, ничем не тяготится, всегда ровен и так и чувствуешь, что он – вся поддержка моя и что только с ним я могу быть счастлива...

Дети мои здоровы и милы. Сережа <...> бегают, пляшет. Левочка к нему стал очень нежен <...> На Таню он даже никогда не смотрит, мне и обидно, и странно <...> Соня“.

Мое письмо к Поливанову от 20 апреля 1865 года.

„Где я? отгадайте, откуда вам пишу. Догадаться нетрудно, милый мой предмет, я в давно желаемой Ясной. Приехала я сюда в субботу 17-го числа одна с дамами в Анненской карете. В Туле встретил меня Левочка, в Ясной – все ясенские милые. Все я нашла у них благополучно. Соня пополнела, похорошела и поздоровела, дети – премилые. Опять у меня моя маленькая комната, самая девичья, вся белая, с

занавесками и розанами. Вот где поэзия-то, предмет! Одно нехорошо – погода прегадкая, и я кашляю, меня никуда не выпускают, и Соня все дома сидит. Каково, это: я третье лето у них провожу. Буду верхом ездить с Соней. С нетерпением жду этого. Я говорю, предмет, что значит родительский дом: я все время желала в Ясную, вы сами это знаете, и до потолка прыгнула, когда мне принесли место в карете, а при прощании у меня защеколало в носу и защемило в сердце. Давно мы друг другу не писали, и о вас ничего не знаю. Как думаете лето провести и где? наши все в Покровском. Я-то как довольна. Сейчас пришел Левочка с охоты и говорит: „Ты у нас совсем, как дома“. Я засмеялась, говорю: „да“, а он сказал: „Как это хорошо“. И, действительно, в Петербурге, помните, какая я чуждая была...

Нынешняя святая была так себе, не то, что бывало.

Теперь мы сидим с Соней или болтаем и шьем, или с детьми возимся, и проходит так время незаметно в дурную погоду. Я опять начала здесь писать журнал, этот будет интересный и веселый. Прощайте, предмет, напишите мне опять уж сюда скорее, мы идем чай пить. Опять скоро напишу.

Таня».

Этот будет «веселый», пишу я про свой журнал, ничего не предвидя вперед. Переломив свои мысли, свою грусть, даже свою любовь, я хотела начать новую жизнь, полную деятельной энергии. Но опять и опять мы, как слепые кроты, ничего

не предвидим вперед.

Мы ездили на тягу. Я не пропустила, как боялась, весенний расцвет. Липовые аллеи сада зеленели медленно, но прочно, распускался дуб, закуковали кукушки, прилетели певчие птицы, лишь один соловей еще молчал. Как Фет красиво выразился о соловье:

Едва лишь в полдень солнце греет.
Краснеет липа в высоте,
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей еще не смеет
Запеть в смородинном кусте.

Эту весну вокруг дома было все чисто вычищено. Садовник Кузьма сажал цветы и зорко наблюдал за грунтовыми сараями – персиковым и вишневым. Соня и милая тетенька были довольны.

– Хорошо у нас таперича, – по-прежнему, жуя табак, говорила Наталья Петровна. – Чисто, а с цветами и авантажно будет! Только женихов принимать, – смеясь продолжала она. – А ты, я слышала, какой грех над собой-то сделала, – вздыхая и охая, говорила Наталья Петровна: – Уж тетенька-то молилась за тебя, Агафья Михайловна свечку поставила.

– Ничего не говорите мне об этом. Никогда! – становила я Наталью Петровну.

Но я не сердилась на нее – она так добродушно, любовно относилась ко мне. Алексей, Дуняша, няня – все были преж-

ние, на своих местах, уже близкие мне люди. Они всё знали про меня, жалели и бережно относились ко мне. Агафья Михайловна приходила здороваться со мной и осведомляться о моей матери.

Лев Николаевич, как мне казалось, был не совсем здоров. Он жаловался на головную боль, на желудок и потому не имел той бодрости, к какой я привыкла. Он бывал иногда не в духе, иногда как будто хандрил.

Но с наступлением хорошей погоды, я заметила, что у Льва Николаевича возвращалась бодрость, головная боль и вообще жалобы на нездоровье прекратились. Лев Николаевич ездил на тягу, ездил в другое свое имение, Никольское, был деятелен, хотя писал он немного и уже меньше занимался хозяйством.

В начале мая в Ясную приехала Мария Николаевна с девочками. Это была для меня большая радость. Мы с Варей снова, сидя в липовой аллее, долго говорили обо всем пережитом. Она рассказала мне, что было с ее матерью в декабре, когда они гостили в Ясной Поляне.

– Мама стояла у стола, – говорила Варя, – в тетенькиной комнате. Она держала в руках работу и что-то наскоро зашивала. Соня, Лиза, тетенька, я, Наталья Петровна, все мы были в комнате. Мама стояла к нам спиной. Вдруг она обернулась к нам и сказала сердитым голосом:

– Кто это ударил меня по плечу, терпеть не могу лих шуток.

Мы все переглянулись с удивлением и говорим:

– Никто и не подходил к тебе. Мамаша как будто не поверила.

– Да нет же, я же чувствовала, даже содрогнулась.

– Это странно, Машенька, – сказала тетенька.

– Ведь я же тут была, – говорила Соня, – никто тебя не касался.

Тетенька записала все происшедшее в свою записную книжку, отметив час, день и месяц. Через несколько дней, рассказывала Варя, мамаша получила письмо из Покровского с известием, что скончался отец наш, и число и час его смерти совпали с записью тетеньки.

– Что же вы удивились этому предзнаменованию? – спросила я.

– Нет, Таня, я верю, что есть мир, неведомый нам, – ответила Варя.

– И я тоже верю, но я боюсь его. Ты знаешь, я боюсь темноты, боюсь одна спать, а особенно после дурного поступка своего.

– Ничего, Танюша, Бог простит тебя, – утешала меня Варя, – только молись.

Столько веры, раскаяния и любви было в наших молодых душах.

Несколько минут длилось молчание. Я глядела на Вареньку. Она задумалась. «Как она переменялась за это время, с тех пор как мы не виделись», – думала я. «Как она мила!»

Пятнадцатилетний возраст вступил в свои права, и неуклюжая девочка уже пускала ростки красивой юности.

– Пойдем к Агафье Михайловне, – сказала я. – Мне грустно сидеть в саду. Эти липы, этот тенистый чудный сад так напоминают мне прошлое.

Мы застали Агафью Михайловну в хлопотах. Дора, любимый сеттер Льва Николаевича, лежала на подушке с четырьмя прелестными щенятами. При виде нас она сначала как будто испугалась, а потом устремила на нас свои умные глаза и приветливо замахала хвостом. Я подошла и погладила ее.

– Варя, ты знаешь, где она ощенилась? – спросила я, смеясь, вспомнив мой ужас.

– Где?

– До вашего приезда я как-то ездила верхом с Левочкой, и так как он ждал меня, я наскоро сбросила свое розовое платье и свой розовый пояс на постель, чтобы переодеть амазонку и, ничего не убрав, ушла. Вернувшись домой, я вижу... о, ужас! Бедная Дора лежит на моей постели и на моем платье с четырьмя щенками и виноватыми и страдальческими глазами глядит на меня, слабо виляя хвостом, как бы прося прощения. Варенька ужаснулась.

– А вы ее простили, матушка? – спросила, хитро улыбаясь, Агафья Михайловна.

– Простила, ведь она так мила, умна, – отвечала я. Агафья Михайловна, как всегда, была рада нам и очень радушно приняла нас.

Комната Агафьи Михайловны была поразительно грязна. По углам в паутине кучками лежали мертвые мухи. По стенам ползали красные тараканы. Она кормила тараканов и не позволяла выводить их, как я уже писала. У подушки, на которой лежала Дора, было пролито молоко и видны были мышинные следы; мышей тоже кормила Агафья Михайловна. Образ Николая чудотворца, висевший в углу, был перевернут лицом к стене. Варенька, заметив это, взяла молча табуретку и хотела поправить его, думая, что это случилось как-нибудь невзначай.

– Не трогайте, не трогайте, матушка, это я нарочно! – закричала Агафья Михайловна.

– Как нарочно? – спросили мы.

– Да так, матушка. Молилась, молилась ему – хоть бы что. Я его и обернула, и пуцай так висит!

Мы невольно засмеялись.

– Когда же вы его простите? – спросила Варя.

– Вот когда время придет, – серьезно отвечала Агафья Михайловна, – тогда и прощу.

Ясенская милая тихая жизнь шла своим чередом. Купанье, прогулки, верховая езда и возня с детьми наполняли наш день. Изредка приезжали гости: Дьяков и Дмитрий Оболенский, с которым я познакомилась на балу. Это был очень милый, развитой юноша, светски воспитанный матерью. Помню и визит Горчаковых, родственниц Льва Николаевича. Приезжали две княжны лет 25–30 с строгой деспо-

тичной, как мне говорили тогда, старой матерью их. Варя, Лиза и я, боясь ее строгой критики, не выходили в гостиную и сидели в комнате тетеньки.

– Чего сидите, идите в Гостиную, – говорила Наталья Петровна. – Лев Николаевич вас там представит княгине вот таким манером.

И Наталья Петровна, приставив локоть правой руки к груди, вывернув ладонь, указывала по очереди на нас трех, приговаривая:

«Племянницы, свояченица, гости...»

При слове «гости», не отнимая руки, она обводила круг. Мы все засмеялись.

– Какие же там еще гости? – не переставая смеяться, спросила Варенька.

– Чего хохочешь? – говорила Наталья Петровна. – Вот ты небось знакомить-то не умеешь. Намедни приехала акушерки дочь, Констанция с матерью, а ты меня с ней и не познакомила, а одна ты в комнате была.

– Как, Наталья Петровна, я называла вас, – говорила Варя.

– «Называла...» – передразнила ее Наталья Петровна. – Нешто так знакомят? Надо толком говорить: кто такая, да как кому приходишься, а то «называла».

Мы весело смеялись, когда нас позвали в гостиную, и нам пришлось идти.

Подойдя к старой княгине, мы присели ей. Она не подала нам руки, а, кивнув головой и глядя на нас в лорнет, прого-

ворила:

– Bonjour, mesdemoiselles¹²⁴.

Но потом ко всякой из нас обратилась с вопросом по-французски. Княжны были очень милы, и с ними нам было легко. По указанию Сони, мы предложили им идти в сад. Гости пробыли у нас до вечера.

Приезжал к нам и Фет, выражая радость, что мы будем жить в Никольском, в соседстве с ними.

– Ведь это еще не решено, – сказала Соня. – Там дом очень тесный, хотя Левочка обещает всех устроить.

Фет настаивал на нашем приезде.

– Ваши друзья Дьяковы будут соседями. А как жене будет приятно, – говорил Афанасий Афанасьевич. – Я надеюсь, что мы тоже чаще будем видеться.

Я слушала их разговор и с грустью думала: «Далеко уедем от Пирогова... А на что оно? – тут же спрашивала я себя. – Чем дальше, тем лучше».

Помню, как завязался литературный разговор. Афанасий Афанасьевич вспоминал с любовью о поэте Тютчеве.

– И перед смертью его я в последний раз видал его. Ведь это было в январе, – говорил Фет, – он вызвал меня к себе.

Этот разговор заинтересовал меня. Я любила стихотворения Тютчева, списывала их и учила наизусть.

– А вы хорошо знали его? – спросила я Фета.

– Он был моим другом, если я смею его так назвать. Это

¹²⁴ Здравствуйте, барышни (фр.)

был исключительный лирический талант, – обращаясь более ко Льву Николаевичу, чем ко мне (что меня немного обидело), сказал он, – и исключительный человек по своей скромности. Когда его талант хвалили ему в глаза, он корчился, как от чего-то постыдного.

Фет в своих воспоминаниях о Тютчеве пишет о его скромности: «Как ни скрывайте благоуханных цветов – аромат их слышится».

– Но кроме его таланта, – продолжал Фет с улыбкой, обращаясь уже ко мне, – у него был превосходный кофе, который он очень, очень любил и не раз угощал меня им.

Я сделала серьезное лицо и отвернулась в сторону. Но, собственно говоря, Фет был прав. Отворачиваться от него не стоило.

В те времена я даже не знала, что значит «лирический», так как никогда не имела, кроме сестры Лизы, русского хорошего учителя. И вообще ученье я терпеть не могла и была очень мало образована.

Потом припоминал Лев Николаевич, как он ехал с Тютчевым четыре станции:

– Я слушал с таким удовольствием этого умного величественного старика. Я тогда писал вам об этом, Афанасий Афанасьевич. Почти в один год потеряли мы двух хороших и талантливых людей: бедный Дружинин, как он страдал перед смертью. Это был удивительно милый, хороший и чистый душой человек, – говорил Лев Николаевич, – его повесть «По-

линька Сакс» как просто, правдиво и жизненно написана.

Тургенев эту весну приезжал в Россию и в Москву, но в Ясной Поляне он не был. Примирение со Львом Николаевичем тогда еще не состоялось.

VIII. Приезд Сергея Николаевича

Это было в начале мая. Стояли жаркие дни, лучшие в году, со свежей зеленью, голубым небом, кукушкой и соловьем.

Долгуша, запряженная парой, стояла у крыльца дома. Мы ехали купаться на Воронку, за полторы версты. Доехав до горы, к спуску реки, мы встали и весело наперегонки побежали вниз. Соня с нами. Она всегда великолепно бегала. Быстро и красиво неслась она с горы, заражая нас своим бодрым духом. Нас было пятеро: девочка Душка, теперь уже шестнадцати лет, была вечной нашей спутницей. Я любила ее за ее не-злобливость и спокойствие, Она была небольшого роста, с длинным лягушечьим ртом и серыми вопросительными глазами. Бывало, когда кто-нибудь из мальчишек приста-нет к ней, чтобы раздражить или обругать ее, это случалось довольно часто, она не сердилась, а только огрызнется: «сам съешь», – и отвернется.

Река Воронка, наша ясенская отрада, небольшой приток Упы, запруженная, имела довольно глубокие места, и потому было где плавать. Душка хорошо плавала и первая бросалась в реку.

– А знаете, барышня, – говорила она Лизе (она особенно любила ее), – я чуть не потопла раз.

И Душка рассказала, как мы пошли раз с ней вдвоем на

реку. Дора – собака наша – с нами:

– Я, значит, поплыла на глубокое-то место, а Дора-то за мной, да лезет мне на шею и лапами-то голову топит... Испугалась же я, – захлебываясь, говорила Душка.

– А я вижу, что Душка-то под водой, – вмешалась я в разговор их, – и со страху не знаю, что делать. Место у плотины глубокое, и я отчаянным голосом зову: «Дора, Дора, ici¹²⁵», а Душка уже бульки пускает...

– Ну, тут Дора-то наша, знать, уж поняла, – продолжала Душка, – и поплыла на зов Татьяны Андреевны, а то, однава дыхнуть, потопла бы я!

«Однава дыхнуть» – было любимое выражение Душки, она часто употребляла его; для меня оно было ново, и потому я запомнила его.

Во время нашего купанья нашла темная туча, и подул легкий майский ветер.

Мы стали торопливо одеваться. Крупными каплями накрапывал дождь все сильнее и сильнее. Спасаться было некуда и невозможно. Из-за тучи выглянуло солнце, и, помню, как над рекой показалась яркая радуга. И этот дождь, и эта радуга были удивительно красивы.

Приехав домой, Варя, Лиза и я побежали прямо к тетеньке, с распущенными волосами и прилипшими мокрыми платьями. Вид наш был ужасен, но мы хотели успокоить тетеньку, что мы дома.

¹²⁵ сюда! (фр.)

Лиза бежала вперед и быстро отворила дверь. Первого, кого мы увидели перед собой, это – Сергея Николаевича. Удивление, ужас и радость сразу охватили меня. Девочки бросились к нему на шею с радостным визгом. Я стояла молча, как вкопанная. Кроме неожиданного свидания, меня смущал мой ужасный, как мне казалось тогда, невозможный вид. Я всегда заботилась о своей наружности. Поздоровавшись с девочками, он подошел ко мне. Я молча протянула ему руку.

– Вы недавно приехали? «*Avec les hirondelles*»¹²⁶, – как говорит тетенька. Как это хорошо! Мне писал о вас Левочка.

Все это говорил он все тем же спокойным, ласковым голосом, какой я знала прежде. В глазах его я ожидала прочесть известное осуждение, но этого не было. Я спрашивала себя: «Что же будет теперь? Зачем он приехал?», – но ответа на свои вопросы не получала.

Уже поздно. Все разошлись. Мария Николаевна с горничной Гашей и девочками заняла тот флигель. Я на эти дни перешла туда, чтобы не расставаться с ними.

Марию Николаевну от нашей комнаты отделяет гостиная с балконом. Наша комната во втором этаже. С балкона открытый вид вдаль. Девочки уже легли. Лиза, кажется, уже заснула. Вокруг нас все тихо. Я сижу на окне. Перед окном яблочный сад в полном цвету. Пахнет черемухой.

– Таня, ложись, ложись спать, милая, уже поздно.

– Варя, я не могу спать в такую ночь, да ты взгляни, что

¹²⁶ С ласточками (фр.)

за красота!

Варя не отвечает, она устала.

– Слышишь, как филин кричит? – говорю я. – Это в Чепыже.

– Да, слышу... Левочка говорит, что зайцы так кричат!

Снова молчание и тишина.

– Варя, ты спишь?

– Нет, – отвечает Варенька сонным голосом.

– Варя, зачем он приехал?

– А ты ему не рада?

– Варя, я хочу быть свободной – никого не любить. А я чувствую, что я слишком рада ему... и не свободна!

– Танечка, тебе трудно быть свободной с твоим характером!

Мы молчим. Я думаю: «она права».

– Слышишь? Филин опять кричит... и так жалобно...

– Да, кричит...

Варенька засыпает. Я неподвижно сижу на окне. Тишина этой торжественной ночи нарушается иногда непонятным шорохом в траве, запоздалым чириканьем маленькой птички. Мне делается вдруг нестерпимо жаль всех, всех: и филина с жалобным криком, и Душку, обиженную мальчиками, и маленькую суетливую птичку. Зачем она не спит? Что с ней? И жаль себя, и свою молодую, загубленную жизнь, как мне представлялось в эту ночь.

В воздухе чувствовалась свежесть. Небо уже отливало

утренней красной зарей. Варенька заснула безмятежным сном, а я все еще сидела у растворенного окна.

Но усталость берет свое и, помолившись на небо, так как в комнате не было образа, я легла и заснула молодым девичьим сном.

На другое утро мы все сидели за чайным столом, когда вошла в столовую монашка, как звала ее Наталья Петровна.

– Мария Герасимовна, это ты? Здравствуй, милая. Откуда? – спрашивает Мария Николаевна.

– А-а, Мария Герасимовна! – приветствует ее Лев Николаевич.

– Из Тулы, матушка, из монастыря, пешком шла, страсть устала.

– Садись, садись, чаю налью, – говорит Наталья Петровна. Пока Мария Герасимовна пьет чай, скажу несколько слов о ней.

Она была крестной матерью Марии Николаевны. Это было так.

У матери Марии Николаевны было четыре сына, когда она снова ожидала ребенка. У нее, по словам тетушки Пелагеи Ильиничны, было страстное желание иметь дочь. Она дала обещание, что, если родится дочь, ей будет крестной матерью первая попавшаяся женщина, которая поутру встретится на дороге. Совет этот дала ей одна из странниц, посещавших их дом. Когда в 1830 г., 7 марта родилась дочь, то в Тулу был послан старый слуга для исполнения обета. Помо-

лившись Богу, как мне рассказывали, вышел слуга на улицу. Он еще с вечера приехал в Тулу. Навстречу ему попала монашенка из тульского женского монастыря. То была Марья Герасимовна. Она была полуюродивая, скорее же притворялась ею. Сухощавая, высокая, с небольшими хитрыми, серыми глазами, она с легкой усмешкой глядела на людей. В молодые годы Марья Герасимовна в мужском подряснике ходила по городам и селам и собирала на монастырь. Лев Николаевич часто наводил ее на тему ее странствований и со вниманием слушал ее рассказы. Она послужила ему в «Войне и мире» типом странниц у княжны Марьи.

А то, бывало, Лев Николаевич скажет ей:

– Ну-ка, Марья Герасимовна, затяни «Своим духом восхищаться».

И монашка фальшивым, ровным голосом затянет на божественный мотив:

Своим духом восхищаться,
В скорбях мира нам спастись.
В мир мы посланы трудиться,
Молитвой к Богу вознесясь.

– Посмотри на выражение ее лица, – скажет Лев Николаевич, – как оно значительно и серьезно.

Матери Марьи Николаевны все же не пришлось радоваться на дочь – она вскоре умерла.

– Ты, что же это, Мария Герасимовна, со странствования

пришла? Куда Богу молиться ходила? – спросил Лев Николаевич.

– К Троице-Сергию ходила, батюшка, угоднику поклониться, – говорила Марья Герасимовна, с видимым удовольствием выпивая бесчисленное количество чашек чая. – Христа ради ходила, ни гроша с собой не брала.

– Что ж, подавали тебе? – спросила тетенька.

– А то как же, матушка, а уж купцы-то, дай им Бог здоровья, щедро дают.

– Марья Герасимовна, а многих ты там ограбила? – спокойным голосом, улыбаясь, спросил Сергей Николаевич.

Варя, Лиза и я невольно засмеялись, хотя и очень осторожно.

– Ах! что вы, что вы, батюшка! Во Имя Господне про-
сишь, а вы говорите – ограбила.

– Vous l'offensez¹²⁷, – недовольным тоном указала Марья Николаевна.

Эта сцена почти целиком вошла в «Войну и мир», потому-то я ее так хорошо и запомнила. Лишь лица и слова другие.

– Да у вас тут, я видел вчера, Воейков гостит? – сказал с улыбкой Сергей Николаевич. – Он у меня целый месяц гостил.

– Да, он недавно только пришел, – сказала Соня.

– Недавно пришел, а у Дуняши нашей уж травничку вы-

¹²⁷ Вы ее обижаете (фр.)

просил! – сказала Наталья Петровна.

– Душечка, Наталья Петровна, вы всегда все чужие секреты открываете, – улыбаясь, сказала тетенька.

Вскоре все разъехались. Сергей Николаевич пробыл всего два дня. Марья Николаевна решила провести лето в своем другом имении Покровском, Чернского уезда. Оно досталось ей после смерти ее мужа.

– Может быть, еще увидимся летом, если будете жить в Никольском, – говорили дезочки, с сожалением уезжая из Ясной. – Дядя Левочка, устрой, чтобы вы приехали в Никольское, пожалуйста, – молили они. – И мамаша будет так довольна.

– Может быть, и приедем. Мне самому надо быть там по хозяйству, – говорил Лев Николаевич.

IX. Никольское

Пора, пора привести к концу рассказ о романе с Сергеем Николаевичем. Даже я нравственно устала писать его.

Прошла неделя. Я была уверена, что Сергей Николаевич больше не придет в Ясную. Мне было трудно поверить этому, трудно справиться с своим чувством, тем более, что я осталась одна, без своей участливой милой Вареньки. Соня недоброжелательно относилась к Сергею Николаевичу. Она осуждала его, и я избегала с ней говорить о нем. Она говорила мне:

– Что ты можешь ожидать от него? Маша – подруга его пятнадцатилетняя, мать его детей и отличная женщина. Сереже сорок лет, без малого, и это чувствуется на каждом шагу. Нет ни силы той, ни энергии, ни желания счастья, а есть спокойствие сорокалетнее, благоразумие. А ты, Таня, – огонь! Ты не будешь с ним счастлива.

Хотя я и избегала говорить с Соней, но понимала, что она права.

Но я ошиблась: Сергей Николаевич приехал через несколько дней в Ясную по какому-то делу. Льва Николаевича не было дома – он был в Туле. Мы провели этот день вместе.

Вечером, оставшись одна, я испугалась своего впечатления от его пребывания и строго отнеслась к себе. Но это

только на один вечер. Начались снова его частые посещения. Он проводил в Ясной дни, вечера... Лунные, светлые, майские, сумасшедшие ночи, какие только и бывают в мае. Тут не было места рассуждениям, не было места благоразумию, совести! С новой силой вернулось все прежнее, пережитое нами. С восемнадцатилетним доверием я слушала его. А что слушала? Не знаю. Обычных слов любви, какие говорят в этих случаях, ни я, ни он, мы никогда не произносили. За нас говорила ночь, луна, его последнее увлечение и моя первая серьезная любовь.

Соня очень хорошо характеризует нас в своих воспоминаниях:

«Сергей Николаевич проводил с сестрой много времени, гулял, разговаривал с ней, а главное, восхищался ею чрезмерно. Это всегда подкупает нас, женщин». И Соня была опять права. Прежде это кружит голову, а потом совершенно естественно заставляет любить, а в особенности такого исключительного человека, как Сергей Николаевич.

Когда после последнего его приезда в Ясную прошла уже неделя, я поняла, что снова произошло что-то значительное и непонятное для меня. Спросить было не у кого. Я чувствовала, что все что-то скрывают от меня. Наконец, Лев Николаевич, видя мое тревожное настроение, решил открыть мне все то, что он знал и думал об этом. Он сказал:

– Сережа пишет мне, что у него большие неприятности дома, что он постоянно находится или под влиянием Марии

Михайловны, или твоим, что, если он оставит Машу, то погибнет вся семья, так как она никогда не оставалась одна и совершенно будет беспомощна; что он чувствует, что ее положение будет невозможное, и, оставив ее, он сделает ее и твое несчастье. Что же касается Гриши, то он будет брошен на произвол судьбы. И многое еще он пишет в этом роде. Про тебя пишет: «Бог знает, что я сделал, имени нет моему поступку! Анатолий, которого я осуждал, в сравнении со мной – самый благородный человек. Я все эти несчастные десять дней лгал, думая, что говорил правду, но теперь, когда я вижу, что надо окончательно кончить с Машей, я вижу, что мне это совершенно невозможно. Что из этого всего будет, не знаю, но оставить ее я не могу. Я по подлой нерешительности и слабости сказал тебе, что женюсь на Татьяне Андреевне... И если опять ее увижу, опять буду уверять ее в том, чего сделать нельзя. Я все эти десять дней чувствовал, что я делаю Бог знает что, но остановиться не мог... Я чувствую, что я ее не стою, но она будет оскорблена, и это страшно... Что делать? Сделать что-нибудь подлее моего поступка трудно».

Я молча слушала Льва Николаевича, молча и ушла от него. Что я могла сказать ему? Я слишком страдала.

Вечером этого же дня я написала Сергею Николаевичу письмо, что между нами все кончено, что хотя я и люблю его, но вижу полную невозможность нашего брака. Это письмо я отдала Льву Николаевичу. Я получила длинный ответ от

Сергея Николаевича, в котором он просил меня не возвращать слово, что время все уладит, и что он по-прежнему меня любит.

От Марьи Николаевны я узнала, что с моим письмом он поехал в Покровское и просил Марию Николаевну написать мне, что не надо отказывать ему, что все уляжется и устроится. Но Марья Николаевна отказалась писать это, говоря, что этого нельзя ей сделать, потому, что и Левочка и Соня не верят в возможность этого брака, и что Таня теперь, судя по письму Левочки, ни за что не согласится на это.

Разговор со Львом Николаевичем на меня сильно повлиял, как и давность неясных отношений наших, которые должны прийти к концу.

Варенька пишет о пребывании Сергея Николаевича у них в Покровском:

«Он, страдая не менее Тани, говорил моей матери, когда приезжал к нам: „Машенька, что мне делать? Я так сильно люблю Таню, а когда приеду в Тулу и увижу Машу, ее убитый вид и безропотное, покорное горе, – душа моя разрывается на части. Вхожу я раз к ней, с намерением переговорить о своем окончательном решении жениться на Тани, отворяю дверь и вижу – стоит она на коленях и так трогательно молится, а сама вся в слезах. И я не могу говорить“.

Я сказала: „Он любит только Машу, а не меня“. Я еще раз сознала ясно невозможность нашего брака. Я написала письмо родителям о нашем разрыве,

так как Соня писала им о возобновлении наших отношений. Лев Николаевич приписал им в моем письме (оно сохранилось). Приведу его, несмотря на то, что оно лестно для меня, но в нем виден взгляд Льва Николаевича на наш разрыв:

1865 г. Июнь [25-е].

„Милые папа и мама, не огорчайтесь очень и не ужасайтесь тому, про что я вам буду писать. Мама была справедлива, говоря, что не конча с Тулой, дело не решено. Теперь оно решено, но иначе. Сережа уехал в Тулу и написал оттуда письмо, что она в отчаянии, девочка очень больна, что так вдруг, как мы хотели, нельзя кончить, надо время, что сам он в отуманенном состоянии, под чужим влиянием, т. е. или под М. М. или под моим, и все твердит: „дайте время, подождите“.

Вчера писал он со станции по дороге в Покровское к Машеньке, куда уехал опомниться. Последние его два письма так мне показали ясно несчастье его семейства, его мучения, нерешительность, Машиа (Левочка у ней был сегодня) с такой кротостью и покорностью идет на все и так ей это тяжело, а чрез это и ему тоже, что я решилась и написала ему отказ. Не удивляйтесь и не горюйте об этом, иначе я сделать не могла, у меня бы всегда это было на совести, а теперь может быть все будет к лучшему.

Писать вам подробнее и больше и трудно, и не могу. Не расстраивайтесь этим, и ты, милый папа, смотри на это как можно легче – все пройдет и все будет хорошо. Целую вас крепко. Мамашиа, вы тоже меня не

очень жалеете, я поступила очень хорошо.

Таня».

Далее приписка Льва Николаевича:

«Что прибавлять к этому чудному письму? Всё это правда, всё от сердца и всё это прелестно. – Я всегда не только любовался ее веселостью, но и чувствовал в ней прекрасную душу. И она теперь показала ее этим великодушным, высоким поступком, о котором я не могу ни говорить, ни думать без слез. – Он виноват кругом и неизвиним никак. Ему надо было прежде всего кончить в Туле. Мне бы было легче, ежели бы он был чужой и не мой брат. – Но ей, чистой, страстной и энергической натуре, больше делать было нечего. Стоило ей это ужасно, но у нее есть лучшее утешение в жизни – знать, что она поступила хорошо. – К лучшему или к худшему это поведет ее? Этого никто не знает. Мне же всегда казалось и теперь больше, чем когда-нибудь, что он ее не стоил. Дай Бог ей силы перенести это. Первый день был тяжел, она ничего не ела, не спала и всё плакала. Теперь она спит в первый раз, и завтра мы едем в Никольское. – Кроме того, ежели точно они сильно любят друг друга – ничто не потеряно. Поступок Тани должен показать ему, что он теряет в ней. – Одно, что я знаю, это то, что они не должны и не будут видеться до тех пор, пока он не будет совершенно свободен. Но ее решение кажется серьезным, тем-то оно и трогательно. – Она несколько раз нынче повторяла: „теперь я не

выйду за него ни за что“. Решение это пришло ей вдруг и совершенно неожиданно. Вдруг из ребенка она сделалась женщиною, и прекрасной женщиной. Не знаю, как вы оба примете это, и боюсь и вашего горя и упреков, которые вы, может быть, сделаете нам. Говорите всё, что вы думаете. – Но горевать не о чем. С таким сердцем она не может быть несчастлива. Прощайте, с замиранием сердца жду вашего ответа. Адрес в Чернь, в село Никольское».

Имение Никольское Тульской губернии Чернского уезда, находится в 100 верстах от Ясной Поляны¹²⁸. Железной дороги тогда еще не было, и переезд на лошадях, частью по шоссе, а частью проселком, представлял немало хлопот и затруднений с ночевкой на постоялом дворе, да еще с детьми.

Никольское очень красивое имение, с холмистой местностью, с лесом на берегу извилистой реки, которая протекает недалеко от дома.

Мы ехали в двух экипажах с обозами и людьми. В карете ехали двое детей, няня и я. В коляске – Лев Николаевич с Соней. Тетенька и Наталья Петровна остались в Ясной. Дорогой меня развлекали новые места и дети. По очереди они сидели у меня на коленях. Таня была очень живой и забавный ребенок; она забавляла меня своей смышленостью.

– И что же это вы, Татьяна Андреевна, так присмирели, –

¹²⁸ Позднее это имение перешло к старшему сыну Льва Николаевича – Сергею Львовичу. Он выстроил прекрасный дом, посадил сад, огород, завел все хозяйство.

говорила мне Марья Афанасьевна. – Ни песен, ни смеха вашего больше не слышно.

– Так, няня; то было хорошо – и я была счастлива, а теперь все не то, ведь вы сами, небось, знаете.

– Э, матушка, об этом-то горевать не стоит. Дело-то проходящее – молодое! Женихи-то будут!

Няня судила по-своему, просто и жизненно, и никаких сентиментальностей не допускала.

Мы ехали с остановками, кормили лошадей, ночевали. Но как? Где? Не помню. Я ехала, как во сне, относясь ко всему безучастно.

В те времена в Никольском был небольшой дом. Прежде оно принадлежало старшему брату Льва Николаевича, – Николаю Николаевичу. Рядом с усадьбой стояла церковь, чему я была очень рада. В доме было пять комнат: общая столовая – довольно большая, коридор, три комнаты жилых и маленький кабинет Льва Николаевича.

Соня много хлопотала, устраивая всех нас. Я хотела помочь ей, но она не хотела утруждать меня.

Не получая ответа на свое письмо, Лев Николаевич снова пишет отцу [30 июня 1865 г.]:

«Пишу вам из Никольского, где мы живем 3-й день. Не могу без замирания сердца думать о вас, не зная вашего взгляда на это дело – всё, что вы думаете и говорите. Дело вполне кончено. И как ни тяжело Тане и всем нам, я в глубине души не могу не чувствовать тайной радости, что мень-

шее несчастье спасло нас от большего. – Я, приехавши в Никольское, тотчас же поехал в Покровское, чтобы видеться с братом. Я виделся с ним, я думаю, последний раз. Он теперь уехал в Тулу. Наше же намеренье состоит в том, чтобы пробыть здесь месяца полтора в новых для Тани местах, в близости ей приятных людей – Дьяковых, Машеньки с детьми. Теперь самое для вас интересное – о ней. – Она трогательна до последней степени, – кротка и грустна. Первые два дня она нас пугала, но теперь я, по крайней мере, спокоен за ее здоровье. Я твердо надеюсь, что она успокоится и всё пройдет, и пройдет этот раз хорошо и совсем. У нее столько еще впереди с ее прелестной натурой и сердцем. Для большего еще укрепления ее здоровья мы придумали с Соней заставить ее пить кумыс со мною вместе. Она не отказывается, хотя надобности никакой нет, но она любит этот напиток. – Дальнейшие планы наши следующие. В августе мы приедем в Ясную, пробудем с месяц. В сентябре приедем в Москву, пробудем с месяц, которым я воспользуюсь для печатания 2-й части моего романа, и поедем на зиму за границу – в Рим или Неаполь. Разумеется, с Таней, ежели вы ее поручите опять нам и не упрекнете нас за то, что мы плохо уберегли ее. Я боюсь и предчувствую, что вы упрекнете меня в душе. Пожалуйста, выскажите мне всё. Но, право, виновата во всем судьба. Так Богу угодно было, и не могу не думать, что то, что мы теперь называем несчастьем, может быть, очень скоро мы назовем большим счастьем. – Прощайте, пишите по-

скорее. – Не знаю, припишет ли вам Соня. О том, что я вам писал, она думает так же, как и я, только с оттенком озлобления, очень справедливого, против брата, но я старше ее, и он мой брат. Я виню его и не желал бы быть в его положении с таким поступком на душе. Tout comprendre c'est tout pardonner¹²⁹. Он виноват в легкомыслии обещать, не развязав прежде прежних отношений, но после этого он страдал не меньше ее, даже больше. Он мне повторял еще последний раз, что я только прошу времени; но мы знаем, и Таня с оскорблением почувствовала, что он не в силах разорвать прежней связи.

Он виноват в этом и неизвиним, но это было дело Тани. Как бы я желал не писать вам, а видеть перед собою ваши милые лица. Тогда бы вы меня поняли, а теперь я путаюсь, как виноватый. Прощайте».

Приписка Софьи Андреевны:

«Грустное время прожили мы, милые папа и мама, и долго еще будет отзвучиваться эта грустная история. Ради Бога, не пишите очень отчаянно Тане, это опять поднимет старое, а она уже начинает немного успокаиваться. Ее ужасно мучит, что вы будете огорчаться, а она говорит, что довольна тем, что отказала ему и вывела его из затруднительного гадкого положения. По своей слабости, недостатку сердца и главное, чести, он поставил себя в такое положение, что, бывши женихом одной, он, обещав жениться [3 слова зачеркнуты] и

¹²⁹ Все понять – все простить (фр.)

продолжал с ней жить. Та сторона, как менее кроткая и с которой более прожил, – перетянула. Отказаться от Тани, – он и того даже не умел, но...» Окончание письма не сохранилось.

Наконец, в Никольском, – мы получили письма от отца и матери.

Письмо отца ко мне:

3-го июля [1865 года].

«Милая Таня,

Не думай, чтобы последнее письмо твое огорчило меня, – нет, напротив, я был обрадован видеть в тебе столько твердости характера и благородную, честную натуру, не замедлившую выразиться при первом случае. Я очень хвалю твое поведение и благодарю тебя, что поступила так благоразумно. Смотри же, будь теперь тверда и не отступай от твоего последнего намерения. Подумай, сколько ты сделала добра твоим отказом. Ты заставила обдуматься человека, увлеченного страстью, забывшего свои обязанности и бывшего на пути сделать несчастье двух женщин. Ты спасла его от вечных угрызений совести и сама не сделалась его орудием, которым бы он поразил эту несчастную женщину с ее детьми. Вся твоя жизнь была бы навсегда отравлена упреками и угрызениями совести. Я не раз говорил тебе, моя милая, что между вами стоит такая преграда, которую вы никогда не одолеете, а если и пойдете ей наперекор, то не будете счастливы; но вы, несмотря на эти

предостережения, снова предались вашим мечтаниям и теперь, наконец, сами убедились, что все это повело бы вас к гибели. Если я писал тебе в первом письме моем, что радуюсь твоему счастью, основанному на взаимной вашей любви, – то чувства эти изливались из отцовского сердца, преисполненного желанием видеть вас счастливыми и отчасти увлеченного также вашими собственными уверениями. Но увлечение мое было неполное, – я все-таки не переставал думать и говорить об Туле и находился в величайшем недоумении касательно отношений, в которых находился Сергей Николаевич с Марьей Михайловной. Но писать тебе об этом я не хотел, не желая тебя смущать в самую ту минуту, когда ты чувствовала себя так счастливой и когда все радовались кругом тебя. Последнее же письмо твое и письмо Льва Николаевича объяснили мне все, и я, конечно, сожалею теперь, что так неосторожно и преждевременно изъявил вам свою радость.

Лучше бы было еще помолчать.

Я понимаю, моя голубушка, что теперь тебе очень тяжело на душе, но будь вполне уверена, что время изгладит все. Успокойся, тебе предстоит еще большая будущность. Не воображай себе также, чтобы катастрофа эта могла тебе повредить в свете; будь уверена, что никому и в голову не придет в чем-нибудь тебя обвинить. Скорее всего обвинят родителей, а о тебе только пожалеют. Напиши нам, не желаешь ты к нам возвратиться, если и не сейчас, то по истечении некоторого времени. Ради

Бога, избегай свиданий с Сергеем Николаевичем. Это условие необходимо для тебя и для него. Будь же тверда и старайся рассеиваться. Смотри на всю эту катастрофу, как на дурной сон. Прощай, обнимаю тебя от всей души. Зимой будем опять кататься в Зоологии, жаль, что осенью не в состоянии буду ехать с тобою на охоту. Расцелуй Софью и береги ее».

Привожу письмо отца к Льву Николаевичу:

«А тебе скажу, мой добрый и несравненный друг, что в подобных эпизодах нашей жизни пошло бы было отыскивать виноватых или делать кому-нибудь упреки. Все мы без исключения очень слабые люди, подверженные всем возможным страстям и рожденные на то, чтобы на всяком шагу впасть в ошибки. Таковы старые и малые. Вот почему я не претендую также и на Сергея Николаевича; умышленного зла он не в состоянии был сделать, а то, что он наделал – он и сам не рад тому. По мне, так его положение хуже всех. Конечно, в его года и с его опытностью он мог бы быть поосмотрительнее, но много ли найдем мы людей, которые строго следят за своими поступками, оглядываются на всяком шагу и всякое слово свое и деяние взвешивают прежде на весах? Да и не знаю, что сказать об этих людях? Им жизнь должна быть в тягость. Трудно вообще судить людей, – а еще опаснее осуждать. А кто знает, не мы ли с женой более всех виноваты. Я так почти убежден в этом. Таня переходит теперь через

тяжкие испытания, но я уверен, что они послужат ей в пользу и что она будет еще очень счастлива. Как ты думаешь, не привезти ли ее к нам в Покровское? Я во всем полагаюсь на тебя и Софью. Очень рад, что вы поехали в Никольское. Это будет очень полезно для Тани. Напишите мне скорее, как здоровье Татьяны Александровны? Мне очень жаль, что все происшедшее с Таней нарушило вашу мирную и покойную жизнь; но я надеюсь, что это ненадолго, – она, верно, скоро успокоится, имея в обоих вас самое лучшее утешение. О себе скажу тебе, что здоровье мое сносно, а бывает и несносно. В Петербург же я не поеду. Трубочку вынимать я боюсь, как бы не сделать хуже. Следовательно, нечего даром тратить деньги и по пустякам ездить в Петербург. Прощай, мой добрый друг, успокой Таню, этим и меня успокоишь. Она любит и верит тебе больше, нежели кому-либо. Желаю тебе всего лучшего, расцелуй Софью; я уверен, что она очень расстроена и потому не писала нам. Нам следует всем успокоиться и не горевать, мы никто ничего бесчестного не сделали, – Бог нас спас. Совесть наша чиста, а это главное; все остальное вздор, мало ли что встречается в жизни; никогда не надобно предаваться отчаянию. Все эти последние строки относятся не к тебе, а все-таки к Тане, которая постоянно вертится у меня в голове».

Письмо матери ко мне:

«Бедняжка моя Таня, ты не поверишь, как я

тебя пожалела, прочитав твое письмо; после такой радости, вдруг такое горе; но и полюбовалась также я на тебя, что ты такая добрая и хорошая девочка моя. Поступок твой возвысил тебя много в моих глазах, и я тебя еще более стала любить. Продолжай же быть хорошей, не предавайся очень грусти, побереги окружающих, молись Богу, надейся на него, поверь, что все делается к лучшему и что твои хорошие действия не останутся без награды. Ты еще так молода, а хороших людей много на свете. Я полагаю, что Сережа очень любит еще свою Машу и она его, а в таком случае надобно благодарить Бога, что эта свадьба не состоялась, и я надеюсь, что ты теперь сама вполне убедилась, что она уже теперь никогда не может состояться. Удивлялась я очень, как ты могла надеяться выйти за него замуж, когда он еще не покончил с Марьей Михайловной. Петя и тот сказал: „Этой свадьбе никогда не бывать: как съездит в Тулу Сережа, так все кончено, пропало“. Поверь мне, что Сережа, бывши женатым на тебе, не раз вспомнил бы о ней, и совесть бы его замучила, и впал бы, может быть, в хандру, а каково тебе было бы выносить все это. В тот день, когда я получила письмо от Сони, что он поехал в Тулу объявлять Марье Михайловне, я на другой день съездила к Троице, помолилась за тебя и, может быть, Господь услышал мою молитву и спас тебя от несчастной жизни, которая тебе предстояла. Пиши, пожалуйста, к нам почаще об себе, да и Соню и Леву попроси также почаще писать. Поверь, что

мне не менее горько твоего и жалею очень, что не могу вместе с тобою горе разделить; ты не вздумай ли домой приехать, подальше от него лучше, менее воспоминаний. Поцелуй всех от меня. 3 июля».

«Новое место, новая обстановка, новая жизнь, но как внешне и странно», – думала я.

Первый, кто приехал к нам, это был Афанасий Афанасьевич Фет с женой Марией Петровной. Это была женщина еще молодая, удивительно милая и симпатичная. Не будучи красивой, она была привлекательна своим добродушием и простотой. Казалось, что она всем говорила: «Любите меня, я вас всех люблю». Мужа она звала: «Говубчик Фет», не выговаривая «л». Он в обществе никак не относился к ней и ни разу я не видела, чтобы он обратился к ней с чем-нибудь, а она к нему – просто и заботливо.

Я удивлялась на Соню, «какой она молодец!» – думала я. Приехали в пустой грязный дом; прошло дня три – все чисто. Вся хозяйственная машина пущена в ход: чистая скатерть, все едят, пьют, самовар на столе, и повар в белом колпаке. На кухне кот сидит. Даже цыплята бегают на дворе и их «лавят», как говорила Душка, по случаю приезда гостей. Пребывание у нас супругов Фет было очень приятно.

Лев Николаевич читал вслух отрывки вновь написанного из «Войны и мира». Афанасий Афанасьевич восхищался и содержанием, и чтением Льва Николаевича. Я видела, какое удовольствие он доставлял Льву Николаевичу своею искрен-

ней похвалой.

Когда стало смеркаться, Фет просил велеть закладывать лошадей.

– Мы поедем провожать вас, – говорил Лев Николаевич и велел запрягать линейку. Всем нам это было приятно.

Прошло некоторое время, но экипажей не подавали. Алексей был послан на конюшню, узнать в чем дело. Фет беспокоился: темнело, а дорога была через брод без моста.

Алексей пришел с ответом:

– Пошли к дьякону за шлеей, наша прохудилась. Прошло еще минут двадцать, и Алексей пришел сказать:

– Дьякон сам уехал, и шлея с ним.

Нечего было делать, мы с сожалением остались дома. Фет описывает это в своих «Воспоминаниях».

Бесконечно тянулись дни в Никольском. Для меня жизнь застыла. Единственное, что я любила, это – верховую езду. Я ездила одна по незнакомым местам и отдыхала в одиночестве не оттого, что другие меня раздражали, но оттого, что я их раздражала и мучила своей тоской, а главное – упадком сил.

Лев Николаевич велел привести кобыл и сам делал мне и себе кумыс. Я не любила его, но пила из благодарности ко Льву Николаевичу.

Когда я вспоминаю о заботах Сони и Льва Николаевича ко мне, как они возились со мной, как относились ко мне, то до сих пор сердце мое переполнено благодарностью и любовью

к ним.

Я пишу Поливанову:

«...странно, хочу здесь развернуться, быть веселой – и никак. Засмеюсь – не от души, а на место пения выйдут слезы. Когда все это кончится? Я не вижу конца».

Поливанов писал мне участливые письма, перемешанные с моралью.

Помню, что к нам приезжал с визитом сосед Волков, молодой человек, и предлагал мне хорошую лошадь ездить верхом, но я с благодарностью отказала. А Лев Николаевич сказал мне:

– Таня, куда девалась твоя кокетливость? Ну-ка, махни стариной с Волковым!

– Не могу, – улыбнувшись его совету, сказала я, – для меня теперь все мужчины, как наша Трифонова. А знаешь, наша Федора замуж выходит, а свадьба в августе после поста, – продолжала я, – и в Покровском жить остается. Она счастлива. Я за нее рада, мне Лиза писала.

Лев Николаевич получил от отца ответ на свое письмо и дал мне прочесть его, сказав:

– Какое хорошее письмо от твоего отца! «7 июля [1865 г.]

Я вижу из последних писем ваших, полученных нами сегодня, мои добрые и любезные друзья, что вы все очень расстроены и очень озабочены нами. Вы не знаете, какое впечатление произвело на нас все случившееся. Будьте уверены, что мы приняли все это очень рассудительно, и зная, как вы

оба любите Таню, я и на ее счет был совершенно покоен. Вы оба – лучшее ее утешение; в вашем обществе она оживет и скоро успокоится. Да, правду сказать, и не с чего было себя убивать. Я нахожу, что вы напрасно принимали все это так близко к сердцу и смотрели на все приключившееся, как на несчастье, тогда как вся эта история не что иное, как неприятное приключение, повторяющееся довольно часто в нашей жизни. Об нем можно немного погоревать, а потом следует забыть и радоваться, что оно имело такой благополучный исход. Бог спас Таню от несчастья, которому она шла с доверием навстречу. Хотя и трудно ей перенести это чувство разочарования, в котором она находится теперь относительно Сергея Николаевича, но не надобно забывать также, что она искупает этим и что ожидало ее, когда бы она сделалась его женою.

Мне очень жаль, милая Соня, что ты как-то слишком одушевлена против Сергея Николаевича. Я всегда радовался вашим дружеским, родственным отношениям и никак не хочу верить, чтобы отношения эти прекратились навсегда. Вы все должны ему простить его неосновательный поступок и вместе с ним пожалеть обо всем случившемся. Нет сомнения, что он сознает себя виноватым и сам обо всем сокрушается.

Ради Бога, прошу вас, мои добрые друзья, старайтесь как можно скорее изгнать из сердца вашего всякую злобу, предать все это забвению и быть уверенными, что все это случилось не умышленно, а сложилось из увлечения, к которому

все мы очень склонны. Мне больше всего то, что история эта нарушила ваше мирное и счастливое существование. Успокойтесь же сами и этим одним только вы успокоите и меня. Будьте опять веселы, забудьте все прошедшее, думайте только о будущем и устраивайте вашу жизнь как можно веселее. Охота вам горевать: все вы молоды, добры и честны; никто из вас ничего не имеет себе упрекнуть. Таня, оседлай-ка коня, да похорони свою скорбь в Чернском черноземе, а на тебя глядя – и все развеселятся! А потом и к нам в Москву; что-то не верится, вы оба как-то много и больно хорошо наобещали, увидим, как вы сдержите ваши обещания. Как только Сонюшка очутится сам друг, тут и прощай все ваши планы. Таня, в августе поезжай в Никольское на пар, увидишь драфов. Да съездий к Войтам, они будут тебе очень рады, а не то делай, как знаешь, да как папенька велит, он что-то не охотник до них. Кланяйтесь Дьякову. Ну прощайте, мои милые, обнимаю вас от всей души. Пишите нам почаще, не ленитесь; я бы разом расшевелил вас и не дал бы вам задуматься».

В ответ Лев Николаевич писал [24 июля 1865 г.]:

«Любезный, дорогой друг Андрей Евстафьич.

Много интересного и много приятного хотелось бы тебе писать о нашей жизни; но наша бедная Таня и у тебя и у меня на первом плане. – Она всё то же печальна, молчалива, не оживлена и живет в одном этом страшном для нее прошедшем. Я так понимаю ее, что она беспрестанно воспроизводит в своем воспоминании те минуты, которые казались для нее

счастьем, и потом всякий раз спрашивает себя: неужели это всё кончилось? И колеблется между любовью и озлоблением. Вытеснить из ее сердца эту любовь может только новая любовь. А как и когда она придет? Это Бог знает.

Тут помочь нельзя, а надо ждать терпеливо, что мы и делаем. Она добра, кротка, покорна и тем более ее жалко, желал бы всё сделать, чтоб помочь ей, а помочь нечем. За гитару и пение она редко, почти никогда не берется. И то ежели к ней пристанут с просьбами, то она немного попоет вполголоса и тотчас бросит. Утешительно то, что здоровье ее еще хорошо, хотя она и переменялась, что особенно поражает тех, которые не видят ее, как мы, каждый день.

Я жду многого от осени. – Во-первых, чтоб прошло лето, нынешнее знойное тяжелое лето – располагающее к мечтательности, и, во-вторых, охота и, в 3-х, перемена совершенная места, ежели сбудутся наши планы поездки за границу. Ежели известия, которые я тебе даю о ней, не радостны, то утешайся тем, что я скорее вижу всё в черном свете, чем в розовом, и что ты знаешь всю правду. Ежели бы не это наше общее семейное горе, мы бы все были очень довольны нашим летом.

Я после вод начал свои экскурсии. Первая была к Дьякову и с ним к Шатилову в Маховое. Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он сам один из самых милых по простоте, уму и знанию людей. Он нас принял прекрасно, и эта поездка еще более разогрела меня в моих хозяйствен-

ных предприятиях. К 25 июля меня звал к себе Киреевский в отъезд, но нездоровье (у меня после вод 2 недели расстройство желудка) задержало меня, и я завтра отвезу всех к Машеньке и попаду к Киреевскому не раньше 27.

Прощай, целую тебя и всех».

Лето был знойное, жаркое. Недалеко от дома, под горой, протекала река Чернь. Хотя купальни и не было, но мы с Соней ежедневно купались. Однажды нас постигла большая неприятность. Когда мы сидели в воде, проходили какие-то два «пиджака», как я называла таких неопределенных. Они начали, смеясь, дерзить нам, говоря, что унесут наше платье. Мы сидели глубоко в воде и только говорили: «Пожалуйста, уйдите». Но они не унимались. К счастью, вдали шел Лев Николаевич. Они увидели его и ушли. Соня отчаянным голосом закричала:

– Левочка!

Мы никого уже после не видали, но узнали, что Лев Николаевич, поймав одного из них, отколотил его палкой, которая была с ним.

Спустя несколько лет, когда Лев Николаевич говорил о «непротивлении злу», я как-то в споре с ним спросила его:

– А помнишь случай в Никольском с каким-то конторщиком? Что бы ты сделал теперь?

Он задумался.

– Думаю, что не мог бы бить его.

– А я бы с удовольствием, кабы была мужчиной, – сказала

я.

Он, по обыкновению, добродушно засмеялся на мое возражение.

Лев Николаевич, уезжая к Киреевскому на несколько дней, отвез нас в Покровское.

Х. Жизнь в Покровском

Я в первый раз была в Покровском. Жизнь там была совсем иная, чем в Ясной Поляне.

Одноэтажный каменный дом весь дышал стариной. Отношения людей к господам были преданные и почтительные. Люди при господах ходили на цыпочках. По утрам главная горничная графини Гаша, с высоким гребнем в косе, прямая, с неподвижным лицом, напоминающая своим типом Агафью Михайловну, то и дело говорила всем, чтобы не шумели, пока почивают господа. А если случайно залает собака, или прокричит петух под окном спальни Марии Николаевны, Гаша стремительно бросалась в девичью и высылала какую-нибудь девчонку (а их было три-четыре) отогнать петуха или собаку.

В доме был заведен порядок, который, казалось, невозможно было нарушить. По праздникам, в 8 часов утра, дверь нашей комнаты тихо отворялась, и на пороге появлялась Гаша, увешанная крахмальными юбками и платьями. Она несла их двумя пальцами, как-то особенно воздушно, держа их выше головы. Бережно раскладывая их на диване, она говорила:

– Графиня приказали надеть вам розовое платье, они едут с вами к обедне.

– А мамаша встает? – сонным голосом спросит Варенька.

– Почивают, – официально и коротко ответит Гаша, плавной походкой в мягких башмаках выходя из комнаты.

Так как дом был невелик, Соню с Марьей Афанасьевной и детьми устроили в бане, прикомандировав на помощь няне девочку Дуньку лет пятнадцати – шестнадцати.

В 9 часов мы все ехали к обедне. Дома ожидал нас хлебосольный чай, с разными булочками, печеньями, густыми сливками, и кофе с цикорием.

Соня мало принимала участия в нашей жизни. На новом месте заскучали дети, и она с ними. Она скоро уехала в Ясную. За ней приезжал Лев Николаевич. Меня оставили в Покровском. Я рада была пожить с девочками.

Скажу несколько слов о Марье Николаевне и ее брате Дмитрие. С детства очень балованная тетушками – Пелагеей Ильиничной и Татьяной Александровной, – она была капризна, своевольна, но с прекрасным сердцем и оригинальным умом. Истинная вера ее никогда не омрачалась сомнениями и помогала ей переносить несчастья. Она была несчастлива в своем замужестве: ее выдали замуж тетушки, когда ей было 16 лет. Она говорила мне, что она была очень «ребяча», что ей было безразлично, за кого выходить замуж. По совету тетушек, она вышла замуж за графа Валерьяна Петровича Толстого, своего родственника, который был много старше ее. Они жили в имении Покровском.

Валерьян Петрович вел очень безнравственную жизнь и изменял жене, когда только представлялся случай. Свекровь,

любившая Марью Николаевну, оберегала ее, как могла, от неприятностей и старалась все скрывать. Но после смерти ее это было трудно, и Марья Николаевна, узнав все происшедшее, была настолько огорчена и одинока, что Лев и Сергей Николаевичи уговорили расстаться с мужем и увезли ее с детьми в Пирогово, где и был выстроен дом на другом берегу реки.

Впоследствии, когда Лев Николаевич изменил свои взгляды на жизнь и вообще на все окружающее, он говорил:

– В одном я упрекаю себя постоянно – это, что я уговорил Машеньку бросить мужа и навсегда расстаться с ним. Это нехорошо. Что Бог соединил, люди не должны разъединять. И сестра должна была терпеливо переносить все, что Бог послал ей.

Я спорила с ним, что безнравственный муж и отец только приносит вред всей семье.

Эти слова Льва Николаевича о Марье Николаевне я вспомнила, когда мне дали знать телеграммой в Петербург о его уходе из Ясной Поляны 28 октября 1910 г., а 30 октября я выехала в Ясную Поляну. Конечно, если бы я виделась со Львом Николаевичем, я бы припомнила ему его слова. Но я не видала его перед смертью, потому что не поехала в Астапово, где он скончался.

Но я отвлеклась от своих воспоминаний.

Марья Николаевна была очень склонна к мистицизму, была суеверна, верила в явления, предчувствия и предска-

ния.

Эта черта суеверия и любовь к божественному – наследственная от матери, проявлялась почти во всех Толстых, а в особенности она была в Дмитрие Николаевиче. Это был оригинальный человек. Он имел угрюмый характер, был очень верующий. С молодых лет соблюдал посты, ходил в церковь, притом не в модную, а в тюремную; знакомился с духовенством, любил беседовать с ним, имел друзей не из общества, а сходилась с бедняками.

Марья Николаевна рассказывала мне, что у него был друг по фамилии Полубояринов, а братья и товарищи смеялись над ним и называли его «Полубезобедовым». Дмитрий Николаевич мало обращал внимания на их насмешки так же, как и на все внешнее, *le comme il faut*¹³⁰, о котором смолodu так заботились Сергей и Лев.

– Митенька был замечательный человек, – говорил Лев Николаевич. – Нравственно высок, вспыльчив до злобы и удивительно скромн и строг к себе. Как мне ясно, что смерть Митеньки не уничтожила его, а он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер.

После смерти двух братьев Марья Николаевна долго жила за границей и воспитывала там своего сына Николая.

Покровское расположено довольно красиво: старинный сад с липовыми аллеями и река в конце сада составляют всю

¹³⁰ как надо быть (фр.), т. е. внешняя порядочность и внешнее изящество.

красоту имения. Белый каменный дом, уже старый, казался мне таинственным, вероятно, потому, что я слышала много легенд о нем.

Бывало, вечером, сидим мы вместе с Марьей Николаевной в саду или в слабо освещенной гостиной. Свет луны падает полосами на пол и освещает середину комнаты. Все мы, утомившись от жаркого дня и прогулки, сидим молча. Мне хочется навести Марью Николаевну на рассказ о чем-нибудь сверхъестественном, и мне это удастся. Марья Николаевна рассказывает нам о смерти своей свекрови Елизаветы Александровны.

– Я сильно тосковала по ней, – говорила Марья Николаевна, – мне казалось, что я потеряла в ней неизменного друга и покровительницу, и я много плакала.

И вот, однажды ночью, муж был в отсутствии, мне не спалось. В спальне тускло горела лампада. У кровати моей стояли ширмы, и на эти ширмы я обыкновенно вешала свои деревянные четки, которые носила днем. Был первый час ночи, все в доме уже спали, когда я услышала медленные шаги, приближавшиеся ко мне, и я увидела, как из-за ширмы вышла женщина вся в белом, с покрытой головой; она медленно подошла к ширме, пошевелила висевшими четками так, что я слышала отчетливо деревянный звук их, потом она подошла ближе ко мне и пристально взглянула на меня, и я узнала в ней свою, свекровь. В первую минуту я не испугалась, но, опомнясь, что ее нет более в живых, мне стало

страшно, я вскрикнула. Призрак исчез.

Помолчав немного, Марья Николаевна прибавила: – И в этот год мы навсегда расстались с мужем.

После этого рассказа я навожу Марью Николаевну на воспоминания ее о Тургеневе. Я слышала, что Иван Сергеевич бывал часто в Покровском, что он любил Марью Николаевну, ценил ее тонкий ум и ее художественное чутье.

– Тургенев часто бывал у вас? – спрашивала я.

– Да, – говорила Марья Николаевна, – он приезжал в Покровское, привозил рукописи свои и читал мне их. Мы целые вечера проводили с ним. Мужа литература утомляла, – улыбаясь, говорила Марья Николаевна.

– Правда, что героиня его Вера Ельцова взята с вас? – спросила я.

– Говорят так. Тургенев подметил даже мою черту характера, что я не любила стихов, и он это описал в характере Веры Ельцовой, – сказала Марья Николаевна.

– А вы его любили? – спросила я с решительностью.

Марья Николаевна весело засмеялась.

– Танечка, ты – *enfant terrible!*¹³¹ Он был смолоду удивительно интересен своим живым умом и поразительным художественным вкусом. Да, такие люди редки, – помолчав, сказала Марья Николаевна.

Кто коротко знал Марью Николаевну, тот знает и ее правдивость. Она не только неспособна была выдумать что-ни-

¹³¹ ужасный ребенок! (фр.)

будь, но даже не имела привычки преувеличивать свой рассказ; говорила она спокойным, ровным голосом, несколько не заботясь о впечатлении, которое производила на своих слушателей.

Самые близкие соседи Марьи Николаевны была многочисленная, патриархальная семья барона Дельвига. Семья барона Александра Антоновича и он сам пользовались уважением и симпатией всей округи. Помню, как тридцатого августа собиралось многочисленное общество на именины барона. Все деревенские новости: о назначениях, о посевах и урожаях и проч. можно было узнать в этот день. Но нам, молодым девушкам, конечно, не приходилось принимать участия в этих беседах, нас влекло на лужайку, где устраивались шумные игры в кошки-мышки и горелки, где бегала не только вся молодежь, но и совсем взрослые, словом, кого только носили ноги. Сколько незатейливых помещичьих свадеб и увлечений влекли за собой эти игры!

Все чувствовали себя благодушно, весело в этой гостеприимной семье, где никогда не слышалось ни злобы, ни осуждения, где ко всем относились просто, ровно и добродушно.

Раз как-то Марья Николаевна предложила идти пешком в Мценск на богомолье, за двадцать пять верст от Покровского.

К сожалению, этот обычай паломничества почти совсем вывелся с железными дорогами, а сколько поэзии он вносил в будничную жизнь! Отрываешься от всего земного, услов-

ного и тесного. Идешь себе по неведомым местам, и одна картина сменяется другой. Впереди простор, беспредельное пространство, где так легко дышится; вокруг тишина, нарушаемая лишь пением жаворонков, и чувствуется, что и мысли и сердце – все успокаивается и сливается в одно с этой удивительной природой.

Место сбора было назначено в Покровском. Нас собралось человек десять. Мы вышли рано утром. С нами шла Любовь Антоновна (сестра барона Дельвига) и баронесса, остальные были из соседей – барышни и двое молодых людей. За нами ехала долгуша для ленивых и слабых, там была уложена и провизия. Дни стояли жаркие – была, кажется, середина июля. Дорога шла частью лесом, частью большаком.

– Увидим, – говорила Марья Николаевна, – кто из нас набожный и дойдет пешком до Мценска, не садясь ни разу в долгушу. Вот мы с Любовью Антоновной наверное будем неутомимы, – прибавила она.

И, действительно, изнеженная и вообще мало двигавшаяся Марья Николаевна ни разу не пожаловалась на усталость.

Мы шли бодро и весело, проходя незаметно незнакомые нам места.

Вечером, на полдороге, где был постоянный двор, мы сделали привал с ночевкой.

Мы все проголодались, а так как в избе было душно и были мухи, мы велели вынести стол и подать самовар на воздух. Несмотря на усталость, чувствовалось оживление. Кто-то

из молодежи нес самовар, другие раскладывали провизию. Марья Николаевна была необыкновенно добра и мила ко всем и трогательно заботилась о моем отдыхе, так как я считалась далеко не из сильных.

Баба Матрена с постоянного двора прислуживала нам и спрашивала, куда мы идем. Узнавши, что на богомолье в Мценск, она очень одобрила нас, говоря, что Николай угодник много чудес творил и что лик его, изображенный на большом камне, приплыл по реке к берегу, – к тому самому месту, где и построен собор.

– А какие чудеса творил угодник? – спросила Марья Николаевна.

– А вот на селе у нас две порченые были, – начала Матрена, – кликуши, значит, в церкви бесновались, и чего-чего только с ними не делали: и под куриный насест сажали, и со Спасского старуха отчитывала, ничего не легчало, а одна странница посоветовала к угоднику свести. Так и сделали. Отслужили молебен, к мощам приложились, и порчи не стало. А то мальчика бык забрухал, и тоже чудотворец исцелил. Да, богомольцы много чудес рассказывают, – говорила Матрена, – всех и не припомнишь.

Марья Николаевна внимательно слушала рассказы бабы; она, кажется, боялась, чтобы наше веселое настроение и сдержанный смех не обидели Матрену.

Солнце уже садилось, и вечерняя прохлада чувствовалась в воздухе. Так как на другое утро мы должны были встать

рано и продолжать свой путь, Любовь Антоновна уговорила всех разойтись пораньше.

Ночлег наш был устроен на сене в каком-то просторном сарае, куда и поместились Марья Николаевна, баронесса и мы трое.

Мы весело осматривали наше новое, тускло освещенное убежище. Сквозь щели сарая проглядывал свет луны. На сене были разостланы простыни, и для каждой из нас была подушка.

Когда я легла, я почувствовала запах конюшни, дегтя и близость каких-то животных. После того как все затихло и потушили огонь, слышалось фыркание лошадей, блеяние овец и легкий шум возившихся кур на насесте. Это непривычное соседство вызвало во мне какое-то ощущение близости к природе, необычайной и привлекательной. Мне не спалось и хотелось, чтобы и другие чувствовали прелесть этой ночи.

– Лиза, ты спишь? – тихо окликнула я ее, – как хорошо здесь, ведь правда?

Лиза не спала: она живо привстала, как будто ожидала моего вопроса.

– Да, чудесно, как сеном пахнет, – сказала она. – А ты знаешь, я нисколько не устала и завтра ни за что в долгушу не сяду.

Как видно, она только что думала об этом.

На другом конце сарая Варенька тихо разговаривала с ба-

ронессой.

Но вскоре усталость взяла свое, понемногу все затихло, вокруг меня уже спали. Я слышала сквозь сон, как Марья Николаевна шептала молитву, глубоко вздыхая.

На другой день к вечеру мы подходили к Мценску. Утомленные дорогой, мы, молча, тихим шагом, подымались в гору. Перед нами уже раскинулся весь город, и на высокой горе виднелся собор. Была суббота, и колокол торжественно и медленно звонил ко всенощной. Марья Николаевна остановилась и набожно перекрестилась. Как все тогда казалось значительно, и как Марья Николаевна умела придать нашему паломничеству религиозный характер своим добрым и простым настроением.

В Мценске мы остановились в гостинице, которая после нашего просторного сарая показалась мне тесной и душной.

Не помню, как провели мы день, но знаю, что через два дня мы были уже в Покровском, откуда через несколько дней я уехала в Никольское.

Дома в Никольском развлекали меня дети, особенно маленькая Таня, которая развивалась с каждым днем и забавляла своими детскими выдумками. Сережа был серьезный, спокойный мальчик; он трогательно относился к сестре: уступал ей игрушки, снисходительно относился к ней, как к маленькой.

Однажды, помню, как он напугал нас: Соня, няня, я и Сережа находились в столовой. Окно было открыто. Няня как-

то отошла от Сережи и не заметила, как он влез на окно, и вдруг раздался не то крик, не то испуганный возглас, и Сережа исчез. В это время входил в комнату Лев Николаевич, и Соня закричала:

– Левочка! Сережа упал из... – она не договорила «из окна», как Лев Николаевич уже был внизу, а няня стояла, низко пригнувшись к окну. Она успела подскочить к Сереже и на лету поймала его за холщовую рубашку. С испугу он неистово кричал.

Окно от земли было аршина на два с половиною. Лев Николаевич благополучно принес Сережу к нам, взяв его из рук испуганной няни.

Этот случай так напугал нас, что я до сих пор помню его. Он как будто вывел меня на время из какой-то летаргии, хотя и возбудил во мне только чувство ужаса.

XI. Семейство Дьяковых

Самые близкие соседи наши Дьяковы.

– Соня, поедем к Дьяковым, – говорю я, – они нас так звали.

– Поедем, только через несколько дней.

Соня и рада, и удивлена, что я что-нибудь пожелала. Она удивительно добра ко мне, что меня трогает.

Последнее письмо отца мне понравилось: «Да, похороню все в Чернском черноземе, как пишет папа», говорю я себе: – «Не надо опускаться».

Мы в Черемошне, имении Дьяковых, в 25 верстах от Никольского, в Новосильском уезде. Нам все рады. Дмитрий Алексеевич больше всех рад Льву Николаевичу. Я вижу, с какой нежностью он заботится о нем, как он хвалит его роман, с каким юмором он относится к хозяйству его.

– Левочка, а что, Ясную ты на Кирюшку оставил? – спрашивал, смеясь, Дмитрий Алексеевич.

– Лев Николаевич, вы прочтете нам вечером что-либо из вашего романа? – спрашивает Долли.

Лев Николаевич согласился и превосходно прочел нам место охоты с дядюшкой. Лев Николаевич говорил, что описание охоты у дядюшки и его домашней обстановки сразу вылилось у него.

– Что бывает со мной довольно редко, – прибавил он.

Соня пишет в своих воспоминаниях:

«Когда Лев Николаевич описал сцену охоты Ростовых и я зачем-то пришла к нему вниз, в его кабинет, устроенный им в новой пристройке внизу, он весь сиял счастьем. Видно было, что он вполне доволен своей работой, хотя это бывало редко».

А я помню, что когда он читал какое-нибудь трогательное место вслух, в его голосе слышались слезы, что очень действовало на меня и усиливало впечатление. Так, например, место – когда князь Андрей лежит раненый в поле:

«Неужели это смерть?» – думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, выющуюся от вертящегося черного мячика. «Я не могу, я не хочу умереть; я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух...»

Кто, кроме Льва Николаевича, может так сказать: «завистливым взглядом глядя на траву»? Надо сказать, что Тургенев больше всех или же так же, как и Страхов, умел ценить силу его слога.

Соня приписывала его слезы нервному утомлению. Она говорила, что в такие периоды он к семье относился как-то равнодушно и холодно и что она от этого страдала. Но я знала, что слезы вызваны его творческой силой. Конечно, такой разносторонний человек, каким был Лев Николаевич, не мог быть всегда ровным. Он слишком много вмещал в себе.

В Черемошне я немного оживилась с милой Софе-шой и

с Машей. Втроем мы обегали все незнакомые мне места.

– Софеш, какая у вас чудная коса, распустите ее, – говорила я ей.

И она с удовольствием исполняла мое желание. Она не была избалована похвалами. Маленького роста, с узкими плечами и с институтскими сдержанными манерами, она была очень мила. Ее серые большие глаза глядели наивно и вопрошительно. Мы сразу сошлись с ней; за столом я села около нее.

Склад дома у Дьяковых был совершенно противоположным порядком Ясной Поляны. Большая зала, большой круглый обеденный стол, два лакея с баками без усов, чисто одетые, из которых один, Порфирий Дементьевич, чуть ли не родившийся в доме деда Дьякова, с тарелкой в руках почти весь обед стоял за прибором Дарьи Александровны и как-то глазами ухитрялся указывать молодому лакею Родиону всю премудрость службы у барского стола. Обед был изящный. Лев Николаевич был весел, он рассказывал о своей поездке к Шатилову.

– Это удивительное хозяйство, образцовое, – говорил Лев Николаевич, – или счастье таким людям, или же необычайное умение. У него все живет, все процветает; порода скота – замечательная.

– Уменье выбирать людей! С Кирюшками далеко не уедешь! – смеясь сказал Дмитрий Алексеевич. – Ну, конечно, надо и самому знать и любить это дело.

– Я увлекался им, а теперь немного охладел, – сказал Лев Николаевич.

Я была у Дьяковых в первый раз, и мне все нравилось у них: этот просторный чудный дом с террасой, уставленной цветами, высокие большие комнаты и весь склад жизни, хотя и деревенский, но определенно красивый и удобный.

К тому же Долли, как мы с Соней уже называли ее, была до того мила, ласкова с нами, что привлекала нас к себе. А Дмитрий Алексеевич был так гостеприимен, что не хотелось уезжать от них. Но оставаться одной я не решалась, несмотря на их приглашение. «Ну, как затоскую без Толстых», – думала я.

ХII. Новая жизнь

Начало осени. В лесу зашумел падающий лист, выгоняя зверя в скошенные поля. Почти каждый день я ездила со Львом Николаевичем на охоту с борзыми. С нами, вместо простяка Бибикова и Николки Цвёткова, иногда ездили соседи: Волков, Дьяков, молодой Новосильцев, сосед более отдаленный, на кровной лошади, в элегантной охотничьей одежде, с французским языком и прелестным завтраком – пулярки, паштеты и проч., которые он сам резал на тонкие куски.

– *Mademoiselle desire un morceau de volaille?*¹³² – спрашивал он меня.

И мне это нравилось. А Лев Николаевич дразнил меня, когда мы ездили на охоту без Новосильцева, и спрашивал:

– *Mademoiselle desire un croflte de pain?*¹³³ Дмитрий Алексеевич не был охотник. Он не только не увлекался хорошей травлей, но был к ней даже совсем равнодушен: ворчал, когда долго не было привала и завтрака, смеялся, когда собаки плохо скакали и травля была неудачна, говоря:

– Левочка, собаки твои недостаточно резвы. Заяц на канаве сидит и показывает им на лапке кольцо с незабудкой, а они его не ловят.

¹³² Не желает ли мадемуазель кусочек пулярки? (фр.)

¹³³ Не желает ли мадемуазель корку хлеба? (фр.)

Лев Николаевич не обижался, а смеялся. А я, хотя смеялась, но обижалась.

– Вы глупости говорите, откуда зайцу кольцо взять? Да и собаки наши резвые, – вступалась я за нашу охотничью честь.

По совету отца ездили мы и на дроф. Я видела в первый раз, как на скошенном поле сидела целая стая этой величественной птицы. Лев Николаевич, сойдя с лошади, с ружьем крался ползком к канаве, чтобы сесть в засаду. Но едва только дополз он до канавы, как с шумом вспорхнула вся стая кверху. Как это было досадно и красиво!

Я – в Черемошне, куда привез меня Дмитрий Алексеевич. В чужом доме как-то всегда больше бывает чувствительная ласка и привет. Я немного робела ехать к ним. Не знала, на какое время еду, и как-то не думала об этом. Мне хотелось перемены, хотелось другой обстановки, чтобы забыться. То радушие, тот ласковый прием, который я встретила у них, превышал все мои ожидания. Я сразу почувствовала себя, как дома.

По моей просьбе я живу с Софеш в одной комнате.

– Почему же ты не хочешь своей особенной комнаты? – спросила меня Дарья Александровна.

– Я привидений боюсь, – откровенно ответила я. Мой ответ вызвал дружный взрыв хохота.

– А вы думаете, что у меня их нет? – спросила Софеш. – Намедни один с рогами в зеркале показался.

Мы с Машей весело засмеялись.

– Она все вздор говорит, – вступилась Долли, – у нас в доме никогда привидений не было. Это тебя Марья Николаевна напугала. Можешь спать спокойно, моя милочка, – уговаривала меня Долли, как ребенка.

Всё и все у Дьяковых действовали на меня благотворно, и я была бы вполне спокойна и весела, если бы на сердце у меня не была заноза. Эта заноза была – недоброжелательное отношение Льва Николаевича ко мне. Перед отъездом своим я заметила, что Соня была за то, чтобы я ехала рассеяться к Дьяковым, но Лев Николаевич как-то недружелюбно отнесся к этому. Я сейчас же почувствовала, что отношения наши изменились. Все, что он говорил мне, казалось мне неискренним; когда мы оставались вдвоем, мы не знали, о чем говорить, и установилась какая-то невольная неловкость, которой ни я, ни он не могли преодолеть, и которую я не могла понять. Мне все казалось, что он за что-то осуждает меня, а за что, я не знала. И меня это мучило, и не с кем было поделиться своим недоумением.

– Таня, тебе письмо из Ясной, – говорила, входя ко мне, Маша, – привезли из города, я узнала почерк Сони.

Я распечатала конверт и увидела письмо Сони и почерк Льва Николаевича и очень взволновалась.

«Читай одна» – были первые слова, написанные в заголовке письма.

– Чем это вы так довольны? У вас такое сияющее лицо,

Таня? – спросила Софеш, сидевшая тут же.

– Письмо от Льва Николаевича, – сказала я, – не говорите со мной.

Я стала читать:

«Таня, читай одна.

Вот что, милая Таня. И пускай это письмо будет секрет от Дьяковых. Может быть, ничего и не будет секретного, но мне ловчее будет писать, зная, что пишу тебе одной. Так вот что: отчего мы последнее время похолодели друг к другу? Не только похолодели, но стали как-то недоверчивы и подозрительны друг к другу. Ты так чутка, что ты, верно, сама заметила это. И мне это очень грустно. Иногда как будто пройдет (в наши свиданья в Никольском и Черемошне), и опять. Точно как будто мы втайне один от другого строго обсудили друг друга – и скрываем наше мнение. Или, может быть, просто я тебя ревную к Дьяковым и всё это мне кажется. Но только всякий раз, как я думаю о тебе, мне становится грустно, как будто вот был у меня близкий, искренний друг, и я с ним разошелся или расхожусь.

Давай, чтоб этого не было. Пожалуйста. Я с тобой был иногда не совсем искренен. Я не буду больше, и ты будь совсем искренна со мной, ежели тебе это не неприятно, и серьезно смотри на меня – не для шутки – как на второго отца. Видишь ли – в нашей дружбе от меня ты имеешь право требовать совета, помощи, всякого рода трудов и дел, а я от тебя имею право требовать искренности совершенной. Еже-

ли между нами дружба. – Может быть, прежде обстоятельства мешали таким отношениям, теперь не будет этих обстоятельств, и теперь будем очень, очень дружны, и чтоб нам не было неловко друг с другом, как было последнее время. Для этого я от тебя требую совершенной искренности, и ты сама скажи, чего ты от меня требуешь.

Может быть, ты скажешь: что ему показалось! Вот удивительно! и т. д. Тогда прекрасно. Но во всяком случае, когда мы увидимся, я буду к тебе лучше, проще и нежнее, чем я был. Я чувствую эту потребность в моем сердце и чувствовал потребность тебе это написать. Вот и вся. Прощай, милая Таня.

Скажи Дьякову, что я и не думал быть недовольным Терлецким¹³⁴ – напротив – он не хуже Ивана Ивановича. Но несмотря на то, я счел своим долгом передать ему предложения Дьякова, которые выгоднее моих, и он отказался.

Бывало, всё в зиму побывает у нас раза три Дьяков, а теперь ему дома хорошо. Интригуй, чтобы они все к нам приехали».

Каждая строчка не только доставляла мне удовольствие, но действовала на меня, как целебный, нежный бальзам.

– Да, да, – говорила я себе, – все, что он пишет, правда. Какое счастье, что теперь все объяснилось! Я напишу ему сегодня же.

И я села писать ему. Я писала порывисто, скоро и несклад-

¹³⁴ Новый управляющий.

но [25 ноября 1865 г.]:

«Вот как, милый Левочка, я никак не ждала такого письма, оно меня уж слишком утешило и растрогало. Я удивилась, обрадовалась, я даже и не знаю, что я почувствовала. Все это время меня это мучало, тяготило, отчего мы отделились, и Сонины нежные, заботливые письма мне как-то совестно всякий раз их было получать, отчего это случилось, я никак не понимаю. Мне бывало и неловко, и кажется: „ну, теперь все кончено между нами“, и расстались мы так нехорошо. Меня это так мучило, я ни вам, никому этого не говорила, а теперь мне опять легко, хорошо, и мы опять будем очень, очень дружны. Искренна я с тобой всегда и прежде была, и теперь буду, и что только могло мешать этому, того теперь уж нет. Ты мне и лучший друг и второй отец, и всегда это так будет, и я тебя очень, очень люблю, и где бы я ни жила и ни была, это никогда измениться не может. А в Москву я очень рада ехать после Нового года и целую милую Соню за счастливую выдумку, а тебе, Левочка, кажется, что я замуж выйду эту зиму, а я уверена, что нет, и потом умно рассуждать: надо выйти замуж, а как думаю о старом, весь рассудок пропадает. У меня так часто и теперь находит такая грусть и ничего впереди хорошего не вижу. Но, может быть, это пройдет, и сидела бы я все в деревне и никуда больше и ничего больше не хочется. Я все думаю, что бы это было со мною, если бы ты не написал мне этого письма. Я бы молчала, и

до самого нашего свидания все меня бы это мучило, тревожило, и сама бы не решилась написать. Прощай, Левочка, напиши еще когда, я буду очень рада. Как вы поживаете, а я теперь совсем здорова, и кровь только с кашлем показывалась. Пою мало, только мне это очень много стоит удерживаться. Родители должно быть огорчатся, что мы отложили поездку. Ну, прощай. Таня».

ХІІІ. Жизнь наша в Черемошне

Жизнь наша в Черемошне сложилась хотя и однообразно, но очень приятно. Порядок дня был здесь ненарушим. К утреннему чаю собирались все вместе к 9 часам. В 12 был завтрак и в 5 обед. Вечер был самый приятный: приходил из конторы Дмитрий Алексеевич, играли на бильярде, стоявшем в зале, занимались музыкой или просто весело болтали.

– Таня, – говорила Долли, – будешь позировать? Я напишу твой портрет.

Дарья Александровна училась живописи в Париже и увлекалась ею.

Я согласилась.

Сеансы происходили ежедневно днем в уютном, светлом кабинете Долли с большим, низким окном. Дмитрий Алексеевич приходил к нашему дневному чаю, оживляя наши сеансы чтением вслух Тургенева, Гончарова, Достоевского и проч. Маша в соседней комнате, заставленной всевозможными играми, куклами и занятиями, играла с дворовой девочкой. Софеш хлопотала у чая и дразнила меня, что я делаю гримасу ртом, чтобы выходил не открытый.

День Дмитрия Алексеевича проходил тоже однообразно. Утром он объезжал поля. Он любил хозяйство, верил в то, что оно полезно и необходимо. С крестьянами ладил, как никто; знал и любил народ. Колебаний в своем деле он не до-

пускал. Во всем и во всех видел комическое, за что я иногда сердилась, но часто и смеялась его лаконическим остроумам. Сын Льва Николаевича Илья Львович пишет про него:

«Бывало, слушаешь его и все время ждешь: вот-вот сострит что-нибудь, – и все рады и хохочут, и папа больше всех».

Лев Николаевич любил Дьякова не только как старинного друга по студенчеству или как товарища, бывши военным, но любил его, как прямого, честного, благородного человека, с чудным сердцем.

Воззрения их на жизнь, на религию были различны, но вопросы эти между ними не затрагивались. Казалось, они сказали себе: «Я знаю тебя, какой ты, знаю тебя насквозь, знаю, что ты любишь меня, и мне этого довольно, а там чуди, как хочешь».

По воскресеньям к Дьяковым собирались соседи. Это было для нас, девочек, развлечением. Соседи были разнообразные. Приезжал помещик, ярый хозяин Соловьев. Казалось, что он еще из передней, не войдя в залу, уже кричал Дмитрию Алексеевичу.

– А посевы окончили?

За ним шел сын его – пасмурный студент – Хрисанф. На свет Божий он глядел исподлобья и грыз ногти. На нас, молодых девушек, он не обращал никакого внимания, что меня бесило.

– Ну-ка, Таня, садитесь за обедом около Хрисанфа, – смеясь, говорила мне Софеш, – расшевелите его.

Иногда за обедом покажется нам что-нибудь смешное, и нападет на нас «смехун», и Дмитрий Алексеевич строго посмотрит на Софеш и на Машу, а Долли своим приветливым, мягким голосом отвлечет внимание того, кто может обидеться.

Приезжал Борисов, вдовый (он был женат на сестре Фета), начитанный, с умными разговорами и сведениями о Тургеневе, бывавшем у него в деревне. И мы ездили к нему, но я забыла подробности этой поездки. Помню лишь впечатления: сам – маленький, дом – маленький, сын Петя – маленький, чашки, шахматы, столовая – все маленькое, аккуратное и изящное. Я запомнила это, потому что когда Дмитрий Алексеевич спросил меня, как я нашла Борисова, я ответила ему этими самыми словами, чем и насмешила Дмитрия Алексеевича и Долли. Бывала до воскресенья!

Соседка Ольга Васильевна (не помню ее фамилии), полная, добродушная, в чепчике с малиновыми лентами. Она привозила с собой целый запас деревенских и уездных новостей, происшествий и сплетен. Бывали и другие, но не помню их.

Доля, с тонкой папироской во рту, принимала всех одинаково спокойно и приветливо.

«У нее надо учиться, как быть в жизни, – думала я, – ровной, спокойной и ласковой». С каждым днем я больше и больше привязывалась к ней и ценила ее. В ней было столько достойного спокойствия, доброты и чего-то привлекательно-

го. Отношения ее к дочери, к мужу были так же ровны и сердечны, как и вся она. Я никогда не слышала ни малейшей семейной ссоры, недовольства в их семье. А я жила с ними почти два года – с промежутками, – приехав к ним в первый раз, чтоб погостить несколько дней. Я пишу Поливанову [12 октября 1865 г.]:

«...А я опять переменяла адрес, живу, вот уже месяц у Дьяковых в деревне. Наши уехали в Ясную, а я не поехала. Удивитесь, отчего? Слишком все еще живо воспоминание. Про что? Не могу описать, скажу только – про Сергея Николаевича. Проживу я здесь до самой Москвы, а туда, когда поедем, не знаю. Мне здесь очень хорошо. Она, он и дочь их 12 лет ужасно милые люди, и меня очень любят и балуют. На охоту я не могу ездить, я не совсем здорова, все кровь горлом показывается...

Левочка и Соня пробыли несколько дней у Дьяковых и уехали в Ясную. Мне очень жалко было расстаться с ними. Они все здоровы. Левочка скоро будет печатать 3-ю часть, которая очень хороша, он нам тут читал вслух.

Прощайте, милый воспитанник...

Таня». Однажды сидели мы за завтраком. Я, как всегда, спиною к двери в переднюю. Вдруг я увидела в лице Долли и Дмитрия Алексеевича мгновенную улыбку и блеск в глазах; в ту же секунду глаза мои были прикрыты чьими-то ладонями. Все это произошло в две-три секунды.

– Отгадай кто? – воскликнула Долли.

– Левочка! – радостно закричала я на всю залу.

И это был он, и это была наша общая радость. После приветствий он сел с нами за стол. Пошли вопросы о Соне, детях и прочем.

– А я задумал пристроить дом, – говорил Лев Николаевич. – Уж очень тесно у нас; две комнаты внизу и большая терраса наверху. Тогда приезжайте гостить к нам.

Я очень одобрила его намерение.

– Ты, Левочка, – говорил Дмитрий Алексеевич, – не строй без архитектора, не выйдет у тебя!

– Почему? – спросил Лев Николаевич. – У меня ясный план в голове.

– Надуют! Нельзя же все таланты иметь и даже способности архитектора. Надуют, наверное, – смеясь, прибавил Дьяков.

Какой праздничный, приятный день мы провели со Львом Николаевичем! Да кто же бы и мог, как не он, так неожиданно, ласково обрадовать нас. После обеда ходили все вместе в дальний лес. Вечером он сел за рояль, играл с Долли в четыре руки. Потом аккомпанировал мне и Дьякову и заставлял нас петь. Мы просили его прочесть из «Войны и мира».

– Летом почти ничего не писал и теперь только сажусь за свое любимое дело, и с собой ничего не привез, – говорил Лев Николаевич. – В следующий раз привезу, я теперь скоро опять приеду.

Я чувствовала на себе его вопросительно пыливый

взгляд: он хотел знать, как я живу у Дьяковых. На другой день я все, подробно, как я привыкла, рассказала ему о нашей жизни, а главное про свою дружбу с Долли. Долли и Дмитрий Алексеевич, в свою очередь, рассказывали про меня. Это удивительно, как он до малейших подробностей выпытывал все у нас. Про мое письмо он сказал мне:

– Ты мне написала именно то, что я ожидал и что я желал.

Лев Николаевич уговаривал нас приехать на рождество и встречать новый год. Дьяковы обещали.

– Но мы до тех пор еще увидимся с тобой, – говорил Дмитрий Алексеевич.

– Машенька с дочерьми тоже обещала быть, – говорил Лев Николаевич. – Мы вместе встретим новый год.

Я так радовалась этому разговору, что кинулась обнимать Долли.

– Мы поедем? Да? Наверное? Ну говори же! – кричала я, целуя ее. – Говори, поедем?

– Смотрите, Дарья Александровна, ведь она вас задушит, – смеясь, говорил Лев Николаевич.

– Ничего, я привыкла! Только не берите ее от нас, – говорила Долли. – Мы ее все так полюбили.

Мне был особенно приятен этот разговор. Я всегда боялась, что я могу быть в тягость и что Толстые могут это думать.

– Мы поедем, непременно, – успокаивала меня Долли: – Дмитрий нам кибитку или возок купит.

– Я так и Соне скажу, – сказал Лев Николаевич. – Она будет очень довольна.

– Дмитрий, весной ты приедешь к нам крестить? Ты согласен? – сядясь в коляску, говорил Лев Николаевич, уезжая от нас.

– Непременно, с удовольствием, – отвечал Дьяков. – Да мы еще много раз увидимся.

Побыв в Черемошне двое суток, Лев Николаевич поехал дальше, кажется к Киреевскому на охоту, хорошо не помню.

Наступил декабрь. Здоровье Долли все ухудшалось. И мы видели, что наша поездка в Ясную вряд ли состоится, но все еще надеялись. Сохранилось мое письмо к Соне:

«14 декабря 1865 г.

Друг мой Соня, даже и не знаю, к чему приписать ваше молчание. С Левочкиного письма я не получала ничего. Я было хотела подумать, не случилось ли чего у вас, да скорее отогнала черные мысли. Мы собираемся серьезно к вам 28 или 29. Купили уж кибитку, чуть ли не на 20 человек, и всей гурьбой наедем к вам. Я жду с нетерпением увидеться с вами, мои милые. Я узнала от родителей ваши планы насчет Москвы – на два месяца туда жить. Я очень их одобряю и из эгоизма и для вас: трудно на неделю трогаться. А уж родители с радостью мне сейчас же об этом написали.

Две вещи могут помешать нам приехать в Ясную: это Доллины головные боли, да если ее брат приедет, а она уж ему написала отказ. Доля хотела тебе писать,

а я остановила: у нее все эти дни очень голова болела. Маша, Софеш, я – все мы здоровы, катаемся с горы в красных панталонах Дмитрия Алексеевича каждый день. Но меня это так беспокоит, что так давно нет писем от вас. Нет ли каких перемен планов? Ты слышала, что Саша будет к праздникам и, может быть, мы его застанем? Мне бы ужасно хотелось его видеть.

Здесь готовим мы на первый праздник большую елку и рисуем фонарики разные и вспоминали, как ты эти вещи умеешь сделать. Дмитрий Алексеевич ездил в Орел на днях и закупал все. Был у Борисова, и он ему сказал, что Фет едет скоро в Москву, вероятно, он заедет в Ясную. Скоро мы увидимся, милая моя Соня. Мне кажется, мы так давно разлучены, что много и переговорить и передумать опять надо вместе. А слышали вы, что Клавдия выходит замуж за соборного регента? Я очень удивилась и обрадовалась за нее. До свидания, милая Соня, целую тебя, Сережу, Танюшу, Левочку. Напишите мне скорее, а то я серьезно начну мучиться. Кланяюсь тетеньке...

Левочка, смотри, какие уморительные стихи пишет Тургенев Пете Борисову, почему не едет сюда:

*У вас каждый день мороз,
А я свой жалею нос.
У вас скверные дороги,
А я свои жалею ноги.
У вас зайцы все тю-тю!
А я их сотнями здесь бью.*

*У вас черный хлеб да квас,
Здесь – рейнвейн да ананас!*

*Дмитрий Алексеевич очень ими недоволен остался и,
говорит, в его годы это гадко».*

Наступили праздники Рождества. Деревенские простые удовольствия тешили нас, а предстоящая поездка в Ясную была нашей звездочкой. Была великолепная елка с подарками и дворовыми детьми. В лунную ночь – катанье на тройке. По вечерам лили воск и выбегали спрашивать имя.

Помню, как Софеш, спрятавшись за куст, когда я спросила какого-то прохожего имя, басом закричала мне: «Хри-санф!» Миловидная горничная Нюша уверяла нас, что она слушала в полночь в бане и что там кто-то свистят и дышит.

– Это ветер, верно, – говорили мы.

– Какой там ветер, – домовой завсегда в бане в праздник шумит! Ей-богу право, у нас девушки так боятся. А я-то с нашим поваренком Васькой ходила, и то жуть брала.

Приближался конец декабря, а здоровье Дарьи Александровны становилось все хуже. Мороз крепчал с каждым днем, и пускаться в путь было немислимо, хотя мы, девочки, все еще надеялись на что-то. Поездка наша не состоялась. Я боялась показывать свое отчаяние Дьяковым, чтобы еще больше не огорчить их. Но, когда я получила письмо от Льва Николаевича, я не вытерпела и заплакала. Он пишет [1-го января 1866 г.]:

«Милый друг Таня!

Ты не можешь себе представить, как мы вас ждали в продолжение двух дней – 30 и 31 до той печальной минуты, когда после обеда 31 принесли нам твое письмо. Благодаря нашим милым девочкам и, должно быть, любви к тебе и к Дьяковым, мне сделалось 13 лет. И такое страстное желание было, чтоб вы приехали, что эти два дня я ничем не мог заниматься, ни об чем думать, как об вас, и каждую минуту подбегал к окну и обманывал девочек „едут, едут!“ и всё напрасно. Потом, как получили твое письмо, у меня было чувство, как будто какое-то несчастье случилось или преступление с моей стороны, которое отравило и отравит теперь всякое удовольствие. Мы с Соней оба тотчас же, где сидели (у тетиньки в комнате), там и заснули с горя. Варенька и Лизанька, особенно Варенька, перечитывала всё твое письмо – наизусть выучила – надеясь найти утешенье, и не верила горю. – Нет, в самом деле – про других не знаю – а мне очень грустно было, что тебя и их не было. Ты спрашиваешь, удобно ли приехать 8-го? Какие тут вопросы? Ради Бога, приезжайте, только не на два дня, а на неделю – это *minimum*¹³⁵. Теперь у нас просторно, потому что я дом пристраиваю. Нет, без шуток, мы бы не смели так звать всех, ежели бы не надеялись, что будет покойно, почти как в Черемошне. Машинька всё мучается с квартирой в Туле. Квартира занята еще прежними постояльцами, и ей обещали очистить ее к 3-му, а вчера объявили, что не раньше 10-го, поэтому надеюсь, они

¹³⁵ самое меньшее (лат.)

пробудут у нас до этого времени. Отчего вы назначили 8-е? Неужели у вас все дни разобраны балами и т. п.? Приезжайте пораньше.

У нас все здоровы и милы (кроме меня) и веселы, насколько возможно после вчерашнего грустного разочарования. Варинькино рождение (16 лет) 8-го. Прощайте».

Насколько помню, мы совсем не поехали в Ясную из-за болезни Дарьи Александровны и сильных крещенских морозов. Опасались и за меня.

XIV. В Москве

В январе 1866 г. все же мне пришлось покинуть Дьяковых. Лев Николаевич приезжал за мной, чтобы ехать всем в Москву. Грустно мне было расставаться с моими новыми, но дорогими друзьями.

Соню я застала в хлопотах. Ей в ее положении трудно приходилось возиться с двумя детьми, с неопытной в дорожных делах няней, но она так радовалась этой поездке, что торопила всех нас.

Наконец, у ясенского подъезда стоят дорожные сани, возок и обоз. Соня с мужем в санях, няня, дети и я – в возке, а Душка с Алексеем – в обозе. Тетенька с Натальей Петровой на крыльце провожают нас. Дуняша и остальные люди суеются вокруг нас.

Едем до первой станции «на своих». Дорога тяжелая, с ухабами и качкой, напоминающей мертвую зыбь на море. Дети милы. Сережа уже немного говорит и много понимает. Он любит и привык к мальчику Николке Цветкову, который часто играл с ним. Дорогой он спрашивает няню, куда мы едем.

– К бабушке, к дедушке в Москву – отвечает няня.

– А Копка? (т. е. Николка), – говорит Сережа.

– А Копка сзади в санях, – подумав, отвечает няня, чтобы не расстроить его.

Сережа глубокомысленно повторяет всю дорогу: «Копка

зади в танях» – и успокаивается.

Маленькая Таня у меня на коленях. Она пресмешная в своей новой шубке и капорчике; она весела, мила и все лепечет непонятные мне слова, глядя в окно. И как тогда я почувствовала к ней какую-то особенную нежность и симпатию, так и осталось у меня к ней это чувство навсегда.

У меня в кармане для детей мятные пряники. Как только няня не сладит с детьми, так я вынимаю пряник.

На всякой станции Лев Николаевич подходит к возку и осведомляется о нашем дорожном духе и положении: «А тебя не качает? Ты не кашляла? – заботливо спрашивает он. – А Соня хорошо выносит дорогу». – «Это главное», – говорю я. Признаться, я боялась за Соню: местами ужасные ухабы!

Ночуем мы в Серпухове. Подробности не помню. Впечатления неважные: шум в коридоре всю ночь, рев детей, суета Сони и няни. На третьи сутки мы в Кремле. Радость родителей безмерна. Дом как будто раздвинули: явилась «детская». Ночью после дороги переполох: Сережа заболел крупозным кашлем. Кроме меня, все на ногах. Меня пожалели после дороги. К утру Сереже лучше. Отец всю ночь провозился с ним.

Через неделю Толстые переехали на Большую Дмитровку в меблированную большую квартиру. Они очень хорошо устроились и, кажется, были довольны.

Соня пишет в своих воспоминаниях, которые она начала писать в 1900 годах, припоминая прошлое:

«Главный интерес жизни в Москве был мой родительский дом, где я и проводила большую часть времени. Мне, беременной, все было трудно. Помню, возил меня Лев Николаевич в симфонический концерт, и меня заинтересовала сильно тогда классическая музыка, которую я почти совсем не знала».

Совершенно неожиданно Лев Николаевич, посещая школу живописи и ваяния на Мясницкой, пристрастился к скульптуре. В те времена директором Школы был Михаил Сергеевич Башилов, двоюродный брат моей матери. Это был человек весьма оригинальный. Я очень любила его. Он бывал у нас. Когда он входил в комнату, то я должна была сильно приподнять голову, чтобы видеть его – так велик был его рост. Он был одарен талантами, или, скорее, способностями. – Дядя Миша, спойте что-нибудь, – приставала я к нему.

И он пел приятным, сильным баритоном старинные романсы Даргомыжского, графа Виельгорского и других, и когда слова были нежные, как в романсе Виельгорского:

Любила я твои глаза,
Когда их радость озаряла...

я смотрела на него, и его огромный рот, нос, все складывалось, суживалось, и выходило что-то приятное и гармоничное из его огромной пасти. Лев Николаевич часто бывал у них, иногда и я ездила к ним. Башилов был женат и имел трех

маленьких дочерей. Это был человек лет под 40. У него было большое состояние; он не умел сохранить его, предпочитая искусство деревенскому благосостоянию, и все постепенно исчезло из его рук. Лев Николаевич стал в школе заниматься скульптурой с известным художником Рамазановым. Он вылепил из красной глины небольшую лошадь. Я, как сейчас, вижу эту лошадь; она вышла очень недурно. Лев Николаевич пробовал еще лепить бюст Сони, но это ему не удавалось, и Рамазанов все твердил:

– Бюсты сразу не даются, а в особенности сходство.

Помню, как, по просьбе многих, Лев Николаевич решил созвать кое-кого из знакомых и литераторов и устроить чтение «Войны и мира». Это был для меня большой праздник. Были, насколько я помню, Перфильевы, Сухотины, Фет с женой, Оболенские, Жемчужниковы и несколько литераторов. Чтение происходило у Толстых в большой просторной гостиной. Это было повторение того, о чем я уже писала, но в более широких размерах. Чтение было продолжительное, так как Лев Николаевич начинал сначала и читал гораздо дольше. Соня пишет у себя в воспоминаниях:

«Разумеется, все были в восторге, а я усталая, тупая от беременности боролась со сном и засыпала, так как все, что читалось и многое еще, что я столько раз переписывала, исключенное, я знала почти наизусть».

Она действительно пережила «Войну и мир» ближе всех и больше всех, да еще с разными вариантами, так как пере-

писывала многократно всю рукопись.

Пришел великий пост, и Лев Николаевич, поощренный успехом, засел снова за писание, но работа не спорилась, как он говорил. Он ходил в библиотеки и много читал исторического, так что ему даже пришло желание описать психологию Александра I и Наполеона. Но, слава Богу, он продолжал «Войну и мир».

Я не тосковала в Москве, конечно, из-за пребывания Толстых. Лев Николаевич, как только, бывало, заметит во мне прежнюю хандру, старается рассеять ее чтением, пением и молитвой.

– Молись больше, – часто говорил он мне. Слыша с утра благовест кремлевских соборов и вспомнив ясно все свое прошедшее, я решилась говеть. Общее религиозное настроение коснулось и меня. Мать позволила мне говеть с Верой Ивановной. Мы вставали в 5 часов, ходили к ранней обедне. Мое желание говеть было до того сильно, что меня ни разу не пришлось будить: я вставала сама. Федора, подав мне одеться, шла к детям, вместо няни. Я старалась накануне припоминать до подробности грехи свои, в особенности в отношении Марии Михайловны. Мне вспоминался рассказ Прасковьи о «разлучнице»; вспоминала я и свою зависть к Лизе, Соне... А безумный поступок мой? – думала я. – Стало быть, он ужасен, что даже Левочка никогда со мной не говорил о нем.

В этот пост я постигла, что значит угрызение совести. Я

пережила это сильно. Сколько лет прошло с тех пор, но мне памятли эти нравственные мучения. Мы ходили в Успенский собор. Там я выбрала укромный угол с ликом большого образа, не помню, какого святого.

– Господи, – молилась я со слезами, стоя на коленях, – прости меня, грешную, пошли мне забвения, пошли мир душе моей, сжался надо мною и отпусти мне тяжкий грех мой, – молила я о своем преступном поступке и о своей грешной любви.

При выходе из церкви свежий мартовский утренний воздух бодрил меня. Ранние лучи солнца падали на все еще дремавший родной мне Кремль, и трезвон соборных колоколов ласкал мой слух. Да где же все это? Неужели я живу без этого, неужели это только одно воспоминание моей ранней молодости? Да, это все там же, где и мои близкие, милые люди.

Жуковский хорошо выразился о жизненных спутниках:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *нет*;
Но с благодарностию: *были*.

Да, и я с благодарностью вспоминаю своего лучшего, гениального спутника – Льва Николаевича – и свое прошлое с дорогими мне людьми.

– Вы простудитесь, саратовская, закройтесь, какое свежее утро, – говорила мне няня. – Что тогда Любовь Александров-

на скажут: «Недоглядела, с тобой пускать нельзя!».

– Ничего, няня, мне хорошо, – говорила я.

В день причастия меня ожидали с парадным кофеем вроде именинного. Трогательные мальчики – Степа и Володя – поднесли мне купленные на свои деньги букетики цветов. Мне странно вспомнить теперь, какое нравственное облегчение принесло мне говение, как бремя свалилось с души моей. Я стала спокойнее.

Вечером мама просила спеть что-нибудь. Толстые были у нас, и Лев Николаевич мне аккомпанировал. Я начала петь «Горные вершины» Варламова. Голос был довольно сильный; папа вышел из кабинета и сказал матери: «Таня a des larmes dans sa voix»¹³⁶.

А я это слышала, и мне было приятно. Но вдруг дверь с шумом отворилась, влетел Петя и закричал во все горло:

– Машка окотилась! Я вздрогнула.

– Дурак! – закричала я испуганным голосом и зарыдала.

И тут же вспомнила, что причащалась. Мама рассердилась на него, а виновата была я.

С Дьяковыми я была в переписке. Долли писала мне ласковые письма. Вот отрывок одного из них [от 22 января 1866 г.]:

«Милая моя цыпинка, пернатая моя птица, райский колибри, как нам грустно и скучно без тебя, ты себе и представить не можешь... Только твоей милой молодой натуре

¹³⁶ В голосе Тани слышатся слезы (фр.)

деревенская жизнь не в тягость в зимнее время, и я до сих пор удивляюсь, как ты могла находить в ней удовольствие, и кроме того оживлять нас, стариков, твоим присутствием. Дмитрий велел тебе сказать, что он каждый день отправляется на гору и воет об тебе».

Узнав из моего письма, что я прошу родителей отпустить меня к Дьяковым, Долли пишет мне [6 февраля 1866 г.]:

«Дмитрий, моя попинька, собирается тебе привезти разных сластей из Орла: и варенья, и нуги, и пряников, одним словом, разных гадостей, которые ты так любишь. Я, с своей стороны, буду готовить тебе угощения более питательные с помощью нашего Емельяна. Вообще, голубчик, ты видишь, что мы все собираемся тешить и баловать тебя, как настоящую бабиньку».

Толстые в конце поста собрались в Ясную. Я хотела ехать с ними, но меня не пускали из-за моего здоровья. Я пишу Поливанову 3 марта 1866 г.:

«Меня все лечат. Мне не могут помочь облатки, капли и пр. Господи! как они не понимают этого. Понимает один Левочка только.

Погода дурная, на душе камень, и я начала говеть на той неделе и прищасалась в субботу. Мама, спасибо ей, позволила. Она всегда меня понимала.

Няня будила меня в 5 ч. утра и мы шли с ней в Успенский собор. Ах, как хорошо было! Полутемно, жутко, свежо, и этот чудный благовест. И мы с няней все службы стояли.

Только стыдно, что видят, как я плачу. А Лиза все дразнит меня: „Таня плакса стала...“»

XV. Снова в Черемошне

Толстые упростили пустить меня в Ясную. Лев Николаевич красноречиво доказывал, что весна в деревне мне полезнее, чем в городе. Соня говорила, что в Ясной и у Дьяковых я оживаю. И меня пустили. Мы выехали в конце поста. С какой радостью и любовью, сидя в возке, ласкала я маленькую Таню! Она снова едет со мной и сидит у меня на коленях. Наш возок полон игрушек и сладостей. Лев Николаевич волнуется о предстоящей дороге. Ухабы, очевидно, ожидают нас. И действительно, по плохой дороге мы достигаем Ясную на третьи сутки. Тетенька, Наталья Петровна и все люди радостно встречают нас.

Лев Николаевич, отдохнув в Москве и, начитавшись в библиотеках исторических материалов, снова принимается за работу. Проведенный месяц в Москве нам всем приятен. Соня рассказывает все тетеньке, а главное о том, какое хорошее впечатление произвели дети на бабушку и дедушку.

– А вы что же? – спрашивает меня Наталья Петровна. – В кого влюбились в Москве? Там, небось, женихов-то много?

– Таня никуда не хотела ездить, все дома сидела, – отвечала за меня Соня.

– Вот года-то ваши пройдут, и пожалеете тогда, что сидели. Надо принарядиться и себя показывать, – не унималась Наталья Петровна.

– Я не умею этого, научите меня, – смеясь сказала я.

Через несколько дней после нашего приезда Д. А. Дьяков был в Ясной. Его оставляли у нас, но он торопил наш отъезд, говоря, что проезд через реку Зушу с каждым днем делается опаснее. Мы уехали на другой же день. Я писала Соне по приезде в Черемошню 14 марта 1866 г.:

«Милые мои Соня и Левочка, 10-го в 6 часов только приехали мы в Черемошню. До Мценска все шло недурно, но как мы эти 25 верст сделали, до сих пор не понимаю. Нашу повозку, вещи мы оставили во Мценске, взяли у Пантеева сани маленькие для нас и еще двое саней для провожатых и ехали часов 5. На реке лед уж вздулся, ухабы, сугробы, все ужасы перешили, ветер был сильный. Дмитрий Алексеевич надел свою шубу на меня и все время так кутал, ухаживал за мной, что приехали мы целы и здоровы. По дороге к дому у меня так все и билось от радости. Как вошли, так все нас встретили. Мы так обрадовались друг другу, особенно я с Долей, ужасная радость была, и до сих пор с ней не расстаемся. Всех нашли здоровыми, и все по-прежнему. Мне приготовили разные столики: умывальный розовый и письменный, малагу, ванну уж такую парадную на другой день и разные еще штуки. И опять живем мы по-прежнему: бильярд, вслух читаем, и скоро рисоваться будем. Меня так мучило, моя милая Соня, что я сейчас не могла тебе написать, потому что на другой день прошла река Зуша, и проезду не было. Я и вещи еще не получила... Софешу Доля

нарисовала русской бабой и очень хорошо...

Таня».

Когда дома узнали про мой переезд в Черемошню, мать написала мне (22 марта):

«Большое тебе спасибо, милая моя Таня, что поспешила нам написать о благополучном твоём приезде в Ясную и Черемошню. Только Толстые горюют, что ты так скоро от них уехала; ты нас всех покидала для Дьяковых. Видно, ты их больше всех нас любишь, и будь по-твоему, только береги свое здоровье. Я, по крайней мере, совершенно покойна на счет тебя, уверена, что Дмитрий Алексеевич и Дарья Александровна уходят за тобою лучше нашего. Они так добры и заботливы. Ты не поверишь, милая Таня, какая у нас водворилась тишина и скука после вашего отъезда. Сколько дела ни переделаешь в день, а все он кажется быть таким продолжительным. А дорогие мои внучата из головы у меня не выходят, так они мне по душе пришлись. Когда-то Бог приведет опять с ними увидаться... Поздравляю тебя и всех с наступающим праздником, желаю вам весело его провести. Целую тебя.

Л. Берс».

Весь март мы прожили без всякого сношения с городом и вообще с кем бы то ни было из-за разлития рек. И я, давно не получая никаких писем, тревожилась за здоровье Сони. Но, наконец, почта дошла до нас. «Значит, прошли реки», –

говорили дома.

Соня писала¹³⁷

¹³⁷ 27 марта), что у них все благополучно, что Левочка здоров, занят и собирается в Никольское и Черемошню. К другому письму сестры (от 5 апреля) Лев Николаевич приписывает: «А я все-таки припишу два слова, милый друг Таня. Во-первых, целую тебя, во-вторых, скажи Д[митрию], что я очень огорчен тем, что он не получил еще деньги, но что теперь у меня деньги есть и у себя, и в Москве, и даже займы ему могу дать. И[ван] И[ванович] на этой неделе будет у меня. Я ему велю, чтобы были тебе кобылы, а уж Д[митрия] дело вливать в тебя кумыс, сначала по 3, а потом до 12 стаканов. Да я и сам приеду наблюдаю. Прощай, голубушка». Наступила настоящая весна, и Лев Николаевич приезжал к нам и проводил у нас, как всегда, дня два. Кумыс делали под его наблюдением. Он говорил, что пристройка почти готова, что у него чудесный кабинет с колонной для прочности, так как терраса будет крышей кабинета. «Другая комната будет твоя, Таня, пока не выйдешь замуж», – шутя сказал Лев Николаевич. – Я, вероятно, совсем не выйду замуж, – сказала я. – Прекрасно, тогда останешься жить с нами. Дмитрий Алексеевич молчал. Я знала, что Лев Николаевич в прошлый приезд свой рассказал ему все подробности истории с братом Сергеем, отвечая ему тем самым на вопрос его о причине моего расстроенного здоровья. Как всегда, и в этот приезд Льва Николаевича осталось впечатление чего-то светлого, животворящего, мелькнувшего в нашей обыденной жизни. Обыкновенно вечером, после его отъезда, ложась спать, я припоминала наши разговоры, его суждения и слова. Так было и в этот раз. Я шла к Долли для вечерней беседы. Она в этом отношении заменяла мне мать. – Долли, ты еще не спишь? – спросила я, прибежав к ней тихонько, чтобы не разбудить Машу, спавшую за перегородкой. – Нет, а ты что? – спросила Дарья Александровна. – На беседу пришла? Дмитрий там со счетами возьмется, еще не скоро придет. Иди ко мне, не то простудишься, – говорила Долли. – Мне так жалко, что Левочка уехал, – укладываясь, говорила я. – И он как будто невесел был. Не вышло ли что-нибудь с Соней? – Нет, я не нашла, чтобы он скучный был, – сказала Долли. – А как он про женщин говорил? Ты заметила? – спросила я. – Я не люблю его взгляд на женщину, – сказала Дарья Александровна. – Не разделяю его. Он как-то не то с недоверием, не то с легким презрением смотрит на женский ум. Он не допускает равного ума с мужским. Я задумалась. Я чувствовала, что что-то в этом есть правда, но не совсем, а в чем разница – я

– Можно войти?

Я выскочила, оставив туфли, и убежала к себе. Софеш не спала.

– Тадая, тут ваш любимый филин кричал, – сказала Софеш, – и ваши черные птицы мимо окна летали и молчали, как вы говорите.

– Вы знаете, Софеша, я в первый раз здесь вижу этих птиц, ведь они не летают, а прямо как-то плывут по воздуху. Такая прелесть!

– Что ж хорошего, как летучие мыши, они тоже безмолвны. Вот я открою окно, летучая мышь влетит и будет над вами летать и молчать... – смеясь дразнила меня Софеша.

Наступил май. Теплый, чудный. Соня писала мне (2 мая), что она мало ходит, никуда не ездит, что «соловьи в эту минуту со всех концов свистят и щелкают... Везде молодая зе-

выразить не умела.– Долли, он не то что не допускает равного ума, но он всякий ум окрашивает по-своему. Положим, наш, женский – розовый, а их, мужской – синий. Поняла? Долли засмеялась, – «ты чушь городишь, малютка».– Нет, ты не смейся, слушай! Вот он говорил сегодня за обедом, когда Дмитрий Алексеевич, помнишь, ему рассказывал про какую-то ссору между мужем и женой: «С женщинами рассуждения ни к чему, бесполезны: у них разум не работает, и акажу даже – как разумно бы женщина ни рассудила, но действовать и жить она будет все-таки по чувству».– Это неправда, – возразила Дарья Александровна. – Мы часто действуем и по рассудку.– А я нет! Я помню, как сознавала необходимость отказать ему из-за его семьи, а по чувству я не делала этого.– А еще помнишь, он сказал уже после, как бы смеясь: «Всё, что разумно, то бессильно; всё, что безумно, то творчески производительно».– Как мне это нравится! – вскричала я. – Левочка говорил, что это красиво и сильно...Послышались шаги и голос Дмитрия Алексеевича

лень, и так все растёт... сад наш вычистили и на кругу и на первой дорожке новые лавочки поделали, а то ты бы рассердилась, что все погнило и сидеть бы негде было». «Лева на днях, – пишет Соня в другом письме (от 14 мая), – целый день о тебе все говорил и думал. „Что наша милая девочка?“ – все повторял и даже на меня тоску нагнал, потому что я вдруг вообразила себе, что у него какое-нибудь дурное предчувствие насчет тебя. Скоро, Бог даст, и сама тебя увижу». Когда я получала письма из Яной, я перечитывала их по нескольку раз, они и волновали и утешали меня, и мне порою так сильно хотелось вдруг в Ясную, несмотря на милых черемошанских жителей, что я старалась скрыть оное чувство. Я садилась писать им, и это немного успокаивало меня.

XVI. «Эдемский вечер»

В одно из майских воскресений в Черемошне собралось довольно много гостей: Мария Николаевна с девочками, Соловьевы, Ольга Васильевна, Сергей Михайлович Сухотин, свояк Дмитрия Алексеевича, и Фет с женой. Софеш, я и Маша нарядились, кто в белом, кто в розовом. Софеша заплела свои длинные косы, и я напевала ей:

Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила.
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.

И она была довольна, хотя говорила мне:

– Таня, вы все смеетесь надо мной!

– Да нисколько! Знаете, вы очень нравитесь Александру Михайловичу Сухотину, он очень хвалил вас, – говорила я.

Обед был парадный. Порфирий Дементьевич уже, поставив тарелку перед Дарьей Александровной, хлопотал у стола, не переставая говорить глазами, так как лакеи должны были быть немые.

Афанасий Афанасьевич оживлял весь стол рассказами, как он остался один, Мария Петровна уехала к брату, и он хозяйничал с глухой, старой экономкой-чухонкой, так как повар был в отпуску, и учил ее делать шпинат. А она приста-

вит ладони к уху и повторяет:

– Не слышу.

«Тогда я кричу из всех сил:

– Уходите вон!

И сам делаю шпинат».

Все это Афанасий Афанасьевич представлял с серьезным видом, в лицах, тогда как мы все смеялись.

Я не знала за ним такой способности подражания. Милая Марья Петровна умильно глядела на мужа и говорила:

– Говубчик Фет сегодня очень оживлен. Дарья Александровна, он любит бывать у вас в Черемошне.

После обеда мужчины пошли курить в кабинет.

Марья Николаевна села в гостиной играть в четыре руки с Долли. А мы, кто на террасе, кто в гостиной, слушали музыку. Когда они кончили, Долли стала наигрывать мои романсы, и меня заставили петь. Так как мы остались одни женщины, то я с удовольствием исполнила их просьбу. Как сейчас помню, я пела цыганский романс, «Скажи зачем», и вдруг слышу втору мужского голоса – это был Дмитрий Алексеевич. Прерывать пение было и жалко и неловко. Все вернулись в гостиную. Мы продолжали дуэт. Окончив его, я думала больше не петь и уйти, но было невозможно, так как все настойчиво просили продолжать. Мне было страшно петь при таком большом обществе. Я избегала этого. При том же я боялась критики Фета. «Ведь он так много слышал хорошего пения, хороших голосов, а я неученая», – думала я. Мой го-

лос дрожал вначале, и я просила Дмитрия Алексеевича подпевать мне. Но потом он оставил меня одну и только называл один романс за другим, которые я должна была петь. Долли аккомпанировала мне наизусть.

Уже стемнело, и лунный майский свет ложился полосами на полутемную гостиную. Соловьи, как я начинала петь, перекрикивали меня. Первый раз в жизни я испытала это. По мере того, как я пела, голос мой, по обыкновению, креп, страх пропадал, и я пела Глинку, Даргомыжского и «Крошку» Булахова на слова Фета. Афанасий Афанасьевич подошел ко мне и попросил повторить. Слова начинались:

Только станет смеркаться немножко,
Буду ждать, не дрогнет ли звонок.
Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечерок.

Подали чай, и мы пошли в залу. Эта чудная, большая зала, с большими открытыми окнами в сад, освещенный полной луной, располагала к пению. В зале стоял второй рояль. За чаем зашел разговор о музыке. Фет сказал, что на него музыка действует так же сильно, как красивая природа, и слова выигрывают в пении.

– Вот вы сейчас пели, я не знаю, чьи слова, слова простые, а вышло сильно.

И он продекламировал:

Отчего ты при встрече со мною
Руку нежно с тоскою мне жмешь?
И в глаза мне с невольной тоскою
Все глядишь и чего-то все ждешь?

Марья Петровна суетливо подходила ко многим из нас и говорила:

– Вы увидите, что этот вечер не пройдет даром говубчику Фет, он что-нибудь да напишет в эту ночь.

Пение продолжалось. Больше всего понравился романс Глинки: «Я помню чудное мгновенье» и «К ней» – тоже Глинки на темп мазурки. Обыкновенно этот романс аккомпанировал мне Лев Николаевич и замечательно хорошо. Он говорил: «В этом романсе и грация, и страсть. Глинка написал его, бывши навеселе. Ты хорошо поешь его».

Я была очень горда этим отзывом. Он так редко хвалил меня, а все больше читал нравоучение.

Было два часа ночи, когда мы разошлись. На другое утро, когда мы все сидели за чайным круглым столом, вошел Фет и за ним Марья Петровна с сияющей улыбкой. Они ночевали у нас. Афанасий Афанасьевич, поздоровавшись со старшими, подошел молча ко мне и положил около моей чашки исписанный листок бумаги, даже не белой, а как бы клочок серой бумаги.

– Это вам в память вчерашнего эдемского вечера.

Заглавие было – «Опять». Произошло оно оттого, что в 1862 году, когда Лев Николаевич был еще женихом, он про-

сил меня спеть что-нибудь Фету. Я отказывалась, но спела. Потом Лев Николаевич сказал мне: «Вот ты не хотела петь, а Афанасий Афанасьевич хвалил тебя. Ты ведь любишь, когда тебя хвалят».

С тех пор прошло четыре года.

– Афанасий Афанасьевич, прочтите мне ваши стихи – вы так хорошо читаете, – сказала я, поблагодарив его.

И он прочел их. Этот листок до сих пор хранится у меня. Напечатаны эти стихи были в 1877 году – десять лет спустя после моего замужества, а теперь на них написана музыка. Стихи несколько изменены. Приведу текст, который был мне поднесен:

опять

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна – любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб только, дорогая,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь.
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь,
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,

Как только верить в ласкающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

А. Фет.

Я переписала эти 16 строк с описанием вечера Толстым. Стихи понравились Льву Николаевичу, и однажды он кому-то читал их при мне вслух. Дойдя до последней строки: «Тебя любить, обнять и плакать над тобой», – он нас всех насмешил:

– Эти стихи прекрасны, – сказал он, – но зачем он хочет обнять Таню? Человек женатый...

Мы все засмеялись, так неожиданно смешно у него вышло это замечание.

Странный человек был Афанасий Афанасьевич Фет. Он часто раздражал меня своим эгоизмом, но, может быть, я была и не права к нему. Мне всегда, с юных лет, казалось, что он человек рассудка, а не сердца. Его отношение холодное, избалованное к милейшей Марье Петровне меня часто сердило. Она, прямо как заботливая няня, относилась к нему, ничего не требуя от него. Он всегда помнил себя прежде всего. Практичное и духовное в нем было одинаково сильно. Он любил говорить, но умел и молчать. Говоря, он производил впечатление слушающего себя. В 20-х числах мая мы получили от Льва Николаевича письмо с посланным. Так как Дмитрий Алексеевич уехал к Борису, то Дарья Александровна снарядила посланного за мужем. Лев Николаевич пи-

сал нам [25 мая 1866 г.]:

«Милые друзья!

Поздравляю вас с крестником и племянником. Соня неожиданно родила сына, хотя и почти за месяц раньше предполагаемого срока, но совершенно благополучно и хорошего ребенка.

Вы можете себе представить наш ужас во время родов, которые Марья Ивановна едва застала, и при ожидании недоношенного ребенка. Но Илья закричал так же бойко, как Таничка, и волоса, и уши, и ногти у него совершенно исправны. Все ошиблись расчетами.

Милый друг Дмитрий, просим тебя приехать крестить нашего Илью. Боюсь, чтобы эта поездка не была тебе неудобна в хозяйственном отношении; но коли ты подумаешь, какие мы старые друзья и как тебя любим с женой, то, верно, приедешь, коли можно. – Привози нам и нашу милую Таню. Или скорее ты, Таня, как поедешь к нам, захвати с собой Дьякова.

Машенька – кума уже у нас с девочками. Соня с Ильей и старшие дети все совершенно здоровы.

Дарья Александровна! целую вашу руку. Соня вас целует и милую Машу и радуется ранним родам еще потому, что раньше вами воспользуется.

Фет мне пишет, что он провел у вас, по его словам, „Эдемской“ вечер с гитарой и соловьями и что на этом Эдемском вечере Таня пела от 8 до 2-х часов. Это не хорошо и не велено. Я знаю, что ежели бы я тут был, то первый преступил бы предписание Рассветова, но, как меня не было, то делаю за это выговор.

Пожалуйста, отвечайте с этим нарочным, ежели, по вашим расчетам, он придет раньше вас. До свиданья, милые друзья, с нетерпением ждем вас.

Л. Толстой. 25 мая».

Я обрадовалась за Соню, что все сошло благополучно. Мы выехали на третий день по получении письма. Погода была чудная. Ехали мы в коляске на почтовых, не помню, сколько времени.

XVII. Ясная Поляна и Покровское

Нам очень обрадовались в Ясной. С Соней все было благополучно. Я застала в Ясной Марью Николаевну и девочек. Марья Николаевна была крестной матерью. После крестин Дмитрий Алексеевич спешил домой по хозяйству и уехал, а я осталась.

Во Льве Николаевиче я нашла перемену. Он часто говорил о смерти. Помню, он сказал раз:

– Ведь, как это мы все спокойно живем. А вместе с тем, если хорошо вдуматься и живо представить себе смерть, то жить нельзя.

У него часто болела голова, и он иногда хандрил. Отец писал ему, что у него больна печень. Но это настроение приходило и уходило, так что нельзя было сказать определенно, что он был мрачен: в нем все же сидела бодрость и неисчерпаемая радость жизни и это печальное настроение находило лишь изредка.

К Соне приходило много больных. Она довольно успешно лечила их, и когда посылала их в больницу или в Тулу к доктору, они жалобно говорили ей:

– Нет, Софья Андреевна, уж ты лучше сама нас полечи.

А иногда прибавляли:

– Ван намеднись, как ты Анютке-то помогла, сразу полегчило.

И Соня лечила. Еще одну перемену нашла я в Ясной. Весной Толстые познакомились в Туле с семьей князя Львова. У Львовых было несколько детей и при них англичанка Дженни – большая, полная, деятельная и прекрасная няня.

Лев Николаевич и Соня не могли не видеть всю разницу в воспитании и всего склада детского мира, чистоты и порядочности Сережи и Тани и детей Львовых. И они решили взять англичанку к своим детям. Дженни рекомендовала свою 17-летнюю сестру, которая жила помощницей старшей няни в Англии в очень богатом доме. Дело было решено. И Соня стала изучать английский язык. Когда няня Марья Афанасьевна узнала, что ожидают к детям англичанку, она очень опечалилась. Не раз вечером, когда бывало она уложит детей, и я зайду в детскую, вижу, как няня сидит, пригорюнившись, и не вяжет чулок по обыкновению, а, потупя глаза, чуть не плачет.

– Няня, что с вами? – спрошу я.

– Да так, матушка. О детях горюю!

– Ведь у вас же Илья теперь.

Она не слушает меня и продолжает говорить:

– Выходила их, привязалась к ним, а теперь ступай, не нужна стала...

– Няня, ведь вам и не справиться с тремя, – утешала я.

Не слушая меня, она опять продолжала:

– А наемднн Сереженька обнял меня, а сам говорит: «Няня, я тебя не пушу, ты с нами будешь». Уж какой понятли-

вый стал.

Я глядела на няню и чувствовала, что утешить ее не могу. Ее морщинистое лицо улыбалось при воспоминании о Серее, а в глазах стояли слезы. «Никто так не умеет любить и привязываться к детям, как русские простые няни», – подумала я. Я видела, что она не только жалела детей, но была оскорблена недоверием.

Еще одна новость удивила меня в Ясной. В Ясенках, верстах в 5-ти от нас, стоял полк. В этом полку служил товарищ брата, Григорий Аполлонович Колокольцов. Как наш давнишний знакомый, он стал ездить в Ясную Поляну, привозил к нам своего полкового командира, полковника Юношу, и других офицеров. Толстые принимали их радушно, и я часто ездила с ними верхом. Ездил к нам тоже офицер Стасюлевич, брат издателя «Вестника Европы». Он тоже иногда ездил со мною верхом. Он поражал меня своей мрачной грустью. Мне все хотелось спросить его:

– Что с вами? Как помочь вам?

Но я не решалась и потом узнала от Гриши Колокольцова, что Стасюлевич одно время был разжалован в солдаты за бегство арестанта, и что он вообще меланхолик. Через года два-три мы узнали, что Стасюлевич покончил самоубийством. Он вошел в шубе в реку и стал в глубокое место, где его и нашли. Это очень поразило Льва Николаевича. Он долго после вспоминал и ахал на эту силу воли самоубийцы. Мне долго помнилось его грустное выражение глаз. Улыбки

я никогда не видала у него, и мне было досадно на себя, зачем я не спросила его, почему он такой, зачем не показала ему участия. Может быть, ему было бы легче, хотя бы пока он был в Ясной.

Стояла дождливая погода, не похожая на лето. Соня встала и быстро поправлялась. Мальчик был здоровенький и мало доставлял хлопот. Марья Николаевна с девочками решили ехать к Дьяковым отвезти меня. У них была огромная старинная четырехместная карета с широчайшими козлами. Дождь задерживал нас. Наконец, мы простились с Толстыми, обещая приехать к Сониным именинам.

Помню хорошо наше путешествие. Кроме шоссе́йной дороги, нам нужно было сделать верст семьдесят пять по проселочной, сильно попортившейся от дождей, и нам пришлось тащиться всю дорогу почти шагом. Мы ночевали и кормили лошадей. Я знала, что Марья Николаевна вообще была бесстрашна, но боялась только лошадей и езды по дурным дорогам. Так было и теперь. Но этот случай с нами на дороге испугал не только ее, но и нас. Мы въезжали на большую гору. С одной стороны дороги был откос, а внизу овраг, с другой стороны как бы земляная отлогая стена, поросшая травой. Очевидно, эта дорога была когда-то прорыта в горе. Колеса вязли в грязи, кучер, чмокая губами, махал отчаянно кнутом, понукая лошадей:

– Но, но, голубчики! – кричал он.

Лошади вытягивались в струнку, выбиваясь из последних

сил, но все-таки не двигаясь с места. Вдруг мы почувствовали, как карета накренилась вбок и медленно покатила назад, круто повернув в сторону откоса. В окно кареты я увидела, как заднее колесо врезалось в самый край дороги. Казалось, что вот-вот мы свалимся под крутой откос. У меня замерло сердце.

Варя и Лиза испуганными глазами глядели на мать.

– Боже мой! – воскликнула Марья Николаевна. – Что с нами будет! – Она побледнела и ухватилась за дверцу кареты.

– Таня, дети, кричите: «пух, перо, Самсонова сила!».

– Пух, перо, Самсонова сила! – повторяли мы испуганными голосами за Марьей Николаевной.

Девочки знали, что это всегда нужно кричать, когда замнутя лошади, но я этого не знала и машинально повторяла за ними. Должна сознаться, что и во мне пробудили надежду на спасение эти кабалистические слова.

– Почтенный, а почтенный! – послышался голос нерастерявшегося старого кучера Архипа, – затормози, пожалуйста, задние колеса. Вон тормоз-то под каретой висит.

Я взглянула в окно и увидела прохожего – пожилого мужика. Он остановился и, выслушав просьбу кучера, зашел за карету и, повозившись немного, накинул цепь.

Наши лица просветлели. Марья Николаевна перекрестилась:

– Ну, слава Богу, – сказала она. – Выходите скорее, мы пойдем в гору пешком.

Нам не хотелось идти по этой грязи, но делать было нечего. С трудом взбирались мы по этой скользкой глинистой дороге. Варенька потеряла свою калошу и всю дорогу повторяла:

– Это удивительно, куда она могла деваться? «Почтенный», получив на чай, помог кучеру выпрямить карету, и к вечеру мы доехали до Черемошни.

XVIII. Именины Маши Дьяковой и 17 сентября

До сих пор помню радостную встречу, оказанную нам. Марья Николаевна очень любила и ценила Долли. У Дьяковых гостила сестра Дарьи Александровны, Екатерина Александровна, забыла ее фамилию. Она была вдова лет 30, милая, веселая и участливая. Время шло незаметно, приближалось и 22 июля, именины Маши. Дмитрий Алексеевич и Долли затеяли шарады в живых картинах, чтобы повеселить молодежь. В гостиной были сделаны подмости, занавес, освещение и рамы для картин. Заведовали всем и придумывали большею частью Марья Николаевна, сестра Долли и я. Дарья Александровна боялась головной боли и сидела спокойно. День именин прошел торжественно. К обеду приехали все те, которые ездили к нам по воскресеньям, и, кроме них, были приглашены Сухотины: Любовь Николаевна и дочь ее Екатерина Федоровна – девушка моих лет, впоследствии вышедшая замуж за Дмитрия Дмитриевича Свербева, тульского вице-губернатора. Сухотиных было три брата: Федор Михайлович, Александр Михайлович, холостяк, и Сергей Михайлович, женатый на сестре Дьякова, описанный отчасти в «Анне Карениной» – в лице мужа Анны. Федора Михайловича я никогда не видала. Он был отец Катеньки.

Вечером приехал Александр Михайлович Сухотин. Это

был человек лет за 40, утонченных вкусов, утонченного воспитания, с изящным французским языком, и все, что было в нем русского, – это его бесконечная доброта. Крестьяне и бабы надували его: он безропотно платил все, что с него требовали. Дмитрий Алексеевич со смехом рассказывал нам, как однажды какая-то баба поймала его где-то на дороге и просила денег.

– Батюшка, дочка двоешечек родила, помоги, родной!

Он вынул из бумажника, что у него было с собой, и отдал. Потом Сухотин говорил мне:

– Mais vous savez, mon cher, qu'elle m'a trompe, ces двоешечки n'existaient meme pas¹³⁸.

Но я отвлеклась от нашего праздника. Французских слов шарады было пять, картин пятнадцать: в каждом слове три картины, и кроме того, последняя была живая картина из «Кавказского пленника». Все шло прекрасно. Участвовали все. Дмитрий Алексеевич – англичанином с длинными зубами, сделанными из картона, – был великолепен. Марья Николаевна – англичанка в слове *prudence*¹³⁹: – *prude*¹⁴⁰, *anse*¹⁴¹. Маша Дьякова изображала из французской басни, как Перретта несла продавать молоко и строила планы, что купить –

¹³⁸ Но вы знаете, мой друг, ведь она обманула меня. Эти двоешечки даже и не существовали (фр.)

¹³⁹ осторожность (фр.)

¹⁴⁰ жеманная (фр.)

¹⁴¹ ручка от посуды (фр.)

и так увлеклась мечтами, что уронила и разбила кувшин, и только ручка кувшина осталась цела, которую она и держала при поднятии занавеса. Одна картина была лучше другой. Но помню комичный и вместе с тем печальный случай, происшедший в одной из картин. Варенька должна была изображать колдунью с распущенными волосами, в черном легком платье с жезлом и черным котом в руках, с трудом отысканным нами. Кот участвовал и на репетициях. Принц, молодой и красивый, стоял у горячей урны (горел спирт). Кот рвался из рук, когда репетировали. Я учила Варю держать его и сердилась, что она была неловка. На пятой репетиции кот угомонился, Варенька хорошо держала его, и я успокоилась.

Каждую картину показывали три раза. Когда очередь дошла до картины Вареньки, я волновалась за нее. Принцем была Лиза. При первом поднятии занавеса все сошло не только благополучно, но и очень красиво. Во второй раз при поднятии занавеса все мое внимание было устремлено на кота. Я заметила его опасные движения и ужас в глазах Вареньки. Вдруг, при полной тишине, кот вырвался из рук и прыгнул со сцены в публику.

– Я не виновата, Таня, он такой сильный! – послышался отчаянный голос Вареньки, и веселый смех в публике.

– Молчи! Стой! – кричу я.

Занавес задернули. Переменили позы, и подняли занавес в третий раз, но уже без кота.

Как все значительно казалось тогда, как всякая глупость

принималась к сердцу! Картины были необыкновенно удачны. Я хорошо не помню, кто в какой участвовал. Все шарады отгадали, и большинство их, конечно, Александр Михайлович Сухотин. Марья Николаевна была неузнаваемо весела и оживлена и своим оживлением умела заразить и других.

Я познакомилась с Катенькой Сухотиной. Это была очень оригинальная, милая и своеобразная девушка лет 18–19. Она была единственная и очень балованная дочь. Она всегда почти, еще девочкой, ходила в русском костюме и проводила половину своей жизни в деревне. Молодые крестьянские девушки были ее друзьями. Она участвовала в их играх, пела на их свадьбах, плясала с ними русскую, а вместе с тем она умела быть и воспитанной барышней. Она мне нравилась. В те времена девушки, воспитанные француженками и англичанками, не посещали свободно деревни, и такая девушка была редкостью.

Марья Николаевна прогостила в Черемошне недели две-три. Все разъехались. Стало тихо. Казалось, что дом опустел. Дмитрий Алексеевич снова погрузился в хозяйство, а мы с Дарьей Александровной возобновили сеансы живописи. Странное свойство характера было у меня: когда бывало какое-либо веселье, то я первая предавалась ему всем своим существом, всею душою, не примешивая к своему чувству ни тени сомнения или грусти, но зато на другой день какая-то безотчетная хандра нападала на меня, или же что-либо недавно мучившее меня всплывало с новой силой. Так

было и теперь. Вся история с Сергеем Николаевичем с болью припомнилась мне.

Был август, погода стояла холодная, я простудилась и сильно кашляла. Долли и Дмитрий Алексеевич встревожились. Дмитрий Алексеевич за неимением доктора поставил сам мне на грудь мушку. Я боялась боли и не соглашалась, но кашель был такой зловещий, а будущая поездка в Ясную прельщала меня, и я согласилась. Их нежная забота меня трогала. Помню, как я вышла вечером на террасу и любовалась закатом солнца. Из конторы по саду шел Дмитрий Алексеевич. Увидя меня, он строго сказал:

– Что вы делаете? Вы простудитесь. Идите в комнату.

– Не пойду, я прямо задыхаюсь в комнатах.

– Таня, я вас умоляю войти, – говорил он, подойдя ко мне.

– Ну немного еще... Оставьте меня, – просила я.

– Как трудно будет с вами вашему мужу, – сказал он, серьезно глядя на меня. – Я не умею вам отказать.

– Мужу? – повторила я. – Я думаю, что я никогда не выйду замуж.

– Почему? Этого не может быть!

– Два года быть невестой одного, а потом? Да кто же возьмет меня? – с горечью, краснея, говорила я.

– Да, если бы я был свободен и молод, я считал бы за счастье быть вашим мужем... – неожиданно для меня сказал он.

Я с благодарностью глядела на него, и во мне что-то шевельнулось более, чем простая дружба. Пароксизм удушли-

вого кашля захватил меня. Дмитрий Алексеевич, молча обхватив меня сильной рукой, почти на руках внес в гостиную, где сидела Долли.

– Ну, что с вами делать? – с досадой говорил он.

– Дмитрий, зачем ты пускаешь малютку на балкон, – сказала Долли. – Как она кашляет!

Дмитрий Алексеевич, не отвечая, ушел к себе. Я подошла к Долли, обняла ее и, спрятав лицо ей на плечо, горько заплакала.

– Танюша милая, душенька, что с тобой? – тревожно спросила Долли. – О чем ты плачешь? Ну, скажи?

– Не знаю, – прошептала я.

Я рассказала, по приезде в Ясную, Льву Николаевичу о нашем разговоре с Дмитрием Алексеевичем, как я делала это всегда.

– Ничего, не тревожься. Дмитрий очень любит свою жену, – сказал он. – И ты ничего дурного не делаешь, живя у них.

12-го сентября мы были в Ясной. Пристройка была готова, но не оштукатурена внутри, что придавало ей немного мрачный вид. Лев Николаевич сам водил нас смотреть на свое создание. Кабинет был большой с колонной посередине комнаты, для прочности террасы. Терраса была крышей кабинета.

– Ты посмотри, – говорил он. – Как красиво вышла эта лестница, ведущая в аллею сада.

– Да, – соглашалась я, – она напоминает мне декорацию

из оперы «Аскольдова могила». Помнишь, как ее похищают по такой же лестнице.

– А тебя похитить некому. Кроме Индюшкина никого нет у нас, – смеясь сказал он.

Лев Николаевич был, очевидно, горд своим архитектурством. Небольшая комната в два окна была уютна и в стороне. Со временем эта пристройка оказалась непрочна вследствие гнилого материала. Был куплен старый кабак, стоявший на шоссе, недалеко от деревни. От кабака шла дорога вниз с горы на деревню (и по сию пору называется этот спуск «Кабацкая гора»). В настоящее время на этом месте построена школа).

Я обежала весь дом, поздоровалась со всеми людьми. Все было по-старому, только Дуняша вышла замуж за Алексея Степановича. Душка бросилась обнимать меня.

Тетенька Пелагея Ильинична гостила в Ясной и помещалась в комнате Татьяны Александровны. Приехала и Марья Николаевна с девочками.

В те времена мне и в голову не приходило, сколько хлопот и забот требовалось хозяйке, чтобы разместить, накормить всех, сколько дела прибавлялось и прислуге. Все делалось как-то незаметно и легко.

Мы, молодежь, проводили время очень приятно. Ходили и ездили в лес за грибами. Погода стояла поразительная: наминало июль. По вечерам затевали или какую-нибудь игру, или музыку, или чтение.

– Дуняша, скажи мне, бывает у вас Сергей Николаевич? – спросила я ее после долгих колебаний.

У сестры, тем более у Льва Николаевича, я не хотела спрашивать: пускай думают, что я о нем забыла.

– Бывают, только редко.

– Что же, он весел, спокоен? – спросила я.

– Ну, евтого я не знаю. Только слышала наемдни, как они были у нас, с графиней о чем-то спорили, а я стол за Алексея накрывала.

– А о чем спорили? – спросила я.

– Да так, что жить теперь нельзя, люди дерзки стали, никто работать не хочет. Да я плохо слышала. Только что не веселы они и никуда не ездят. А так-то вообще как живут, не знаю.

«Зачем я спрашиваю? Какое мне дело?» – подумала я.

Наступило 17 сентября. Настроение у всех и у меня было праздничное. Все мы нарядные, в легких белых платьях с цветными лентами. Обеденный стол украшен цветами, и новая терраса залита солнцем. Помню, как шумно и весело в 5 часов вечера садились мы за стол. И вдруг из аллеи сада послышался оркестр. Он заиграл увертюру из оперы «Фенеллы» «La muette de Portici» («Немая из Портичи»), которую так любила Соня. Все мы, кроме Сони, знали, что Лев Николаевич просил полковника Юношу прислать оркестр, но должны были хранить это в тайне. Не берусь описывать выражения лица Сони! Тут было все: удивление, испуг, что

это сон, радость, умиление, когда она увидела и помяла выражение лица Льва Николаевича. Он сиял не меньше ее. Соня была очень привлекательна своим цветущим и веселым видом. Я давно ее такой не видала и радовалась на нее.

После обеда приехали кое-кто из офицеров и Стасюлевич и затеялись танцы. Танцевали все, начиная с полковника Юноши, Льва Николаевича и Дьякова. Обе тетеньки и бедная Долли были зрителями. Все это происходило на террасе. Стасюлевич по принуждению танцевал только кадрили. В одной из кадрилей, в шестой фигуре мне пришлось плясать русскую. Так как я плохо помню про себя, то предпочитаю привести то, что писала Варвара Валериановна Нагорная в 1916 году, в приложении к газете «Новое время» в статье «Оригинал Наташи Ростовской»:

«В шестой фигуре кадрили оркестр заиграл „Камаринского“. Лев Николаевич стал выкликать, кто может плясать „русскую“, но все стояли молча; тогда он обратился к Колокольцову со словами:

– Пройдись „русскую“, неужели вы можете стоять на месте?

Оркестр забирал все больше и больше.

– Ну! Ну! – понукал дядя.

Колокольцов сделал решительный шаг вперед и, описав плавный круг, остановился перед Таней.

Я видела ее колебание, и мне стало страшно за нее».

Но не только Варя, а и сама я чувствовала робость, а вме-

сте с тем еле-еле стояла на месте. Я чувствовала, как во мне дрожало сердце, как дрожали плечи, руки, ноги, и как они сами, помимо моей воли, могли бы делать то, что нужно.

Варенька пишет:

«Лицо ее выражало восторженную решительность, и вдруг, подбоченясь одной рукой и подняв другую, она легкими шагами поплыла навстречу Колокольцову.

Кто-то бросил ей платок. Подхватив его на лету, она, уже не заботясь об окружающих, плясала так, как будто она никогда ничего другого не делала.

Все заплодировали. Мне самой, слушая эту увлекательную вещь Глинки и видя Таню, захотелось присоединиться к ней, но я не решалась».

«Весело, беззаботно и молодо жилось тогда» – прибавляет Варя.

Красота и теплота ночи были поразительные. Мы все спускались по декоративной лестнице вниз, в аллею сада. Был ущерб луны, и она взошла лишь к 11 часам. После танцев музыкантов угостили ужином с пивом, и в первом часу ночи, заиграв марш, выступили они с офицерами в Ясенки. Все это было торжественно и красиво, как и сама полусветлая ночь, с блестящими осенними звездами.

Лиза, Маша, Софеш, – все в этот вечер в своих легких нарядных туалетах казались мне особенно милыми и красивыми, особенно Лиза. Она вступала в возраст юности. Хотя они были с Варей сестры, совершенно различные по харак-

теру, но все же что-то «толстовское» сидело в них: прямо-та, чуткость и религиозность с оттенками мистицизма. Когда Марья Николаевна уезжала куда-либо, или бывала нездоровая, хозяйство по дому поручала она Лизе, которая была ее любимицей.

– Разве можно что-либо поручить Вареньке – она все забудет, – говорила Марья Николаевна.

Мы прогостили недели две.

Дмитрий Алексеевич торопился домой, и Дьяковы уехали, а я осталась в Ясной. Дьяковы тоже хотели провести зиму в Москве ввиду плохого здоровья Дарьи Александровны.

– Вероятно, в ноябре поедem в Москву с Таней, ее требуют родители, они очень тревожатся об ее здоровьи, – говорил Лев Николаевич. – А мне нужно будет ехать для печати.

– Да, а я эту зиму и не попаду в Москву, – с сожалением говорила Соня, – меня тревожит здоровье отца. А мы еще делаем планы ехать за границу, а детей с бабушкой оставить. А родители нашим планам не верят. Мы Таню повезем чинить, – как бы шутя говорила Соня.

Все простились с нами и уехали. Мне стало грустно. Я не знала, что никогда больше не буду в Черемошда, я не знала, что этот период моей молодой жизни отжит навсегда, как и период с Сергеем Николаевичем в Ясной.

ХII. Зима в Москве и поездка за границу

Я пишу в дневнике своем:

«Ноябрь. Вьюга. Снег идет и дождь. На днях едем в Москву. Жаль уезжать из Ясной. Слаба. Кашляю. Левочка испуганно и участливо глядит на меня, когда я кашляю, а иногда закричит:

– Молчи!

На охоту не пускают. Играю с тетенькой Пелагеей Ильиничной в безик. Левочка сидит в кресле; медведь лежит в ногах. Он спрашивает, какое имя лучше: Вера или Зина. Говорим разное. Татьяна Александровна говорит – Зина, а я и Пелагея Ильинична – Вера, а Наталья Петровна спрашивает:

– А зачем вам нужно?

Он не отвечает. А я знаю, отчего он спрашивает: он Веру Ростову хотел назвать Зиной. Но зачем ему знать теперь? – думаю я, – раз он уже назвал ее Верой.

– Таня, – говорит он, – ты любишь Лизу.

– Люблю. Она хорошая.

– Я хочу с ней, когда будем в Москве, жить в дружбе, – говорит он.

– И я тоже. Позвали к чаю. Идем».

С тех пор, как я не жила в Ясной, я нашла большую перемену в детях. Они стали больше сидеть с нами, Лев Ни-

колаевич гораздо больше внимания обращает на них. Его взгляд на их воспитание иногда расходится со взглядами Со-ни, тетенок и няни. Но Соня, как и во всем, покоряется ему. Лев Николаевич против какой-либо одежды, кроме холщовой толстой рубашки для Сережи; для Тани – какие-то неуклюжие, серые фланелевые блузки. Но и тут является какое-то недоразумение: белье детей из тонкого полотна, которое сам Лев Николаевич покупает у Третьякова в Москве. Лев Николаевич против игрушек. Няня Мария Афанасьевна недовольна:

– И что выдумали! А чем же детям забавляться? – ворчит она. – Хорошо вот бабушка лошадку Сереженьке подарила, а как он ею занимается. А то как бы детей занять? Целый день бы капризничали!

По поводу игрушек как-то пресмешно писал [2 ноября 1865 г.] Лев Николаевич о маленьком Сереже и о брате Пете:

«Петр Андреич должен быть теперь уже большой человек, не засыпающий за ужином и знающий своего Цумпта с обеих сторон. – В какой факультет он готовится? Не успеешь оглянуться, как придется делать этот вопрос и о Сереже. До сих пор кажется, что он готовится в факультет кучеров. Откуда это берется, но он к огорчению моему возит всё, что попало, и кричит, подражая мужицкому голосу, воображая, что он едет <...>»

Лев Николаевич с детьми нежен, особенно с маленькой Таней. Новорожденного избегает и говорит:

– Как я не могу в руках держать живую птичку, со мной делается что-то вроде судорог, так я боюсь брать на руки маленьких детей.

10-го ноября мы простились с Соней и тетеньками и рано утром выехали в Москву в коляске на своих лошадях до Тулы. С нами ехал щенок Доры для моего отца. Дорогой у нас соскочило колесо, и мы стояли полтора часа. К счастью, проезжал тут один из наших работников; он отдал нам свое колесо, а сам, перевязав что-то, как-то поехал дальше. Погода была плохая. Лев Николаевич не велел мне говорить на воздухе и просил надеть респиратор (маска на рот). Мне сделали его в Москве, но я мало пользовалась им. На другой день к семи часам вечера мы были дома. Лев Николаевич в письме к Соне (от 11 ноября) описывает наш приезд, а я плохо помню его:

«Вот мы и приехали, милая моя голубушка. И приехали благополучно и всех застали благополучными. Ехали мы скорее, чем думали, так что подъехали к дверям гоф-медиковым в конце 7-го часа. Не знаю, где кто был, но очутились все с известным тебе визгом на лестнице и в столовой. Андрей Евстафьевич точно такой же, какой был прошлого года, – он очень был рад щенку и поместил его у себя в пристройке. Любовь Александровна потолстела. Очень рада Тане, но я вижу в ее глазах и речах неприязненную *arriere pensee*¹⁴², что Таня уезжает с Дьяковыми».

¹⁴² заднюю мысль (фр.)

Я очень всем обрадовалась, особенно матери и брату Пете. Он вырос, возмужал и так сердечно встретил нас. Лев Николаевич будет жить с ним в одной комнате. Степа в 3 классе училища правоведения, метит быть на золотой доске. Володя грустен и молчалив. Вячеслав по-прежнему мил. С Лизой мы встретились дружелюбно. Мы с ней внизу в одной комнате. Вечером, ложась спать, мы разговорились:

– А что твой-то ездит к нам? – спросила я ее.

– Отчего мой? – улыбаясь, сказала она.

– А вот ты догадалась, о ком я говорю. Вот значит и твой! Меня Наталья Петровна так спрашивала.

– Он теперь в Лубнах, где его полк стоит; он к Рождеству приедет. Как ты похудела, Таня! – сказала Лиза.

– Это последнее время, а то летом я здорова была. Дьяковы едут за границу зимой, и Толстые хотят, чтобы я ехала с ними, а родители, кажется, не хотят. Ведь это дорого стоит, а нужно Сашу в Преображенском полку содержать. Это гораздо важнее. Я и так поправлюсь. Я знаю, что я не умру. Левочка все смотрит на меня, и я читаю в его глазах приговор мне. Толстые и деньги хотят дать на мою поездку. Мне это все неприятно.

– Да, ты, Таня, не нравишься мне.

– Завтра приедет Рассветов мой и Варвинский, опять меня слушать, стучать будут. Знаешь, это все следствие яда, который я приняла. Меня всю обожгло. Я ведь это помню, но только не говорю им, – мне неприятно.

Лиза нисколько не изменилась, она весь день занята. Теперь она училась кроить и шить, и сама по своей охоте, сшила себе платье, которое прекрасно сидело на ней. «А я ленивая», думала я, «мое все отдают портнихам».

На другой день ожидали доктора Рассветова. Лев Николаевич пишет Соне 12 ноября:

«Утром пили кофей все вместе. Таня такая же. Ждали Рассветова, и потому я со двора не выходил. Рассветов приехал, я ему сказал, что умоляю его без учтивости к Андрею Евстафьевичу и без ménagement (не стесняясь) сказать самым резким и положительным образом свое мнение».

Я пришла на осмотр после веселого разговора с Петей. Лев Николаевич пишет:

«Пришла Таня, стали ее слушать. Меня всегда ужасно волнует это слушанье и разговоры. Рассветов сказал самым положительным образом, что легкие Тани в худшем состоянии, чем были прошлого года, что у нее даже, по его мнению, есть начало чахотки, что он советует ехать за границу, и все то, что мы знали, т. е. *regime*¹⁴³ спокойствия, питания, воздержаний от усилий пенья и т. д. Он посоветовал еще позвать Варвинского. И Варвинский будет в понедельник. Для меня и без Варвинского и Рассветова сомнения нет в ее положении...»

Без нас приехала к Соне англичанка Ханна Терсей. Соня писала, что ей очень трудно объясняться с ней, и что она

¹⁴³ режим (фр.)

носит в кармане английский лексикон.

Я получила письмо от Дьяковых, что они будут в Москве в декабре. Это было для меня большой радостью. Я не знала всех переговоров докторов и их мнения и продолжала быть веселой, оживленной, какой была и в Черемошне и в Ясной. Петя был мой товарищ по шалостям и смеху. Милая моя Федора жила в Покровском, и, когда она приехала к нам с бельем нашим (она сделалась прачкой), мы кинулись друг другу в объятия. Федора говорила мне, какая у нее добрая све-кровь, и как она счастлива.

– Летом ко мне в гости приезжайте. Мы живем хорошо. Хлеба вволю, мед хороший, я вам горшочек меда привезу, я ведь и не знала, что вы приехали, – говорила она, и ее доброе, рябое лицо красила милая улыбка.

Няня Вера Ивановна доживала у нас последнее время – она уходила жить к дочери. Одна Трифоновна, да старевший Прокофий оставались еще нам верными.

Долли писала мне, что они будут в декабре, а в феврале мы поедем вместе за границу.

Лев Николаевич уехал в Ясную. При прощании он велел мне беречься, писать и помнить, что у меня есть близкие люди, которым я дорога.

Рождество. Приехал брат Саша из Петербурга уже преображением. Мы так рады были друг другу, так много было что пересказать обоюдно, что я почти не расставалась с ним. Папа возил его на бал к генерал-губернатору и в собрание, го-

вора, что молодому человеку в свет ездить полезно. На рождество приехал и Павленко и часто обедал у нас, просиживая и вечера. Я наблюдала за ним. Он был удивительно ровен со всеми, так же как и с Лизой, без всяких ухаживаний. Он стал у нас своим человеком. Папа советовался с ним, дети приставали к нему, мама, оставляя его одного в гостиной, не извинялась. Кузминский на праздники не приезжал. Он только что получил назначение в Тулу судебным следователем по новым судам, появившимся в 1866 г.

В конце праздника приехали и Дьяковы. Дарью Александровну я нашла в очень плохом состоянии, но я приписывала это дороге. Когда все разъехались, я проводила почти все свое время у Дьяковых. Когда я бывала с ней, опасения мои насчет ее рассеивались.

После праздника совершенно неожиданно приехал Кузминский. Как всегда, все мы, а в особенности я, были ему очень рады. Брат Саша еще не уезжал, и снова начались у нас бесконечные беседы, а главное Кузминский ежедневно привозил и отвозил меня от Дьяковых. Предписания Рассветов я не очень исполняла. Пишу Соне 19 декабря 1866 г.:

«...Все это время, Левочка и ты, Соня, не были бы мной довольны, как я жила, потому что ездила два раза в театр и часто езжу кататься с Сашей Кузминский. Он у меня подрядился доставлять меня к Доле. Я их обоих¹⁴⁴ ей представила. Теперь я с ними пожила и увидела их. Саша Кузминский, тот

¹⁴⁴ брата Александра и А.М. Кузминского.

лучше стал в нравственном отношении, а наш Саша испортился в Петербурге. Но я его все так же люблю, потому что вижу его хороший фонд¹⁴⁵, который он всеми силами старается заглушить разговорами и мыслями об деньгах, о свете, жениться на богатой, назади ряд¹⁴⁶, и он один вечер так же хорошо говорил, рассуждал, что я с Сашей Кузминским.

В ужас пришли, а Лиза, та восхищается этим. Но он все так же мне мил, потому что все-таки я вижу, что он хороший, какой и был, а это все напускное пройдет... Сижу я у Доли, вдруг приезжает Саша Кузминский. Я выхожу на крыльцо, и тройка стоит, и катал меня по всей Москве. Было очень тепло и я не простудилась. А Дмитрий Алексеевич, как увидит, все...»

[Конца не сохранилось]

Дьяковы собрались за границу. Я должна была ехать с ними. Дарья Александровна не поправлялась и с каждым днем становилась слабее. Дмитрий Алексеевич стал тревожно относиться к ее состоянию. И на меня, когда я не видала ее, находила тревога и грусть. Я пишу Соне 22 ноября 1866 г.:

«...Приехала Доля¹⁴⁷ все такая же больная. Папа нашел ее очень плохую, и на меня такое отчаяние и уныние вчера вечером нашло, как точно ее уже похоронили. Рассветова будут к ней звать и тогда решат, какая у нее болезнь, и что с

¹⁴⁵ основа (фр.)

¹⁴⁶ т. е. пробор на голове.

¹⁴⁷ В Москву.

ней делать. А Дьяковы совсем собираются за границу, а папа говорит, что Доле это ничего не поможет, и это-то и ужасно. Как ни поверни, для нее все гадко. Если и Рассветов то же самое скажет, я ее буду умолять остаться.

Сегодня обедают у нас Дмитрий Алексеевич со всеми девочками. Ну, теперь про меня. У меня сделался кашель, как следует быть. Папа совсем потерялся и сказал, что он меня лечить не хочет и передал Рассветову, и родители на него сердятся, что он ничего не дает против лихорадки, а велел наколоть мне билетик: „вам 88 лет“, то есть насилу поворачиваться и никуда не ездить...»

Наступил март 1867 года, памятный мне по горю, постигшему нас. Несмотря на предписание докторов и уговоры родителей не выезжать в сырую погоду, я ежедневно бывала у Дьяковых, даже много раз проводила у них ночь. Дарья Александровна то вставала и казалась бодрой, выходила к столу, то в изнеможении лежала у себя в комнате. Однажды, оставшись с нею наедине, мы разговорились о загранице. Я утешала ее, как она поправится, какой там чудный воздух. Она, молча, слушала меня и только грустно качала головой:

– Малютка, – вдруг сказала она, – когда я умру, выходи замуж за Дмитрия! Ты обещаешь мне? Да?

Я могла ожидать от нее всего, но только не этого. Она так огорчила, поразила меня, что я кинулась к ней на шею и со слезами сказала:

– Долли, зачем ты говоришь мне это? Это прямо ужасно...

Это невозможно... Я не могу говорить об этом...

Она успокаивала меня лаской, нежными словами, а когда я взглянула ей в глаза, я увидела серьезное, глубоко сосредоточенное выражение лица ее. Она была уже не нашего мира – и я поняла это.

16 марта ей вдруг стало легче. Я была у них весь день и радовалась этой перемене. Отец сам приехал за мной вечером. Прощаясь со мной, Долли сказала мне, что 19 ее именины, что Маша непременно хочет праздновать их, и чтобы я приезжала на весь день. Радуюсь, что ей лучше, я простилась с ней. Моя неопытность обманула меня: всегда почти перед смертью больной чувствует облегчение. Отец сказал мне после ее смерти:

– В последний вечер, когда я был у них, пульс ее был в нитку (что значило – предсмертный), и я не хотел тебе говорить этого.

На другой день, в 3 часа дня, она скончалась. Меня не хотели пускать, но я так умоляла, что меня отпустили. Не стану описывать нашего горя и отчаяния Дмитрия Алексеевича и Маши. Мне рассказала Софеша про последние часы Дарьи Александровны.

– Это было в 2 часа дня. Мы сидели за завтраком. Дарья Александровна с нами. Вдруг она побледнела, уронила свой прибор и тихо проговорила: «Что со мной?» Ей сделалось дурно. Дмитрий Алексеевич в страшном испуге отнес ее в ее комнату. Маша так испугалась и обезумела, не понимая, что

с матерью, что забывшись, не зная что делать, подбежала к большим часам, висевшим на стене, и остановила их. Почему она это сделала, для всех нас было непонятно, как и ей самой. Дарья Александровна скончалась через два часа.

Я послала телеграмму Кузминскому в Тулу, прося немедленно известить Толстых о кончине Дарьи Александровны.

19 марта ее хоронили. Это был день ее именин, когда мы все должны были быть у них. Когда по улицам двигалась печальная процессия, и мы, близкие, шли за гробом, я увидела, как кто-то догонял наше шествие и, поровнявшись с нами, соскочил на ходу с саней. Это был Лев Николаевич. Он ехал прямо с вокзала к Дьяковым и, узнав, где мы должны были идти, догнал нас. Я, как сейчас, все вижу и помню это. Так сильно было впечатление ее смерти.

Дмитрий Алексеевич был очень тронут приездом Льва Николаевича. Я никогда не забуду, как они оба сильные, мощные, как они мне всегда представлялись, плакали, сойдясь друг с другом после похорон. Мы хотели увезти девочек к себе, но Маша не хотела оставить отца.

– Саша Кузминский приедет завтра, – сказал Лев Николаевич. – Он не мог ехать со мной, он ведь знает, как ты огорчена.

И он приехал и прожил у нас с неделю, что мне было приятно, и за что я была ему благодарна.

Дмитрий Алексеевич боялся за Машу. Она не по годам тосковала по матери. Он решил ехать за границу и просил

моих родителей отпустить меня с ними, а Софешу предполагалось оставить в Москве у бабушки Окуловой, мачехи Дмитрия Алексеевича. Родители сильно колебались, пускать ли меня. Я же сама не знала, что я хотела: я так сильно горевала о своей любимой Долли. Потом мне жаль было Софешу, которая плакала и обижалась.

Я писала Толстым [30 марта 1867 г.]:

«Милая моя голубушка Соня, не могла до сих пор тебе написать, несколько раз принималась, и всякий раз бросала, так и за дело ни за какое не могла приняться до сих пор. Вот 12 дней, как Доля умерла, и всё-таки непонятно и минутами даже не верится, такое горе. Теперь, как прошли похороны и панихиды, и стали по-прежнему будто бы жить, так вдруг найдет, не смотря на постоянную тоску, это сознание, что Доля правда умерла, и такое отчаяние на меня находит, какого я никогда не испытала.

Мне кажется, у Маши то же самое, она очень тоскует. Когда я дала ей читать твое письмо, она заплакала. Дмитрий Алексеевич не решился ехать в Черемошню, слишком тяжело. Мы едем, Соня, за границу на 6 недель, никак не больше. Дмитрий Алексеевич мне предложил ехать с ними, чтобы Софеш оставить. Я прежде не согласилась, я хотела в Ясную и для Софешки жаль было. Но он и Маша так просили, так желали этого, что я еду, только оттого, что Маша это ужасно хочет, и мы с ней теперь почти не расстаемся. Софеша была очень обижена, плакала, сердилась на Дмитрия Алексее-

вича, и я вспомнила Левочкины слова, что „Дарья Александровна была для нее, как каменная гора“. Она остается у бабушки, а потом с ними в Черемошню. Дмитрий Алексеевич говорит, что мне надо ехать для лихорадки (которая очень сильна), а мои деньги мне для зимы даны, нельзя трогать для 6-ти недель, а потому Софеш оставляет, а меня берет.

А я хочу уехать скорее, как можно, в Ясную больше всего, а заграница лучше, чем Москва. В субботу 1-го апреля мы уезжаем. Левочка, как ты на это смотришь. Зачем ты меня не взял с собой? Я тебе не могла ни сказать, ни показать, как я тебе благодарна, и как мне приятно было, что ты приезжал. Всегда, когда горе, никого так не хочу и не желаю видеть, как тебя и Сою...»

Родители, боясь осуждения «света», долго колебались, отпустить ли меня. Наконец папа решил:

– Пускай говорят, что хотят, здоровье Тани дороже мне, чем светская болтовня в Баден-Бадене. Там живет сестра Дмитрия Алексеевича, жена поэта Жемчужникова. Я рада за Дьякова, что он с сестрой. Я не привыкла видеть его таким убитым, и мне сердечно жаль его.

Баден-Баден поражает меня своей культурой и чистотой. Природа прелестна. Пишу в дневнике:

«Жемчужниковы милые, особенно он и дети. Она как-то подозрительно смотрит на меня и следит, как я с ее братом. Неприятно».

Мы мало сидим дома. Помню прогулку в горы. Для меня

взят осел с провожатым мальчиком.

Я получила письмо от отца [от 7 апреля 1867 г.]:

«...От Толстого получил я на днях письмо, из которого я вижу, что он озадачен твоим неожиданным отъездом. Он только что узнал об нем от Саши Кузминского, который сообщил об этом Толстым письменно, коротко и бестолково. Твоего и моего писем он еще не получал. Я вижу из письма его, и подавно из предшествующего, что он очень радовался на приезд Дмитрия Алексеевича и вдруг все это изменилось. Издание его романа не ладится. Гравер Рихау отказывается гравировать картины, а другого мастера здесь нет. Башилов адресовался в Петербург; там, хотя и берутся, но не ближе, как к будущей весне. Недавно я послал ему письмо, в котором сильно уговаривал его отказаться от картин. Тот же совет дает ему и Писемской, которого я встретил у Тургенева. Писемской до небес выхваляет его последний роман и находит, что картины нисколько не возвысят его достоинства, а напротив, могут скорее его уронить. Но что с ним делать, у него свой царь ум... Поберегай, душа моя, твое здоровье, много не ходи и не простужайся. Германию ты так скоро пролетела, что вряд ли оставила она в тебе какое-нибудь впечатление. Зато довольно много будет тебе времени ознакомиться с Парижем, и я уверен, что он понравится тебе. Перфильевы очень рады, что ты уехала за границу. Варенька сказала, что она и минуты не задумалась бы ехать с Дмитрием Алексеевичем, если б была б с ним в тех же отношениях, как

ты. Признаюсь тебе откровенно, милая Таня, что участие, внимание и дружба, которые оказывает тебе Дмитрий Алексеевич после смерти своей жены, и ту нежную и сердечную привязанность, которые чувствует к тебе Маша – радуют меня, как нельзя больше. Какие они добрые, и как много у них сердца! Пожми покрепче от меня руку Дмитрию Алексеевичу и расцелуй милую Машу...»

Мы прожили в Баден-Бадене дней 10. Впечатление от Германии очень хорошее, в особенности от красоты местности. Людей, к сожалению, я мало видела.

Мы в Париже. Гостиница наша на бойкой улице. Мое впечатление очень сильное. Всюду жизнь, толпа, суета, люди, стремящиеся куда-то, в несколько рядов экипажи. Я не могу одна переходить улицу. Все спешат, все нарядны, все чем-то заняты, и нас никто не хочет знать. Ни души, не то что знакомой, но подходящей к нам – нет. Дома высокие, неприличные, и мне становится жутко. Дмитрий Алексеевич, как дома. Он привык к заграничной жизни, столько раз бывал и жил в Париже. Маша тоже как будто не удивлена. Я, одна – провинциалка, пишу об этом отцу. Мы живем с Машей в одной комнате. Комната Дмитрия Алексеевича возле нас.

В это время была в Париже всемирная выставка. Ежедневно мы ездим туда. Выставку описывать не стану. Пишу Соне: «7/20 мая, 1867, Париж.

Милая моя Соня, как давно тебе не писала, потому, что совсем не бываем дома. Мы 10 дней в Париже и в пятницу

хотим ехать, и мне ничуть не жаль, напротив, хочется, чтобы скорее время прошло и в Ясную приехать. В Париже мне очень понравилось, но жить постоянно – сохрани Бог! Вот, Соня, как мы тут время проводим. Стоим мы на Boulevard des Italiens¹⁴⁸ на самом юру. Как встанем, часов в 11 выходим из дому и целый день таскаемся, все осматриваем, и завтрак и обед все это в ресторане. Или идем на выставку, и какая это прелесть! Все, что только бывает на свете, начиная с машин и кончая куклами – все это выставлено... Видели наше русское отделение: половые из Троицкого трактира по-французски говорят, препротивные, каша гречневая, чем у нас кур кормят, и ни к чему приступу нет, так дорого и кормилица чай разливает. А русские дамы так умиляются, что половых „мой милый“ зовут. Потом были мы за городом в bois de Boulogne, в Versailles¹⁴⁹, всюду очень хорошо; но мне Германия симпатичнее.

Пошли мы вечером aux Champs Elysees¹⁵⁰ в cafe chantant, И, как запели там, Дмитрий Алексеевич и бледнеет и краснеет, так испугался, что привел нас сюда. Ужас, что пели, но такую потеху, мы насилу оттуда выбрались».

Но все же мне интереснее всего здесь люди. Как живут, что едят, как воспитывают детей, хозяйки ли, какая прислуга, комнаты, отношение друг к другу в незнакомом мне на-

¹⁴⁸ Итальянском бульваре (фр.)

¹⁴⁹ в Булонском лесу, в Версале (фр.)

¹⁵⁰ на Елисейские поля (фр.)

роде. А деревни, к сожалению, я не видала. Вот эта живая жизнь мне интереснее маяков и сельских машин, а Дмитрий Алексеевич впился в них. Он что-то очень строг ко мне стал. Если я не ем, он сердится, если легко одета, он ворчит, а на-медни Маша уже спала, а я вечером читала в постели и сильно закашляла. Он постучался в дверь, вошел такой раздражительный, сердитый и принес мне капли.

– Боже мой, как вы кашляете, примите это! – сказал он.

Сунул мне рюмку, отвернулся и поспешно ушел.

«Мы поедем прямо на Берлин; я думаю 3 и 4-го будем в Москве, а оттуда прямо к вам. Я дня 4 пробуду в Москве и как я рада буду, Соня, приехать к вам, надо, чтобы опять хорошо было, а то еще все нехорошо».

На выставке мы видели Наполеона с женой. Они шли под ручку. Он маленький, держится прямо и гордо. Жозефина – большая, красивое лицо, окаймленное модной шляпой, платье с бесчисленными оборками. Толпа расступилась. Все мужчины сняли шляпы, держа их над головой. Они все время раскланиваются. Когда же они успевают смотреть выставку? Бедные!

«Лихорадки при жаре и помину нет! Я хожу ужасно много, устаю, но меня это не расслабляет, и ем очень много. Отчего вы мне не писали в Париж? Так мне хотелось бы от вас письма. Я ведь и не знаю, как вы приняли мою поездку, и всякий день об этом думаю и разным образом себе представляю. Прощайте, мои милые, целую вас крепко, и детей, как

мне хочется видеть скорее.

Дмитрий Алексеевич, Маша велели вам кланяться, а Маша тебя целует, Соня. До свидания. Хотя у тебя моих карточек страсть что, даже совестно посылать, а все-таки посылаю. Таня».

Мы провели в Париже три недели. Я не могла ходить ежедневно на выставку и оставалась иногда дома. Я просила милую нашу горничную при гостинице, Берту, пойти со мной в магазины, что она охотно делала. Я покупала всякие вещи, чтобы свезти всем своим, и меня забавляла и поражала разница с русским товаром: до чего все было здесь изящнее и дешевле.

Часто, ложась спать, я слышала, как Маша втихомолку плакала. Я подходила к ней, ласкала ее и говорила с ней о матери. Я понимала ее, как ей эта потеря была тяжела и как никто не может ей заменить мать. Мать прямо обожала ее.

Проезжая Берлин, мы остановились в нем на неделю.

Мы в Москве. Родители веселы, довольны. Лихорадки у меня нет, Софеша и Маша проводят у нас почти все время. Дмитрий Алексеевич очень мрачен и скучен. Он собирается в Черемошню. Мы едем вместе. Дьяковы по дороге завезут меня в Ясную дней через десять.

Родители решили не проводить лето в Покровском, а отцу давали в Петровском парке помещение во дворце, и он решил переехать туда с Лизой, а мать часть лета, к моему счастью, решила провести в Ясной Поляне. Про мальчиков

не помню. Вячеслав, конечно, с мама.

Конец мая. Мы в Ясной. Толстые выразили столько сочувствия и радушия Дьяковым, что я видела, как благотворно подействовало это на Дмитрия Алексеевича. Он оставался в Ясной с девочками с неделю. Никого не стесняя, он часто уходил с книгою в сад или бродил по лесу и полям, осматривая хозяйство, а иногда беседовал с нами, стараясь не мешать Льву Николаевичу. С Софшей мне сначала было неловко, думая, что она обижена, но отношения наши не изменились. Машу развлекали дети. Меня перевели в вновь пристроенную комнату. И все мои столики и занавеси, белое с розовым, переехали со мною. Мама еще не приезжала.

XX. Мое замужество

Мы остались одни. В детской перемена. Вместо няни англичанка Ханна. Она мне нравится. Живая, энергичная, умелая с детьми и веселая. Соня ею очень довольна. Так же одобряет ее и Лев Николаевич. Дети уже успели привыкнуть к ней, в особенности Таня, Сережа больше льнул к няне. Ханна завела в детской свои порядки: в комнате все блистало чистотой, завелись какие-то щетки, и Душка была обучена ими мыть пол почти ежедневно. Холщовые рубашки как-то понемногу принимали другую форму, более изящную: также и блузки Тани сменились белыми да еще вышитыми платтяцами, которые сама Ханна кроила. Как-то вечером, по старой памяти, Марья Афанасьевна принесла детям в постель гречневой каши с молоком. Ханна, уложив детей, пошла прогуляться со мной. Дети с аппетитом принялись деревянными ложками хлебать кашу и молоко. В это самое время мы вернулись домой. Ханна пришла в ужас.

– Нянь, этого не можно, – говорила она. – Ви дети spoiled¹⁵¹!

И Ханна хотела отнять кашу, но тут поднялся рев – и детям дали окончить ужин. Няня с воркотней уносила тарелки.

– Ишь ведь, хотят детей голодом морить! Нешто это можно? Всякому поужинать хочется! сама-то небось ест.

¹⁵¹ портите (англ.)

Последние слова произнесены были уже за дверью.

В отношениях Льва Николаевича и Сони я заметила перемену. У них что-то не ладилось. Лев Николаевич часто жаловался на нездоровье, хандрил и был болезненно раздражителен. Говорил часто о смерти и писал о ней, как я узнала потом, своему другу Александре Андреевне Толстой. Это желчное раздражение и повлияло на их отношения, другой причины к этому не было, как он сам сознавал позднее. Так как моя комната была рядом с его кабинетом, то и меня не менее Сони поразил неожиданный гнев его.

Соня рассказывала мне, что она сидела наверху ji себя в комнате на полу у ящика комода и перебирали! узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:

– Зачем ты сидишь на полу? Встань!

– Сейчас, только уберу все.

– Я тебе говорю, встань сейчас, – громко закричал он и вышел к себе в кабинет.

Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услышала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас:

– Уйди, уйди!

Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и барометр, висевший всегда на стене. Лев Ни-

колаевич стоял посреди комнаты бледный с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко и страшно – я никогда не видала его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, все повторяла: «За что? что с ним?» Она рассказала мне уже немного погодя:

– Я пошла в кабинет и спросила его: Левочка, что с тобой? – «Уйди, уйди!» – злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофеем и чашкой и бросил все на пол. Я схватила его руки. Он рассердился, сорвал со стены барометр и бросил его на пол.

Так мы с Соней никогда и не смогли понять, что вызвало в нем такое бешенство. Да и как можно узнать эту сложную внутреннюю работу, происходящую в чужой душе. Но такая бурная сцена была единственной в их жизни, и никогда, насколько я знаю, больше не повторялась. Но я помню, когда впоследствии заходил разговор о горячности и бешенстве характеров, Лев Николаевич говорил:

– В каком бы бешеном, раздраженном состоянии человек ни находился, он всегда прекрасно сознает, что он делает.

В одно из воскресений мы со Львом Николаевичем поехали верхом в Тулу. Он – по делам, а я – прокатиться.

– Как странно, – говорила я Льву Николаевичу, – почему Саша Кузминский не ездит к нам.

– Он очень занят с открытием новых судов, – отвечал Лев

Николаевич. – Мы остановимся у него и лошадей там поставим.

Приехавши в Тулу, мы поднялись к нему на второй этаж. Ни он, ни его гость, Дмитрий Дмитриевич Свербеев, еще не вставали. Мы издали увидели, как Свербеев, взяв свои платья, летел из гостиной, где он ночевал, в спальню Кузминского; это вызвало наш смех.

Через четверть часа стол был накрыт. Лакей Андреян подал кофе, сливки и прочее. Сервировка была изящная, что мне понравилось.

Кузминский был смущен нашим неожиданным приездом и тем, что поздно встал. Свербеева мы так и не видели – он исчез. Лев Николаевич после кофе ушел по делам. Мы остались одни.

– Отчего ты к нам не едешь? – спросила я совершенно просто, ничего не подозревая.

– Так...

И, помолчав немного, он прибавил:

– Мне лучше не ездить.

Я поняла его ответ. Он боится возобновить прежние наши отношения. Мое прошлое... Сергей Николаевич... Анатолий... мелькнуло у меня в голове.

– Надо жить проще. Я живу просто, без осложнений и хитрости, а ты? – сказала я, но, не высказав своей мысли, продолжала:

– Не знаю, как ты, но не как я.

Мы разговаривали еще довольно долго. Когда вернулся Лев Николаевич, мы уехали. На прощанье Лев Николаевич сказал Кузминскому:

– Приезжай к нам, теперь у нас очень хорошо.

Мне радость. Приехала мама с Вячеславом, и они поселились во флигеле. Кузминский стал к нам часто ездить, чему способствовала и мама, которую он очень любил. Наши беседы с матерью возобновились. Однажды я спросила ее:

– Мама, за кого вы бы желали, чтобы я вышла замуж? За Кузминского или Дьякова?

– Как, тебе сделали предложение? – спросила мать.

– Нет, никто мне не делал. Я только так спрашиваю вас.

Мама подумала и сказала:

– За Дьякова. Саша молод, ему только 24-й год. Да и мать его против этого брака.

Я промолчала.

– Таня, ты хитришь со мной? Ты опять равнодушна к Саше, я это заметила. И намедни и Левочка сказал: «Мне кажется, что про Таню можно сказать: „qu'on revient toujours a ses premiers amours“»¹⁵².

– Ну, а если бы это и было так, мама, что тогда? – спросила я.

– Папа и мать его огорчились бы. Я поцеловала мать и ушла к себе.

В конце июня к нам приехали Дьяковы и Софеш. Соня,

¹⁵² всегда возвращаются к первой любви (фр.)

Левочка и я, как всегда, выказали им радушие и радость их видеть.

Дмитрий Алексеевич был спокойнее, он мог говорить о постороннем, и нам было и легко и приятно с ними. Я много ходила с Дмитрием Алексеевичем по саду и по лесу, стараясь развлечь его. Мы много говорили о прошлом, вспоминая эти два года в Черемошне, и не раз у меня и у него навстречивались слезы. Так прошла неделя, и Дмитрия Алексеевича вызвали по хозяйству. После их отъезда Лев Николаевич призвал меня в кабинет и сказал:

– Таня, Дьяков говорил со мной о тебе.

Лев Николаевич остановился, очевидно, думая, как бы ему передать то, что он хотел.

– Что же он говорил? – спросила я.

– Разумеется, все хорошее. Говорил, как Долли любила тебя, как он знает тебя, и какая ты; говорил про свое тяжелое одиночество и просил меня написать, как ты смотришь на него? Конечно, ему неловко делать предложение после трех месяцев потери жены. Отвечаешь ли ты ему тем же? Он советовался со мной, и я сказал ему: «торопись и переговори с ней. Мне кажется, что она возвращается к своей первой любви». Он просил, чтобы я написал ему, а говорить, недоговаривая настоящего, он не решается.

Я молчала и не знала, что ответить. Мне было от всей души жаль Дмитрия Алексеевича. Жаль до боли, и я вспомнила предсмертные слова Долли.

– Если бы я могла быть ему лучшим другом, не женой... Ты знаешь, Левочка, – помолчав, начала я. – Если бы он сделал мне предложение года два тому назад, не имея жены, я сейчас пошла бы за него. Он мне нравился и даже очень, так же как и его отношения ко мне.

– Я заметил это, когда бывал у вас, и боялся за вас обоих, но не говорил вам, – сказал Лев Николаевич.

– Неужели заметил? – спросила я. – Тогда он был со мной, как говорит французская поговорка, «в белых перчатках», а за границей он надел рукавицы. Нет, нет, не могу, – помолчав, сказала я.

Лев Николаевич улыbnулся этому сравнению.

– Я говорил ему, – перебил он меня, – что Таня жаловалась на твою строгость и резкость за границей. «Это от чувства самосохранения, она не понимала этого», – говорил мне Дмитрий.

– Да, я и не поняла его, но впечатление уже есть, и даже сильное.

Когда я рассказала наш разговор со Львом Николаевичем матери, она, вздохнув, сказала:

– Как папа будет огорчен твоим отказом.

Мать моя очень сожалела, что она не видит Марию Николаевну. Не помню хорошо, но мне кажется, что она с девочками жила в Покровском.

К нам приезжала сестра матери, Надежда Александровна Карнович, из своего имения Кошенское за 15 верст от Ясной.

Мама была ей очень рада. Веселая, добрая, довольно полная, она была года на два старше матери. Ее муж – Владимир Ксенофонтович был предводитель в своем уезде. Она много рассказывала нам про уездные события и смешила Льва Николаевича и мама. Уезжая из Ясной, она взяла с меня слово, что я приеду к ее дочерям.

Через несколько дней после ее отъезда я и Кузминский поехали в Кршенское. Владимир Ксенофонгович был по делам в своем уезде. Лиза 20 лет и Катя 16 были наши подруги, с ними мы проводили время. Но не подруги мои интересовали меня, а Кузминский. Я спрашивала себя: «Серьезно ли это? или обман, обоюдный обман?» Ответа не находила. Любовь, пустившая когда-то корни, заглохшая и забытая, снова расцвела.

Я стала его невестой. Дня через три мы были в Ясной. Он уехал в Тулу, сказавши только моей матери о своем предложении. Все были не то чтобы против Кузминского, но все больше желали, чтобы я вышла за Дьякова. Одна Наталья Петровна радовалась за меня и говорила:

– Из себя молодец, фасонистый и ростом вышел! Да и богат он, десятин-то, бишь, сколько у него? Не помнишь?

Тетенька Татьяна Александровна добродушно по-французски поздравила меня. Лев Николаевич мало говорил со мной, но выражение его лица, когда он молча смотрел на меня, говорило мне многое. Он как бы не поверил любви моей. Он приписывал это увлечению скорее материальному, чем

духовному. «Самое лучшее не выходить совсем замуж», – думал он, как про меня, так впоследствии и про дочерей своих.

– Эх, Таня, – говорила мне Соня, – как бы наш милый Дмитрий Алексеевич любил тебя, баловал бы и на руках носил. Саша очень хороший, ты знаешь, что мы с ним дружны. Но он очень молод для тебя, он не оценит тебя и не поймет тебя и он «хандристый», как говорила про него Вера Ивановна.

Лев Николаевич сидел тут же и молча слушал наш разговор.

– Сергей Николаевич стар был, Кузминский молод, да где же рецепт, подходящий ко мне? – с досадой проговорила я. – Мы давно знаем друг друга. Ему известно все мое «прошлое». Во все самые тяжелые минуты моей жизни он приезжал ко мне, даже еще недавно, узнав о смерти Долли. И если теперь, созрев в 20 лет, я оценила его привязанность ко мне, то, конечно, не мудрено, что я вновь полюбила его. Я не могу удвоить свое чувство. Если я выйду замуж за Дьякова, я буду глубоко несчастна, так же и он.

– Таня, зачем ты так горячишься, тебя никто ни в чем не обвиняет, – сказал Лев Николаевич.

– Нет! Вы все недовольны, вы все против меня, – говорила я, горячась, и заплакала.

– Ай, ай, ай, – простонал Лев Николаевич, – Таня, что с тобой? Ведь ничего же плохого и не произошло. Зачем ты

так огорчаешься? Мы же все хорошо относимся к Кузминскому.

Мое мучение еще не кончилось. Мне предстояло неприятное объяснение с Кузминским. Мы виделись довольно часто. Наши беседы происходили большей частью в моей комнате. Нередко приходила к нам и мама с работой. Однажды он стал просить меня дать прочесть мои дневники за последние годы. Я отказывала. Мои дневники были полны любовью и описанием времени и свиданий с Сергеем Николаевичем. Все страницы были полны им, включая и описания разных событий, разговоров Льва Николаевича, и прочим. Он просил, упорно настаивал, и я, немного рассердившись, сказала ему:

– Хорошо, если ты так упорно настаиваешь на своем желании, возьми...

И я отдала ему довольно толстую тетрадь. Он увез ее в Тулу. Прошло больше недели. Он не приезжал к нам и не писал мне, и я поняла, что всему виной мой дневник.

Лев Николаевич собирался в Москву. Я получила записку от Кузминского: «Еду в Москву по делам», и больше ни слова. Я сказала Соне, что мы не в ладах.

Лев Николаевич пишет Соне из Москвы (20 июня 1867 г.): «То, что ты пишешь о Тане и Кузминском, меня еще не так пугает, это размолвка, которая не исключает любовь <...> Знаешь, меня мучает мысль, что мы Дьякову, такому отличному нашему и ее другу, не сообщили всего. Мне кажется,

это надо было сделать. Как ты и они думают?»

На другой день он снова пишет Соне, а она читала мне:

«Саша Кузминский ни сестре, ни Андрею Евстафьевичу, ни Лизе ничего еще не сказал от какого-то конфуза, который обуревает его. Я с ним пытался откровенно объяснить, в чем его недоразумение с Таней, и он хочет, и как-то робеет или не может, и не хочет сказать».

Тут я остановила Соню:

– Да это понятно, что Левочке он не может сказать причину своего поведения. Все это – следствие чтения моего дневника, где моя любовь к Сергею Николаевичу описана подробно.

– Зачем же ты дала ему читать?

– Да он уж очень просил, я не могла отказать ему.

– Теперь мне все понятно, – говорила Соня, – ведь Левочка этого не знает. Ну, слушай дальше:

«Все уладится, очень молодо, только жалко, что они с Таней не объяснились перед отъездом. А то ему тяжело».

В следующем письме (от 22 июня) Лев Николаевич пишет снова:

«Кузминский ничего не говорил ни Андрею Евстафьевичу, ни Фуксам. Инстинкт вернее ума. Ничего из этого не выйдет, и тем лучше»...

– Соня, я чувствовала, что Левочка недоволен, что я выхожу за Кузминского, а не за Дмитрия Алексеевича.

– Понятно, Дьяков лучший его друг, – сказала Соня.

Не помню, сколько времени прошло еще, когда Кузминский неожиданно приехал к нам. Без объяснений, почему он не ездил, он молча подал мне тетрадь мою. В отношения наши закралась какая-то натянутость, неловкость. Мать моя смягчала эту неловкость. Он прямо обожал ее. Она просто и ласково относилась к нему, но я не могла последовать ее примеру. Вечером у нас было довольно серьезное объяснение. Мы сидели у меня в комнате. Мама отозвали укладывать спать Вячеслава, и мы остались одни.

– На меня удручающе подействовал твой дневник. В Москве еще я не мог успокоиться. Я задавал себе вопросы: в состоянии ли я буду забыть все это, не будет ли эта любовь всегда стоять между нами, как злой призрак? Не будет ли она всегда служить мне обвинением и охлаждением к тебе? Буду ли я в состоянии примириться с этим и простить тебя?

– Простить! – воскликнула я. – Да я никогда не буду себя чувствовать виноватой перед тобой! Никогда никакого прощения я не прошу у тебя, – говорила я, краснея и волнуясь. – Мое прошлое принадлежит только мне одной, и никому больше. Я никому не позволю властвовать над моей душой и сердцем! Конечно, мой будущий муж имеет право требовать от меня целомудрия и любви, тогда как вы, бывши женихами, этого не даете нам, – с злой насмешкой сказала я. – Ты был в связи с графиней Бержинской, ты сам мне говорил это, и чуть было не женился на ней! И я не упрекаю тебя.

– Да, но разве я так сильно любил ее? Я легко расстался с ней.

– Этого я не знаю, – сказала я. Мы оба замолчали.

– Скажи мне, что побуждает тебя выйти за меня? – проговорил он, все еще с недоверием относясь ко мне. – Ты судишь, может быть, как все барышни, что надо же выйти замуж. Или же у тебя расчет какой?

– Расчет? В чем? Я могла бы выйти замуж по расчету, но это не в моем характере.

– За кого? За Дмитрия Алексеевича? – спросил он.

– Это дело мое. Говорить больше ничего не стану. Мы снова замолчали. Я села в угол дивана. Мне стало невыносимо грустно, тяжело, и я едва удерживалась от слез. Я видела, что и он страдал не менее моего, что в нем происходила сложная внутренняя работа. Он встал с своего кресла и начал нервно ходить по комнате. Его лицо было бледно, и две складки на лбу, которые я знала у него, говорили о его внутреннем волнении. Мне стало нестерпимо жаль его. Мне вспомнилась наша юная ссора из-за живых картин в Покровском. Это была вторая, но насколько серьезнее!

Неловкое, тяжелое молчание длилось довольно долго.

– Таня, – вдруг проговорил он, останавливаясь передо мною. – Так жить нельзя. Неужели ты не видишь, как я мучаюсь?

Слова эти были сказаны так чистосердечно, искренно, что я поверила, что любовь наша далеко от обоюдного обмана,

как мне казалось это. Я хотела ему что-то сказать, но не выдержала и заплакала. Мои слезы были лучшим ответом на его вопрос. Он взял обе мои руки, отвел их от глаз моих, и мы, как тогда, пять лет тому назад, преступили «запрещенное» нами же самими.

– Как я часто плачу в последнее время, – сказала я, улыбаясь сквозь слезы, – и все от тебя.

24 июля 1867 года была назначена свадьба. Я с матерью поехала в Москву к отцу. Железная дорога уже ходила от Серпухова до Москвы. Отец, как и все в нашей семье, был огорчен, что я не выхожу за Дмитрия Алексеевича. Он был и гораздо старше и богаче. В те времена, если между женихом и невестой было менее 8 лет разницы, считалось неблагополучно. В Москве мы пробыли недели две: приданое задержало нас. Я избегала говорить и сидеть с отцом.

Возвратившись в Ясную Поляну, мы начали хлопотать о венчании. Так как мы были двоюродные, то надо было найти священника, который бы согласился обвенчать нас. Лев Николаевич и Кузминский ежедневно почти ездили в сельские церкви отыскивать священника. Наконец, не помню, кому из них, удалось найти старика – временно полкового священника, который за несколько сотен брался обвенчать.

Лев Николаевич пресмешно рассказывал про поиски и типы священников, а про последнего сказал:

«Ну, этот за сто рублей и в кучера пойдет, не то что перевенчает».

Однажды я поехала с Кузминским в одно из сел, где была церковь. Погода была чудная. Мы ехали в кабриолете. Лев Николаевич вышел с нами на крыльцо и, глядя на нас, сказал: – Ты, Саша, кабриолет твой, лошадь, а в особенности Таня, имеете такой элегантный вид, что вам только впору в Петровский парк ехать, а не в Прудное.

Я запомнила слова его, потому что дорогой была встреча, взволновавшая меня. Соня хорошо пишет о ней:

«Странное событие было еще раз в их жизни. Сестра моя сделалась невестой А. М. Кузминского, которого с детства любила; но так как он был двоюродный брат, то надо было найти священника их перевенчать.

Совершенно независимо от них, Сергей Николаевич решил тогда вступить в брак с Марией Михайловной и тоже ехал к священнику назначить день своей свадьбы. Недалеко от г. Тулы, верстах в 4 – 5-ти, на узкой проселочной дороге, уединенной и мало еженной, встречаются два экипажа. В одном – моя сестра Таня с своим женихом Сашей Кузминским без кучера, в кабриолете, и в другом, в коляске, Сергей Николаевич. Узнав друг друга, они очень удивились и взволновались, как мне потом рассказывали оба. Молча поклонились друг другу, и молча разъехались всякий своей дорогой.

Это было прощание двух, горячо любивших друг друга людей, и судьба поиграла с ними, устроив эту необыкновенную, неожиданную и мгновенную встречу в самых неправдоподобных, романтических условиях».

Да, в эту ночь подушка моя была мокра от слез, и я не спрашивала бы благочестивую Верочку, как тогда в Петербурге, как она думает: можно ли любить двух? Но мало кто поймет это.

Лев Николаевич понял и не осудил меня, когда я ему рассказала про это.

На свадьбу приехала моя любимая кузина Елена Михайловна. Она помогала брату в устройстве квартиры. Приехал брат Саша, Лиза, Дьяковы. Церковь была небольшая, недалеко от Тулы. Хотя свадьба была очень скромная, но я и Кузминский были в подвенечных костюмах: я – в белом длинном платье со шлейфом, как носили тогда, и в венке из померанцевых цветов.

Брат был шафером в парадном мундире Преображенского полка.

Лев Николаевич был моим посаженным отцом и благословлял меня дома с матерью. Мама, хотя и крепилась, но плакала. В церковь она не поехала.

Я ехала с Соней в карете, Вячеслав – с образом. Ему было шесть лет. Он очень гордо и серьезно исполнял свою обязанность: в белый атласный башмачок клал золотой и обувал меня. Он же в церкви нес наш образ, которым благословлял Лев Николаевич.

Кузминский с сестрой приехали из Тулы и были уже в церкви. Не помню хорошо, кто был шафер Кузминского, кажется, Свербеев, но помню, что получила букет из белых роз.

Я очень волновалась, молилась, и слезы во все время стояли в глазах моих. Почему? Не знаю.

У Толстых был обед с тостами, шампанским и мороженым. Маша и Софеш были необыкновенно милы со мной. Мне недоставало лишь моих милых Вари и Лизы.

– Таня, приезжай погостить в Черемошню к нам, хотя бы в память прошлого, – говорила Маша, целуя и поздравляя меня после венчания.

Лиза шепнула мне на ухо: «А скоро и ты будешь на моей свадьбе».

Лев Николаевич говорил мне:

– Таня, а ведь теперь ты настоящая стала, а то ты так себе девочка была; на тебя теперь много обязанностей ляжет в жизни твоей. Ты это сознаешь? – спросил он.

– Нет, пока я все такая же, – смеясь ответила я.

– А как бы Долинька радовалась на свою малютку! – сказал мне Дмитрий Алексеевич. – Не забывайте нас и приезжайте к нам.

– Мама, – укладывая с ней свои вещи, говорила я, – Дмитрий Алексеевич такой хороший, добрый, он тронул меня сегодня своим участием. Я так желала бы, чтобы он был счастлив.

– От тебя зависело сделать его счастье.

– Ах, мама, зачем вы мне говорите это! – воскликнула я. – Вы ведь знаете, что я Дмитрия Алексеевича люблю совсем иначе, чем Сашу.

«Как они все преследуют меня с этим», – подумала я.

Подали карету, и, простившись со всеми, мы отъезжали уже от крыльца, когда почувствовали, что что-то стукнуло в зад кареты. Это Ханна, вспомнив английский обычай, бросила нам вслед старый башмак. – *We happy!*¹⁵³ – услышали мы ее пожелание.

Нас дома ожидал накрытый стол с чаем, освещенные светлые комнаты. Елена Михайловна приехала с нами. Муж провёл меня в мою комнату. Она была неузнаваема: стояла перегородка из красивой материи, за перегородкой стояли кровати, в другой половине комнаты красовался туалет, белый, кружевной, с розовыми бантами и чехлом и различные столы с различными принадлежностями. Все это, конечно, устраивала Елена Михайловна.

– Ты знаешь, – говорил мне муж, – у меня такое чувство, как будто я достиг берега после бурь, препятствий и всяких неприятностей. Только бы ты любила меня, – сказал он, целуя меня.

Мы пошли в столовую пить чай.

– А ведь завтра к нам приедут к обеду все из Ясной Поляны, – сказала я. – Я этим очень довольна.

Люди у нас были: повар Андриан и его жена Вера Александровна, – бывшие крепостные в имении мужа, лакей – молодой мальчик Никандра и судомойка Настасья. Вера Александровна была моей горничной и по хозяйству.

¹⁵³ Будьте счастливы! (англ.)

Я была очень утомлена за целый день и, простившись и поблагодарив Леночку за все ее хлопоты, я ушла к себе. Ко мне явилась Вера Александровна.

– Что прикажете взять к утру? Какой хлеб или печенье? – спросила она официальным голосом. – И какое прикажете приготовить вам платье на завтра?

Не привыкшая к такой официальности и вспомнив Душку, Федору и прочих, я сначала смутилась, но, вспомнив, что я теперь «настоящая», как назвал меня Лев Николаевич, я отдала приказание с некоторой важностью.

Вера Александровна присутствовала при моем ночном туалете, тщательно приготовив все на утро, и простившись также официально, она ушла к себе, когда услышала шаги мужа.

На другой день к обеду приехали все, и моя мать, что мне доставило большое удовольствие. Обед и вечер был очень веселый и приятный. Одно смущало меня, что наблюдали за мной, как я исполняю роль хозяйки. Конечно, Лев Николаевич оживлял весь стол: он был в ударе, предлагал тосты. Кажалось, он помнил каждого и каждого умел приласкать. Это было свойство его характера.

На прощание я выразила Дмитрию Алексеевичу сердечную благодарность за прошлое.

Поздно вечером все разъехались. Мы вышли провожать их всех. Когда отъезжали экипажи, и Лев Николаевич, улыбаясь, делал мне прощальный знак рукой, и все ласково ки-

вали мне головой, у меня болезненно сжалось сердце. Они уехали, а я все еще стояла на крыльце.

«Неужели я не буду больше жить с ними? Неужели не будет со мной Сони, Льва Николаевича, моего советчика, моего лучшего друга? Но это ужасно! А мама, дети, Таня маленькая, а вся Ясная с лесами, липовыми аллеями, которую я так страстно люблю!»

Я испугалась этого чувства, я побежала вверх. Муж, не видя меня, уже шел за мной. Я молча обняла его, как бы мысленно прося его прощения, и, спрятав голову на груди его, я скрыла наворачнувшиеся слезы...

9 ноября 1924 г.

XXI. Медовый месяц

Афанасий Афанасьевич Фет так определяет медовый месяц двух супругов: «Два невыезжаных вола тянут в гору тяжесть. Один – в одну сторону, другой – в другую, не понимая, что делают».

Несмотря на то, что часть нашей юности мы провели вместе и, казалось бы, знали хорошо друг друга, нам все же пришлось во время медового месяца «тянуть в гору тяжесть». Но это не значит, чтобы привязанность наша друг к другу уменьшалась. Я не хочу этого сказать, но была разность характеров, воспитания, взглядов на жизнь, на людей. В ранней молодости, в особенности мне, разница взглядов не мешала. Мы скользили по ним. Как два оперившиеся птенца, мы радовались любви. Мы беззаботно и бессмысленно предавались ей, в особенности я. Муж всегда был серьезнее меня. А я, испытав уже более серьезное чувство и не найдя в нем счастья, вернулась как бы под защиту, к своей первой, ничем не омраченной, чистой любви, думая пристать к берегу спасенья.

Мы жили первое время очень уединенно. Да к тому же в августе город был пустой. Единственно, кто навещал нас, это Иван Ильич Мечников, тульский прокурор. Он был женат на незаконной дочери князя Черкасского. Красивая и ласковая Настасья Андреевна была несколькими годами старше меня.

Я сошлась с ней. У них был единственный сын Илюша, который, казалось, и был единственной связью между родителями, так как отношение мужа к жене, презрительное и холодное, было для меня непонятно и возмущало меня.

Они часто проводили у нас вечера, и я не раз говорила ему неприятности и колкости за жену, за что получала от мужа после их отъезда выговор.

– Таня, – говорил муж, когда мы оставались одни, – я просил тебя оставить Мечникова в покое. Разве можно говорить так резко, как ты: «С вами никто не уживется, у вас такой характер!»

– Да ведь это правда, – воскликнула я.

– Да мало ли что правда, да говорить этого нельзя, да и какое тебе дело? А я слышал, что между ними была большая семейная драма, – продолжал муж, – где *она* была виновата.

– Бедная Настасья Андреевна, – сказала я. – А все-таки он умный и оригинальный человек, – подумав, сказала я. – Недаром Левочка оценил его, и после длинной беседы с ним – помнишь, когда Мечников ездил с нами в Ясную, – сказал про него: «Умен, очень умен».

Иван Ильич Мечников был человек лет 36–38. Прошлого его я не знаю. Кажется, он был правовед. Он умер раньше своей жены и послужил Льву Николаевичу прототипом главного героя в повести «Смерть Ивана Ильича». Жена рассказывала мне впоследствии его предсмертные мысли, разговоры о бесплодности проведенной им жизни, которые я и пе-

редала Льву Николаевичу.

Я видела, как в пребывание Мечникова в Ясной Поляне Лев Николаевич прямо впивался в него, почуяв своим художественным чутьем незаурядного человека.

Повесть «Смерть Ивана Ильича» написана была позднее.

Мы ездили иногда в Ясную, куда меня постоянно тянуло. Кроме привычной, несравненной ясенской жизни, меня тянули деревня, простор и красота природы. Я не могла примириться, что часть лета я провожу в Туле, в пыльном городе, в тесной квартире. Мне казалась эта обстановка чем-то душным, мещанским.

Я помню, как муж уехал куда-то на сессию, я была не совсем здорова и осталась в городе. Я затосковала. Вечером, когда уже смерклось, я взяла книгу и села на кушетку, перед зажженной лампой. Полная тишина и безмолвие царили вокруг меня. Только большие часы упорно тикали в столовой, и мне вспомнилась милая старушка Агафья Михайловна и ее рассказ о часах:

«Расстроилась я, матушка, гончая-то любимая графская пропала, послали искать ее. А я-то сижу, жду посланного. Тихо вокруг. А часы-то все время: „Что ты? что ты? кто ты? кто ты?“. Ну прямо замучили меня...» – Вот так-то и меня теперь мучают они своим упорным, бессмысленным вопросом, – подумала я с невольной улыбкой.

В дверях показалась Вера Александровна.

– Прикажете чай подавать? – спрашивает она. – Нет, еще

рано, – говорю я, – Вера Александровна, посидите со мной.

Она берет скамейку и садится у ног моих. Сесть на стул ей кажется слишком интимным и непочтительным, и я мысленно соглашаюсь с ней.

– Когда же барин приедут? – спрашивает она. Она знает когда, но говорит это, чтобы начать разговор.

– Через два-три дня, он сам не знал. Понемногу у нас завязывается разговор.

– Вера Александровна, сколько времени вы жили у барина в Кошарах? – спрашиваю я.

– При доме-то мы давно жили, а у Александра Михайловича годов 5–4 должно. Отец Андриана из бывших крепостных господ Кузминских, Андриан-то еще Александра Петровича Кузминского, значит, дядю вашего, хорошо помнит. Он военный был, при государе Александре Павловиче служил.

– Да, он флигель-адъютантом был и очень ученый, академик, – сказала я, да подумала: «она ведь не поймет, что я говорю».

– А сколько его бумаг в сундуке осталось, и патреты двух братьев по сию пору в гостиной висят, и жена деда вашего, вот красавица-то была.

– Надо взять их оттуда, – сказала я.

– Зачем взять, когда-нибудь сами поедем, – сказала она.

– А были соседи у Александра Михайловича? – спросила я.

– А как же, были. Из русских господа Прибытковы, а то имение графа Бержинского недалеко от нас было. Уж и именье же, – захлебываясь, говорила Вера Александровна. – Дом, сад, лошади, экипажи с аглицкой упряжью, таких нигде не видела! И такого богатого имения и не найдить здесь.

– А дети были? – спрашиваю я.

– Нет. Вдвоем жили. Да граф-то мало в имении жил, все в разъездах, а зиму – так оба в чужие края уезжали, – болтала Вера Александровна.

– А она хороша собой? – спросила я.

– Видная дама, – желая поделикатнее выразиться, говорила Вера Александровна, – а уж как разоденется, так просто прелесть!

– Почему же вы знаете это? – спросила я, – вы у них не жили?

– Да их экономка моему Андриану тетка приходится, так мы по большим праздникам бывали у них.

– А Бержинские бывали в Кошарах? – спрашиваю я, невольно желая слышать то, что боялась услышать.

– Граф приезжал к нам, завтракал у нас.

– А жена его?

– Графиня-то несколько раз верхом приезжали.

– Что же, она слезала с лошади? – почти шепотом спросила я. – «Как нехорошо выпрашивать у горничной. И зачем мне? Я же все знаю», – говорила я себе.

– Они слезали с лошади, в сад ходили, дом осматривали, –

с хитрой улыбкой говорила Вера Александровна, конечно, зная про их связь.

Я замолчала.

Сердце мое сильно билось. Мне хотелось плакать, но не от того, что *она* мне говорила, но от того, что я ей говорила.

– Что это вы, нездоровится вам? – спросила меня Вера Александровна, вероятно, заметив мое расстроенное выражение лица. – Может, в постель ляжете? Прикажете, я вам чаю принесу?

– Нет, не надо. Велите подать самовар в столовую и заварите чай.

Через два дня вернулся муж, бодрый, веселый, довольный.

– Ты не знаешь моего чувства особенной радости теперь, когда я возвращался домой. Ведь это мы «в первый раз расстались с тобой на три дня. Я уже успел так привыкнуть к тебе, что скучал без тебя. Что же ты делала без меня?» – спросил он.

– Я читала, работала, играла Chopin, как всегда, очень плохо, и потом Вера развлекала меня своими рассказами.

– О чем?

– О твоей жизни в Кошарах и о соседях.

Я видела, как при этих словах муж сдвинул брови и пристально поглядел на меня.

– Что же она рассказывала? – спросил он. – Je tn' imagine,

ce qu'elle a brode la-dessus¹⁵⁴, – прибавил он.

Водворилось молчание.

– Знаешь, дорогой я так много думал о тебе и разбирал себя, – прервав неловкое молчание, сказал он.

– Ну и что же? к чему привел тебя этот разбор? – спросила я с некоторым неприязненным чувством, привыкшая к его критике. Мы редко думали одинаково, почти никогда не сходились с ним во вкусах и в симпатиях к людям.

– Разбирая себя и, главное, свой взгляд на нашу будущую семейную жизнь, – говорил он, – я вынес впечатление, что я слишком уже боюсь и буду бояться, что кто-нибудь из посторонних не дотронулся бы до моей новой жизни с тобой. Ты молчишь? А я скажу еще, что едва ли моя идея, мой взгляд на нашу жизнь и чувство, созревшее во мне, могут осуществиться при твоём характере.

– Я молчу, потому что не понимаю тебя. Что значит: *коснется до нашей жизни?* – сказала я. – Кто может коснуться до чужой жизни? и как? Я этого хорошо не понимаю.

– Кто? – спросил он и замолчал.

Я видела, что он находится в колебании, высказать или нет свою мысль.

– А Толстые? – тихо, с трудом выговорил он.

– Толстые? – с ужасом повторила я. – Ты говоришь Толстые, а подразумеваешь одного лишь Льва Николаевича. Я знаю это. Влияния Сони ты не можешь бояться, в наших

¹⁵⁴ Воображаю, что она плела насчет этого (фр.)

летах мало разницы. Ты боишься влияния Левочки, тогда как ты должен радоваться ему. Я должна благословлять свою судьбу, что она послала мне счастье жить около такого человека. Ведь всю мою юность я провела в Ясной Поляне, всем, что есть во мне хорошего и святого, я только обязана ему, и больше никому. Как я могу жить без них? без Ясной Поляны? без их любви? без его советов? Нет! Нет! этого я никому никогда не отдам! Это моя святая святых, и я никому не позволю коснуться до души моей, – раскрасневшись, волнуясь, говорила я.

Я чувствовала, как слезы подступали к глазам моим, как меня душило негодование, и как мне трудно будет победить в нем это чувство недоброжелательства и духовной ревности к Толстому. Я и раньше замечала это, но старалась заглушать в себе это нелепое подозрение.

Весь этот разговор происходил за вечерним чаем. Чтобы не заплакать при нем, я встала и ушла в спальню.

Через несколько минут он последовал за мной.

– Зачем ты так огорчаешься? – говорил он с грустью, – я не хотел тебя обидеть, пойми и меня. Ведь это чувство у меня невольное. Ну как бы я мог его скрыть от тебя? Это было бы хуже. Я же понимаю, что я не могу разлучить тебя с Толстыми, да я и не хочу этого. Я сам бываю у них и прекрасно вижу, что за человек Лев Николаевич, но я не могу отрешиться от чувства своего, что моя семейная жизнь будет складываться под чужим влиянием.

Его тихий, грустный голос тронул меня.

– Но я опять повторяю тебе то, что я сказала тебе, когда ты еще был женихом моим:

«Надо жить просто, не сочинять себе жизнь, как ты, потому тогда непременно наткнешься на созданную собой же неприятность. Что значит, что твоя жизнь будет складываться под чужим влиянием? Она будет складываться не под влиянием кого-либо, а по обстоятельствам, так же как и моя. Не хандри и не сомневайся, будем жить спокойно, у нас все впереди для нашего обоюдного счастья. Зачем мы портим его?»

XXII. Мои гости

Наступила осень. Я просила мужа переменить квартиру: мне все не нравилось в нашей. Он охотно согласился, и вскоре мое желание было исполнено.

Мы получили известие из Ясной, что Соня сильно заболела. Все житейское было забыто, и я несколько дней просидела у Совиной кровати. Она заболела вследствие испуга. Вот что она пишет в своих воспоминаниях:

«Пошла я перед обедом погулять одна; гостила у нас сестра Мария Николаевна с девочками Варей и Лизой и я звала кого-нибудь со мной, но никто не пошел.

Прохожу мимо амбара, вдруг маленькая собачонка бросается мне под ноги. Смотрю – чужая и презлющая. У ней под амбаром пищат щенята. Бросилась она мне грызть ноги. Изорвала в клочки чулки мои, юбки и платье. Я пыталась отбиться и не могла, наконец, я убежала и бледная, ноги в крови, испуганная пришла домой».

За обедом Соня почувствовала себя очень плохо, так как была беременна на четвертом месяце.

Послали в Тулу за Марьей Ивановной, акушером Преображенским, и последствия оказались плачевные. Когда ей стало лучше, я собралась домой. Лев Николаевич ужасно тревожился во время Сониной болезни. «Война и мир» еще не была окончена, и это волновало его.

Со мной отпустили Варю и Лизу, чтобы в доме было тише и потому что они еще не были у меня.

Перед моим отъездом, не зная о болезни Сони, приехали Дьяковы. Дмитрий Алексеевич остался со Львом Николаевичем, а Софешу и Машу решили отпустить со мной. Для нас это был настоящий праздник. Как сейчас помню: к крыльцу подали знакомую мне громадную карету Марьи Николаевны. На крыльцо вышли провожать нас Лев Николаевич и Дьяков.

– А Александр Михайлович не испугается такой компании? – сказал, улыбаясь, Лев Николаевич.

– Нет, напротив, он будет очень рад, но, к сожалению, он должен ехать на сессию в Чернь, – сказала я.

– Таня, а как тебе живется теперь? Я давно не видел тебя и не успел поговорить с тобой. Ах, как Соня напугала нас, как она, бедная, страдала до твоего приезда. Ну, прощайте, – сказал он.

– Дмитрий Алексеевич, не забывайте нас и когда-нибудь побывайте у нас, – сказала я, прощаясь с всегда мне милым Дьяковым.

Мы впятером уселись в карету. Лев Николаевич захлопнул дверцу. Чем-то очень молодым, детским повеяло на меня. Безотчетный смех, безотчетно веселое настроение царило у нас в карете.

– Вы понимаете, – говорила я им смеясь, – что вас отпустили под моим надзором? Вы все дети, а я ваша «ша-

прон»¹⁵⁵.

– Нет, – сказала Софеш, – наш шапрон будет Александр Михайлович, а не вы.

– Нет, я, Александр Михайлович уезжает на сессию.

– Таня, а вы ничуть не переменились, – сказала Софеш, – все такая же, и солидности в вас никакой!

– И не меняйся, Танюша, – говорила Варенька. – Я люблю тебя именно такой, какая ты есть.

– А кто из нас теперь первая замуж выйдет? Как бы я желала знать, – говорила Варенька.

– А разве непременно надо замуж выйти? – спросила Лиза, – а может быть и никто, все старыми девами останемся.

Тут заговорили все вдруг, нужно ли выходить или нет, и трудно ли это или легко, и что делать, если не выйдешь. И так заспорили и кричали, что старый кучер Архип заглянул в переднее окно кареты посмотреть, не случилось ли что с барышнями? Одна лишь Маша, благодаря своему возрасту, оставалась к этому вопросу совершенно равнодушна.

Нужно было видеть удивление мужа, когда на наш звонок Никандра отворил дверь, и муж, ожидая меня, вышел в переднюю и встретил всю нашу молодую компанию. Сначала он ничего не понял, пока мы не растолковали ему, как сильно заболела Соня.

Вечером с сожалением он покидал нас. Мы еще сидели за чайным етолом, когда пришел повар Андриан принять заказ

¹⁵⁵ Шапрон (chapeiron – фр.) – руководитель, вроде гувернера.

на обед.

Всякая мелочь, всякая глупость веселила нас и вызывала в нас школьный смех и проказы.

Девочки притихли и с любопытством глядели, как я «играю в хозяйку», как выражалась Софеш, не оставляя со мной своей прежней манеры поддразнивания и смеха, что я так любила в ней.

– Я «е знаю, что из провизии дома есть? – оказала я повару.

– К фриштыку можно сделать-с холубцы до сметаны? – выговаривая по-малороссийски, говорил повар.

– Хорошо, а потом что?

– Я написал: омлет, если прикажете-с.

– Хорошо. А к обеду?

Софеш за самоваром все делала мне гримасы, представляя и меня и повара, так что я насилу удерживалась от смеха, чтобы не уронить свое достоинство.

– К обеду можно-с бефстроганов и борщ. Из Ясной коренья и капусту прислали-с, – докладывал Андриан, – да меру яблок. Вера убрала их.

– Девочки! а пирожное что вы хотите, – спросила я.

– Шоколадный кисель! нет, блинчики с вареньем! вафли! – кричали все врозь.

– Нет, это все мне не нравится, – оказала я. – Сделайте вафли с каймаком! – обратилась я к Андриану.

Повар, получив деньги и записку, поклонившись, вышел.

– Знаете, что сестра Лиза уже невеста? Я недавно получила от нее письмо, – сказала я.

– Вот как? Это очень хорошо, когда же свадьба? Ты поедешь? – посыпались вопросы.

– Да, поеду непременно, но это еще держится в секрете и не объявлено. Павленко должен был ехать в Малороссию, где стоит его полк, а Лизе шьют приданое. День свадьбы еще не назначен. Мама пишет: „Гавриил Емельянович сделал Лизе предложение. Он, по-видимому, полюбил ее. А нам он все расхваливает ее практический ум. Он в восторге от ее суждений и практических советов“.

На другой день, после веселого кофе в столовой, мы сговорились идти посмотреть нашу будущую квартиру.

– Дом с мезонином мы будем занимать одни всецельно, – говорила я. – Теперь там живут две семьи:

Дьяковы, но не родня вам, – обратилась я к Маше, – они сродни Гартунг и живут вместе. Гартунг – военный полковник, служит в коннозаводстве, а она дочь поэта Пушкина. Вероятно, я познакомлюсь с ней. Обе семьи, кажется, уезжают в конце зимы.

Когда мы пришли на Старо-Дворянскую, где находился наш будущий дом, мы просили пустить нас посмотреть комнаты. Нас пустили, но из хозяев мы никого не видели: их не было дома. В доме было 10–11 комнат, и при доме небольшой садик. Нам всем он понравился, и я сожалела, что мы не скоро можем переехать.

Потом мы пошли делать разные покупки, порученные нам в Ясной Поляне. Был конец сентября, и мы уже встречали элегантные экипажи и прилично одетых дам на Киевской, глав» ой улице Тулы.

– И подумать только, что я со всеми ими перезнакомлюсь и, может быть, сойду в скором времени, – сказала я.

– И тебе не страшно? – спросила меня Маша.

– Страшно? Нет, но немного дико. А Левочка все говорит: живите уединенно. Зачем вам общество?

– А я, пожалуй, согласна с ним, – сказала Лиза. – Самое приятное, это самый близкий интимный кружок.

– Не знаю, – подумав, ответила я. – Да и где взять его?

– А вы счастливые: вы будете жить все вместе эту зиму, – сказала я.

– Да, это уж решено. Дмитрий Алексеевич нанял большую квартиру у Сухотиных, и Марья Николаевна согласилась жить с нами вместе, и учиться девочки будут вместе, – говорила Софеш.

– А я к вам приеду, когда поеду на свадьбу Лизы.

– Непременно, – закричали они, – у нас будет хорошо!

Придя домой, мы играли с Варей в четыре руки, потом разбирали несколько романсов и, наконец, после обеда – мы стали детьми и затеяли жмурки, «волки и овцы» (это беготня вокруг дома) и пряталки. Все это затеялось будто бы, чтобы повеселить Машу и Лизу – меньших из нас, но должна сказать, что и мы, старшие, бегали и играли с большим азартом.

Помню комичный случай с Варенькой, где она вполне вырисовывается.

Мы должны были прятаться. После долгих колебаний, Варенька залезла в буфетный шкаф, на нижнюю полку. Софеш должна была искать. Всех нашли, кроме Вари.

– Таня, ты здесь? – окликнула меня Варя.

– Сиди, сиди, не разговаривай, – оказала я. Никандра прошел в буфет брать чашки.

– Никандра... – слышу я снова голос Вареньки. Ей, вероятно, надоело сидеть в шкафу. Никандра, не видя никого, все ж с удивлением отвечал:

– Чего изволите?

– Как тебя зовут? – шепотом проговорила Варенька.

Тут я не вытерпела и своим смехом выдала Вареньку.

Когда мы смеялись над ней, она даже сразу не поняла нас, что же смешного в ее вопросе?

– Ах, да! – протянула она, когда поняла нас. – Это удивительно, как это я спросила. У него такое имя мудреное. – И она стала от души смеяться над своей рассеянностью.

На третий день приехала за девочками карета, и Лев Николаевич верхом.

Радость наша была большая. Значит, и Соне лучше? – закидали мы его вопросами.

– Конечно, но лежать ей велено долго, – говорил он. – Мы завтра вас домой берем, а я – до вечера. Ехал полем и как раз русака спугнул, – говорил он.

– Ах, – простонала я, – и чего я лишена.

– А когда Саша приедет? – спросил он.

– Должно быть, завтра к вечеру.

Обед был веселый. Лев Николаевич был в духе.

– Все у тебя, Таня, с иголки, новенькое, все блестит, все чисто. Мне бы страшно было иметь такую чистоту.

– Отчего? – спросили мы.

– А ну, как запачкается что? разобьется? И ан-ковский пирог, пустивший у тебя корни, пропал! Вот Варенька поймет меня!

Мы засмеялись.

– А что означает анковский пирог? – спросила Софеша.

– Это очень сложно, – сказал Лев Николаевич.

– Нет, ничего, я вам растолкую, – сказала я. – Профессор Николай Богданович Анке имеет жену, очень хорошую хозяйку. У них был чудный пирог, сладкий, из рассыпчатого теста.

– Который горло засыпал, – сказал Лев Николаевич.

– Мама взяла его рецепт, и у нас его с уважением заказывали. А Левочка прозвал вообще все хозяйственное, заботу о комфорте, о хорошем столе и удобстве жизни – «анковский пирог». Поняли, Софеша?

– Поняла, конечно. Но мы же все любим это?

– Нет, далеко не все, – сказал Лев Николаевич. – И к тому же одни придают этому большое значение, как Таня, а другие – меньшее, я – никакого.

– Да, вот это правда, – сказала Лиза.

– Да, а я придаю большое! – сказала я, – и смело сознаюсь в этом.

После обеда мы пошли сидеть в кабинет мужа, и там понемногу начались, как всегда, интересные разговоры. Кто-то из нас сказал:

– Когда я вечером забуду помолиться Богу, я вижу дурной сон.

– Я это понимаю, – сказала Маша, – со мной это бывало.

– Молитва в простых, необразованных меня часто трогает, – говорил Лев Николаевич. – Я знал одну бабу красивую и распутную. Муж ее привязал за косу к хвосту лошади и так приволок домой.

– Ох, Боже мой! – простонала Варенька.

– Однажды, проходя вечером деревней, я увидел в окно избы огонь. Я взглянул и увидел ту же самую бабу. Она стояла на коленях и молилась, шептала что-то. Я стоял несколько минут, и она все время молилась и шептала что-то. И вера ее тронула меня. А брат Сережа рассказывал, что, бывши юношей в Казани, он был равнодушен к очень молоденькой девушке Молоствовой и вечером, проходя однажды мимо их дома, случайно увидел, как она после бала молилась Богу.

Около нее стоял стул, а на стуле стояли конфеты. Она делала земной поклон и брала конфетку в рот, потом, проглотив ее, снова делала земной поклон и брала другую конфету, и так повторяла несколько раз. И он все стоял и смотрел на

нее.

Софеш и Варя одобрили Молоствову.

Затем заговорили о молитве просительной.

– Это самая плохая. У нас в доме две старушки, – говорил Лев Николаевич. – Одна молится: «Да будет твоя святая воля!» А другая: «Поддай мне, Господи!..» и т. д.

Конечно, мы не стали спрашивать, какая из старушек как молится. Мы это знали.

– А я молюсь тоже: «Поддай мне, Господи!» и прошу его счастья, мира, спокойствия душевного.

– И шелковое платье! – сказал Лев Николаевич. Все мы дружно засмеялись.

– Не говори глупостей! – закричала я. – Раз сказано в святой книге: «просите, и дано будет», я и буду просить. Зачем тогда обманывать людей, если этого нельзя?

– Ну и проси, никто не мешает тебе, – говорил Лев Николаевич, продолжая добродушно смеяться.

– Ах, Танюша! Ну какая ты смешная, – целуя меня, говорила Варенька. – Ты всегда остаешься верна себе.

Я велела подать чай и ужин, зная, что Лев Николаевич любил ужинать, и что он должен был сегодня же ехать в Ясную.

Все прошли в столовую, а я задержалась в кабинете, когда Лев Николаевич подошел ко мне.

– Что же, вы хорошо живете? не ссоритесь? – полушутя, полусерьезно спросил он.

– Мы не ссоримся, но был очень неприятный разговор.

– Неужели? как это жаль, о чем же?

– Не могу сказать, – тихо сказала я.

Он не настаивал, только, подумав, сказал:

– Избегай этого. Всякая ссора делает надрез в ваших отношениях. Знаю по себе. И всякий надрез ведет к разъединению. Я говорю это и Соне.

– Ну, иногда молчать нельзя. По крайней мере я не в силах.

Он ничего не ответил мне. И мне казалось, что он догадался, о чем шла речь.

После ужина, который все хвалили, вероятно, чтобы доставить мне удовольствие, Лев Николаевич собрался ехать. Мы все вышли провожать его.

– Таня, присылай девочек завтра утром, – говорил Лев Николаевич, – и потом приезжай сама с мужем. Соня должна лежать, и ей скучно. Она будет так рада вам.

XXIII. Свадьба Лизы

В начале октября мы переехали на Старую Дворянскую, в дом Хрущева.

Все было устроено. Все стояло на месте. Я сделала несколько необходимых визитов. И должна сказать, что под влиянием взглядов Льва Николаевича, что в свете жить не нужно, я сначала как-то избегала выездов, тем более, что муж тоже не стремился в свет, и мы продолжали домашнюю, патриархальную жизнь.

Я получила письмо от Вари Толстой уже из Москвы, куда они переехали. Она писала [28 октября 1867 г.], что брат ее Николенька, окончил свой пансион, приехал жить к ним, и что мамаша еще не решила, куда определить его. Но что они, сестры, так рады ему, что не расстаются с ним и хотят вместе с ним учиться, так как он плохо знает по-русски.

«...Мы приехали благополучно до Серпухова, но чуть не потонули в болоте между Серпуховом и станцией железной дороги. Правда, бабушка говорила, что это адская дорога. Вообрази себе, что мы ехали по воде в высоком закрытом тарантасе, и что вода была почти до окон тарантаса, а мамаша ехала особенно в пролетке, и потому должна была выбрать другую дорогу, где лошади тонули по колесо в глине, и колеса почти не вертелись. В утешение нам попалась карета, брошенная и до половины завязшая в грязи, так что мы име-

ли в виду также завязнуть в болоте. Как мы ни спешили, а все-таки ехали так тихо, что опоздали к 8-часовому поезду и должны были ждать до следующего утра, потому что мамаша была слишком измучена, чтобы ехать вечером. С самой зимы не помню я такого дня: мамаша больна, на дворе скверно, а впереди перспектива остаться еще целый день на станции. Все это было так грустно, что я сначала расплакалась от тоски и нетерпения, а потом проспала со скуки до вечера. Лиза и Николая сделали то же. На другой день мы поехали-таки в Москву; на железной дороге было очень весело. Это напоминало нам за границу; все было благополучно. Только раз мы почувствовали сильный толчок и после уже узнали, что поезд переехал через живую лошадь, которая испугалась свистка и со страху бросилась на рельсы. Воображаю положение этой несчастной лошади! Вот тебе вкратцах описание нашего путешествия.

Теперь я расскажу, как мы увидались с Берсами. Первый к нам явился Петя в гостиницу Кокорева. Мы встретились с ним, как старые друзья. Он все так же мил, и мы ему очень обрадовались. Он приехал совершенно по-городскому, на „несколько минут“, и объявил, что вечером придет Любовь Александровна. Николая уехал с ним обедать и вечером влетел к нам с докладом, как настоящий швейцар, что приехали т-г и т-те Берс. Любовь Александровну я знаю, но твой папа меня очень смутил: у меня и сердце перестало биться, и руки похолодели от страха, и все это пока я не видала Андрея

Евстафьевича. Я никогда не думала, чтобы он мне так понравился! Он такой добрый, милый и нестрашный старичок, что просто прелесть; он сейчас взял нас с Лизой за головы и поцеловал в макушку, так что мой страх совсем прошел, как будто его никогда не было. На другой день мы все поехали в Кремль. Мы вошли на лестницу в одно время с Верой Александровной Шидловской, которая приехала с двумя дочерьми, с Ольгой и Надеждой Вячеславовной. С Надей мы тотчас же познакомились. Она очень мила, но как-то странно мне подумать, что у Александра Михайловича такая маленькая сестра. Как только мы приехали, то сейчас прибежала Лиза. Она расцеловала нас и поставила рядом, чтобы рассмотреть. Правда, что я была предубеждена против Лизы и почему-то представляла ее в своем уме холодной, серьезной, красивой девушкой и к большому удивлению нашла ее, хотя красивой, но веселой и ласковой. Правда, что мы ее видели очень мало, но она мне так понравилась, что очень горько было бы разочароваться в ней. Теперь, милая моя Таня, я тебе скажу о мальчиках. Они были еще в гимназии, когда мы приехали, но скоро явились. Мы были внизу у Пети, когда прибежал Степа. Он сначала поцеловался с Лизой, потом со мной. Ведь он не может помнить нас, а нам так обрадовался, как старым знакомым или родным, и мамаше тоже он бросился в объятия и с радости назвал ее даже Машенькой. С Володей и даже с Славочкой мы встретились церемонно, как с новыми знакомыми. Из мальчиков, кроме Пети, мне больше всех по-

направился Степа. По-моему, он натуральнее Володи, который как-то слишком тих для своих лет. Может, я и ошибаюсь. Володя симпатичный, кажется, болезненный мальчик. Он для меня какой-то трогательный, но как-то слишком молчалив и тих, а Степа мне тем более мил, что он напоминает немного тебя. Ты верно скажешь: „глупости“, но, право, интонация голоса, смех и даже немного верхняя часть лица ужасно напоминают тебя. Особенно я люблю, когда он говорит – это точно ты»...

Лиза пишет 29 октября 1867 г. вечером: «...Ах, Таня, какая прелесть твоя мама, я не могу налюбоваться ею! Больше всего она меня поразила, это когда она к нам приехала в белом капоре, который так шел к ее черным глазам и бровям. Я тут же подумала, что если бы я была мужчина, я бы непременно бы в нее влюбилась. Она с нами очень ласкова и очень хлопочет, чтобы нас поскорее одели, за что я ей очень благодарна, потому что нас никуда не пускают, и нам действительно не в чем...

Сергей Михайлович очень любезен, почти каждый день к нам ходит и говорит мамаше комплименты насчет ее игры на фортепьянах. Он говорит: *qu'elle a le bon Dieu dans les doigts*¹⁵⁶. Я даже поступила очень подло и не могла удержаться от смеха, когда он это сказал; он на меня очень строго покосился И ничего не сказал...»

На седьмое января 1868 г. назначена была свадьба Лизы.

¹⁵⁶ что сам бог в ее пальцах (фр.)

Как прошли праздники Рождества, я не помню. Помню только, что у меня было довольно смешное чувство: мне доставало прежнего Кузминского, той безумно юной радости, когда он приезжал на рождество.

– Ну, а как же теперь? – спрашивала я себя, – ведь этого уже никогда не будет? Это ужасно! Уезжай куда-нибудь и приезжай, – говорила я ему, смеясь.

В начале января Соня совсем уже поправилась. Она ехала со мной в Москву на свадьбу Лизы. Я должна была быть посаженной матерью Лизы, по ее просьбе, что для меня было немного неловко по отношению к Соне.

Два мужа провожали двух жен 5 января на Тульском вокзале. Мы ехали в I классе. Помня высказанное как-то мнение Льва Николаевича насчет дорожного туалета дамы, я, как бы шутя, точь-в-точь исполнила его программу и захватила с собой роман Теккерера. Он говорил: «В дороге надо быть порядочной женщине одетой в темное или черное платье – „costume tailleur“¹⁵⁷, такая же шляпа, перчатки и французский или английский роман с собой».

В Москве нас встретил брат Петя с каретой. Какая радость была нам приехать снова в Кремль! Но отец произвел на нас очень тяжелое впечатление. Я нашла в нем большую перемену. Он очень ослаб и лежал в постели. Лиза имела вид праздничный и довольный, и родители всячески старались не омрачать ее время невесты.

¹⁵⁷ строгий фасон, сшитый портным; кофта почти мужского сокроя.

На другой день приехал Поливанов. Он вошел совершенно неожиданно, и я видела, как смутилась Соня.

Она в первые минуты хотела уехать обратно, но я и мать напали на нее, и она осталась.

На свадьбе были лишь близкие; Поливанов и братья были шафера. Я очень обрадовалась брату Саше. Он говорил, что служит теперь в Петербурге преобразованием и очень хорошо себя чувствует, что дом дяди Александра Евстафьевича ему самый родной.

Свадьба была скромная. Чай и прочее все было устроено в квартире друга отца – коменданта Корнилова. Дочь же Корнилова была подругой Лизы.

Павленко был очень параден со своим ростом и гусарским красивым мундиром.

После венца молодые уехали. Отец, прощаясь с Лизой, прослезился, я не могла этого видеть и тоже заплакала. С Лизой, я знала, что еще увижусь летом, но отца мне было ужасно жалко.

Соня уехала в Ясную. Я осталась еще в Москве. Муж должен был приехать за мной.

В родном доме в Москве мне было хорошо. День я проводила дома, а вечер – в Конюшках (квартал, где жили Дьяковы и Толстые). Я ездила к ним с братьями.

Дьяковы устроились очень приятно и симпатично. Девочки учились все вместе, выезжали вместе, и эта дружба осталась и на всю их жизнь. Николай Толстой был малый 15–

16 лет, наивный, рассеянный, говоривший по-русски с иностранным акцентом и, очевидно, не знавший, что делать из себя, очутившись в России. Братья мои очень полюбили его. Брат Петя тоже поступал в Преображенский полк и уговаривал Николая Толстого готовиться к военному экзамену.

Отцу была предписана полная тишина, и в 8 часов вечера весь наш дом замирал. Я часто видела и чувствовала, с какой грустью мама глядела на будущее. Я не видела на лице ее улыбки, а слезы – много раз.

К нам ездил Башилов. Он просил меня позировать несколько сеансов. Он хотел написать мой портрет масляными красками. Но тут как раз приехал муж и торопил ехать домой.

Башилов имел неосторожность сказать мужу: «Мне заказаны картинки для „Войны и мира“, и Лев Николаевич пишет мне: „Для Наташи держитесь типа Тани“».

Этого было вполне достаточно, чтоб не оставаться в Москве лишние дни: муж без того уже не терпел, когда кто-либо заикался об этом сходстве.

На меня напала безотчетная грусть, и я думала: «Странно складывается жизнь моя: постоянная разлука. С моей дорогой Долли – навеки. С Толстыми, Дьяковыми, а теперь с Лизой – ведь я люблю ее. С девочками, с моими единственными подругами, и с ними теперь я разлучена надолго. Я должна буду засесть дома». Про отца и мать я боялась думать. Я не знала, что эта была последняя ночь, которую я провожу в

кремлевском доме, где я родилась. И вдруг я почувствовала, как все грустные размышления мои куда-то отлетели, сердце мое наполнилось радостью... Я почувствовала жизнь будущего близкого и дорогого мне существа.

XXIV. Наша жизнь в Туле

Когда мы вернулись домой, я узнала, что у детей Толстых скарлатина. Мы были разлучены на шесть недель и боялись заразы, не бывши больны этой болезнью. Я получала иногда записки о ходе болезни и исполняла данные мне поручения в Туле. Писал всегда Лев Николаевич, так как меньше бывал в детской.

Жизнь наша дома складывалась, между прочим, совсем иначе, чем мы предполагали ее, и как говорил мне муж, еще бывши женихом. Вихрь судьбы нес нас сам по себе, помимо рассуждений, правил и убеждений Льва Николаевича. Жизнь наша сложилась и приятно и спокойно. Мы не сидели отшельниками у себя в углу и не пустились в вихрь света. У нас было и то и другое.

В провинции общество чиновников меняется каждые 3—4 года. Так как железная дорога только еще первый год ходила в Москву, то помещики по привычке еще жили в Туле в своих собственных домах и принимали. Чиновничье общество ясно разделялось на два разряда: светские и домоседы. Мы, конечно, попали в разряд светских. Оно иначе и быть не могло. Муж был по воспитанию своему тип светского человека, а я, привыкшая дома к разнообразному многолюдью и у Толстых к особенному оживлению, нисколько не чуждалась общества, а, напротив, ездила всюду с мужем, который

для меня выезжал в Туле.

На наше счастье, эти три года, что мы провели в Туле, состав общества был прекрасный. Лишь семья губернатора Шидловского (не родня нашим) была неприязненна и обособлена от всех.

Принимали тульские помещики Кислинские, Андрей Николаевич и премилая жена его, Наталья Александровна. Он служил в Туле, но где? Я никогда ни про кого не могла сказать этого; даже с трудом запоминала место службы своего мужа. У них было двое детей, которые впоследствии и играли роль в Ясной Поляне, когда Сережа и Таня подросли. Сошлась я с семьей вице-губернатора Быкова. Там были три барышни – моложе меня и моих лет. Это был очень приятный дом. Почти все вечера, какие были свободны от балов и концертов, проводили у Быковых. У них был сын, бывший правовед и товарищ мужа, впоследствии губернатор города Баку. У Быковых я познакомилась со всем обществом. В Туле у меня было два друга: Надежда Александровна Быкова и Нина Александровна Арсеньева. Ее муж служил в Туле. Тогда только что выходило окончание романа «Война и мир», и меня обступали вопросами «кого описал?», «чем кончится?», «как он пишет?», «как живет?», «что думает?», «какая ваша сестра?» и пр. Нина Александровна Арсеньева писала мне:

«Дорого бы я дала за возможность поговорить о нем с вами. Какая Вы счастливая, именно счастливая, что у вас та-

кой beau-frere¹⁵⁸, что вы с ним разговариваете, слышите его суждения, мнения, когда они еще совсем свежие, новые...»

Общество в Туле было довольно большое. Дом генерала Тулубьева, Головачевы (не родня нашим), Полонские, Львовы, Мосоловы, – все эти дома принимали, и все относились к нам удивительно приветливо.

Странно, что начало нашей светской жизни положил тульский мужской клуб.

Многие члены клуба заезжали за мужем, приглашая его ехать играть в карты, но, конечно, не в азартные игры, а просто в модный тогда преферанс.

Оставаясь иногда одна и еще не бывши знакомой с тульским обществом, я говорила себе:

– Быть клубной женой я не согласна. Мы должны выезжать вместе. А вечно сидеть дома – вредно.

Я сделала несколько официальных визитов, а затем пошли приглашения, и вскоре я познакомилась со всем обществом и стала принимать у себя.

У нас была своя лошадь. Муж купил у Толстых вороного Могучего, нашего кремлевского, и сани с медвежьей полостью, боясь извозчиков в моем положении.

Помню один вечер у Тулубьевых. Карантин скарлатины окончился. Соня еще не ездила к нам, но Лев Николаевич бывал у нас. Однажды он приехал к нам и остался ночевать. Мы были приглашены на вечер к Тулубьевым.

¹⁵⁸ зять (фр.)

– Поедем с нами, – говорила я, – ты ведь знаком с генералом, а Луиза Карловна – одна прелесть: образована, чудная музыкантша и премилая женщина.

– Ты так расхвалила, что поедем, – сказал он.

У Тулубьевых мы застали довольно большое общество. Лев Николаевич знал многих: Федора Федоровича Мосолова, известного коннозаводчика и богатого помещика, кн. Львова, бывавшего в Ясной, и других.

Мы сидели за изящно убраным чайным столом. Светский улей уже зажужжал; я сожалела, что не было Арсеньевых, когда дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру.

Меня познакомили с ней. Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.

– Кто это? – спросил он, подходя ко мне.

– М-те Гартунг, дочь поэта Пушкина.

– Да-а, – протянул он, – теперь я понимаю... Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые.

Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный стол около нее; разговора их я не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью.

Он сам признавал это.

Когда мы приехали домой, нам было весело. Мы разбира-

ли всех и все, и я шутя сказала ему:

– Ты знаешь, Соня непременно приревновала бы тебя к Гартунг.

– А ты бы Сашу приревновала?

– Непременно.

– Ну, так и Соня, – смеясь ответил он.

На другое утро он ехал куда-то дальше; я забыла, куда.

В конце февраля Толстые уехали с детьми в Москву на шесть недель. В Москве был нанят дом на Кисловке. Так как я не была в Москве, то ничего не могу сказать об их пребывании. Уцелело лишь одно письмо Сони. Приведу из него несколько отрывков. «1868 г. 7 марта.

Милая Таня, сама не знаю, что со мною сделалось, что до сих пор не писала тебе... Так тут суетно, Таня, и невесело. Я все еще как в тумане и все еще суечусь. Мне кажется, я здесь и своих мало вижу, и дом не так веду и хозяйничаю дорого. В Конюшки то же ездим редко, обедала только у них раз, раза три вечером была. Сделала я кое-кому визиты, и мне их отдали, и вновь познакомилась только с Урусовыми. Благочестивое семейство с единственной 15-летней хорошенькой дочерью. Мать лет 40, маленькая, нервная, бледная, худая, немного насмешлива и, кажется, умна. Сам князь почти наружностью портрет Николая Сергеевича¹⁵⁹. И смех такой же, но Урусову лет за 40. Левочке ан ужасно нравится. И действительно: умен, очень образован, очень при этом наивен и

¹⁵⁹ Восейкова.

добродушен. В воскресенье я в первый раз свожу девочек с княжной. Не знаю, что выйдет, боюсь, что скука.

О наших не знаю, что сказать тебе. Папа все так же недвижим, и ему не лучше, не хуже. Мама и Петя все также, бедные, устают, и я им ничем не могу помогать... Я даже во сне вижу твоего ребенка, мальчика, а наяву думаю о девочке...

Квартира наша и вообще все устройство довольно хорошо...

Так хотелось бы повидаться с вами. Папа меня всякий день встречает словами: „А я нынче все Таню ждал“.

Ты, кажется, веселишься в Туле. Я рада за вас, что вы познакомились со всеми...

Я была в концерте филармонического общества, и там все также модно, нарядно и парадно. Пела Лавровская, чудесное контральто, песнь из „Руслана и Людмилы“, чудо, как хорошо. Молодой, верный и огромный голос. Но эта песнь чудо, как хороша. Знаешь, „Чудный сон живой любви“. Вот, Таня, выучись, ты чудесно споешь, я уверена.

Прощай, душенька, целую тебя и Сашу. Левочка и дети здоровы».

Пришла весна, но я не пользовалась ею. В Ясную Поляну я уже не ездила с апреля месяца и вообще уже никуда не выезжала.

Толстые вернулись из Москвы, и Соня говорила мне, что Ясная Поляна с фиалками, свежей зеленью показалась ей и детям раем после Москвы.

13 мая у меня родилась дочь. Я просила назвать ее в память Дарьи Александровны Дьяковой Дашей. Я желала девочку и радовалась ей. На 4 или 5 день я заболела, и боялись горячки. Соня с самого первого дня была со мной, но ездила и в Ясную. Проездом к отцу из какого-то имения дядя Александр Евстафьевич заезжал и к нам. К счастью, он сразу пресек мое опасное положение, и я, хотя и пролежала довольно долго, но все же поправилась. У дяди я все выспрашивала о состоянии отца и чувствовала, что от меня что-то скрывают. Когда мне стало лучше, приехал и Лев Николаевич. Он показал мне столько участия в моей болезни и радости, что родилась здоровая и хорошая девочка, что тронул меня. Я спросила и его насчет здоровья отца, но и он ответил мне как-то неопределенно.

Я была суеверна, и меня еще смущала и иногда даже мучила мысль, что ребенок родился 13-го. «Дурное число, и не будет жив», – думала я.

В начале июня мы переехали в Ясную, но уже не к Толстым, а в другой флигель. У нас была детская, спальня, столовая и кабинет. Спальня была в той же комнате, где мы с Варенькой, сидя на окне в лунную майскую ночь, рассуждали о Сергее Николаевиче, и жалобно кричал филин. И теперь я слышала тот же крик филина, но он смешался с криком ребенка, и я мгновенно уже бежала в детскую и кормила сама. Няня Анна Антоновна, рекомендованная Н. А. Кислинской, была лет 45–50, опытная и прекрасного характера. Ве-

ра и Андриан уехали на родину, и у меня была горничная Поля, молодая девушка из Тулы, живая и услужливая. Когда я звала ее: «Поля!», она бегом бежала ко мне, останавливалась и произносила: «А вот Поля», что меня смешило. Повар был из Тулы.

Мой последний приезд в Ясную Поляну

Последняя моя поездка в Ясную Поляну произвела на меня такое сильное впечатление, а самая смерть Льва Николаевича настолько потрясла миллионы людей, что я решилась поделиться тем, что видела и прочувствовала за это время. Тридцатого октября я узнала из газет, что Лев Николаевич навсегда покинул Ясную Поляну, оставив письмо жене своей.

Я была не только удивлена, но поражена этим известием. Еще накануне получила я от сестры письмо, от 27 октября. Она поздравляла меня с днем рождения. Письмо спокойное, самое обыкновенное, где ничего не говорилось и ничего не подозревалось об его уходе. Тогда как летом я не раз получала письма от сестры очень грустные и тревожные.

Зачем? Куда ушел он? И что заставило его покинуть дорогую ему Ясную Поляну? Всю милую привычную ему обстановку и близких людей? Я терялась в догадках, и на все эти вопросы я не находила ответа.

А только отдаленное воспоминание сказанных им слов приходило мне на ум:

«Уйти от всего, уйти от роскоши, от этой жизни, обличающей нас на каждом шагу. Не решаюсь... Ломать что-либо и причинять этой ломкой горе другим – не могу. Надо всегда

делать то – где больше самоотречения».

Он еще два года назад говорил это мне. А теперь? Видно, созрело это зерно, глубоко запавшее в его сердце.

Меня тянуло в Ясную Поляну, где сестра, где горе, где я разберусь с своими сомнениями.

Полубольная, я собралась ехать и вечером уже сидела в вагоне.

Дорогой я только и слышала разговор об уходе Льва Николаевича. Говорили о Нобелевской премии, о предполагаемом миллионе за сочинения, и много еще других несправедливых глупостей я наслушалась, сидя в углу вагона.

Поздно вечером я была в Засеке. На станции я совершенно неожиданно узнала, что дома никого нет и что вся семья уехала в Астапово, узнав о болезни Льва Николаевича. Это очень огорчило меня.

На станции меня ожидала коляска. Была светлая, лунная ночь, мы ехали по широкой, проселочной, знакомой дороге.

– Андриан, неужели никого нет дома? – спросила я кучера.

– Никого, Татьяна Андреевна, и Андрей Львович, и Михаил Львович как есть все уехали; только одна Марья Александровна дома осталась.

Как я была довольна услышать, что эта милая Марья Александровна Шмидт, которую я уже знала много лет, находится в Ясной Поляне. Мы ехали по очень плохой дороге, местами колеса вязли в колеях.

– Андриан, – начала опять, – ты возил графа на станцию?

– Я, – рано поутру сами пришли на конюшню, торопят запрягать и подсоблять стали, а у меня со сна и руки не слушаются.

– А как уехал граф, почему? – спрашивала я.

– Не ужились, – коротко ответил он, – говорят, давно уйти замышляли.

Подъезжая к дому, я заметила слабый свет в окнах зала, остальные же окна все были темные. А бывало, весь дом, как фонарь, горел, жизнь уже издали чувствовалась в нем.

В первый раз подъезжала я к крыльцу яснополянского дома с тяжелым сердцем. В первый раз не было той радушной шумной встречи, к которой я так привыкла в Ясной Поляне. Вокруг была тишина, и лишь прежний лакей Илья вышел на крыльцо высаживать меня из экипажа.

– Вам письмо оставлено, Татьяна Андреевна, – говорил он, – оно у Марьи Александровны.

Я пошла наверх, в комнату, где уже легла спать Марья Александровна. Мы обнялись с ней, она рассказала мне о внезапном отъезде Толстых на экстренном поезде и передала мне письмо. В письме меня просили отнюдь не уезжать в Петербург и дожидаться их возвращения, если я не захочу ехать в Астапово. Я решила остаться и ожидать их в Ясной. Я прошла в зал. В тускло освещенном зале стоял накрытый стол и одиноко шипел самовар.

Все стояло на прежних местах: и большое вольтеровское

кресло, где обыкновенно сидел и слушал музыку Лев Николаевич, и столы, заваленные книгами и журналами. Семейные портреты, казавшиеся еще больше и темнее при тусклом освещении лампы, глядели на меня из своих золотых рам при угнетенной тишине; белый гипсовый бюст Льва Николаевича сурово смотрел из-под ветвей растений.

Как непривычно и печально было сидеть одной за этим длинным, большим столом, где всегда бывало таклюдно, приятно и содержательно. Два старинные зеркала отражали эту печальную картину.

Я выпила чашку чаю, взяла свечку и пошла через гостиную в комнату Льва Николаевича. И тут царил мрак и тишина. Впечатление получалось какого-то заколдованного замка, где внезапно застыла жизнь. Я поставила свечу на письменный стол Льва Николаевича и внимательно вглядывалась в эту знакомую простую обстановку. Никто, по-видимому, после ухода Льва Николаевича не решался убрать комнаты, ни переставить мебели, и все лежало и стояло так, как будто он сейчас только вышел из своего кабинета.

На письменном столе были разбросаны перья, карандаши, перочинный ножичек, палка, с которой он гулял обыкновенно, была зацеплена за стол...

Все фотографии альбома Орлова «Русская жизнь», висевшие в его кабинете, напоминали мне, как он подводил меня к ним и рассказывал сюжет всякой картины, прибавляя при этом: «Прелестно сделано».

Я прошла в его спальню, где также сильно чувствовался его внезапный уход. Все так живо напоминало его присутствие, все дышало им в этих комнатах, где так еще недавно он думал, скорбел, работал и радовался жизнью...

– Ушел! – говорила я себе, с ужасом сознавая, что он навсегда покинул свое родное гнездо. Чувство умиления и тоски охватило меня, и я заплакала.

Я оплакивала невозвратное прошлое, оплакивала его уход, горе сестры и сознание, что никогда его больше не увижу. Воспоминания, как волны, заливали мое воображение.

Вспомнились мне его молодые годы, когда в полной силе творчества из-под его пера росло великое произведение «Война и мир». Еще 16-летней девочкой жила я в этом самом доме и как сейчас вижу его, как он с ясным, веселым выражением лица выходил из кабинета после удачно написанной сцены; как он в этой же самой комнате раскладывал пасьянс, загадывая, написать ли задуманное?

Надо было удивляться, как мог вместить в себя один человек столько разнообразных сторон. Что за ширина мысли и чувств, что недостатков и качеств соединял в себе Лев Николаевич! Но одна была белая нить, прочно тянулась во всю его жизнь, – это чувство религиозное, оно росло и крепло в нем год от году.

Он любил жизнь, природу и как никто умел ими пользоваться. Любовь его к природе видна в письме к моей сестре, написанном в девятисотых годах весною, в деревне, в самом

начале мая. Письмо начиналось:

«...Необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мертвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет и тени, соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, сразу и синкопами, и вдали лягушки, и тишина, и душистый, жаркий воздух – и все это вдруг, не вовремя, очень странно и хорошо. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уж темно-зеленой траве, и незабудки, и глухая крапивка, и всё – главное, маханье берез прешпекта такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту».

Как живо чувствовал он эту чудную весну, как наслаждался ею, живя в деревне. Много незабвенного и дорогого оставила во мне жизнь в Ясной Поляне, а в особенности сам Лев Николаевич. Всюду, где бывал он, дышало теплой участливостью, чувствовалась несокрушимая, нравственная сила его, соединенная почти с детским заразительным весельем. Там, где бывал он, освещалось лучезарным светом, согревающим душу.

И те строки, которые он написал в молодости в дневнике своем, вполне определяют его. Вот они:

«Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни – это: без всяких законов пускаться из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».

И он ловил всех и заражал своим внутренним, священным огнем. Он понимал, что в жизни есть один рычаг – любовь.

* * *

Мы прожили с Марьей Александровной до 6 ноября. Получив из Астапова телеграмму о том, что неизвестно, когда вернется сестра домой и что положение Льва Николаевича очень серьезно, я собралась 7-го рано утром в Астапово, а Марья Александровна к себе домой. Мы поехали на станцию Засека, но там нам передали депешу о кончине Льва Николаевича.

Смерть его меня меньше поразила, чем весть об его уходе, мы ежедневно ожидали этого печального известия.

Мы вернулись в Ясную Поляну. Мысль о сестре не покидала меня ни на минуту.

Понемногу стали съезжаться родные. Ясенский дом снова наполнился, но как уныло выглядели все мы, в черных платьях, с заплаканными глазами. Бесцельно бродили мы по комнатам или же сидели по своим углам, полушепотом разговаривая между собой.

9 ноября мы все, в шестом часу утра, в нескольких экипажах отправились на станцию Засека встречать поезд, в котором везли тело Льва Николаевича.

Погода была тихая и теплая. Дорогой в темноте мы различали тысячную толпу, которая шла и стояла по дороге и

у опушки леса. На станции мы еле-еле могли пробраться на особую платформу, предназначенную для родных, знакомых и депутатов.

Мы долго ожидали, стоя на платформе. Толпа все прибавлялась, когда вдруг послышался голос:

– Господа, поезд идет, шапки долой!

Мне стало жутко, холодно, сердце сильно застучало. Тихо, без свистков подъезжал поезд и остановился среди мертвой тишины. Когда раздвинули тяжелую железную дверь товарного вагона, все взоры устремились в это полутемное, мрачное отверстие, откуда виднелся дубовый гроб с возложенным венком из белых цветов.

Хор тихо пропел «Вечную память». Что-то трогательное и потрясающее было в этой встрече, в этой толпе, которая вся, как один человек, с трепетным благоговением относилась к памяти Льва Николаевича.

Выходили из вагона. Я глазами искала сестру свою. Ее вели под руки сыновья, она опиралась на палку. Вся в черном, с исхудалым, измученным лицом она показалась мне сильно изменившейся и постаревшей. Мы только успели поздороваться, как тотчас же вынесли гроб и вся похоронная процессия тронулась под гору по широкой дороге.

Не буду описывать нашего шествия до дому; скажу только, что когда на мосту или где-нибудь в узком проходе толпа скупивалась и слышались испуганные возгласы, раздавался громкий голос:

– Господа, подумайте только, кого мы несем! Ради него, пускай будет порядок.

И толпа останавливалась и снова чинно следовала за процессией. Через два часа мы были дома.

Гроб поставили внизу, в комнате, когда-то бывшей кабинетом Льва Николаевича; его открыли и положили в него цветы.

Когда все удалились, сестра хотела проститься со Львом Николаевичем. В комнате оставалась лишь я с ней и незаметно в углу стояла старая няня.

Долго прощалась с ним сестра. Я не могла слышать без слез, как она шептала молитву и трогательные прощальные слова. Сколько скорби и душевных страданий слышалось в них. Она прощалась не только с любимым человеком, но и с 48-летней жизнью, прожитою с ним и прервавшейся так внезапно и трагично.

«Да поможет ей Бог перенести эту тоску и горе», – думала я.

В углу комнаты на коленях стояла няня, она набожно крестилась, старое сморщенное лицо ее было в слезах.

Более тридцати лет привыкла она делить радость и горе с семьей Толстых. Она переживала в доме вторую потерю: умер на ее руках семилетний Ванечка, которого она выходила несколько лет назад.

После сестры я подошла к гробу. Лицо Льва Николаевича выражало полное спокойствие. Я поцеловала его холодный

лоб и долго с любовью глядела на него.

Припомнились мне слова, написанные на 7 ноября в его книге «Круг чтения».

«Жизнь есть сон. Смерть – пробуждение. Смерть есть начало другой жизни».

* * *

После семьи пускали прощаться всех. Вереница по четыре человека, казалось, тянулась бесконечно. Около часу дня подняли гроб, и все двинулись к Заказу.

Эта милая, знакомая дорога, так называемая купальная дорога, была вся полна народом, рассыпавшимся по всему лесу.

Как странно было видеть и эту печальную процессию, и вырытую могилу в этом лесу, с которым до сих пор были связаны самые веселые и поэтичные воспоминания.

Помню, как на этой самой дороге меня однажды рано утром встретил Лев Николаевич и спросил, почему у меня заплаканные глаза. Я рассказала ему свои неприятности. Он стал утешать меня и, между прочим, сказал:

«Читай „Отче наш“, но не так, как обыкновенно читают, а разбирай глубокий смысл каждого слова этой молитвы».

Он толковал мне этот смысл и сказал:

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» – значит «дай нам духовной пищи на каждый день».

«Эту молитву я читаю утром и вечером, и она помогает мне в жизни и успокаивает меня», – прибавил он.

Не буду описывать похорон, они и так уже известны. Скажу только, что настроение всей толпы было религиозно-торжественное, а порядок образцовый.

Когда мы были дома, весь день приезжали опоздавшие на похороны в автомобилях и из Тулы с поездов. Обедали 42 человека в 9 часов вечера. Сестра почти все время сидела у себя в комнате и выходила в зал лишь на короткое время. Ей было не только тяжело быть па людях, но она уже заболела и к ночи у ней открылся сильный жар.

В доме осталось ночевать около 25 человек. Несмотря на такое большое горе, жизнь брала свое. Приходилось соображать, куда кого разместить. Ночевали даже и во флигеле, который я накануне еще велела топить. Люди бегали с утра до вечера, еле поспевая служить.

На другое утро мы все отправились на могилу. Она была завалена венками. Холст с надписью яснополянских крестыян был протянут на деревьях. Черкес караулил могилу всю ночь, а утром рассказывал нашим людям следующее:

«Было далеко за полночь, я ходил с ружьем по дороге, луна, всхлдившая очень поздно, тускло освещала лес, как вдруг увидел я, что какая-то черная фигура шла вдоль оврага. Я испугался, взялся за ружье, подошел ближе... Она бросилась на землю, у самой могилы. Я разглядел – это была женщина в черном длинном платье, с черным платком на голове.

„Не стреляй“, – только и сказала она. Долго молилась она, а потом так же быстро удалилась. Так приходила она две ночи сряду».

Перед моим отъездом уже, в начале декабря, черкес снова видел эту женщину. Она две ночи приходила на могилу в те же самые часы. Совершенно неизвестно, кто она. Через два дня все почти разъехались. Остались двое старших сыновей и Михаил, Варвара Валерьяновна, дочь Марьи Николаевны Толстой, мой старинный друг детства; с нею неразлучно прожили мы весь этот месяц.

Меньшая дочь Саша переехала к себе в имение за три версты. Дни тянулись длинные, грустные, погода была пасмурная и холодная; сестре становилось с каждым днем все хуже. Чем хуже она себя чувствовала, тем радостнее становилась, надеясь более не встать с постели и тем покончить с нравственными страданиями.

Сыновья нежно и заботливо относились к ней. Доктор Маковицкий находился все время дома, а затем приезжал еще доктор из Тулы. Через десять дней сестре стало лучше.

Мы сходились в большом зале за обеденным столом и много толковали о недавно прошедшем грустном времени. Я расспрашивала о смерти Льва Николаевича и осуждала, что не пускали к нему сестру.

– Она ведь так страдала этим, разве можно было так поступать? – говорила я.

– Тетя Таня, – говорили они, – в начале его болезни, когда

доктора надеялись на его выздоровление, всякое волнение могло бы на него подействовать пагубно. Доктора не видели опасности, и доктор Щуровский, который был при папа еще в Крыму, говорил, что он был теперь в лучшем состоянии, чем тогда в Крыму. Они надеялись на его выздоровление и лишь один доктор Беркенгейм видел неминуемую опасность. (Саша говорила мне потом, что Беркенгейм мрачно глядел на состояние папа, и что она даже избегала спрашивать его об отце.)

– Ты знаешь ведь, тетенька, как бы папа волновался при встрече с мама, – говорил Илья. – Но когда мама все-таки настаивала идти к нему, мы сказали, что двери ей открыты и что пускай поступает как хочет, но что доктора не ручаются за последствия, и тогда мама сама не пошла.

– Какие были последние слова Льва Николаевича? – спросила я у Душана Петровича.

– Сережа, люблю истину... много... много... люблю всех...

А раньше в дремоте он говорил:

– Как хорошо, и как просто!

Сестра рассказывала мне, что когда она пошла прощаться с ним, он сначала часто дышал и только что затих.

– Я тихо шептала ему на ухо, что я все время была здесь, что люблю его, и нежно прощалась с ним... И вдруг выразительный глубокий вздох ответил мне. Это поразило окружающих. Опять я заговорила с ним тихо и нежно. Снова точ-

но с нечеловеческим усилием ответил мне такой же вздох, и все навеки стихло. Я целовала ему лицо, руки и тихонько закрыла ему глаза.

Доктора уже после говорили сестре, что умирающий последнее что теряет – это слух, что человек уже остывает, а слух все еще сохраняется. Это было хотя маленькое утешение в большом ее горе.

* * *

Когда сестре стало лучше, уехали и сыновья, и остались мы вчетвером.

Душан Петрович, милая молодая сиделка, Варвара Валерьяновна и я.

Мы жили в одной комнате с Варварой Валерьяновной по моей просьбе, и проводили все дни почти вместе. У нас было так много общего в прошедшем, что мы служили друг другу большим утешением в нашем одиночестве.

По мере того как сестра выздоравливала, она все больше тосковала. Ей не хотелось поправляться и не хотелось жить.

«Ничего меня не берет!» – говорила она с горечью. Я спала рядом с ее комнатой. Нас отделяла тонкая стена. С пяти часов утра слышался ее сухой кашель и затем плач и стоны.

Она говорила мне, что пробуждение ее рано утром, при мертвой тишине и темноте, всего тяжелее. Мысли появляются с ясностью, только усиливающей скорбь, а сон отлетает

далеко... далеко...

И так каждое утро.

Ежедневно приходило и приезжало на могилу пропасть народу со всех стран. Они приходили в дом, входили наверх, и им показывали комнаты Льва Николаевича и фамильные портреты.

Один из студентов обратился ко мне и говорит:

– Как жаль, что, вероятно, уже многое унесено из спальни графа.

– Почему вы это думаете? – спросила я, – ничего здесь не тронули.

– Как, граф жил в такой простой обстановке? – с удивлением спросил он.

– Вот, как видите.

– Так где же эта роскошь, про которую он говорил?

Этот вопрос был более чем справедлив. Действительно, какая роскошь может быть с простым некрашеным полом, с простыми столами, стульями, комодом и простой железной кроватью.

Я многих расспрашивала, откуда они приехали? И меня удивляло разнообразие стран: из Киева, Сибири, Греции, Казани, Самары, из Ташкента, Финляндии, и не перечтешь. Депутация из Лесного института привезла чудный венок из двадцати двух пород невянущих деревьев. На красной широкой ленте было написано:

«Льву Николаевичу Толстому, огласившему пустыню рус-

ской жизни криком:

Не могу молчать!»

Был венок от неизвестного с нежной надписью; «Тихо спи, яркое солнце России».

На могилу приходил часто народ из деревень, по ночам караулили могилу крестьяне, когда пронесся слух, что за голову Льва Николаевича обещают миллион.

Приходили и бабы и выли на могиле:

«От сумы ли, от тюрьмы ли, от беды ли, кто-то защитит нас обездоленных...», и голоса их гулко раздавались в тиши леса и жалобно терялись в пространстве.

Мы как-то раз гуляли с Варварой Валерьяновной и встречали знакомого мужика Семена. Мы стали его спрашивать, ученик ли он Льва Николаевича?

Он ответил утвердительно и разговорился с нами.

– Да, такого барина не наживешь, – говорил он.

Бабы рассказывают: «Идем это мы за хворостом в графском лесу, набрали полные охапки и вдруг самого графа увидели... напугались... и не знаем, куда идтить, и остановились. А граф-то, как увидел нас, должно догадался, что мы напугались и схоронился в кустах. Мы и прошли».

– Варя, ну как тут хозяйничать в Ясной, – смеясь сказала я, – ты подумай только.

– Да ведь это так похоже на дядю Левочку, – сказала она с любовью. – А вот Соня мне рассказывала, что было в этом самом Заказе: «Идет Лев Николаевич по купальной дороге и

видит, что мужик срубленное дерево на телегу тащит, да не осилит. А Лев Николаевич подошел к нему и говорит:

– Хорошо, что я тебя встретил, не то тебе одному, пожалуй, и не оправиться. – И помог ему. А дерево-то было ворованное, и дядя Левочка это знал».

После прогулки мы шли домой.

В 4 часа, к дневному чаю, обыкновенно кто-нибудь приезжал к нам.

Саша с Марьей Александровной из Телятинок часто навещали нас, что я очень любила. Приезжали из Петербурга С. А. Стахович, А. Е. Звегинцева, профессор Цингер из Москвы. Сестра читала ему вслух свои «Воспоминания», что немного оживило ее. Бывали и Бирюков, Буланже и другие, которые вносили в наш тесный кружок некоторое разнообразие.

Приехали Сухотины из деревни с маленькой дочерью Таней. Они пробыли шесть дней. И пребывание их внесло такое что-то душевное, участливое и оживило нашу грустную жизнь. Сестра как будто ожила немного с любимой дочерью и внучкой.

Таня уговаривала мать ехать зимою в Рим, куда они теперь едут до апреля. В этом поддерживал Таню и Михаил Сергеевич Сухотин.

Но сестра не делает никаких планов.

Она сама не знает, где она будет жить, что будет делать, пока ее притягивает лишь могила мужа. Равнодушие и апа-

тия ко всему заставляют ее сидеть в яснополянском доме, хотя бы совсем одной, где ей все напоминает прежнее.

5 декабря уехала в Москву Варвара Валерьяновна, и сестра все повторяла:

«Еще несколько дней, и я останусь совсем, совсем одна. Это ужасно».

Через два дня уехали и Сухотины, и снова в доме стало тихо и пусто.

Я должна была ехать и не знала, как оставить ее одну. Но утром приехала Софья Николаевна, жена Ильи, а потом и ее муж.

Я назначила день своего отъезда и с тяжелым сердцем мысленно прощалась уже не только с одинокой сестрой, но и со всей Ясной Поляной, где столько было мною пережито и перечувствовано за всю мою жизнь.

7 декабря 1910 г. Ясная Поляна.